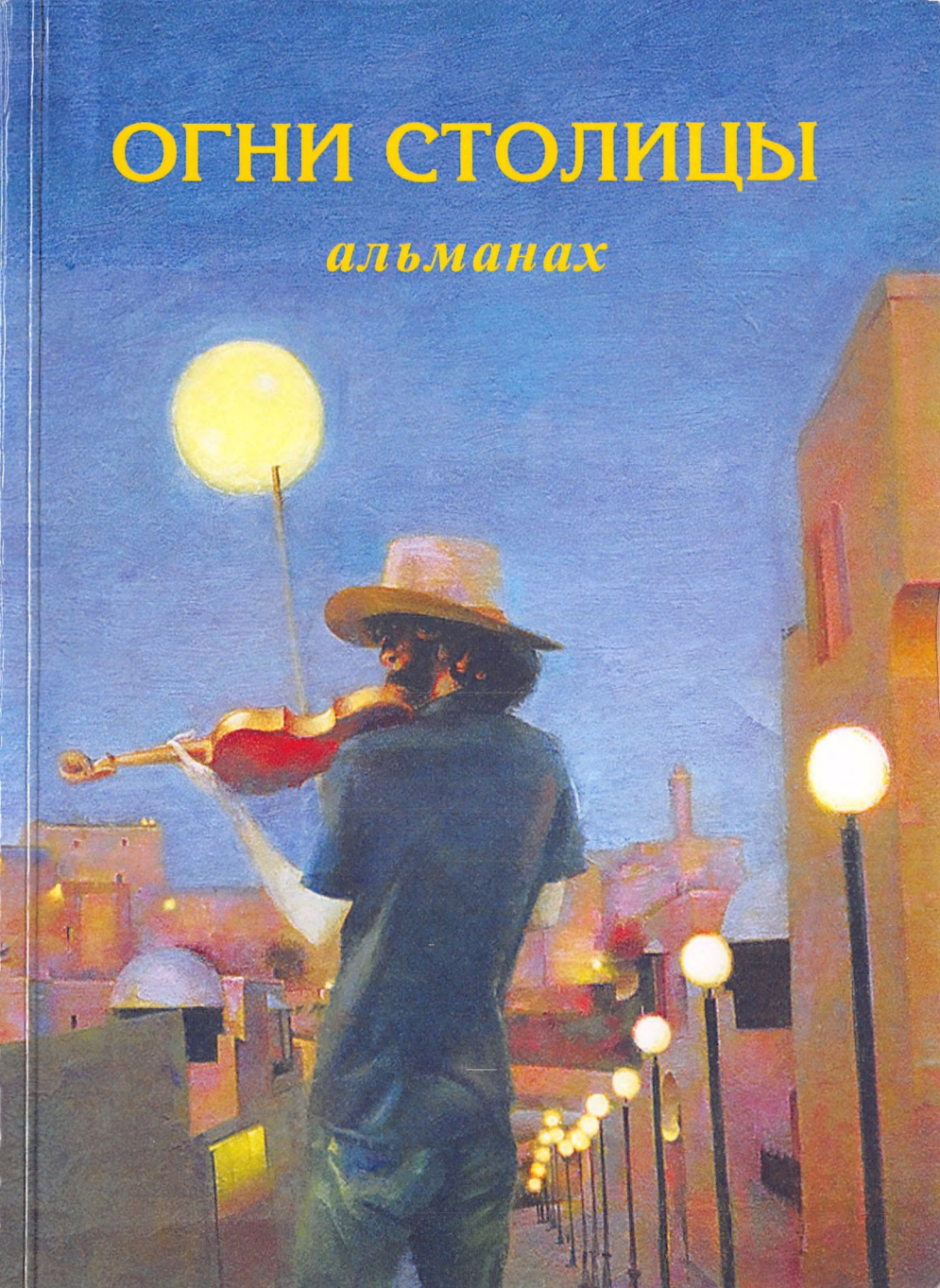
ОГНИ СТОЛИЦЫ

альманах



ОГНИ СТОЛИЦЫ

альманах

ОГНИ СТОЛИЦЫ

альманах

Иерусалим
2005

ОГНИ СТОЛИЦЫ. *Альманах*

אוגני סטוליצי

מבחר שירה, פרוזה ופובליציסטיקה
של סופרים יוצאי מדינות חבר העמים בישראל

OGNI STOLIZI
Anthology of Russian Writers in Israel

© *Все права принадлежат авторам*

Редколлегия: Б. Камянов, Н. Локшина, З. Палванова, В. Ханан

В оформлении обложки использован фрагмент картины
Г. Зильбермана «Ночной Иерусалим»

ISBN 965-7129-34-6

«Скопус»

Printed in Israel

2005

ПРЕДИСЛОВИЕ

Все авторы этого сборника – члены Содружества русскоязычных писателей Израиля «Столица», существующего уже почти два года. Слово «содружество» в этом названии не случайно: в рамках нашей организации объединились люди со сходными литературными вкусами и мировоззрением, расположенные друг к другу и готовые при необходимости оказать товарищам посильную помощь.

Среди участников – и широко известные литераторы, публикующиеся в Израиле, республиках бывшего СССР и странах Запада, и писатели, выпустившие пока одну-две книги, и те, кто только начинает свой путь в литературе и еще не известен широкому читателю.

В первом выпуске альманаха (надеемся, не последнем) представлены разные жанры: небольшие повести и рассказы, стихотворения и поэма, статьи и эссе, литературоведческие работы и юмор.

Работа редколлегии заключалась в отборе материалов, причем ее голос на всех этапах подготовки книги был совещательным, решающее слово оставалось за авторами.

Надеемся, что первый выпуск альманаха «Огни столицы» будет одобрен самыми взыскательными читателями.

Редколлегия

ПОЭЗИЯ

Елена Аксельрод

* * *

Косуля цвета камней,
Камни цвета косуль –
Все в безвозвратность канет
Без всяких взрывов и пуль.

Но сколько дано пока мне!
Вверх смотри или вниз –
Косуля дозором на камне,
Еле подвижный бриз
В ленивое море манит,
А хочешь – в небо взберись.

В сизой, коричневой праздности,
Ко мне вполне безразличной,
Думать о безвозвратности
Пошло и неприлично.

* * *

Небо совсем домашнее,
Близкое, как потолок, –
Не московское, не вчерашнее –
Иудейское – что же Бог
Не приблизится, не откликнется?
Свистнет ночь в серебристый манок,
И надвинется, и накинется,
Обнажив с головы до ног.
Кто позволил ей в жизнь мою
вклиниться?
Близко небо, Господь далек.

* * *

Дети и птицы щебечут
Не на моем языке.
Гнутся к земле мои плечи –
Ветви гнутся к реке.

Что ни денек – все ближе –
С Летой накоротке –
Ветви теченье лижут,
Льнут к ледяной щеке.

* * *

По Москве брожу в шубейке,
Взятой напрокат.
Окунаюсь в крупный, клейкий,
Детский снегопад.
То ль брожу я, то ли брежу,
То ли по живому режу
Десять лет подряд.

Все мечусь туда-обратно.
Но куда, зачем?
Потому-то, вероятно,
Не пишу поэм:
В тридцать строк легко вместится
Льдышка – белая косица
В мартовской Москве
И мой новый, неуместный,
Снег, что покружит над бездной
И умрет в траве.

Вспомнит кто о нем наутро?
Может, абрикос,
С головой в туман укутан,
Да сырой покос,
А еще ручей проснется,
Из объятий гор метнется,

Но зачем, куда?
Море далеко-далече,
И дотянется ль до встречи
Слабая вода?

ПРОЩАНИЕ С КАРТИНАМИ

Памяти отца

Когда я однажды проснусь поутру
И голые стены увижу,
Я встану, и слезы украдкой сотру,
И двинусь по улице рыжей
Сгоревшего августа – он приведет
На кочку, где, жаждою выжат,
Снующий нарост – насекомый народ
Добычу нехитрую лижет.

Когда я на стенах лишь пятна найду –
Стоячее море увижу.
Неужто написано мне на роду –
По горло в топленую жижу,
По горло, по го́ре – под желтой горой
Рассолом глаза обжигает…
Но где бы ты ни был, объятья раскрой,
Лицо твое в сумерках тает.

Проснулась – так пристально стены глядят,
Как будто меня не узнали.
И вновь тамариски в закаты летят
Над Крымом по диагонали.

* * *

Уходящие уходят навсегда,
А входящий входит на мгновенье.
Не боится Страшного Суда
Времени горячечное рвенье.

На кого охотится метла,
Сжатая Рукой беспрекословной,
Нам ли знать, когда под ней мы, словно
Мелкий сор, сметенный со стола.

Где убежище, где те окопы,
Чтобы нам входящего сберечь,
Где та нерастопленная печь,
Чтобы нам не полыхать всем скопом?
Как ребенком верила во встречи
В первую недетскую войну,
Так не буду времени перечить –
Просто уши пальцами заткну.

* * *

Спит наследник, ему семнадцать –
Нет, не лет, а семнадцать дней.
Он еще не умеет смеяться –
Спит, прижавшись к груди моей.

Только жалуется бесслезно –
Плач улыбку опередил.
А в окошке вполне серьезно
Дождь смеющийся зарядил...

Спит в небесной своей фланели
Заместитель мой, ножки поджав.
Как вам спится в бесплодной постели,
Те, кто прожили, не рожав?

Стали дни мои чуть длиннее,
Может, долго жила не зря?
Вижу, как в запеленатом небе
Всходит радуга января.

ТЕЛЬ-АВИВ – АЛМАТЫ И ОБРАТНО

Жизнь проморгав в неласковой столице,
Где в стужу не сумела закалиться,
Я безуспешно закаляюсь в зной,
И вдруг перелетаю в зной иной,
В сухую охру сонного аула
Под иероглифами саксаула.

Арыки – синий кантик Алматы,
Алма-Аты, как говорили ране.
Представьте непомерность расстояний
От яви до заносчивой мечты
О дворике меж глинобитных стен,
Куда не проникает вой сирен.
На две семьи конурка. Теснота,
Да нет обид. Капусты два листа,
Вареный лук и с патокой краюшка,
Но за окном не пушка, а пичужка.
Акынов, правда, больше, чем пичужек,
Им войско толмачей прилежно служит –
Голодных соплеменников моих,
Уныло бредни загонявших в стих,
Мечтавших о вожде певцов Джамбуле,
Дремавшем в нашем дворике на стуле,
Пока стервятники-секретари
Его коня делили до зари,
Для патриарха добывали впрок
Семнадцать пар сафьяновых сапог.

И вот командированной акыншей
Рвусь из-под новой предвоенной крыши
Туда, где детства я не узнаю,
Где больше нет хибарки на краю
Красноармейской улицы снесенной,
Где грезил старец, к славе прислоненный,
Где я не сплю в гостиничной постели,
В роскошестве двуспального убора...
Как быстро пролетели две недели,
Над прошлым пролетели слишком скоро.

Крылатый, чудом спасшийся платан
Один о чем-то давнем лопотал...

О чем же? Но пора на самолет.
Аэропорт. Народ штурмует вход.
Посадки нет на тель-авивский «Боинг».
Охранник дюжий дверь прикрыл собою.
(А в сорок первом, прихватив подушки,
Мы так же брали приступом теплушки.)

Дождь принялся хлестать в четыре ночи,
Чтоб остудить горячий лоб толпы,
Остерегает, образумить хочет,
Но погасить не может детский пыл
Тех, кто таможне доверяет жизни,
Чтоб на восток перенестись неближний.

Вы удивитесь: а причем здесь дождь,
Коль речь идет об аэровокзале?
Но места в тесном зале не найдешь,
Эвакуантов горстками впускали.
Толпа роптала, размокал багаж –
Веревкой схваченная мешковина...

Рассвет. На борт восходит экипаж
И подан трап... Израиль, Палестина.
Прощанье. Взлет. Отчаянье. Исход.
Две тыщи первый бесноватый год.

Светлана Бломберг

* * *

Что делать мне, заложнице зимы?
Декабрь с утра канючит, пес убогий,
тепла и ласки, а с приходом тьмы
колючей крошкой сеет по дороге.

Спаси меня! Смотри: мой дух ослаб.
Что соткала – всё расползлось на нити.
Идет циклон, растлитель снежных баб
и флюгеров коварный развратитель.

Спаси меня! Мечтаю улететь
в твои края, где перед новым годом
поют и пьют, где могут отогреть
горячим чаем, вересковым медом.

АВГУСТ

Тропинка вдоль заброшенного сада.
Кусты обрызганы парным дождем.
Старуха-яблоня задушена плющом,
три яблока – вот вся ее отрада.

Но где же этих мест извечные враги –
мальчишки из домов окрестных?
Состарились, и в землю полегли,
и в красных яблоках опять воскресли.

Походкой тяжкой к яблоне придет
беременная женщина босая
и яблоки с собою унесет,
к груди их, как младенцев, прижимая.

* * *

«Да как же так?» – шептали мне кусты.
«Куда? Зачем?» – вослед скрипели двери.
Чужая жизнь шагнет из темноты,
и кресла выгнут спинки, словно звери.

А за окошком – дождик проливной,
но гром – не гром, игрушка-погремушка.
Самообман, иллюзия, ловушка.
Зачем я здесь, и кто это со мной?

Я, кажется, сюда на праздник шла?
Он кончился до моего прихода.
Остались чашки посреди стола
да календарь ненынешнего года.

* * *

это воздушное кружево
пожалуйста прошу осторожнее
одно неверное движение
и вы распустите меня по ниточке
а другого такого узора
нет нигде в мире
и никогда уже не будет.

Ася Векслер

* * *

Я хотела б дожить до квартиры сухой,
до укромного бденья с утра в мастерской,
до закатного отсвета на полотне,
до огней по горам в полукруглом окне.

Я хотела б сподобиться жить как хочу,
будто это под занавес мне по плечу,
будто выпадет долю до строчки прочесть
честь по чести, поскольку не старится честь.

А пока я хотела б дознаться вполне,
что в наполненной рюмке сверкает на дне.
Поглядишь на просвет – не знакомы с тщетой
вспышки яркого пурпура, блеск золотой.

КОРНИ

С посвистом дует на мыс в городке
шкиперский ветер. Апрель благосклоннее
к тем, кто южнее. Вот невдалеке
зáмок. До прежней колонии

или истории чьей-то страны
дел ему менее, чем до геральдики
неким гостям, обжитой старины
жаждущим: в чинном парадике

будет немного участников. Гид –
честный любитель: он образом двойственным
то королевским гвардейцем глядит,
то мажордомом потомственным.

Видывал он, как выхватывал блиц
праздничность, происхождением данную.
Здесь королева бывала, и принц
с будущей леди Дианою.

Так что наверх, на орбиту персон
по сквознячку, что спознался с короною,
мимо ружейных богатств, – гарнизон
можно сплотить обороною, –

но застреваешь на лестнице. Там
вровень с идущим и по хронологии
предки старинного рода холстам
вверены; лица их строгие

живы для времени не своего –
то-то не весишь ни грамма ты –
и от пришельца не ждут ничего,
кроме верительной грамоты.

Леди и джентльменам с давних высот
некто захожий докучливей выскочки.
А между тем роду их лет шестьсот,
а твоему – за три тысячи.

Ни ясновидящий не разберет,
ни обладатель ума деловитого,
от пастухов Галилеи твой род
или из дома Давидова.

Если бы воображенье могло
высветлить вглубь эту даль несусветную,
много бы лестниц нездешних ушло
на галерею портретную.

В рамах мелькнули бы страны, места,
гон без пощады, обочина пыльная.
Прошлое рода молчит неспроста –
ноша была б непосильная.

Только и знанья, что издалека
тянется, теплится ниточка кровная,
что на ветру бередит облака
роща твоя родословная.

Жар до полудня. И за полдень жар.
Немилосердна природа – и ласкова.
…Честь окажи, иудейский загар,
зеркалу замка шотландского.

* * *

Дорога с гор! Твой посвист – мой мотив,
под шум помех расслышанный над краем
шоссе Ерушалаим – Тель-Авив,
а также Тель-Авив – Ерушалаим.
Рассыпь мне справа пригоршни огней,
повыветри следы почти с концами,
блести в дожде, знать не знавав саней,
морозца к ночи, тройки с бубенцами.

Меняя постбиблейский окоем –
то соберет он тучи, то рассеет, –
минуй еще не высохший подъем
на ответвлении на Мевасерет;
протиснись в каменистый коридор,
примерь его, расширь в нем горловину
и, выпроставшись, ринься на простор
холмами, что нисходят на равнину.

Увы, не разгуляться. Тем верней
ты примешься, как будто по лекалу,
две точечных цепочки фонарей,
сближая, отдалять мало-помалу.
А в стороне заветная звезда
горит, сверх ожидания, покуда.
И это не цитата, господа,
зане заветы – выходцы отсюда.

На том и прерывается курсив,
маршрутом в два конца неисчерпаем:
туда – Ерушалаим – Тель-Авив,
обратно – Тель-Авив – Ерушалаим.

* * *

Не без выхода родимый круг земной.
Снявшись с места в затененной глубине,
можно засуху оставить за спиной
ради плена в фараоновой стране.

Кто останется, тому несдобровать.
Поторапливайтесь, отгоняя страх.
Надо вон из королевства уплывать
на колумбовой эпохи кораблях.

Отчужденность берегов. Зиянье стран.
Тени, отсветы двоящихся свечей.
Отбывайте, чтобы жить, за океан
от погромов, душегубок и печей.

Кладь ручная – легкий путь вам, господа.
Меньше стоит в одну сторону билет.
Исчерпавшись, обновляются года –
Новый Свет ли, Старый Свет ли, Ближний Свет.

Мир не сделался безумен вдруг: давно
он вполне безумен. Влившись в круговерть,
жизнь дешевле, чем дешевое вино,
и не так изобретательна, как смерть.

Велика округа, а не предпочесть,
в свете сказанного, ни один сюжет.
Может, время оставаться, где мы есть, –
Новый Свет ли, Старый Свет ли, Ближний Свет.

ИЕРУСАЛИМСКАЯ ПРОГУЛКА

Вот я среди соплеменного люда
в первое время после галута
в сторону от Маханэ Иеґуда*
без провожатых иду наугад.
Вымечтан издали, сплошь узнаваем
град многослойный – Ерушалаим.
Здесь, возлерыночный, он населяем
теми, чей беспрекословен шабат.

Мне же бормочет прапамять-историк.
В зелени арки светится дворик.
Сладок миндалевый цвет, ибо горек
старый, наклонно растущий миндаль.
Дворик залатанной вымосткой выстлан.
Девочка в длинном, будто Уистлер
облик портретный к наследью причислил,
скажем, назвав ее «Мисс Авиталь».

Взгляд мой ввезен незаконно. Он странен.
«Мисс» ни при чем тут и англичанин.
Вывод поспешен и, в целом, печален:
здесь не грозит попаданье в струю.
Так оставляется дворик в покое.
А в синагоге пенье мужское
с улицы слышно. И дело такое:
вход мне заказан – поодаль стою.

Возле иерусалимского рынка
в сцене с массовкой нынче заминка:
я, иудейка и простолюдинка,
роль позабыла – ни рабства, ни мук.
Все времена – миг единый на свете,
что для молитвы, что для соцветий.
А впереди – вереницы столетий,
двадцать – с довеском – до баховских фуг.

---

* Знак ґ в словах ивритского происхождения соответствует букве ה и читается примерно как английское h.

ИЕРУСАЛИМСКИЙ РОМАНС

Уже и не надо. Не стоит. Прощай!
А. Кушнер

Благие порывы за давностью срока
не вымостка в ад и не радужный дым.
Мы не добрались до гробницы пророка
у древней дороги в Иерусалим.
Не наши тень с тенью почти близнецами
в песок просочились на кромке морской.
И в праздном дозоре не мы за зубцами
прошли вдоль по верху стены городской.

Прельстив слух и зрение, жизнь соразмерит
соблазны картинок с пределом щедрот.
Напрасно настраивал скрипку Кинерет
и ветер пускался в смычковый полет.
И если, как будто крутя киноролик,
кафе-ресторанчик порой зазывал –
счастливчик с везуньей садились за столик,
а нас в этой роли никто не знавал.

Мы зря поднимались на пик упований
и в гору недоли. В итоге меж них
гряда облаков, как цепочка желаний,
едва серебрится одна на двоих.
И тот, кто присматривает за сюжетом,
навряд ли его повернет невзначай,
хоть сказано было не здесь, не об этом,
не нами: «Уже и не надо... Прощай!»

НОВАЯ АНГЛИЙСКАЯ ПЕСНЯ

Ане

Снег падал на дороги,
валился и лукавил.
Застряли все в итоге,
кто где, помимо правил:

король в гостях у девы,
а юный принц – у дамы,
скрипач – у королевы,
а мальчик – возле мамы.

В приятнейшей беседе,
нежней и легче шелка,
желают лорд и леди,
чтоб снег не таял долго.
Вздохнул король у девы,
а юный принц – у дамы,
скрипач – у королевы,
а мальчик – возле мамы.

Отъездила столица.
Под кучеровы храпы
со стуком пес ложится
на все четыре лапы.
Зевнул король у девы,
а юный принц – у дамы,
скрипач – у королевы,
а мальчик – возле мамы.

Над крышами не звездно.
Снег в небе. И прекрасно,
что отпираться поздно,
что утром станет ясно:
король-то наш – у девы,
а юный принц – у дамы,
скрипач – у королевы,
а мальчик – возле мамы.

Из теплой части света
на дальнем расстоянье
возможно знать все это
зимой, в похолоданье,
вдруг наведя на резкость
глаза, гоня напасти
и видя снег – он редкость
в широтах сих. Как счастье.

СОН С ПТИЦАМИ

Питерским поэтам-сверстникам

В небе сновидения, ближнем от земли,
волей сна и случая
птицы перелетные звались «ширали»,
переняв созвучие.

Без прощанья вычтена из числа людей,
вне часов и графиков,
ранним днем летела я в стае ширалей,
как среди журавликов.

Так мне с ходу выпало, распластавшись в рост,
увидать не издали
взмахи переменные, перья, чуть внахлест,
белые и сизые.

Безотчетно чуяла птичья голова
направленье: с севера.
Прибавляя свежести, дул, как в рукава,
ветр в подкрылья серые.

А внизу тем временем объявился рай:
лиственно-еловое,
травяное празднество шло из края в край
в марево лиловое.

Не была судьба моя соотнесена
с местом и с границами.
Жизнь земная виделась чем-то вроде сна,
а жилось меж птицами.

И читала в воздухе вечная душа,
былью управляема,
часть пути на Балтику, в небе мельтеша
от Ерушалаима.

Был ей лучше лучшего угол в сквозняке
клина ширалиного
до того, как зарево в западном зрачке
вспыхнуло малиново.

Виктор Голков

I

2001 – 2003

* * *

Не пишется – такая пустота.
Кромешный зной, последняя черта.
И рокового времени приметы –
кровавый бред впитавшие газеты.
Готов ли к смерти? К жизни не готов,
и снится мне ночами Кишинев.
Прозрачный воздух, озера пятно,
его поверхность, сердцевина, дно.
Тот переулок, где пришлось родиться,
и парк, в котором можно заблудиться.
Спешу домой, где точно – мать с отцом,
чтоб с ними перекинуться словцом.

* * *

Если что-то есть во мне,
то оно пришло оттуда,
где узоры на окне,
снег и детская простуда,
где еще живой мой дед
мерно досточку строгает
и косой, блестящий свет
ночь на блики разлагает.
Там, где утро, первый класс,
материнский взгляд вдогонку.
Все, что в невозможный час
разом ухнуло в воронку.
И стоишь, как Гулливер,
персонаж из старой книжки,
Бывший юный пионер,
задыхаясь от одышки.

* * *

В эпицентре цветущего лета
из-под тесно сплетенных ветвей
долетел отголосок сонета,
что заводит с утра соловей.
Бесшабашней, сильней, сокровенней,
чем в апреле, в зените весны,
где-нибудь над кустами сирени,
и как будто часы сочтены.
Ностальгия, стоишь на перроне,
ожидая, глядишь в никуда.
Погружаются в август ладони,
и дрожит голубая вода.
Рецидив ли? Не ведаю, право.
Я вернулся, усталый и злой,
чтобы впрыснуть счастливой отравы
металлической тонкой иглой.

* * *

Лист зеленеющий, остроугольный,
в теплой волне голубой,
ты понимаешь, конечно, как больно
мне расставаться с тобой.

Старое озеро, ясность сквозная,
тихих аллей торжество.
Нет, разлучаться не хочет, я знаю,
нежное это родство.

Все это, видимо, страшно некстати,
словом, вполне ерунда.
Тут бы уснуть на траве, на закате,
Глухо, как эта вода.

* * *

От банальности не скрыться
никогда, нигде, никак,
но едва ли стоит биться
головою о косяк.
Ты – конструкция земная,
выполняющая план,
как мгновенная, стальная
истина – аэроплан.
Где подогнаны все части,
энтропии вопреки,
и находятся во власти
человеческой руки.
Только в темном переулке,
где акация в цвету,
не препятствует прогулке
привкус горечи во рту.
На ионы не дробится
в сумасшедшей маете,
вечность ласково клубится
в каждом крошечном листе.

* * *

Там, где пыль на всех предметах
и один большой хамсин,
в черных стоптанных штиблетах
прихожу я в магазин.

И охранник, сгорбив спину,
смотрит в рваный кошелек:
что там – пуля, или мина,
или яда пузырек?

Видит желтые монеты,
три ничтожных пятака.
Так чего опять на дне ты
ищешь, жадная рука?

Не араб я, это видно,
и не слишком-то богат.
Потому мне и обидно,
что ты мне не веришь, брат.

* * *

Вспоминаем Союз, вспоминаем
где-нибудь в Палестине, на дне.
Словно близких своих поминаем,
и увядшая пальма в окне.

Где ты, галстук смешной пионерский,
мой портфель и учебники в нем?
Я иду в кинотеатр по Бендерской,
опоясанный школьным ремнем.

Значит, это действительно было –
первый класс и последний звонок.
И окликнула мать из могилы:
«Ты еще не обедал, сынок».

* * *

Радостный голос ребенка,
эхо забытого сна.
Птица, поющая звонко,
старость – глухая страна.

Жесткий хребет частокола,
черная внутренность рва.
Детство, родители, школа –
просто пустые слова.

В этой рассыпчатой плоти
ты ли? Понять мудрено.
Как в маслянистом болоте –
топкое, жидкое дно.

II

1970 – 1980

* * *

В мое лицо глядят провалами
Два черных выбитых окна.
Цветами трафаретно-алыми
Пестрит разбитая стена.

Фольга конфетная, блестящая,
Куски проводки вкривь и вкось.
И чувство жалобно-щемящее
Идет через меня насквозь.

На месте детства – только впадина
За этой сломанной стеной.
Все то, что временем украдено,
Сейчас прощается со мной.

* * *

Быть может, есть своя гармония и в том,
Как слабо дышит ночь на самой низкой ноте,
Как остывает пар, оцепенев в дремоте
И пленкой водяной покрыв уснувший дом.

Быть может, есть свой смысл в бессмысленности сна,
В той неподвижности, какая наступает,
Когда, как человек, природа засыпает
И в полной тишине другая жизнь слышна.

* * *

Хочу я быть травой зеленой,
Растущей из самой земли
Упрямо, слепо, исступленно,
Хоть тысячи по мне прошли.

Ни вечных тем, ни острых граней,
Ни истин, отроду пустых.
Хочу я не иметь желаний,
А быть простым среди простых.

Пусть человек свою кривую
Дорогу назовет судьбой.
Я полновесно существую,
Не видя бездны под собой.

ИВАНУШКА

Было жарко. Не зная, откуда напиться,
На земле я увидел следы
И из круглого козьего выпил копытца
Перемешанной с ядом воды.

И внезапно упало с меня все людское,
Все, что было мной годы подряд.
И мне стало понятно наречье такое,
На котором вокруг говорят.

И услышал я крик осторожной синицы,
Бормотание древних стволов.
И вошла в мое сердце, ломая границы,
Радость жизни, лишенная слов.

Мой таинственный лес, мое черное поле,
Я на вас не смотрю, как слепой.
Про высокий восторг человеческой доли
Ты, Аленушка, песню не пой.

Лиора Кнастер

ЗАНОВО

В этом городе, имя которому –
воздух и свет,
я могла бы родиться,
но это случилось не так.
Я должна появиться
опять через тысячу лет
только здесь,
а не там,
где морозного инея
знак.

Здесь свое наказанье
оставят огонь и вода,
только воздух, колеблемый духом,
схвачу и найду.
И покинут меня
Уриэль с Люцифером – тогда
я по шаткому мостику
к лестнице вечной взойду.

* * *

Неужели закончилось чудо –
на подмерзшем пути, как слюда,
не ведет в никуда ниоткуда
и уже не зовет никуда.

…Лоскутки разноцветные сшила,
по своим возвращаясь следам.
Неужели я все совершила
И харизму другим передам?

В каждом месте всегда я как дома,
позади затворились пути.

Неужели душа не ведома,
а сама начинает вести?

Обретя за открытьем открытье,
воплощаюсь в пустые слова –
им достаточно только наитья
и не надо уже мастерства.

Перед тем, как исчезнуть во мраке,
раствориться в серебряной мгле,
я оставлю надменные знаки
на печальной и яркой земле.

Где разбился мой дух, как посуда,
где истаял мой пламень, как лед.
Неужели закончилось чудо
и обычная жизнь настает?

* * *

Я всю душу свою отдала нежилым чудесам,
и я взвесила веру свою на незримых весах,
я искала тебя в преисподней и на небесах,
так что, знаешь, любимый, теперь уж ищи меня сам.

* * *

Жизнь моя была сурова,
воздаяние готовь!
Может быть, вернутся снова
сила, юность и любовь.

Может, новое рожденье
воплотит мои мечты,
может, ангельское пенье
я услышу с высоты.

Я всегда была хранима.
И надеяться позволь –
может быть, остановима
нестихающая боль.

Может, звездная дорога
вспыхнет россыпью во мгле.
Поживу еще немного.
На земле – так на земле.

* * *

Пусть даже я сама
грешила против правил,
но тут сошла с ума,
и Бог меня оставил.

Он сердце мне расслабил,
мой дух испепелил,
Он так меня оставил,
что не оставил сил.

На яростной планете,
в реальности, во сне...
Как никого на свете
из всех, знакомых мне!

АДАМ И ХАВА

Мне снились волшебные сны:
как будто бы мы влюблены
В себя ли самих или в Бога –
Неважно. Светилась дорога.
Вдали расцветали оливы,
мы были с тобою красивы,
и нам – по тринадцать лет.
А сердцу и возраста нет.

ПРИМИРЕНИЕ

– Желанна только смерть,
желаннее всего.
Да, Бог немилосерд,
Но я люблю Его.

Остался лишь мотив
и звука торжество.
Да, Бог несправедлив,
но я люблю Его.

– Не надо, не пиши
об этом ничего...
– Я – часть Его души,
и я люблю Его.

Нина Локшина

* * *

По России тоскуют евреи,
По ее лесам и лугам,
По ее театральным премьерам,
По глубоким ее снегам.

Память к старым всегда сурова,
А ко мне сурова вдвойне,
О былом даже доброго слова
Не сумела оставить мне.

Помню только сон неотвязный,
Повторяющийся – о том,
Как брожу по улицам разным
И напрасно ищу свой дом.

И мне кажется: путь мой вечен,
На виду у всех, на свету
Без одежды бреду, и нечем
Мне прикрыть свою наготу.

* * *

Поздний вечер. Четверг.
Оттого мой автобус так полон,
Оттого побирушки с усердием кружки трясут,
И нарядны ряды бесконечных прилавков и полок,
И тяжелые сумки с базара хозяйки несут.

Потому что четверг.
Дремлют люди, устав от работы.
Громоздятся пакеты в проходе, в ногах, на полу,
И на каждом углу продаются цветы для субботы,
И стоят с автоматами парни на каждом углу.

Потому что четверг.
Предвкушенье субботнего пира.
Будут сладким вином серебристые кубки полны,
Но молиться мы будем о капле желанного мира
В этом мире враждебном, которому мы не нужны.

ДОЖДЬ В НЕВЕ-ЯАКОВЕ

Ханукальными вечерами,
Огоньками свечей горя,
Неве-Яаков плывет в тумане.
Где-то бросит он якоря?

Дождь натягивает канаты,
В парусах – ураганный вой,
На военной базе антенны,
Словно мачты над головой.

То штормит, то пугает штилем,
Маяков ненадежен свет...
Сколько футов у нас под килем?
А до пристани сколько лет?

* * *

Вчера – оно вчера... Не вороши. Не трогай.
Куда ни кинешь взгляд – везде сплошной урон.
А нынче я иду кратчайшею дорогой
До улицы Ѓилель от улицы Агрон.

Стоянка. Пабы. Парк. Свет фонарей туманный
На вымокший асфальт течет со всех сторон.
И сеет мелкий дождь небесной сладкой манной
Над улицей Ѓилель, над улицей Агрон.

И каждый будет сыт. Всем хватит понемногу –
Деревьям, и луне, попавшей в сети крон,
И камню, и траве, и мне, что, слава Богу,
Шла к улице Ґилель от улицы Агрон.

* * *

Асе Векслер

Мой поэт любимый, Генрих Гейне,
Был эстет, отнюдь не маргинал,
Немцам не выказывал почтенья,
Но немецкий лучше немцев знал.

Лучше немцев знал он немцам цену,
Был насмешлив, а порою лют,
И его от Гамбурга до Вены
До сих пор своим не признают.

Горе нам, на местных не похожим, –
Душу переделать не дано,
Бесполезно на смех всем прохожим
Окорок повесить за окно.

Но идет за нами речь родная,
От рожденья до могильных плит.
Мы же русский лучше русских знаем,
Если б дал нам Бог так знать иврит!

Но идет за нами чужестранность
Даже в этот предзакатный час.
Ершалаим, боль моя и радость,
Сможешь ли считать своими нас?

КЕМАДЕРО*

поэма

Моей внучке Габриэле

Кто-то скрипку достал из футляра,
Кто-то флейту извлек из чехла...
Что Кастилия мне? Что Наварра?
Там ни разу еще не была...

Наша песня бродила так долго –
Не из тех, что у всех на устах,
Но мотив ее знали не только
В этих Богом забытых местах.

Та же страсть в ней, и те же надежды,
И молитва, летящая ввысь.
И неважно, где жили мы прежде,
И неважно, когда родились.

Расписания, карты, маршруты,
Поезда, самолеты, суда...
Но куда бы ни шли, почему-то
Мы приходим к себе и сюда.

1

Ваше святейшество, многие усиленно распространяют про нас слух, будто все сделанное имеет в виду лишь овладение имуществом осужденных...

Из письма Изабеллы Кастильской
папе римскому Сиксту IV

Как-то нищие монахи –
Арагонские монахи,
И севильские монахи,
И кастильские монахи

* Кемаде́ро по-испански – «площадь огня». Так называется место, где в течение многих веков происходила релаксация (очищение), а проще говоря, жгли евреев на кострах.

Долго голову ломали, где им денежки найти.
А тем временем евреи –
Арагонские евреи,
И кастильские евреи,
И севильские евреи –
Торговали, богатели –
Оттого-то их, евреев, не мешало потрясти.

Брат Филиппо де Барберис,
Добрый ревностный католик,
Был он до кишечных колик
Голоден и брел пешком,
А когда ему встречались
Верховые иль в карете,
То грозил им брат Филиппо
От досады кулаком.

Душным вечером в Севилью
Чуть живым монах приплелся.
Кто бы рюмку мансанильи,
Пирога кусок поднес?
Но никто его не встретил,
И улегся брат Филиппо
На скамейке монастырской
Тихо, как приблудный пес.

Брат Альфонсо де Охеда
Вышел утром помочиться
И увидел пилигрима
Крепко спящим во дворе.
Растолкал он бедолагу,
Принял у него бумагу,
Прочитал, перекрестился
И пропал в монастыре.

Был прелат Никколо Франко
При дворе большой персоной.
Дед его, еврей крещеный,
В детстве пережил погром.

В церковь заскочил со страху,
Там его в купель с размаху
Окунули, окрестили,
Так и кончилось добром.

Брат Никколо взял бумагу
У Альфонсо де Охеды
И, обеда не дождавшись,
Во дворец ее понес.
Позже через казначея,
Обращенного еврея,
Королю и королеве
Переправлен был донос,

Что богатые еврейки
В платьях, золотом расшитых,
Юношей испанской крови
Соблазняли красотой
И венчались с ними тайно
По закону Моисея
Даже на Страстной неделе
Перед Пасхою святой.

Что еврейские семейства
В королевстве христианском
Тайно в ересь иудейства
Обращают нашу знать.
Потому злодеев этих,
С церковью не примиренных,
Следует немедля в руки
Инквизиции предать.

Ждет их суд и обвиненье,
Приговор, позор и кара...
Ложь, обман и вероломство
Им вменяются в вину.
Что касается богатства –
За труды суду отходит
Третья часть, а две другие –
В королевскую казну.

2

Кардинал Диего Деса*,
Что дались тебе евреи?
Ты сражаешься за веру,
Ты велик – но до поры:
Скоро тысячи дукатов
На тебя дождем прольются,
Золотым дождем прольются
На смердящие костры.

Скоро тысячи дукатов
Потекут к тебе ручьями,
Полноводной, словно Тахо,
Вожделенною рекой,
Чтобы ты в ней захлебнулся,
Кардинал Диего Деса,
Со своей преступной бандой –
Жадной бандой воровской!

3

Он шляпу сдвинул, огляделся лихо
и прочь пошел, и снова стало тихо.
Мигель де Сервантес Сааведра, из сонета

Вниз по улочке жаркой, змеистой
Прочь из этого ада,
Там за стеной виноградных листьев
Еле видна ограда.

В доме, где больше меня не будет –
Ни смеха моего, ни плача, –
Воры награбленное считают,
Пьют за свою удачу.

Тропка, бегущая к причалу,
Словно трясина, зыбка,

* Диего Деса – второй главный инквизитор Испании (1499-1506).

Что за музыка там звучала –
Флейта, а может, скрипка?

Воздух чадит – лишь вода морская
Дарит душе прохладу.
Сгинь. Пропади. Я тебя отпускаю.
Мне ничего не надо.

Ветра силу, да чтоб месила
Море моя фелука...*
Родина, как я тебя любил,
А...Чтоб ты сгорела, сука!

4

Но если я сумел перешагнуть
через потоки слез по воле рока,
плывущий вдаль, я этого потока
и этой бездны не страшусь ничуть.
Луис де Камоэнс, из сонета

Мы в Таратуге взошли на борт,
Сон отряхнув и хмель.
С нами поднялся наш адмирал,
Дон Яаков де Куриэль.

Был невысок он, изогнут нос,
Словно носы каравелл.
На верхней палубе он стоял,
Дон Яаков де Куриэль.

В бархатной шляпе, а под ней –
Рыжих волос кудель.
«Слушай, Израиль...», – сказал адмирал
Дон Яаков де Куриэль.

* Фелука – маленькое парусное судно.

Кормчий, и плотник стояли за ним,
И лоцман, черный, как шмель,
«Бог наш един...», – сказал адмирал
Дон Яаков де Куриэль.

И мы молились вместе с ним,
Бродяги, портовая грязь,
Всем сердцем своим и всем существом
Забытому Богу молясь.

Теперь мы вместе, а значит, месть –
Великая наша цель.
«Истинно так», – сказал адмирал
Дон Яаков де Куриэль.

Слаще дукатов блестящих звон,
Чем соловьиная трель.
«Это уж точно, – сказал адмирал
Дон Яаков де Куриэль. –

Хватит нам золотом набивать
Тощий испанский кошель.
Знаем, чем расплатиться», – сказал
Дон Яаков де Куриэль.

Нет и не будет у нас друзей,
Как не было их досель.
«Нет и не будет, – сказал адмирал
Дон Яаков де Куриэль. –

Значит, нож – наш защитник и друг,
А море – наша постель.
Мы не убийцы», – сказал адмирал
Дон Яаков де Куриэль. –

Есть и у нас своя земля –
Наших отцов колыбель.
Амен», – прошептал адмирал
Дон Яаков де Куриэль.

5

А вот тебе золото
В натруженных лодках,
А вот и рабы
В кандалах и колодках,

А вот тебе армады,
Флоты, галионы,
А вот тебе алмазы
Для твоей короны.

Вельможа испанский,
Что с тебя толку?
Немытый, блохастый,
В одежде из шелка.

Знатного рода,
Ступаешь гордо,
А вот и гаррота*
На твое горло!

6

О звезда, твоим сияньем лишь одним живу, дышу я.
И в тот миг, как ты погаснешь, в тот же миг умру и я.
Мигель де Сервантес Сааведра, из сонета

Как всегда... Остатки зноя съела мгла,
И звезда Лусеро** надо мной взошла.
В тесной камере, в решетчатом окне
Огоньком свечи она казалась мне.

Блеском молний и сверканием мечей
Отняла она меня у палачей.

---

* Гаррота (испанский) – обруч, стягиваемый винтом, – орудие пытки или смертной казни путем удушения.

** Звезда Лусеро – так испанцы называют планету Венера, ярко горящую в ночном небе.

И в бессоннице тропических ночей
Ярче не было ее и горячей.

Но однажды за кормою в темноте
Поплыла она за мною по воде.
И не я ее – она меня вела
К той земле, что мне обещана была.

Я молю, седую голову склоня:
Мы у цели, не оставь теперь меня!

7

Лети, корабль, лети вперед!
Мы покорим с тобой
и ярость гневных, бурных вод,
и мощь вражды людской.

Хосе де Эспронседа «Песнь пирата»

Цфат, Цфат,
Как фрегат,
Ты плывешь по небу наугад.

Цфат, Цфат,
Неба скат
Светится короной в сто карат.

У тебя, Цфат,
Строгий наряд,
Тихая мелодия. Мудрый взгляд.

Цфат, Цфат,
У твоих врат
Я стоял, как брат твой, младший брат.

Плакал, винился –
Виноват,
Что к тебе явился под закат.

Цфат, Цфат,
Свечи горят.
Замолкают скрипки. Шабат.

8

Лепестками салюта
Осыпает дома,
Скрипки буйствуют люто,
Флейта сходит с ума.

Пляшут истово дети,
Вьется танец-змея,
И, забыв все на свете,
Пляшет внучка моя.

Я бы тоже плясала
От утра до утра,
Но беспечной не стала,
Оттого что стара...

Я бы тоже скакала,
Закусив удила...
Что я раньше искала?
Где я раньше была?

От автора

Герой поэмы – один их тех, кому удалось бежать от инквизиции. Он нанялся на пиратский корабль вместе с такими же, как он, беглецами. Еврейские пираты грабили испанские караваны с драгоценными грузами из Америки. В конце своей жизни герой прибывает на Святую Землю и селится в Цфате. Это не придумано – исторический факт. Есть и еще один герой, вернее героиня: я – автор.

Роман Любарский

* * *

Восходит белая луна.
И свет ее, как пыль, ложится
На наши сумрачные лица,
В которых завтра отразится
Твоя вина, моя вина.
Мы расставались долго. Долго…
И не вчера, не год назад
Был нами позабыт, оболган
Святой обет любви и долга.
Кто в этом больше виноват?
Нелепы споры… В самом деле.
Заходит белая луна.
И соловьи уже отпели.
И спит калачиком в постели
Твоя вина, моя вина.

* * *

С. К., поэту, барду

Смятенье ли в глазах? Азарт?..
Впились прожектора. А за
Тобой
Две тени – накрест –
В схватке.
Их вздохи то горьки, то сладки.
А впереди – стоглазый зал,
Здесь не сыграешь в прятки.
Гитары дрогнул позвонок,
Но ты перешагнул порог,
Весь на виду у мира.
Что? Слезы? Нет, я просто взмок.
Не бог, не полубог – я б смог
Для вас и лучше спеть. Но впрок
Не сотворю кумира.

Нужна крупица шутовства,
Полпригоршни печали
Да немудреные слова,
Чтоб струны зазвучали.
Отдать вам душу?
Черта с два!
Душа – покуда не вдова.
Ее осудит не молва,
Но ангел за плечами!

* * *

Терпи... Нам велено терпеть.
Мечтай! В мечтах мы можем слиться
Судьба – не мед... Любовь – кислица
Усни. И пусть тебе приснится,
Что ты со мной, моя жар-птица,
Не разучившаяся петь.

* * *

На перекрестке двух судеб
Звезда, и дерево, и камень.
И разделен насущный хлеб
Неравноценными кусками.
И ты не знаешь, как горька
Моя краюха и судьбина...
Вот снова дрогнули слегка,
Как будто крылья мотылька,
Ресницы дремлющего сына.
На перекрестке двух судеб
Звезда упала, срублен ясень
И весь, до крошки, съеден хлеб.
...Исход судеб до боли ясен.
Дай боже, чтобы я ослеп,
А мир все так же был прекрасен!

* * *

Прохладные крылья тумана
Касаются ясного лба,
И гордо, и тайно, и странно
Проходит меж нами Судьба.
О, хрупкая женщина в белом,
Чьи волосы ветер настиг,
Хотел бы и сердцем, и телом
Я слиться с тобой в этот миг.
И жизнью своей заплачу я
(Прими эту клятву сейчас)
За вкус твоего поцелуя,
За светлую магию глаз.
Но в промельках лунного света –
лишь тени раскрывшихся крыл…
– То ангел со мной говорил? –
Не слышно в тумане ответа.

* * *

Ни памятки,
ни семени,
        ни глотка,
из дальнего,
из прошлого –
        ни-че-го.
Лишь лицо в сиянии
        легкого платка,
слово в оперении
        легче птичьего.
А тому – далекому –
        двадцать лет,
десять лет – тому,
        не-за-бытому…
Ворону залетному,
        ненасытному,
в памяти моей
        места нет.
Я гоню его –
        он вздымает грай.

Он клюет росу –
жемчуг колотый.
Я молю грозу:
«По-ка-рай!»
Небеса в ответ
дышат холодом.
Я сотру росу –
ту, из памяти,
принесу тебе
черный хлеб с вином,
вытру лоб рукавом
от испарины
и пойду назад
по крутой тропе.
Не зови – меня
на порог не вернуть...
То ли конюх пел,
то ли конь храпел,
черный ворон взлетел –
указал мне путь.

СКОЛОК СНА

Спальни ведьм и залы пугал –
Вниз уходят этажи...
Черти чертят чертежи.
Ты им только подскажи,
Где тупее сделать угол
Как убежище от лжи.

* * *

Сотрем с наших губ хоть на час пересуды и споры
И станем тобою, забытый пейзаж в январе...
Мы – белое солнце, что в дымке уходит за горы,
Сосуд тишины, что звенит на вечерней заре.
Мы – крылья простертые малой испуганной птахи,
Что будет кружить дотемна над упавшим гнездом.
Увы, не стереть с наших душ все сомненья и страхи.
Трепещет закат, как душа перед Божьим судом.

Зинаида Палванова

В КОНЦЕ ОЧЕРЕДНОГО ГОДА

То в конце, то в начале дороги
я на радости сердце ловлю.
Я люблю подводить итоги.
Строить планы тоже люблю.

Перед жизнью восторг телячий
не убить во мне суетой.
Я люблю эти игры с удачей,
я люблю эти игры с мечтой.

Чья рука подсыпает перца
в это блюдо, что съем до конца?
Верю в Бога-единоверца –
игрока, подростка, Творца.

Сердце планы строит невольно,
счет победам и бедам ведёт.
Ночью гляну туда, в небосвод, –
бесконечно и *нольно*...

* * *

Ах, почему с тобой, осенняя природа,
я с детства чувствую невольное родство?
Печаль и тишина – не женского ли рода?
Конечно, женского, конечно, моего!

Мы сестры под присмотром небосвода.
Я повзрослела, только что с того!
Несчастная любовь – не женского ли рода?
Конечно, женского, конечно, моего!

Вдруг солнце незадолго до захода
озябшее пронзило естество.
Счастливая любовь – не женского ли рода?
Конечно, женского, конечно, моего!

Уж если умирать, то год от года
свободней становясь ото всего.
Свобода крон пустых – не женского ли рода?
Конечно, женского, конечно, моего!

Ах, скоро навсегда изменится погода.
Легко нахлынет снега торжество.
Любовь, свобода, смерть – не женского ли рода?
Конечно, женского, конечно, моего...

* * *

Землетрясенье в Японии –
шлю «емелю» подружке старинной.
Наводненье в Америке –
волнуюсь за бывшего мужа.
Взрыв на шуке Кармель –
где мой сын?

Страшный зной в Европе –
как там ты?
Теракт в Москве –
спешу к телефону.

Итак, получается,
что чуть ли не все и везде
нынче лично меня касается.

Земля и взаправду стала круглая –
как дурочка или отличница.
А глаза у нее – квадратные,
как телевизор.

* * *

Факт непреложный, хоть и огорчительный:
навек провинциалка, полукровка,
я просто не умею быть значительной –
неловко.

Хожу и говорю я замечательно,
умею врать по-взрослому вполне,
я сына родила, но окончательно
не вырасти на этом свете мне.

Робеть я никогда не перестану.
От робости мила я и смела.
И если я значительной предстану,
то это будет значить – померла.

ВО ДВОРЕ

Пушистый дворовый котик,
отзываешься ты на речи мои,
значит, все понимаешь.
Того гляди, приручу!

Уже глазки ты жмуришь,
уже ластишься ты к ногам,
поджидаешь меня у дверей.
Того гляди, приручу!

И узнаешь ты, что такое ласка,
и узнаешь ты, что такое нежность,
и научишься ты мурлыкать,
и научишься тосковать.

Станешь ты доверчивым,
станешь ты беззащитным.
Все это плохо кончается,
бедный мой котик.

Собаки водятся в нашем дворе,
жестокие дети водятся в нашем дворе,
люди с антикошачьими взглядами
водятся в нашем дворе.

Пушистый дворовый котик,
надо мне уйти поскорее,

потому что невидима кромка,
потому что бессовестно глажу тебя,
потому что уже мурлычешь ты
безрассудно и громко...

* * *

Машке-экстремашке

Худенькая девочка глазастая,
стали мы подружками, кажись!
За твоим столом кухонным запросто
говорим за непростую жизнь.

Я – живая, здешняя, вспотевшая,
не пора меня сдавать в музей,
но давным-давно осиротевшая,
старших потерявшая друзей.

Я была тогда вполне молоденькой,
а теперь молоденькая – ты,
рассудительная, с темной родинкой,
укротительница высоты.

Нынче я, так получается, за старшую...
И смотрю я, время не кляня,
на доверчивую девочку, заставшую
на земле стремительной меня.

СИМПОЗИУМ В БАР-ИЛАНЕ

Тут зелено, тут университетно.
Наушники снабжают переводом.

А после вкусного бесплатного обеда
Тут греются на солнышке умы.

Тут бродит кот, простой гуманитарий,
специалист по текстам лукоморья.

Предмет симпозиума – это мы,
израильские русские поэты.
О нас докладывают на иврите.

Лишь скромно торжествующий акцент
напоминает нам о нас, пушинках-ядрах,
несомых смуглым кучерявым ветром
словесности российской...

ФЕВРАЛЬ

Осознала вдруг, что слово изменилось,
что сменил окраску мой февраль
и сквозит в нем божеская милость –
бледно-розовый цветет миндаль.

Синие растаяли сугробы
в зимнем слове. Лед истаял весь.
К неизменному соседству злобы,
словно к солнцу, мы привыкли здесь...

День короткий скоро потемнеет,
но, пока не наступила тьма,
в отсыревшем слове зеленеет
иерусалимская зима.

Вот закат. И в слове затаилась
дымчатая, цепкая печаль.
И сквозит в нем божеская милость –
бледно-розовый цветет миндаль.

ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ

Ах, первое апреля – день особенный,
первоапрельских розыгрышей день.
Сквозь годы он идет со мной, сквозь родины...
Шутить мне вроде бы еще не лень.

Винца я дерну красного и терпкого
и с веселящим ящиком сосну.
Ох, обмануть мне нынче просто некого.
Ну, разве что себя я обману!

Своими картами вполне довольная,
сама себе хозяйка и раба,
весенний пот рукой смахну со лба
и вздумаю, игрунья добровольная,
что не нужна иная мне судьба.

Что ничего другого и не хочется,
что равнодушна к лучшим из мужчин,
что нет, не жажду ни любви, ни почестей,
ни денег, ни отсутствия морщин.

Сама с собою первого апреля
так пошутив, развеселюсь до слез,
разоблачу себя и не поверю.
И соглашусь на чудеса – всерьез.

Ирина Рувинская

* * *

Ю. Винер

не доросла в отечестве до отчества
бегала а не ходила
слишком быстро говорила
слишком много смеялась
слишком глупо влюблялась
одевалась из комиссионки на сумской
стреляла десятку до получки

и тут те же самые штучки
не хожу а бегаю
говорю слишком быстро
смеюсь слишком много
влюбляюсь слишком глупо
одеваюсь из магазина «лев ирушалаим (бли айн ра)*»
стреляю сто шекелей до конца недели

ох не будет из тебя ирка путной старухи
а ведь в самом деле
остепениться пора бы
только тут ведь ни отчества нет
ни отечества
и слишком часто в автобусах ездят
молодые арабы

* * *

поселенец
поселенец бородатый в кипе
большие усталые руки
что тебе во мне
мне в тебе

---

* «Сердце Иерусалима (тьфу-тьфу, не сглазить бы)» (*иврит*) – самый дешевый магазин одежды в Иерусалиме, ныне уже не существующий.

мои дети моложе
чем твои внуки

в этой земле мать у меня
у тебя жена
поселенец
поселенец бородатый
в городе другом
в городе одном жили мы когда-то
в чем моя вина

в том что просто
бродить с тобой хорошо
что ищу я
а ты нашел
поселенец
поселенец

* * *

А. Кучерскому

Сборищ наших невинных,
не гулянок, а так, посиделок
в коммуналочках тесных
на креслах и табуретках,
наших споров длинных
без бутылок и без тарелок,
за город вылазок –
впрочем, довольно редких –
время прошло. А пришло
время браков не слишком удачных,
кооперативных домов
и домиков дачных,
время гулянья с колясками
и посещения школьных собраний...
Кто это там, не слишком уже молодой
и явно не ранний,
все норовит увести разговор
от вопросов конкретных
в область журнальных баталий,
дискуссий газетных?

Тема это больная,
но трогай ее, не трогай –
где они, спорщики?
Как изменились их лица!
И лишь один,
на кого смотрю с нежностью и тревогой,
рядом всегда –
не приблизится, не отдалится.

* * *

На машинке письмо
отстучит,
рядом буквы на ней – «л», «б», «ю»...
Ведь казалось –
в яблочко бью,
только яблочко
страшно горчит.

* * *

То ли ребенка второго рожать,
то ли из дома бежать – научи.
Слова не вымолвить,
пальцы не сжать,
все растеряла ключи.

Ты-то безгрешный, ты-то хорош,
мне-то давно уже грош цена,
вот за бесценок
и отдаешь
этой жизни меня.

Кем-то была, что-то могла,
не целовал – просто позвал.
Суженый мой
прямой, как стрела,
вот и разит наповал.

Звезды над нами стояли одни,
кто-то судил, кто-то сводил...
Я не прошу ведь – верни те дни,
ты мне
меня верни.

* * *

Хочу, чтобы где-то и ты проснулся,
чтобы и ты...
О, какой ливень, как хлещет с небес,
отделяя
от осени лето!..
Иди. Тебе не желаю беды.
Знаешь сам, я не злая.

Вот и простились.
Не позову.
Все тише по стеклам ночным капли,
все реже...
Засыпай теперь.
Зря боялся – и наяву
улыбнулась бы
и слова бы сказала те же.

* * *

Точильщик мне наточит нож,
и я тебя убью.
В. Яновская

Точильщик не наточит нож –
сама я наточу.
Тупым картошку чистить что ж,
тупым
я не хочу.
Свой у меня лежит брусок,
тяжел
и угловат...
А разобраться, ведь и ты
ни в чем не виноват.

ФЕВРАЛЬСКИЕ ФРАГМЕНТЫ

1

стоит лишь выпить
по чашечке кофе «афух»
в полупустом и холодном кафе после двух
и посмотреть друг на друга
чуть более пристальным взглядом
город назавтра
дрожит от подземных толчков
а послезавтра
его занесет снегопадом

2

на пурим дождь
(а может на пурим)
ты ждешь
ну что ж давай поговорим
поговорим
хоть что-нибудь спасем
ты помнишь
дочка повторяла
«дождь посём»

3

никто ничего не изменит
не спрашивай почему
никто никого не заменит
ни мне ни тебе ни ему

и давнее это имя
я выговорить не смогу
ах снег в иерусалиме
иерусалим в снегу

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

1

там трудно было лица разглядеть
и было тихо дымно и прохладно
а кто-то думал где я ну и ладно
другой не знал куда окурок деть
когда в проеме темном ты возник
ты спас меня мы оба это знали
и нить соединяла нас в тот миг
тревоги благодарности печали

свет маленькой свечи был желто-бел
наверно целовались за стеною
и тут не уходи побудь со мною
негромкий женский голос вдруг запел
все это так немыслимо совпало
и кто потом посмел бы упрекнуть
сама не знаю что мне помешало
тогда шепнуть не уходи побудь

кричит сплетенье линий на ладони
твоя любовь большая позади
и каждый миг в притихшем каждом доме
звучит побудь со мной не уходи

1975

2

был алтын и сразу ни гроша
будет золотой?
какая ересь
и тоскует бедная душа
и томится
в радости изверясь

ах душа да что нам золотой
ведь и грош по правде
ни к чему нам

нам бы лишь воды хватило той
той воды
с весенним светом лунным

одолели мы с тобою путь
видишь
луч пробился из колодца
там ее на донышке
чуть-чуть
даром но не всем
она дается

1984

3

зачем на сколько можно ли нельзя ли
что скажут тут и там
гадать об этом не пристало нам
но все как будто стало по местам
что раньше мы не додали
не взяли

и тихий свет
тревожен и неярок
и ты не врешь
и кажется пока
что все-таки хорош
последний твой о господи подарок
неважно золотой
алтын ли грош

2004

* * *

потому что я полутьма а ты полумрак
но сейчас мы друг другу кажемся светом
мы молчим и холодные пальцы сплетаем так
будто путь этот
нам неведом

не молчи ради бога
ведь можно сойти с ума
оттого что рука так сжимает руку
даже если ты мрак
а я непроглядная тьма
но сейчас мы кажемся светом друг другу

* * *

милый
в комнате этой редко ветром ночным сквозит
не выдумывай только что долго
навстречу по жизни шли мы
ну зачем нам скажи этот списанный реквизит
шли недолго мы
шли сырым в темноте зеленеющим садом
а вот стояли на послевоенном шатком мосту
долго и вправду
как странно что кто-то рядом
что вместе с кем-то в дом свой сейчас войду

ничего друг о друге не знали кроме имен и фамилий
мимо ходили
были на вы даже выпив на брудершафт
что милый
да спешат минут на пятнадцать спешат
знаю в темном настое живом есть и смертельные травы
но все равно моя моя это чаша
не отведу
лишь бы звучал и звучал твой голос глухой и картавый
как тогда на мосту в темном саду

* * *

сегодня не увидимся опять
гулять болтать стихи читать и спать
«смыкая вожделенные объятья»
ну что это такое
вот опять я
но завтра не увидимся опять

Григорий Трестман

* * *

Нам не дано предугадать,
Как мы друг другу будем лгать
И как вранье свое забудем.
А ложь беспечна и бела,
Как в вене легкая игла,
Но мы друг друга не осудим.

Нам не дано узнать самим,
Как мы друг друга предадим,
Как нас родные предавали.
Мы жили в радостной беде,
И дело нынче не в суде,
Мы и обидимся едва ли.

* * *

Созываю последних любимых за праздничный стол,
А ушедшим стопарики полные ставлю, как свечи.
Сколько выпито было бутылок – сто тысяч и сто!
Как вольны и как радостны были застольные встречи!

Стол был тесен и свят… А сейчас мы свободно сидим,
И еда остается в тарелках, и водка в бутылках,
И уже не пьянит сигаретный полуночный дым,
И прозрения наши, и споры трезвы и не пылки.

Поименно стопарики ставлю… Еще вот один,
Чья душа не рождала ни дрязг, ни обид, ни измены.
С тех сторон бытия, средь небесных безгласых долин,
Он еще новичок между мертвых и меж убиенных.

Он еще полуплоть, полутень, полудух, полужив.
И в пустыне, прислушавшись заполночь к песьему лаю,
В краткий сон уходя, и тяжелые веки смежив,
Я к нему свою душу на вещий совет посылаю.

Ведь тела наши взяты на съем, а скорее – на слом,
Мы лишь гнезда для душ, ну а души – всегда на отлете.
Как тебе там? Вы вместе уже, и за вашим столом
Снова тесно и весело, вы нас бестрепетно ждете.

В словаре замогильном у помнящих нету нужды.
Мне убитый понятней стократ, чем живущие твари.
Я охочусь на Бога – к могиле приводят следы...
Кто ж нальет в мою хищную память последний стопарик?

ХОР МЕРТВЫХ МЛАДЕНЦЕВ

(из мюзикла «Голем»)

1

Перевернут небосвод,
Вымазан золой.
Тихо водят хоровод
Дети под землей.

В горле глохнут смех и крик,
Если вырвали язык.

Добрый ангел деток сам
Целовал в уста.
После бил их по глазам,
После – слепота.

Жаль, что мертвым детям сны
Сквозь глазницы не видны.

Вместо трепетных зениц –
Череп, черепки.
В глубине пустых глазниц –
Мрак и червяки.

Под землею хоровод
Воскрешения не ждет.

Мы придем на Страшный Суд,
Назревает час.
Ваши дети проклянут
До рожденья вас.

Если снов мы лишены,
Мы заселим ваши сны.

2

Что такое воздух гетто?
В окнах светится беда,
Вдох и выдох под запретом –
От рожденья навсегда.

Что такое воздух гетто?
Жди с утра дурную весть.
Солнца не было и нету,
Хоть понятно: солнце есть.

Что такое воздух гетто?
Вечный стыд и вечный страх.
Десять раз подбрось монету,
Девять выпадет на «крах».

Что такое воздух гетто?
Мы – грудные малыши.
Ты не спрашивай про это,
А возьми и подыши.

3

На еврейском кладбище – весна.
Холм Нефеле – детские скелеты.
Катятся слезинки-времена:
Лишь моргни, и на излете лето.

Тесно ли в могилах мертвецам?
После смерти их удел несносен.
Ты умри и полежи здесь сам…
Оглянуться не успеешь – осень.

Ты не торопись сходить с ума,
Воскресай из мертвых до рассвета..
Снег кружит, на кладбище зима...
Наступает кладбище на гетто.

Спят надгробья – людям не до сна.
Не запачкай лоб кровавой слизью.
А вокруг на кладбище весна.
Кладбище живет своею жизнью...

4

Смерть во всем нам потакает,
Год за годом, день за днем.
Взрослый к смерти привыкает,
Мы с рожденья в ней живем.

В смерти ты не встретишь боли,
И печали, и стыда.
Для себя ты лучшей доли
Не отыщешь никогда.

В мире смерти нет вины,
В мире смерти нет суда.
От погрома, от войны
Эмигрируй к нам сюда.

Смерть не знает слова «голод»,
Бед не ведает скелет.
Наплевать на то, что голый,
Что души и сердца нет.

Наплевать на муки ада,
И на солнце, и на снег.
Ничего нам здесь не надо –
Ныне, присно и вовек.

В мире смерти нету мук.
Здесь равны и век, и миг.
Все в один сойдутся круг,
Каждый здесь равновелик.

Мертвых смерть не судит строго,
Все равно истлела плоть.
Смерть добрей и лучше Бога.
Может, смерть и есть Господь.

Смерть не ездит на машинах.
Смерти некого спасать.
И когда придет Машиах,
Мы не станем воскресать.

Смерть – и родина, и дом.
Мы из смерти не уйдем.
Пусть проходят сотни лет:
В мире смерти – смерти нет.

ЗОНГ ГОЛЕМА

Коли вправду нет судьбы иной,
Коль душа и память в ней – навечно,
Как живется вам в Тогда со мной
В Там, где мы желанны и беспечны?

Как живется вам со мной в Тогда,
В Там, где ваши губы, руки, плечи
Заслоняют мир и есть беда
горше всех иных – беда невстречи?

Как живется вам в Тогда со мной, –
Не сокрыть, не умолчать об этом, –
исходящей семенем весной,
сумеречным, плотоядным летом?

И казалось: это навсегда,
И казалось: не иссякнут силы.
Как живется вам со мной в Тогда?
Я лишь слышу голос из могилы:

«Как живется вам со мной в Сейчас,
когда нету ни меня, ни вас?»

МАРК ШАГАЛ В МЕА-ШЕАРИМ

Пожухлая пальма, сухой кипарис,
Проулок течет по булыжникам вниз.

Под пальмой еврей: перекошенный рот,
Он что-то в мобильник орет и орет.

Уже раскалился в руке телефон,
По «местной» выходит на Господа он.

А крики его бесконечно скромны:
Немного деньжат для детей и жены,

Да в доме пора перекрасить фасад,
Да это, да то…
Но молчит адресат.

Кто выше тебя – на того не гневись.
Проулок с евреем взбирается ввысь.

Еврейские просьбы молитвам сродни,
И впрямь превратились в молитвы они.

Проулок взбирается выше небес,
А сам бы на небо еврей не полез.

И неба, и Бога боится еврей:
немного деньжат для жены и детей,

да в доме пора перекрасить фасад,
да это, да то…
Возвращайся назад!

Тягаться с нездешними силами брось,
Ты вечность пройдешь ненароком насквозь,

Ты сферы Господни протрешь, как штаны,
И выйти рискуешь с другой стороны.

А он все талдычит без лишних затей:
Немного деньжат для жены и детей,
Да это, да то…

* * *

Когда бы я в угодливом поклоне
Полета под луной не разгадал –
Не прописал бы вас на небосклоне
И не явился б миру Марк Шагал.
Коль кроме Бога нет другого клада,
Ты не в могиле – в жизни с Ним играй...
Я поднимаю не с земли – из ада
Мое Местечко, и не в небо – в рай.
Все кувырком на праздничной планете!
Лишь вверх ногами может жить еврей.
И я ли первый виноват на свете,
Что холст порой художника мудрей?..
Раввину мой портрет почти что впору,
Чуть тесноват, а так – ни дать, ни взять.
Он въедливо и вечно учит Тору,
Чтоб на ошибки Богу указать.
Бог бесконечен, стало быть – бездомен,
Нет у бессмертных кисти и холста,
А мой приют убог, крылат и скромен,
В нем шепчутся длина и высота.
Не столь высок мой небосвод фанерный,
Но независим: всяк себе лети.
Длина есть путь со смертным соразмерный,
А высота – дух, выросший в пути.
Поэтому во времени полотна
Вбирают память всех людских дорог,
И воскресают в рамах неохотно –
Лишь призовет их демиурга Бог.
Останови свои часы и сердце,
Оставь свой стол, мольберт или верстак
И сам собой умри в полете так,
Чтоб не заметить суетливой смерти...

* * *

В местах, где существует связь времен,
Обычно время чувствует усталость
И держится на перечне имен,
Которым безразличны смерть и старость.

Не будучи религиозным сам,
Ты вдруг воспримешь сумму вещих знаков,
Едва коснется слуха: Авраам,
Менахем, Сарра, Исаак, Иаков.
Чем имена судьбинней и древней,
Чем дети – их носители – моложе,
Чем больше сил скопилось у корней,
Тем ярче виден свет сквозь бледность кожи.
Избыло время цифровой отсчет:
Среди камней и кактусов колючих
Оно не то стоит, не то течет,
Подобно исполинской зимней туче.
Во времени проходят харедим*,
И каждый остается невредим.

. . . . . .

Здесь виден Бог, поскольку Бог незрим.
И это не софистика. Тем боле
Ты не постигнешь Меа-Шеарим,
Покуда ты живешь в своей неволе,
Покуда Бог тебе – пусть Бог, но Он –
Пусть высшая, но все ж – из оговорок.
Покуда тени рубят весь район
На сто ворот и тысячи задворок.

* * *

Лавчонки, магазинчики, ларьки,
И свитки, манускрипты, фолианты,
В тисненой позолоте корешки,
Обрезы и расцвеченные канты.
Три тыщи книг, иль тридцать тысяч книг,
Иль тридцать тысяч раз по тридцать тысяч.
И здесь ученый каждый – ученик,
И каждый знак на камне можно высечь.
Все комнаты – в следах кошачьих лап,
В какую дверь ни постучи – открыто.

---

* Харедим (*иврит*) – букв. «богобоязненные» – самоназвание ультраортодоксальных евреев.

И островки плывущих черных шляп,
Да идиш с пересверками иврита.
Мушиный хор над выжженной травой,
Идет еврей вымаливать бессмертье.
И нищий – неподкупный постовой –
Всех проверяет здесь на милосердье.

* * *

Уж если время делят на года,
И мой надел – условных лет владенье,
И меж началом и концом всегда
Мной верховодит это заблужденье,
И если мне воздался некий срок
В такое-то число сердцебиений,
И даже этот каменный порог
Просуществует столько-то мгновений.
И если мне душа дана взаймы
Всего на сотню вздохов благодарных
И нет надежды выйти из тюрьмы,
Решеток не осилить календарных, –
Зачем кружу по улочкам опять?
Ужель взаправду я открыт прозренью,
И силюсь время, Господи, понять
Под светлою Твоею темной сенью?..

* * *

Я видел Вифлеемскую звезду,
И не одну, и даже не однажды.
Но не был я томим духовной жаждой
И не ходил у звезд на поводу.
Давно устали звезды от волхвов,
Поскольку страсть спасения и чуда
Рождает всех, и раньше всех – Иуду,
И тьмы, и тьмы, и тьмы иных богов.

Коль ждут Мессию – он опять придет,
А коль придет – он снова будет предан.
Сюжет не нов, но нами не изведан.
Изведаем, и он произойдет.

За легионом сгинет легион
Спасителей, согласно их природе.
Лишь истинный Мессия не приходит,
Не дай Господь, у нас родится Он!

Прочертит небосвод метеорит.
Пустыня в забытьи, предгорья немы.
Горит, горит звезда над Вифлеемом,
И под звездою Вифлеем горит.

* * *

Всмотрись в оконный каменный проем,
В решетчатый, сквозной провал пещерный,
И ты увидишь: черный окоем
Вращается, как безголосый жернов.

И если треснет в этот миг окно,
осколки вспыхнут отражением Бога,
Чего Тебе увидеть не дано.
Ты только гость, ступай своей дорогой.

* * *

Когда в Иудейской пустыне вечерние псы
Сбиваются в стаю, они забывают о доме.
Желтеют белки от луны, застывают носы,
Клыки их дымятся, их когти томятся в истоме.
Былое величие волчье вздымает их шерсть,
Они не дворняги уже, но еще и не волки.
Да сколько их – десять, двенадцать, а может быть, шесть?.
Беззвучно плывут, как разбитого неба осколки.

Не дай тебе Бог повстречать их в потерянный час:
Ты в страхе застынешь – и стая застынет без страха,
Ты двинешься – двинется стая и дюжина глаз
Тебя просквозит от затылка до самого паха.
Еврей устрашится, араб стороной обойдет,
А кто повстречается – будет разорван без лая.
Они совершают молитву – наземный полет,
В собачьем язычестве жертвами путь устилая.
Незримый вожак пролагает невидимый след,
Хозяев не помнят собачьего сердца удары.
Они у предгорий Моава встречают рассвет,
Который снимает до вечера лунные чары.

Владимир Френкель

* * *

Стихи о свободе и смерти,
Из самых последних, из тех
Стихов, что в закрытом конверте
Укроем совсем ото всех.

Стихи о покое и воле,
Как сказано было давно,
Слова и слова, и не боле,
А более нет ничего...

Когда, ни о чем не заботясь,
По берегу моря пройдем,
Волна отпечатает оттиск
Песчаный – и тут-то поймем,

Что мы загостились, однако,
На этом земном берегу,
И впрямь не заметили знака
На мокром песке, на бегу.

* * *

И ничему не возродиться
Ни под серпом, ни под орлом.
Георгий Иванов

Повсеместно обломки Эллады
На камнях, на песке, островах.
То базилики часть, то ограды,
Средиземное море в глазах.

То ли греки, не то византийцы,
То в истории темный провал.
Мореходы, торговцы, убийцы,
И монахи, и четок сандал.

Слишком много веков пролетело.
Равнодушное время ушло.
И философы нынче без дела,
И поэтов всего ничего.

Как промолвил угрюмый вельможа:
Не такие, мол, царства, гляди,
Пропадали как в воду. Ну что же –
Все империи здесь позади.

Что же делать, скажите на милость,
Если время закончилось тут,
Что история не пригодилась...
А смотри – без нее и живут.

* * *

Когда-нибудь мы все узнаем
О жизни прожитой, когда
Над переулками окраин
Засветит первая звезда,

Над переулками и садом,
Над этой бедною землей...
И все-то оказалось рядом
Перед чертою городской.

Подумать, сколько пролетело,
Да уместилось в полчаса,
А там уже не наше дело,
Не наши сны и чудеса.

Вот город кончится, и сразу
За городом, за краем, там
И впрямь придет конец рассказу,
И сновиденьям, и стихам.

* * *

Венеция медленно проплывает,
Как будто пустилась в дальний путь.
Наверно, в вечности так бывает:
Никто не знает – куда, и пусть.

Где вид дворцовый, а где картинка
Всего лишь в книге... Пройдут года –
Никто не помнит, с какого снимка
Проходит берег, рябит вода.

Полдневным светом слепит в лагуне
Глаза. Но виден уже причал.
Венецианке – девице – лгунье
Когда-то встречу я обещал.

Так вот «застроенное пространство»
Свиданье с ним, как сказал поэт.
Секрет сиянья венецианства –
Стоянье вод и теченье лет.

Наверно, к полудню будет жарко.
Толпа туристов. Никто не ждет
Меня в соборе святого Марка,
Куда неспешно течет народ.

Смотри: канал покрывает ряска.
Дворцы и площади клонит в сон.
А вся Венеция – только маска
На карнавале былых времен.

* * *

Всю жизнь проведя за оградой
Родного насквозь языка,
Я думал: и ведать не надо,
Куда разбежится строка.

Ведь это свобода, свобода –
Прекрасная речь бытия –
От почвы, страны и народа,
Да что там, народ – это я.

Я знал: за воздушным простором
Исчезнет пейзаж городской
И сменится светом, в котором
Свободу найдешь и покой.

Но это не пригород, это
Не дачный просвистанный лес,
Не море из детства, а где-то
Свиданье у края небес.

Свиданье у края забвенья
И речи со всей прямотой,
Где слов не найти примиренья
С нежданной своей немотой.

СТИХИ О БЕССОННИЦЕ

Лампа светит вполнакала,
И на улице темно.
Света мало, жизни мало.
Неба узкое окно.

Мир сужается, покуда
Дело к ночи подойдет.
Время тикает повсюду.
Слышен маятника ход.

Мрак просвечивает скучный
Сквозь кромешное стекло.
Шепоток почти беззвучный:
Ваше время истекло.

Время сгинуло, пропало.
Тут ничем нельзя помочь.
Дело к ночи. Света мало.
Час за часом. Время – ночь.

* * *

Как вскрикнула жизнь на лету.
В. Н.

По часу, кругами, кругами,
То медленнее, то быстрей
Мелькает листва под ногами
И небо меж голых ветвей.

Далекая сталь небосвода,
Земля неприютна на вид...
Но знаешь, какая свобода
На этом пути предстоит?

Нежданное освобожденье,
Потеря – единственный дар,
Как пестрое листьев круженье,
Осенний холодный пожар.

И вспомни о ласточке что-то
Под вечер, на старом мосту,
Где жизни не хватит полета
Припомнить стихи на лету.

И до обозначенных сроков
Достанет ли, Господи, сил
На вскрик, о котором Набоков
Уже никогда не забыл.

Придется и нам безобманно
Припомнить, прочесть, пережить
Стихи о свободе... Но рано
Об этом еще говорить.

* * *

Осень. Прибалтийская погода.
Свет и ветер явно заодно.
Близкое смятенье небосвода
Чуть ли не врывается в окно.

Наконец-то – полное дыханье,
Да на всю земную круговерть,
Истинная жизнь, не умиранье,
Не страданье – истинная смерть.

Только бы не шорохи больницы,
Не ее косые корпуса,
Страха безнадежные глазницы,
Горестный визит на полчаса.

Я не знаю, надо ли сегодня
Заново глядеть и вспоминать.
Пусть рука легчайшая Господня
Глаз моих касается опять.

Вот же он проходит мимо, мимо,
Город невозможный и святой,
Где небесный лик Иерусалима
Светится незримой красотой.

Он доныне полон чудесами,
Силою небесною храним.
Город устоит под небесами.
Мы и перед смертью устоим.

Самуил Шварцбанд

СКОРЫЙ «РИМ-ПАРИЖ»

Дождь долгожданный, долгий, долгий
Над скорым ночью грохотал
И, как портной свои иголки,
На швы бегущие менял.

Под небом, серым и брюхатым
От бочек выпитой воды,
Зигзаги молний, как ухватом,
Хватали рельсы и столбы.

Летели версты: кто помянет
Про нас обоих в сухостой,
Пока в ночи опять не грянет
Дождь, очевидный и простой?..

ПЕСЕНКА

Если и были объятья и ложе –
Кто упрекнет в этом старых людей?
Жизнь все измены и веры уложит,
Как в саквояж, под груду камней.

Кто по кадишу лишь угадает:
Вот и покой наступил...
Близкий приятель – и тот не узнает,
В чем я себе изменил.

Впрочем, и ангел был к женам подослан
Не для разврата истории всей...
Женщина песней становится после
Долгих, бессонных ночей...

БАЛЛАДА

Иногда спросонок ли, во сне ли,
Кажется, что снова на углу
Я стою под солнышком в апреле,
Неподвластный роскоши и злу.

Нежное касание с приветом
Раннего латвийского тепла –
В памяти храню я амулетом
От тщеславья и пустого зла.

Жизнь моя дурашливая, как же
Благодарен я, что на земле
Счастлив был крупицей настоящей
Теплоты, рожденной не во зле.

ИСТИНА

А я тебе стихов не посвящал,
Да и любил совсем не говорливо.
Лишь помню запах спелого налива,
Когда твои ладони целовал...

ПЯТЬ ПОЛОВИНОК ХОККУ

1

Гнилью чуть тронуты листья –
Старость бесшумно идет...

2

Вечный обман: на деревьях
Грузные тучи лежат...

3

Вера в бессмертье хранит
Чей-то конечный приход...

4

Дуется дурень... как член
Ночью на ложе один...

5

Дурно горланят коты,
Словно их мучит окот...

ПРОЗА

Хаим Венгер

ПИСЬМО БЕЗ ОБРАТНОГО АДРЕСА

Возвратившись домой, Марк Лурье по привычке открыл почтовый ящик. Среди счетов и реклам, обильно рассылаемых в Израиле, находился довольно толстый конверт. Марка удивило, что на конверте отсутствовал обратный адрес и не было почтового штемпеля. «Что бы это могло быть?» – думал он, поднимаясь на свой этаж. Войдя в квартиру, Марк разорвал конверт и извлек из него четыре листа, исписанные красивым убористым женским почерком.

Первая строчка начиналась обычным приветствием, но чем дальше читал он письмо, тем больше оно его захватывало.

«Марк, если ты помнишь время, проведенное тобой в Ессентуках в апреле 1965 года, то должен помнить и меня. Ведь немалую часть этого времени мы провели вместе».

Конечно, Марк все прекрасно помнил. Тогда впервые в жизни он оказался на питьевом курорте, или, как говорили когда-то, «на водах», чтобы подлечить бунтовавший в последнее время желудок. Приехал он «дикарем», а это значило, что все заботы о хлебе насущном, о лечении и жилье ложились на него. Апрель на Северном Кавказе, тем более в Ессентуках, – не лучшее время года, зато нет того столпотворения, которое свойственно курортам кавказских минеральных вод в разгар сезона. Исключением в смысле погоды являлся лишь Кисловодск: там солнце светило триста шестьдесят дней в году. Но кисловодский «нарзан» не подходил Марку по медицинским показаниям. И все же в Минводах, где совершил посадку ленинградский самолет, погода была довольно сносной, зато Ессентуки, куда Марк приехал на местной электричке, встретили его мелким нудным дождем. Утешением ему служило то, что в боковом кармане его пиджака лежало рекомендательное письмо, адресованное директору гостиницы «Центральная». Она располагалась у самого входа в парк, где всем страждущим дарили себя целебные минеральные источники. Автор письма неоднократно бывал в Ессентуках и всегда прибегал к услугам того самого директора, естественно, за немалое вознаграждение. Так что осечки быть не могло.

Каково же было удивление и разочарование Марка, когда, подойдя к гостинице, он увидел опоясывавшие ее строительные леса. Но не успел он оценить ситуацию, как рядом оказался не вызывавший особой симпатии мужчина. Позднее Марк узнал, что он армянин, женатый на еврейке, подрабатывает в качестве квартирного маклера. «Не расстраивайтесь, Ашот поможет вам устроиться», – ободряюще произнес тот и, подхватив чемодан, предложил Марку следовать за ним. Когда они пересекли улицу, к ним присоединились две женщины, ожидавшие маклера на противоположном углу. Поздоровавшись, Марк отметил про себя, что одной из них лет пятьдесят, другой – немногим больше двадцати, причём молодая поразила его необыкновенной красотой. Устроив женщинам жилье, Ашот привел Марка в принадлежавший ему дом и предложил поселиться на веранде, за которую запросил явно завышенную цену, потребовав к тому же заплатить за неделю вперед. Не успел Марк обдумать предложение, как к разговору присоединилась жена маклера Роза Абрамовна и стала заверять Марка, что ему у них будет очень хорошо. «Да и куда вы пойдете на ночь глядя?» – завершила она свой монолог.

Промучившись всю ночь – на веранде было очень холодно, к тому же в нее проникали тошнотворные запахи из смежной с ней кухни, – Марк отправился в парк «на водопой», к прописанному ему гастрологом минеральному источнику «Ессентуки №20». Проходя мимо гостиницы, он с удивлением увидел, что из нее выходят и в нее входят люди. В этот момент к нему подошли его вчерашние спутницы. «Давайте знакомиться, – сказала, протянув руку, старшая, – меня зовут Валентина Васильевна, а это моя землячка Надя».

И опять Марка поразила необыкновенная красота молодой женщины. Назвав свое имя, отчество и даже фамилию, Марк подчеркнуто вежливо пожал руку Нади. Она же ответила холодным рукопожатием и не менее холодным взглядом...

«Уже при первом знакомстве я почувствовала, что произвела на тебя впечатление. Молодая женщина всегда может оценить то, как смотрит на нее мужчина. Но тогда ответного интереса ты во мне не вызвал. Больше того, я была с тобой вызывающе резка. Это заметила моя землячка Валентина Васильевна и, когда мы остались одни, серьезно меня отчитала. И все же я не сразу справилась с чувством неприязни, которое всегда испытывала к посторонним мужчинам, проявлявшим по отношению ко мне, замужней женщине, по-

вышенный интерес. Не стану скрывать, немалую роль в этой антипатии играла твоя национальность. Сомневаться в ней не позволяли ни твоя внешность, ни твои «анкетные данные». Их я запомнила сразу и, как выяснилось позже, навсегда. Больно писать об этом, но свою неприязнь я даже не пыталась скрыть. Увы, среда, в которой я росла, воспитала меня в духе национальной нетерпимости. Но шли дни, и мой душевный настрой в корне менялся. Ты все больше и больше нравился мне. В этом, в первую очередь, была твоя заслуга. Открытость, отзывчивость, присущее тебе чувство юмора, рассказанный к месту остроумный анекдот, прекрасные стихи, которые ты артистически читал по памяти, могли растопить и каменное сердце... Но и Валентина Васильевна играла в моем «прозрении» немалую роль. Каждый вечер она, женщина куда более опытная и много повидавшая, проводила со мной «воспитательную работу», учила жизни. «Подумай сама, – говорила она, – в кои веки ты вырвалась из заштатного городка с его серыми, безрадостными буднями, оказалась вдали от своего мужа, интересы которого более чем примитивны. А здесь ты встретила веселого, талантливого, очень симпатичного человека, который, пусть ненадолго, может скрасить твою жизнь. И как же ты себя ведешь?! И откуда эта неприязнь к евреям? Разве ты их знаешь? Разве когда-нибудь имела с ними дело? А я многих знала и кроме хорошего ничего сказать о них не могу. Эх, мне бы твои годы!»

Прошло некоторое время, и необходимость в этих разговорах отпала, семена, посеянные тобой и Валентиной Васильевной, попали в благодатную почву и дали очень бурные всходы. Да что там, я просто без памяти влюбилась в тебя! Была готова на все по первому твоему зову. Ты же, наоборот, стал по отношению ко мне сдержан и холоден. Нет, ты продолжал шутить, был остроумен, читал стихи, но адресовалось все это уже не мне, а Валентине Васильевне. Я как бы при этом только присутствовала. Ты даже шел не между нами, как раньше, а со стороны Валентины Васильевны. Понимая причину твоего охлаждения, я все же не решалась завести откровенный разговор. Но при этом мечтала вернуть твое внимание, во что бы то ни стало завоевать тебя. И надо сказать, хотя и с большим трудом, мне это удалось. И тогда Валентина Васильевна стала под разными предлогами оставлять нас наедине. Но уединения мы найти не могли. Отвратительная погода выгоняла нас из парка. Оставался только последний ряд в полупустом зале кинотеатра. Но разве о таком уединении мы мечтали?! К сожалению, нам с

напарницей досталась комната, где, кроме нас, находились еще две женщины. Ты же, хотя и жил в двухместном номере, пригласить меня к себе не мог, так как твой сосед по комнате относился ко мне с нескрываемой антипатией, я бы даже сказала, враждебно. Видимо, ты в самом начале рассказал ему о моем антисемитском настрое».

Надя была права. Марк действительно посвятил Рудика Гольдмана в их отношения. В первое же утро, направляясь из парка в столовую, он неожиданно встретил его. Как известно, на чужбине даже малознакомые люди встречаются, как закадычные друзья. А Марк с Рудиком одно время даже работали вместе. После первых приветствий и дружеских объятий Рудик рассказал товарищу, что он в Ессентуках уже третий раз, что приехал два дня назад и, купив курсовку, поселился в комнате старого деревянного дома без всяких удобств еще с тремя приезжими. Марк, в свою очередь, поведал Рудику о том, как, решив, что гостиница закрыта на ремонт, попал в лапы хитрого армянина, сдавшего ему за солидную плату крохотную веранду, насквозь продуваемую ветром через многочисленные щели. К тому же пришлось уплатить за неделю вперед. Выслушав Марка, Рудик сказал, что дело это поправимое, так как армянин не имел права сдавать жилье, минуя курортное бюро. «Пошли, – в заключение сказал Рудик, – сейчас они у меня попляшут». Дружная парочка оказалась дома, и Рудик, доходчиво объяснив, какими неприятностями грозит домовладельцам незаконная сдача жилья, потребовал вернуть взятую у Марка сумму. Поняв, что на сей раз они имеют дело со стреляным воробьем, хозяева, хотя и нехотя, вернули деньги, выпросив компенсацию за потерянные сутки. Взяв вещи, друзья отправились в гостиницу. Директор, прочитав письмо, тут же выделил им двухместный номер и, созвонившись с курортным бюро, помог Рудику перебраться из похожей на конуру комнаты в просторные гостиничные апартаменты. В тот же день Марк рассказал Рудику о своих новых знакомых, о поразившей его и красотой, и юдофобскими выпадами молодой женщине. На что Рудик саркастически заметил, что Марк, конечно же, может встречаться с кем хочет, но только очень нежелательно приводить в номер такую особу. Дескать, он, Рудик, антисемитов на дух не переносит.

«Но вот судьба, казалось бы, сжалилась над нами. Десять дней мы с Валентиной Васильевной каждый день отмечались в новой гостинице, расположенной за железной дорогой. И, наконец, полу-

чили в ней двухместный номер. Я написала «казалось бы» не случайно. Уже на следующий день после нашего переезда ты, обедая в столовой, взял бутерброды с красной икрой. В результате с тяжелым отравлением попал в больницу. Весь вечер, напрасно прождав тебя, я рано утром прибежала в твою гостиницу. На этот раз Рудик встретил меня весьма доброжелательно и рассказал о том, что произошло. Я бросилась в больницу, но меня как постороннюю к тебе не пустили. Из оставшихся нам считанных дней пребывания на курорте три ушли на лечение. После больницы ты не только похудел, но и очень изменился внутренне. Думаю, что ты воспринял случившееся как Божью кару, как предостережение небес, ведь дома, в Ленинграде, тебя ждали жена и дочь, о чем ты откровенно рассказал, когда мы в первый раз остались одни.

И хотя мы продолжали встречаться, никакой инициативы ты не проявлял. Я же, как мне того ни хотелось, не решалась пригласить тебя в номер. Боже мой, как я страдала, как плакала по ночам! И вот настал последний вечер. На следующий день рано утром мы уезжали, твой же самолет вылетал намного позже. Мы погуляли в парке, и ты проводил меня до гостиницы. Прощаясь, договорились, что ты придешь проводить нас к поезду. Не могу описать, с каким тяжелым сердцем я вернулась в свое пристанище. Валентина Васильевна все поняла без слов. Мы приняли душ и уже в девять часов улеглись спать. Но уснуть я не могла, не могла смириться с мыслью, что навсегда теряю тебя. И вдруг раздался стук в дверь. Я замерла в безумном предчувствии, а Валентина Васильевна вскочила с кровати и в ночной сорочке бросилась открывать дверь. В полуобморочном состоянии я увидела, как в комнату вошел ты...»

Проводив Надю, Марк долго бродил по парку, снова и снова возвращаясь мыслями к ней, понимая, как нелепо сложились их отношения. Незаметно для себя он оказался около гостиницы, где жила Надя, и решительно открыл входную дверь.

«Как только ты вошел, моя землячка, наспех одевшись, сослалась на неотложные дела и выскочила из номера. Еще не захлопнув дверь, она успела крикнуть, что будет отсутствовать не менее трех часов.

О тех счастливых часах я писать не буду в надежде, что о них ты хорошо помнишь сам... Напомню только то, что ты сказал мне на прощанье: "Наденька, поверь, я не знаю, что со мной происходит, знаю только, что ты перевернула мою душу".

А теперь расскажу о том, что происходило со мной в дальнейшем. Приехав домой, я поняла, что жить с мужем не могу. Что меня раздражает в нем буквально все. В итоге, забрав трехлетнего сына, я вернулась к родителям и подала на развод. Однако жизненный уклад, царивший в моем когда-то родном доме, теперь коробил меня. Начались ссоры, вызванные взаимным непониманием. Промучившись два года, я предпочла снять комнату. А еще через два года, став администратором гостиницы, получила однокомнатную квартиру. Все свободное время я посвящала сыну. Никого из мужчин к себе не подпускала. А желающих со мной познакомиться было больше чем достаточно, и этому в немалой степени способствовало место моей работы. Но вот однажды в нашей гостинице остановился мужчина, приехавший в командировку из Ленинграда. Еврей по национальности (звали его Лев Иосифович Зальцман), он был чем-то очень похож на тебя. Не то чтобы внешностью, скорее голосом, манерой держаться, улыбкой. И все же за две недели, что он у нас жил, я ни разу не согласилась с ним встретиться, хотя Лев Иосифович меня неоднократно об этом просил. Уезжал он очень огорченный, о чем прямо мне сказал.

Прошло месяца три, и Лев Иосифович приехал опять. По его виду я поняла, что он приехал не только по служебным делам... Уже в первый день, отдав дань бюрократическим формальностям, он сказал, что дождется окончания моей смены у выхода из гостиницы, что никаких возражений на этот счет выслушивать не намерен, так как для него это слишком серьезно. «Ну, что же, ждите», – ответила я без особого энтузиазма.

Не буду писать о том, как Льву Иосифовичу удалось завоевать мое расположение, подчеркиваю, расположение, а не любовь (любить я продолжала тебя), но я согласилась уехать с ним в Ленинград и выйти за него замуж. И никогда, ни разу за всю нашу долгую совместную жизнь я не пожалела об этом. Он оказался замечательным человеком. К тому же, как я уже писала, очень напоминал тебя. Через год у нас родился сын, и я назвала его Марком. Думаю, это имя тебе знакомо... А когда в авиационной катастрофе погиб мой бывший муж, Лев Иосифович усыновил старшего сына, и он стал зваться Виктор Львович Зальцман. Впрочем, и без усыновления муж относился к нему, как к родному, и сын звал его папой.

Хотя теперь мы жили в одном городе, никаких попыток встретиться с тобой я не предпринимала, боясь причинить незаслуженную боль мужу, И все же судьбе было угодно, чтобы наши судьбы

скрестились самым неожиданным образом. В 1989 году, в разгар антисемитской вакханалии распоясавшихся подонков, я от своей знакомой узнала, что в Ленинград из Иерусалима приехал повидать родных наш бывший соотечественник Марк Зиновьевич Лурье, что она была у него и попросила прислать вызов на всю семью. Какая буря поднялась в моей душе! Наверное, Бог прислал тебя, чтобы именно ты помог и моей семье уехать в Израиль. Мысли об отъезде давно бродили в наших умах, а в последнее время мы постоянно говорили об этом. Словом, я узнала, где ты остановился, и попросила мужа с тобой созвониться и договориться о встрече. Уже через два дня Лев Иосифович побывал у тебя и передал паспортные данные на нашу семью и семью старшего сына, женатого на еврейке. В то время у них уже было двое детей. Могло ли тебе придти в голову, что среди тех, кому Лев Иосифович просил прислать вызов, фигурирую я – женщина, повстречавшаяся тебе в Ессентуках!»

Марк помнил приятного мужчину, побывавшего у него в Ленинграде и попросившего прислать вызов из Израиля. И он, оказывается, Надин муж! Значит, многие годы Надя жила в Ленинграде, а он об этом ничего не знал. Впрочем, причину этого Надя объяснила. Но, как видно, немало лет она живет в Израиле, опять же втайне от него. И Марк впился глазами в оставшиеся строчки, надеясь получить ответ и на этот вопрос.

«Марк, тебя, наверное, интересует, сколько лет мы живем в Израиле. Уже через три месяца после того, как Лев Иосифович побывал у тебя, мы получили вызов и сразу стали собираться. В то время ОВИР никаких препятствий желающим уехать не чинил. Уже в 1990 году наши две семьи приехали в Израиль. И опять я не предприняла никаких попыток увидеть тебя. Но теперь к той причине, о которой я уже писала, присоединилась другая. Ведь новым репатриантам так нужна помощь старожила, и не только советом, но и делом. А я не могла обрушить на твою голову наши заботы и страшно боялась, что ты, пусть мысленно, можешь в этом случае обвинить меня в корысти. Что же касается нашей жизни в Израиле, то она сложилась довольно благополучно. Мы с мужем все эти годы работали, я, выучив язык и закончив гостиничные курсы, – по специальности; мужу пришлось переквалифицироваться. Сейчас мы оба, как говорили в Союзе, на заслуженном отдыхе. Младший сын прошел гиюр, отслужил в армии. Несколько лет назад он женился, и

у них родилась дочь. А вот старший пострадал во время теракта в Тель-Авиве. Но, слава Богу, остался жив.

Ты вправе задаться вопросами, невольно возникающими при чтении письма. Почему я написала именно сейчас? Почему не послала письмо по почте, а вложила в твой почтовый ящик? Почему не указала обратный адрес? Отвечу по порядку. В течение всех лет, прожитых нами в Израиле, я была в курсе основных событий твоей жизни. Несколько раз я была на презентации твоих книг. Постоянно читала твои газетные публикации. Слушала интервью с тобой по радио. Узнав, что ты собираешься отпраздновать свое семидесятилетие, я решила нарушить «обет молчания». Кто знает, что ждет нас в дальнейшем, а пока все более или менее благополучно, я решила поделиться с тобой тем, какую удивительную роль ты сыграл в моей жизни, сделать своеобразный подарок к твоему юбилею. Я не послала письмо по почте, чтобы оно, не дай Бог, случайно не пропало, а обратный адрес не указала, потому, что не хочу, а, вернее, боюсь, нашей возможной встречи. Ведь мне так хочется остаться в твоей памяти молодой и красивой...

Вот, пожалуй, и все.

Пусть бережет тебя Господь. Надя».

В конце письма была указана дата, совпадающая с днем и месяцем рождения Марка.

Илья Войтовецкий

MAESTRO

Светлой памяти
Музыканта, Мастера, Друга

Вечерние сеансы в кинотеатре имени Калинина начинались в четыре, шесть, восемь и десять. За полчаса до начала каждого оркестранты рассаживались на небольшой приземистой эстраде. Минута безмолвного ожидания, чуть слышное касание палочки о край барабана, шепот «р-раз-два-три-четыре» – и тишину вспарывал жизнерадостный марш Исаака Дунаевского. Последующие двадцать пять минут оркестранты работали.

Единственным профессионалом в этом «банде» был его руководитель Николай Андреевич Каюков. В трудовой книжке он значился музыкантом, а не шофером, как кларнетист Витька Чинарев, и не санитаром, как ударник Яша Кудрявый (фамилии которого никто не помнил, прозвище же свое он получил за отсутствие растительности на крохотной головке с торчащими ушами, крупным носом и маленькими вертлявыми глазками).

– Умный волос покидает дурную голову, – куражился Яша. – Весь как есть, без остатка, прилипает к чужим подушкам.

Слыл Яша большим ловеласом; в компании – в подпитии ли, а то и просто при случае, – любил веселить слушателей правдивыми рассказами о своих амурных похождениях, коих, по его словам, было в его жизни превеликое множество.

– Наш ударник – самый несгибаемый ударник в мире, – так обычно заканчивал Яша свои повествования и при этих словах выдавал головокружительный пассаж, неистово и, как ему казалось, виртуозно колотя по старому, видавшему виды барабану, изгибаясь тщедушным тельцем.

Каюков играл редко. Он сидел в центре эстрады, впереди оркестра, – маленький, толстенький, и его красный перламутровый аккордеон итальянской фирмы «Scandalli» (пятнадцать регистров – справа, девять – слева, никелированные блюдца сурдинок), установленный, как на постаменте, на раздвинутых пухлых коленях, скрывал от зрителей короткое туловище и половину одутловатого лица аккордеониста. Обычно Николай Андреевич бывал пьян.

Далеко не всегда играл оркестр в полном составе. То Витька Чинарев не вернулся из рейса, то Яша халтурил на «скорой», а в конце каждого месяца, квартала и, уж конечно, года у тромбониста Ефима Соломоновича подпирал очередной балансовый отчет, и тогда ему бывало не до музыки. Партии недостающих инструментов Каюков вяло отмахивал левой рукой; правая в это время безжизненно покоилась на перламутровой поверхности клавиатуры.

Самым надежным музыкантом в оркестре, кроме, разумеется, Каюкова, был мой приятель Фридрих Гераде, Федя.

Как большинство жителей в нашем городе, Федина семья, сосланная на Урал в начале войны из приволжского города Энгельса, жила трудно. Школу Федя не закончил: отец умер давно, еще во время переезда – простудился в нетопленном товарном вагоне, в пути же и сгорел; рано состарившаяся мать постоянно болела, а младших братьев и сестер нужно было кормить, одевать и обувать. Еще в пацанах Федя обучился сапожному ремеслу, которым и зарабатывал себе и семье на хлеб насущный.

Лет в четырнадцать-пятнадцать (одному Богу ведомо, откуда пришла к нему эта страсть) решил сапожных дел мастер Фридрих Гераде стать скрипачом. У старого портного, ссыльного польского еврея, брал он уроки. Опухшими от сучения дратвы пальцами ночи напролет пилил Федя свою ширпотребовскую скрипку – и допилился: прошел прослушивание у Каюкова – и стал-таки музыкантом, не хуже других в оркестре. Ежедневно в три часа пополудни запирал он торопливо фанерную будочку, в которой ютилась его сапожная мастерская, и направлялся в кинотеатр.

Пусть видят – все-все-все! – решительной, полной достоинства походкой движется Федя по центральной улице; в правой, чуть на отлете, руке – черный футляр со скрипкой, левый локоть прижимает папку с нотами. Этот – на виду у всего города – путь из сапожной будки к эстраде кинотеатра компенсировал Феде унижения голодного сиротского детства, терзания позднего ученичества, бессонные ночные бдения перед нотным пюпитром и долгие упражнения, гаммы, арпеджио и снова гаммы, арпеджио, упражнения, гаммы, и сно... а утром – сапожная, как собачья, будка, старые валенки, стоптанные сапоги, дратва, клей, гвозди, молоток – тук-тук-тук-тук-до-ре-ми-фа-тук-тук-тук-тук-соль-ля-си-до-тук-тук-тук-тук-с-вас-тук-пять-тук-руб-тук-лей-тук-до-тук-ре-фа-спасибо-за наше-счастливое-товарищу-доре-...

От Феди я узнал про Фридмана.

* * *

Год был пасмурный: посадили врачей, похоронили Сталина, оправдали врачей, расстреляли Берию. Ежедневно радио и газеты приносили то пугавшие, то обнадеживавшие вести. Опасаясь и озираясь, люди передавали друг другу самые невероятные слухи, многие из которых неожиданно сбывались; зачастую реальность оказывалась страшнее и фантастичнее вымыслов.

Я начал учиться в девятом классе, знал, что ни золотая, ни даже серебряная медаль мне не светят. Впереди были два долгих учебных года. Забросив домой портфель, я убегал после школы в кинотеатр к Феде – слушать музыку. Заниматься уроками не хотелось.

– Завтра придет новый пианист, Фридман, – сказал Федя. – Судя по фамилии – или немец, или еврей.

Фридман оказался и евреем, и немцем.

Он втиснулся в крохотную оркестрантскую комнатку, постоял, привыкая к ее полумраку, огляделся.

– Я фаш нофи пьянист. Фи путит тофаришч Каюкофф? – обратился вошедший к Николаю Андреевичу.

У *нофи пьянист* был сильный акцент, который, однако, никого не покоробил: местные жители – бывшие поволжские немцы – разговаривали так же: норма.

Не подымая взгляда – ростик низкий да теснота, потому – лицом новичку в грудь, приземистый Каюков кивнул и наугад сгреб со стола кипу нотных листов, сколько пригоршня ухватила.

– В-вот. Р-разучите и п-п-риходите.

Фридман глянул в ноты.

– Расучите? Что это – расучите? Нато икрать – путим икрать. Spielen, ja.

Он раскатисто картавил.

– Wollen Sie hoeren? Фи хотшит слюшит?

Не дожидаясь ответа, пианист взбежал на эстраду и направился к инструменту. Каюков продолжал безучастно смотреть в одну точку.

Фридман установил ноты, придвинул стул и, опускаясь на него, произвел движение, которое запомнилось мне своей странностью и, казалось, бессмысленностью; суть же его стала мне понятна по прошествии лет: привычным и даже чуть-чуть небрежным жестом он как бы откинул фалды фрака,

погасли огни люстр, зрители –
мужчины в черных смокингах с бабочками,

женщины в мехах и брильянтах –
устремили свои взгляды на ярко освещенную сцену, где их кумир

короткую паузу выдержал – и заиграл.

В дверном проеме оркестрантской показались музыканты. Билетерша, кассирша, уборщица со шваброй, перепачканный краской художник с кистью в одной руке и недопитой бутылкой в другой, вечно всем недовольная администраторша – все, кто в этот час были в кинотеатре, столпились перед эстрадой. Зрители, стоявшие за застекленной дверью, начали заглядывать и несмело входить внутрь.

Электричество еще не включили, и в фойе было сумеречно, скудный свет проникал лишь из полутемного вестибюля. Пианист то и дело наклонялся над клавиатурой, приближал лицо к нотам. Никто, однако, не пошевелился, ни у кого не хватило духа сдвинуться с места, чтобы подойти к выключателю. В сгустившемся полумраке люди слушали музыку.

* * *

Инструктор горкома Фомин отвечал за культуру. В городе он был человеком новым, к делу относился серьезно и указаниям партии следовал неукоснительно. «Партия есть честь и совесть рабочего класса, – наставлял Фомин. – Знаете, кто это сказал? То-то!»

– Поменьше интересуйтесь прошлым этого человека, – предупредил Фомин Каюкова накануне прихода пианиста. – Музыканта мы даем вам – высший класс, настоящий *маэстро*, услышите сами. Плохой товар наша фирма не поставляет. Как ни крути – кузница кадров! А кадры решают все. Знаете, чьи это слова? То-то!

Глаза у инструктора были серые, плечи – широкие, грудь – дубом, шея – дыбом.

– Бойцом бы его на скотобойню, – припечатал рекомендацию тромбонист Ефим Соломонович.

– Производителем на скотный двор: улучшать породу, – повысил акции горначкульта Витька Чинарев и отпустил вольность, будто сам линейкой измерял. – Не нам чета.

– Не прибедняйся, – у тромбониста Ефима Соломоновича свое мнение по обсуждаемому вопросу. – В этом деле вы, шоферюги,

на втором месте после одесских грузчиков. Всемирная классификация.

Яша Кудрявый зыркнул по сторонам быстрыми глазками, извлек из заначки «мерзавчик», щелкнул кривым ногтем по флакону:

– Наполним братья-славяне бокалы содвинем их разом да здравствуют музы да здравствует разум ты солнце святое гори лехаим! – выдохнул бегущей строкой.

Из горла́ сделал Яша затяжной глоток и передал бутылку Каюкову. Николай Андреевич ласкал трепетно стекло пухлыми ладонями. Витька терпеливо ждал своей очереди. Лоб его вспотел.

* * *

Певица в оркестре – стройная, миловидная, синеокая (а какая же иначе!), и имя – словно по заказу: Нина Полонская. Она выходила на сцену в длинном голубом – под стать глазам – панбархатном платье: глубокое декольте, волнующие подступы к рельефам, обнаженные плечи полуприкрыты каштановыми локонами.

Любимая, знакомая,
Раздольная, зеленая
Земля родная – Родина! –
Привольное житье!
Эх, сколько мной изведано!
Эх, сколько мною видано!
Эх, сколько мною пройдено! –
И все вокруг мое!

– сколько жара душевного в исполнении, сколько экспрессии! – и сложенные лодочками пальчики, ноготки щепоточкой – зрителям навстречу. Ей аплодировали с энтузиазмом.

– О-о, фи имейт... wie heisst es?.. как это?.. ein колос! – Фридман, наклонившись, поцеловал тонкие пальцы певицы. – Ja, колос! Sie haben ein колос! Sie werden gut singen! Фи путит карашо пет! Wir werden zusammen, ми фместе карашо пет путит! Ja.

Он продолжал держать ее пальцы в своих, а Нина благодарно улыбнулась и руки не отняла.

* * *

– Mein Sohn! – говорил мне Фридман. – Мой син, ти никокта не пил in Wien! Ах, Wien...

Maestro был родом из Вены.

– Wien ist сами лютши корот, ist die schoenste Stadt der Welt, – говорил он, и я, никогда в Вене не бывавший, верил, что красивее ее нет города на земле.

Maestro двумя пальцами вытягивал из нагрудного кармашка белый носовой платок и прикладывал его к переносице.

– О-о, Wien...

Maestro любил Вену.

* * *

В тысяча девятисотом году, когда родился Карл Фридман, Вена смеялась, танцевала и пела. Она славилась веселым и беззаботным характером, у нее всегда было хорошее настроение.

В четырнадцатом, когда Карл с блеском завершил полный курс консерватории, Вена маршировала. У нее было отменное чувство ритма.

В двадцать втором молодого музыканта пригласил к себе директор оркестра и предложил должность главного дирижера, а Вена опять смеялась, опять танцевала и пела. Правда, и песни, и танцы были теперь другие: в моду входило все русское.

В тридцатых Вена, продолжая смеяться, танцевать и петь, вновь пристрастилась к духовым оркестрам и маршам. Медь яростно спрессовывала воздух; подростки, выстроившись по росту и мешая движению, вышагивали по улицам; они то и дело вскидывали руки с черными нашивками на рукавах и выкрикивали «Heil!». Слишком часто стало звучать слово «Jude».

Давид сказал в тридцать пятом:

– Оставаться в Вене нельзя.

Карл парировал:

– Aber ohne Wien ist es unmoeglich!

Он и в самом деле верил, что без Вены жить невозможно.

Эта беседа была последней. Сабина давно бредила Палестиной, и старший брат попал под влияние жены.

Ночная кукушка перекуковала дневную, и никакие доводы, никакие призывы к здравому смыслу не помогли. Бедный, бедный Давид!

Карл Фридман не представлял себя без Вены.

Оказалось, что Вена вполне могла обойтись без Карла Фридмана.

Его пригласил к себе директор оркестра, тот самый, только постаревший, толстый и лысый. Директор сказал, что он, разумеется, не антисемит («Не то, что *эти*», – взгляд в сторону окна, в заоконье), что он очень ценит талант главного дирижера (поклон, почти реверанс; бровями, плешью, даже, кажется, ушами – к собеседнику: «О-о, ja-ja, mein Herr!»), что он уверен: это досадное время скоро пройдет, и тогда... но пока, zeitlich... он, конечно, весьма сожалеет об этом... es ist sehr betruebend, aber...

Затем хозяин дома, в котором Карл добрый десяток лет снимал половину второго этажа, сообщил ему, что он, конечно, всегда хорошо относился и даже уважал... и, когда все это закончится, он с радостью... и вообще... ну, а если что – пожалуйста, он готов помочь, он даже не торопит с уплатой последнего взноса за квартиру (чтобы польстить съемщику, он употребил неприятное для арийского слуха вульгарное словечко «Diregeld», при звучании которого так и тянется рука – водрузить на голову ермолку).

Женщины, восторженным табуном всегда окружавшие красавца-дирижера, стали избегать своего недавнего кумира, а когда он решил вернуться к жене – известной оперной певице, оказалось, что она покинула Австрию, и никто не мог сказать, в каком направлении.

Наступили трудные времена.

* * *

Каюков, добрая душа, не докучал своей пастве ни частой сменой репертуара, ни репетициями. Между сеансами лабухи, стараясь не слишком сильно лупить костяшками о стол, «забивали козла», жевали бутерброды, часто скидывались на бутылку.

Вскоре после прихода Фридмана Николай Андреевич неожиданно дал команду свистать всех наверх. Музыканты, не торопясь, оторвались от текущих дел и без особого рвения поплелись на эстраду. Расселись, раскрыли ноты.

– Начали! – отбивая такт ногой, Каюков повел оркестр. – Р-раз-два-три-четыре, р-раз-два-три-четыре...

Перламутровый аккордеон прикрывал отвислые щеки Николая Андреевича, отбрасывая на его лоб переливчатый красный отсвет. Левой рукой Каюков отмахивал партию тромбона: у Ефима Соломо-

новича приспел очередной отчет, и он три дня не показывал носа в кинотеатре; изредка руководитель оркестра мычал, чтобы вокалом восполнить недостающие музыкальные фрагменты.

Фридман, поглядывая в ноты, вел свою партию.

Когда, медленно затихая, смолкла заключительная фермата, Maestro вдруг попросил:

– Если мошна, пошялста... noch einmal ... bitte... сначала... отин толька рас.

Каюков кивнул и поднял руку:

– Начали! Р-раз-два-три-четыре, р-раз-два-три-четыре... Р-раз... Р-раз... Р-раз-два-три-четыре...

Нехотя, вразнобой, постепенно выравниваясь, оркестранты заиграли. В том месте, где должен был вступить тромбон, Фридман коснулся пальцами клавиатуры, и рука Каюкова недоуменным вопросительным знаком застыла в воздухе: неожиданно в звучание оркестра влились бархатные подголоски духового инструмента. Музыканты вскинулись и взглянули туда, где обычно сидел тромбонист: стул Ефима Соломоновича был пуст; лишь тогда сообразили, что звуки исходят из утробы облезлого черного пианино.

Следом за тромбоном должен был вступить рояль, и Фридман, не прерывая хрипловатой певучести меди, в легком арпеджио – из конца в конец клавиатуры – перебросил сначала левую, за ней, вперехват, правую и опять левую руку, приподнял обе кисти и с чуть заметной задержкой мягко опустил их. Фортепианному аккорду задушевным баритоном снова ответил тромбон. За ним шел скрипичный проигрыш; я видел радостные Федины глаза, и из-под его смычка мелким горошком брызнуло и врассыпную покатилось задорное staccato.

Сохраняя бесстрастное выражение лица, передвинул сверху вниз по клавиатуре аккордеона свои коротышки-пальцы Николай Андреевич Каюков. Меха вздохнули и, словно после долгого сна разминая слежавшиеся суставы, медленно пошли в стороны.

С того дня репетировали почти ежедневно. Фридман усаживался на свой скрипучий стул и начинал колдовать. Maestro импровизировал. Он выплескивал из фортепианного нутра звучание целого оркестра, вплетал в исполняемые произведения неожиданные повороты, стилизовал под народную музыку или подражал манере какого-нибудь известного композитора. Иногда в строгую эстрадную оркестровку врывались свежие, еще непривычные для нас, провинциалов, джазовые аккорды и синкопы, а то вдруг незамысловатая модная песенка наполнялась старинными гармониями: доносился

звон колоколов, пели ангелы – и, казалось, неземной дух нисходит на молитвенно притихших лабухов.

В скором времени репетиции превратились в сольные концерты Фридмана. Жители города стали приходить в кинотеатр задолго до начала сеансов, чтобы послушать пианиста; теперь зрительный зал всегда был полон, у входа люди «стреляли» билеты – независимо от качества фильма.

Как принято было писать в газетных репортажах, «результат не замедлил сказаться»: на стене позади оркестра распласталось переходящее красное знамя с золотым шитьем «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «За отличные показатели в социалистическом соревновании». Знамя вручал Сам.

– Кадры решают все! – сказал он, пожимая Каюкову руку.

Событие, разумеется, «обмыли» – как всегда, в узком кругу в оркестрантской комнате.

Водку разлили в стеклянные баночки из-под консервов.

– Желаю коллективу успехов в боевой и политической подготовке! – Николай Андреевич скороговоркой произнес тост, пугливо оглянулся на дверь, торопливо сглотнул водку и обтер губы рукавом.

– Когда страна быть прикажет агоем у нас агоем становится любой лехаим! – Яша жадным залпом опорожнил свой «бокал».

– Допоешься... на свою голову, – проворчал Ефим Соломонович.

– У нас все равны, – блеклым голосом констатировал Каюков, и неясно было, что он имел в виду: «у нас» – в стране или «у нас» – в оркестре. Выяснять, однако, не стали: все так все, равны так равны, а где «у нас» – нам, татарам, как говорится...

Выпили еще – на этот раз без тоста. Последние капли Яша выцедил из бутылки прямо в рот. Он запрокинул голову, прикрыл глаза, и его острый кадык заерзал под кожей. Фридман ушел в угол сцены и там, поскрипывая стулом, тихонько наигрывал.

Как-то раз во время репетиции на эстраде произошла заминка, которую вряд ли кто заметил, а если и заметил, не придал ей значения, а может, придал, да не подал вида.

В фойе вошел Фомин. Фридман на полуфразе прервал игру, торопливо поднялся, вытянул руки по швам; не поворачивая головы, боковым зрением Maestro наблюдал за вошедшим.

Фомин коротким жестом возвратил музыканта на место, и репетиция продолжалась.

* * *

Федя вбежал в комнату, баюкая, как младенца, запеленатую в тряпицу вещь.

– Лежала в комиссионке, – он перевел дыхание и, откинув край вельвета, поднял над головой старую потертую скрипку.

– Сколько? – спросил Витька.

– Сто пятьдесят, – ответил Федя.

– Семь поллитр, – подсчитал Каюков.

– Если без закуси, – уточнил Витька.

Фридман протянул руку; не вынимая грифа из Фединых рук, он потрогал пальцами струны. На его прикосновения струны ответили глуховатыми всплесками.

– Пошялста, – попросил Фридман, – geben Sie mir, bitte. Мошна мне? Пошялста...

Федя разжал пальцы.

Пощипывая струны, Maestro подкрутил колки. Затем выставил плечо, тряхнул головой, словно отбросил назад волосы, на месте которых теперь дымилась реденькая седина, пристроил скрипку к плечу, зажал ее подбородком и на всю длину протянул смычок.

Много скрипачей слышал я впоследствии. Среди них было немало хороших музыкантов. Были очень хорошие и даже замечательные. Довелось мне услышать исполнителей, чьи имена в мировой табели о рангах уже отнесены к разряду великих или даже бессмертных.

Я не думаю, что имя Фридмана значилось среди них. Да и скрипачом он себя не считал – просто, кроме прочих инструментов, умел играть и на этом тоже. Однако нечасто в жизни испытывал я такое волнение, такой душевный взлет, когда грудь переполняется, когда кажется, что ничего не существует на свете, кроме этих звуков; они рождаются и льются, и заполняют собой Вселенную...

Когда Maestro, прощально взмахнув смычком, в последний раз коснулся им струны, в протяжное, уже замиравшее пение ее вторгся сдавленный взрыв сдерживаемого, но не сдержанного всхлипа. Все оглянулись.

Отвернувшись к стене, в углу плакал Федя.

* * *

В тот день Maestro, как обычно, сидел в углу сцены и играл; остальные музыканты, прервав «козла», готовились к выступлению: рассаживались, расставляли ноты, кто-то продувал мундштук, кто-то пощипывал струны, подкручивал колки.

К сцене подошел невысокого роста дядечка. Он был в меру навеселе.

– Друг, приходь ко мне завтрева на сынову свадьбу, а, – вытянул дядечка шею к пианисту.

Фридман обернулся к подошедшему и склонил голову. Пальцы его продолжали перемещаться по клавиатуре.

– Будь другом, не откажи, а, – попросил дядечка.

– Он один не пойдеть, – заметили из публики. – Приглашай, отец, всю оркестру.

– А рояля у тя в дому ессь? – поинтересовался кто-то.

– Возьму баян у суседа. Ты, поди, и на баяне играть могешь, а? – вытянул он снова голову к пианисту.

Послышался легкий удар палочки, шепот «р-раз-два-три-четыре», и – грянул марш. Проситель потоптался, передернул плечами, потеребил мохнатую шапку, то снимая ее с головы, то вновь криво возвращая на место, и наконец отошел в сторону.

На следующий вечер, когда в фойе уже приглушили огни, а отработавшие смену оркестранты складывали ноты и закрывали инструменты, в кинотеатр ввалилась шумная ватага.

– Вот он, язви его в душу! – радостно дохнул вчерашний дядечка табачно-бражным перегаром.

– Знаем, знаем, – весело закивали его приятели. – Поди, не впервой тута. Слыхали, как же.

Фридман надел пальто, наглухо застегнулся, поднял воротник.

Над крышами висела луна.

Ветра не было, кружились снежинки, светились окна, площадь перед кинотеатром была безлюдной, город солидно, не торопясь, готовился ко сну.

Свернули за угол. Сразу исчезли уличные фонари. Освещенная полной луной, ночная улица выглядела загадочной, словно иллюстрация к волшебной сказке.

Maestro шел молча, утопив голову в поднятый воротник; от его дыхания края меха покрылись белыми ворсинками инея. Разогретые выпитым и ходьбой, спутники Фридмана балагурили, смеялись;

они распахнули свои пальто и полушубки, излучая жар и безотчетный восторг существования.

– Не дрейф, паря! – дядечка хлопнул Фридмана по спине. – Наше дело правое, победа будет за нами!

Фридман скосил на него глаз:

– И на наши улитца путит прасник!

Братва одобрительно загоготала:

– Наш человек!

Пересекли железнодорожную линию, подошли к домику, глубоко вросшему в заснеженную землю. Из открытой форточки выплескивались хмельные звуки гулянки, доносилось нестройное пение, гремела радиола.

Вошли и окунулись в суматоху и толкотню прихожей.

Фридмана ждали, обхватили, словно старого знакомого, за плечи, утянули в комнату. Пришедшим налили в граненые стаканы: «Айда по штрафной!» Брага была теплой и сладкой, от ее духа дурела голова.

Принесли баян.

Гости подсаживались к Фридману, что-то говорили, чокались, лезли целоваться. Подносили стакан за стаканом, жадно отхлебывали сами, но его пить не принуждали; подымали тосты за здоровье молодых и за выполнение производственного плана, за выздоровление хворой сестры и за освобождение невинно осужденного кума, за соседа Ивана Петровича и за свояка Петра Ивановича – за все хорошее и плохое, за что могут пить в течение долгой зимней ночи нетрезвые рабочие люди. И всю ночь, сливаясь с гулом голосов, то перекрывая их, то подчиняясь их требовательной призывности, плыла над сизыми пластами папиросного удушья, перемешивалась со сладкой одурью бражного настоя, растекалась под крики «горько!» вдоль притихших улиц рабочего поселка нескончаемая, то удалая, то тоскливая, баянная мелодия. Справляли свадьбу.

* * *

Набранное крупным шрифтом на грязно-синих афишах, расклеенных по городу, имя гастролера не встречалось мне прежде, несмотря на приписку «Лауреат Сталинской премии». На мутных фотографиях лицо артиста можно было принять за любое другое.

– Komm mit mir! – Фридман вцепился в рукав моего пальто и поволок по оттепельной слякоти, которая с чавканьем разлеталась в стороны.

Во дворце культуры угольщиков было холодно. Немногочисленные зрители кутались в пальто и шубы, женщины прятали руки в модные тогда меховые муфты. Весь цвет нашего города разместился в первых двух рядах большого нетопленного – по случаю наступившего потепления – зрительного зала. Лепные позолоченные розетки и серпы с молотами на стенах и потолке дворца навевали настроение торжественной тоски и безысходности.

Концерт уже начался, и мы, бесшумно пройдя по мягким ковровым дорожкам, пристроились в плюшевых креслах последнего ряда.

Прямой старик пел высоким, порой в речитатив переходившим голосом, и весь его облик – из неведомого и призрачного мира – и его песни – чужие, невесть в каком далеке придуманные и для кого сюда привезенные, – вызывали недоумение. Подчеркнутая одинокость его фигуры на большой сцене, грассирующая картавость, изысканная, почти карикатурная жестикуляция... – что это?

После каждой песни раздавались одинокие хлопки.

– Типичное упадочничество, – сказала Вера Алексеевна, наша литераторша. Она говорила шепотом, но слышна была даже в конце зала – я сразу узнал ее голос.

– Декаданс, – ответила ее соседка. Наша историчка говорить тихо вообще не умела.

Объявили антракт. Недружно захлопали сиденья. Людской ручеек устремился в холодное позолоченное фойе: там торговали разливным пивом.

Фридман направился к сцене, обошел ее, приоткрыл незаметную дверцу, которая вела за кулисы; он опять ухватил меня за рукав и потянул за собой. Дорогу нам преградил пожилой крепыш в полувоенном кителе без знаков отличия – похоже, отставной офицер.

– Сюда нельзя! – он выдвинулся и заслонил собой проход. Тон его указывал на привычку и умение повелевать и подчинять.

– Шаг влево, шаг вправо считается побегом!
– Конвой стреляет без предупреждения!
Фридман шел, втянув голову в плечи.
В зимней предутренней мути вокруг него молча,
не глядя по сторонам,
маячили такие же, как он, заключенные.
Охранник стоял сбоку,

крепко сжимая обеими руками автомат.
Зэк поднял глаза
и встретился со злобным прищуром вохровца.
Он уже давно заметил,
что все охранники, где бы он с ними ни сталкивался,
были всегда на одно лицо.
Иногда ему даже казалось,
что и в сорок втором, и в пятьдесят втором его охраняли
одни и те же люди.

Я никак не ожидал, что Фридман взорвется.

– Отфали! – тихо, с решительной угрозой в голосе произнес Maestro, и на его лице появилось выражение гадливости. Отставник растерялся и не ответил; он лишь беззвучно уставился на нас. Фридман брезгливо отодвинул его в сторону; тот, как ни странно, совсем не сопротивлялся. Мы прошли, и Фридман добавил – уже на ходу:

– Шфаль!.. – полагая, очевидно, что этим все объяснил – в ответ на мое молчаливое недоумение. – Топтун! Сфолетш! Хер маршофий!..

В центре пустой сцены, на том самом месте, где застал его антракт, грустным воплощением одинокости возвышался артист. Он оставался таким же прямым, как и во время выступления, только лицо его было склонено к сложенным пригоршней ладоням, и он дышал в них, пытаясь вдохнуть тепло.

Прошло какое-то время, прежде чем он обратил на нас внимание. Его рассеянный взгляд скользнул по Фридману, который, скрытый тенью, был, очевидно, принят им поначалу за рабочего сцены. Потом певец еще раз взглянул в нашу сторону и вновь отвел глаза. Но что-то, по всей видимости, обеспокоило его. Он прищурился, покачал головой, как будто отгоняя навязчивое видение, и все дышал, дышал в ладони.

Наконец, он нерешительно, будто зову повинуясь, двинулся в нашу сторону. Шаг... еще шаг... и еще. Глаза его сощурились, длинные пальцы рванулись вперед, руки, плечи, шея, голова – вся тонкая фигура певца устремилась к нам; губы его шевельнулись:

– Mon Dieu... Боже мой... Бо-же-мо-ой!..

Фридман вышел из тени. Он молчал и неподвижно стоял перед артистом и лишь, не переставая, кивал, и кивал, и кивал в подтверждение безумной его догадки.

Тогда тишину сцены пронзил крик. Крик состоял из двух взрывов, разделенных промежутком недоумения, неуверенности, неверия, невероятности случившегося:

– Fried...-ma-ann!

И эхом – в ушах, в черепной коробке, под сводами сцены, над миром и временем:

– Fried!-ma-a-a-a-a-ann!

Оба с рыданиями бросились друг другу в объятия.

* * *

– Ваш сын может остаться не только без медали, – сказал маме Борис Григорьевич, – но и без аттестата зрелости.

Затем, понизив голос, хотя в кабинете не было посторонних, не было никого, кроме самого директора и моей мамы, он добавил:

– Ваш сын постоянно околачивается в кинотеатре... Там эта певица... Вы меня понимаете?..

– Я вас понимаю, – сказала мама и добавила дрогнувшим голосом:– Я вас *отлично* понимаю.

* * *

Вечером состоялся семейный совет.

В этом месте я не могу не сделать отступления, которое, как может показаться, к моему повествованию отношения не имеет. Но в жизни все невероятным образом взаимосвязано; при, казалось бы, несомненной материальности нашего существования вдруг обнаруживается не- или надреальная, необъяснимая, даже как будто «потусторонняя» иррациональность бытия, без которой прервалась бы связь времен и все рухнуло бы в тартарары. Мне часто хочется оглянуться назад, разобраться в том, кто я, отыскать причинность, благодаря которой на пестрой канве жизни вырисовался причудливый рисунок моей – единственной, ни на чью не похожей – судьбы.

Я вырос в провинциальном шахтерском городке. В нем, конечно, присутствовали все внешние атрибуты социалистического города: кинотеатр, дворец культуры, музыкальная школа, драмкружок дворца пионеров, литобъединение при редакции городской газеты. Я говорю об этом без иронии или насмешки, напротив: слава Богу, что это было.

Какое счастье, что в наших – далеких от признанных культурных центров – краях время от времени, словно добрые посланцы, появлялись светлые люди, оказавшиеся здесь – кто по несчастью, кто в результате личного краха или преступлений режима, нередко проделавшие

горький путь, полный лишений и потерь, – затем лишь, чтобы оставить след в судьбе случайно встреченного подростка. Уместно здесь поразмышлять о предначертании, о миссии, о Высшем Промысле.

Было в нашем шахтерском городе крупное, по нашим понятиям, учебное заведение – горный техникум. Литературу в нем преподавал педагог по фамилии Подкорытов, немолодой уже человек (к сожалению, не помню его имени-отчества, а всего вернее – я этого и не знал).

Был он, кажется, из «лиц с административным ограничением мест постоянного проживания».

Его ученики – будущие горные мастера, маркшейдеры, геодезисты – во время классных занятий писали сочинения об образе положительного героя – строителя светлой жизни и о прочей белиберде; иногда, между делом, учитель читал своим питомцам стихи Тютчева, Блока, Пастернака, а также, как я теперь понимаю, – не называя, разумеется, имен, – и Ахматовой, и Гумилева, и Мандельштама, и Цветаевой, и – кто ведает, кого еще... Мальчишками-студентами записанные в школьные, в клеточку, тетрадки, стихотворные строки выходили из-под контроля и, безымянные, устремлялись «в люди».

«Сейте разумное, доброе, вечное...»

Тамара Павловна Градская, мама популярного барда и певца Александра Градского, руководила во дворце пионеров драмкружком. Выпускница ГИТИСа, она не смогла принять приглашение и остаться во МХАТе – из-за мужа, Бори Фрадкина, инженера-механика; как и она, молодой специалист, он был «инвалидом пятого пункта», загнанный по распределению, несмотря на диплом с отличием, в нашу тьмутаракань, а было это в недоброй памяти сорок восьмом, сорок девятом или пятидесятом, не помню точно, да и не суть важно: они один другого стоили. Ничего иного наш город не мог предложить начинающей, да так и не начавшей талантливой актрисе, лишь неуправляемую кодлу мальчишек и девчонок, обуреваемых необузданным самомнением и переполненных дерзкими планами. «Мы покоряем пространство и время, мы – молодые хозяева земли!», «Нам нет преград ни в море, ни на суше!», «Молодым везде у нас дорога», «У нас ничего невозможного нет», «Для нас открыты солнечные дали, горят огни победы над землей» – вот тот трескучий фон, на котором шло становление наших личностей, вот он – групповой портрет моего искалеченного поколения.

Сколько прекрасных книг, не включенных в списки «рекомендуемых», прочитали мы с Тамарой Павловной! Никто из нас, ее благодарных воспитанников, не стал актером, и за это ей тоже спасибо, но мы полюбили театр, музыку, книги, мы поверили в благородство и разум, у нас прорезался слух и обострилось зрение, мы научились «отделять зерна от плевел».

(Умерла Тамара Павловна, не успев состариться, – в шестьдесят третьем, кажется, году, в Москве, в подвальной коммуналке на Фрунзенской набережной, куда семья ее сумела вернуться после долгих лет – вроде бы и не ссылки, но и не добровольного отсутствия. Мир праху ее.)

И был в моей жизни Мастер. Его – иногда наивно-детский, временами недоверчиво-насмешливый, чаще же серьезный и мудрый – взгляд, его волшебные руки, внимательный наклон его головы сопровождают меня уже несколько десятилетий; без него, как и без Тамары Павловны, как и без тетрадок со стихами, начитанными Подкорытовым, жизнь моя была бы беднее, а я был бы не я.

Низкий поклон Провидению за то, что люди эти жили, прошли однажды мимо меня в толпе и подарили частицу себя.

* * *

Вечером состоялся семейный совет.

СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ

в одном акте

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Папа
Мама
Я

Комната в неблагоустроенной коммунальной квартире. Мебель: стол, три табуретки. У стены железная кровать с никелированными шарами, у другой стены – топчан.

На сцене ПАПА и МАМА.

МАМА делает короткое, но в то же время очень эмоциональное сообщение о беседе с директором школы. Некоторые моменты она усиливает – чтобы произвести впечатление на ПАПУ.

ПАПА под впечатлением.

Входит Я.

На сцене те же и Я.

ПАПА: Где ты околачиваешься после школы? Где?

Я – молчит.

ПАПА: Почему ты молчишь? Почему?

Я – молчит.

ПАПА: Я знаю, почему ты молчишь. Ты молчишь, потому что тебе нечего сказать. Вот почему ты молчишь.

Я – продолжает молчать.

ПАПА (переходя на крик): Чем ты занимаешься целыми вечерами в кинотеатре?! Чем ты там занимаешься, я спрашиваю!

Я: Слушаю музыку.

ПАПА: Я знаю, какую музыку ты слушаешь! Я знаю, какую!

Я: Какую?

ПАПА: Ты слушаешь развратную музыку! Развратную музыку ты там слушаешь!

Я (искренне удивляясь): Почему развратную?

ПАПА: Потому что ты ходишь туда к этой проститутке!

Я – удивляется еще больше и не находит слов. Молчит.

МАМА: Боже мой, Боже мой, что же с ним будет!

ПАПА: Я знаю, что с ним будет. Я знаю, что будет с ним. Я знаю! Она заразит его венерической болезнью, и он сдохнет под забором. Вот что будет с ним!

МАМА (заламывая руки): Что же делать, что же делать?..

Я – молчит.

ПАПА: Ты думаешь, она занимается этим только с тобой? Ты так думаешь, да? Так ты ничего не знаешь! Ни-че-го! Весь город знает, что она!-гу-ля-ет!-с-твоим!-пианистом! Весь-город-это-знает, весь-город, весь.

Я (не позволяя ему продолжить, несколько театрально): Не смей!

ПАПА (пораженный): Что-что-о-о?

Я (стоит на своем): Не смей!

ПАПА (теряя самообладание): Что-что-о-о? Вон отсюда! Вон!

Я, хлопнув дверью, покидает сцену.

МАМА выбегает следом за Я. Из-за кулис доносится ее голос.

МАМА (за кулисами): Вернись! Я тебя умоляю! Ты простудишься! Ты заболеешь венерической болезнью! Ты останешься без аттестата зрелости! Ты будешь чистить уборные! Ты... будешь...

ПАПА разбивает табуретку, грохнув ею об пол, и этим заглушает окончание маминой фразы.

МАМА (за кулисами): ...будешь-будешь-будешь!

ЗАНАВЕС

Перед занавесом, через затемненный просцениум, движется фигура немолодого человека. В руках человек держит букетик первых подснежников. Он бережно прижимает цветы к груди, он ладонью заслоняет цветы от холода.

Навстречу ему идет женщина. Увидев ее, он ускоряет шаги, приближается к ней, протягивает цветы.

Вместе они пересекают просцениум и исчезают за занавесом.

МАМА *(за кулисами)*: ...будешь-будешь-будешь!

СВЕТ В ЗАЛЕ

* * *

От затяжных осенних дождей деревянный настил стал скользким. Оступившийся рисковал сорваться в непролазную лагерную грязь.

Навстречу Фридману шел высокий человек в офицерской форме, и, хотя ширина настила позволяла разминуться, заключенный предпочел сползти вниз.

Немец остановился. Это было плохим признаком: значит, что-то в облике или поведении заключенного ему не понравилось. Фридман ждал.

Офицер разглядывал неказистую, укутанную в тряпье фигуру, набухшие жидкой грязью штанины, дырявую шаль. Непонятный интерес проступил на жестком лице арийца.

– Friedmann? – недоверчиво произнес немец. – Was machst du hier, Karl? («Что ты делаешь тут, Карл?»)

Удивление в его голосе было искренним и странным – в этом странном и страшном месте.

«Какой-нибудь венский меломан, – подумал Фридман. – Наверно, посещал мои концерты».

– Donner Wetter! Ты не узнаешь меня, Карл? – тон был требовательный, даже сердитый.

– Nein... Wer sind Sie, Herr Offizier? («Нет... Кто вы, господин офицер?»)

– Ты сошел с ума... – от негодования офицер перешел на шепот.

– Да, я, наверно, сошел с ума, – согласился Карл.

Говоря это, Фридман еще не представлял себе, какое усилие предстоит ему сделать над собой, чтобы сохранить рассудок. Ему вдруг показалось... ему лишь показалось, что он начал узнавать –

медленно, постепенно начал узнавать в стоявшем перед ним офицере... Нет, этого не могло быть! Карл нерешительно произнес его имя.

Опять начал моросить дождь.

– Следуй за мной... Выдерживай дистанцию.

* * *

Он помнил Дитриха толстым рыжеволосым подростком; от вздернутого носа, светлых глаз и постоянной улыбки однокашника веяло покоем и добродушием. В присутствии Дитриха всегда хотелось улыбаться.

Отца Дитриха, Отто Фогеля, рано осиротевшего, приютила еврейская семья, и бюргеры-соседи отнеслись к такому поступку благожелательно: в конце века многие жители Вены гордились своей терпимостью. В принявшей его семье Отто вырос; так же, как и остальные дети, он получил медицинское образование.

В девятьсот пятнадцатом врач военного госпиталя доктор Фогель был застрелен маньяком, солдатом-мадьяром, которого он лечил; тот подслушал его беседу с другим раненным солдатом – курчавым очкариком; говорили они между собой на варварском жаргоне, который евреи обычно выдают за свой Muttersprache (даже в его названии они насмеялись над языком великих поэтов и философов: переиначив «Judisch» в «Yidisch», они таким образом открестились от презрительного клейма, которым племя их изначально мечено было Святым Писанием и Историей).

После гибели Отто большая и дружная семья Фогелей распалась, расползлась: одни уехали из Вены, другие совсем покинули Австрию. Изредка Карл встречал неопрятную и постаревшую фрау Фогель, но она не узнавала его.

После тех событий прошла целая жизнь, и каждый прожил ее по-своему...

В надвинувшихся сумерках Карл вглядывался в серое, с водянистыми глазами и впалыми щеками лицо своего бывшего приятеля – и не находил в нем ни одной черточки, которая хотя бы отдаленно напоминала ему рыжего сдобного Дитриха.

– Я не думаю, что смогу что-нибудь сделать для тебя, Карл, – бесстрастно и безжалостно произнес офицер. – Я всего-навсего комендант лагеря. Я исполнитель. Приказы поступают сверху... Я лишь солдат.

Фридман ни о чем и не просил. Ему было холодно, он зябко кутался в свою рваную одежду, но, промокшая, она прилипала к телу, и от этого становилось еще холоднее.

– В лагере, кроме тебя, есть музыканты? – спросил вдруг Фогель.

Фридман пожал плечами.

– Среди такого числа евреев не может не быть хороших музыкантов. – По аскетичному лицу Дитриха впервые пробежала гримаса улыбки, лишь на миг искривила его губы, не коснувшись глаз, – и тут же исчезла.

Фридман опять пожал плечами.

– Собери небольшой оркестр... Пять-шесть человек... Сообщишь мне имена... Уходи первым, нас не должны видеть вместе.

Фридман выскользнул за дверь и ступил на мокрый настил. Шел дождь. Карла знобило.

* * *

Мамины опасения не оправдались: я не заболел венерической болезнью, не остался без аттестата зрелости и не стал чистить уборные. Отметки в моем аттестате были не самые блестящие, но на приемных экзаменах в политехнический я все же набрал необходимые баллы.

Встреча с большим городом ошеломила меня. Я привязался к нему, влюбился в него, бредил им, я, словно девушке, дарил ему восторженные строки.

Ну, что же, город, покажи
Разлив твоих прекрасных улиц,
Чтоб великаны-этажи
И мне, как другу, улыбнулись,

Чтоб на плечо мне ветвь-рука
Легла, от почек тяжелея.
Издалека-издалека

Приехал, город мой, к тебе я.
Трамвай промчал вдоль этих мест
Колес ритмическое пенье,
И – вот твой дом и твой подъезд,
И под ноги летят ступени...

Это была целая поэма – о городе, о девушке и, конечно, о неразделенной любви. Правда, как и полагалось, финал поэмы звал, стремился мобилизовать, был полон оптимизма и уверенности в светлом будущем:

А жизнь идет, спешит, бежит
И исправляет все ошибки.
Мне вслед гиганты-этажи
Глядят с доверчивой улыбкой,

Спешит поток автомашин;
В своих пальтишках темно-серых
Заходят в школу малыши,
И набухают почки в скверах.

Знакомых улиц новизна
Умылась ласкою весенней.
Опять стучится в жизнь весна
Больших надежд и их свершений.

Я окунулся в новую жизнь. В прошлом остался кинотеатр имени Калинина с торжественной колоннадой перед входом и наивным оркестриком в полутемном фойе. Во время коротких наездов к родителям я приходил в кинотеатр, чтобы с ностальгическим трепетом послушать барабанный бой несгибаемого ударника Яши Кудрявого; тромбон Ефима Соломоновича выводил diminuendo удалявшегося паровозного гудка: «ту-ту-у-у» – затихало вдали; а голос вечно молодой Нины Полонской возвращал меня в ту страну юношеских грез, где и впрямь было «все вокруг мое».

В житье-бытье моих сограждан многое менялось. С отменой «административных ограничений» немцу Фридриху Гераде позволили покидать город его «постоянного проживания». Федя навсегда запер свою фанерную будку, в которую много лет подряд приходили его клиенты, и он подшивал им валенки, приклеивал стельки, ставил набойки.

Нужно было видеть, как он запирал ее, будочку, кормилицу и поилицу, выручавшую в самые безнадежные годы ссылки, спасшую большую семью от вымирания! Повесил замок, повернул ключ и закинул его далеко-далеко, на седьмое небо, в тридевятое царство, в тридесятое государство. Там он и хранится – на веки вечные.

Лишь для Фридмана все осталось неизменным, не утратило си-

лы предупреждение, сделанное ему перед освобождением из зоны: «...мы надеемся, что вы понимаете возможные последствия, если кто-нибудь за пределами нашей страны узнает о вашем существовании. Вы умерли. Вас нет. Вы погибли в фашистском лагере».

Фомина в зоне уже не было. Досужие языки утверждали, что перед увольнением спороли с его крутых плеч полковничьи погоны; назывались даже имена очевидцев этой церемонии. По слухам, эксначлаг после увольнения зацепился в каком-то захолустье на непыльной партийной работе. Но это были слухи.

А в лагере замелькали новые лица. В прежние, наводившие страх кабинеты вновь назначенное начальство стало приглашать дотянувших до этих сказочных времен зэков, и с каждым подолгу, обстоятельно и вежливо беседовали.

Пригласили заключенного Фридмана.

– Как вы попали в советский лагерь? – почему-то раздраженно, хмуро глядя на Maestro, спросил немолодой сутулый следователь.

Фридман испуганно оглядел комнату. Зарешеченное окно. Письменный стол. На стене большая карта страны – от Москвы до самых до окраин. Два портрета: Ленина и Дзержинского. Кабинет как кабинет, Фридман перевидал таких немало.

Блуждая в дебрях свободного и правдивого русского языка, которому вроде бы как-то уже и выучился к тому времени, Фридман стал рассказывать гражданину начальнику, как был освобожден Красной Армией из немецкого концлагеря, как его вместе с тремя другими евреями-музыкантами зачислили в часть на довольствие и как, уже в составе дивизионного оркестра, дошел он до родной Вены.

– Ви никокта не пил in Wien? – спросил Фридман. Нет, гражданин начальник никогда в Вене не был.

– О-о, Wien ist сами лютши корот, ist die schoenste Stadt der Welt, – заверил чокнутый австриец.

Оба помолчали. Следователь хотел задать заготовленный вопрос, но его взгляд натолкнулся на заключенного, и следователь осекся. Сидевший перед ним зэк словно впал в забытье. Веки его опустились, голова тряслась, губы шевелились.

– Ми фериль: Stalin – gut, Hitler – kaputt. Ми отшен фериль... Ми тумаль: der Krieg ist zu Ende. Нет фойна. Контшиль. Finisch. Ja.

Не столько из малоразборчивого бормотанья, которое время от времени прерывалось восклицаниями «О-о, Wien!» и долгими паузами, сколько из заранее прочитанного непухлого дела следователь знал, что в той самой Вене, красивее которой нет города на свете,

рядовой Красной Армии Карл Фридман почему-то решил, что война для него уже закончилась. Следователь смотрел на заключенного, почти не видя его; до сознания доходили лишь отдельные фразы малопонятной путаной исповеди; но он, в прошлом боевой офицер, отчетливо представлял себе, как этот еврей, солдат музвзвода, сбрасывает с себя военную форму, как отправляется в город, который – каждый камушек, каждый дом, каждую крышу под самым родным в мире небом – знал с детства и, несмотря ни на что, любил; отправляется в бредовой надежде встретить хотя бы один призрак, ибо, после всего случившегося, можно ли было поверить, что здесь, кроме призраков, обитает еще кто-нибудь? Следователь словно воочию видел, как его подследственный бредет по неузнаваемым, чужим улицам невыносимо дорогого ему города – в тщетных поисках уцелевших, выживших, живых пришельцев из довоенного, невероятного довоенного бытия...

– Это пиль... ein Friedhof, отин полшой Friedhof. Ja.

Следователь взял со стола увесистый словарь, полистал, нашел нужное слово: «Friedhof – кладбище».

– Там пиль люти, aber это пиль трукой люти. Это пиль трукой корот. Это не пиль Wien... Ja, это пиль не тот Wien. Nein!

...Патруль задержал диковатого пешехода в странной, с чужого плеча, цивильной одежде. Показался подозрительным: многие немецкие офицеры сбрасывали форму и пытались затеряться среди местного населения. Человек пробовал объясниться – на ломаном, но все же на русском языке. Проверили документы. Задали какой-то вопрос; задержанный не понял, переспросил, однако патрульные повторять вопроса не стали, ударили в зубы и в пах, заломили руки – и отвели в военную комендатуру. Суд был короткий, без лишних формальностей. Рядовой Карл Фридман, дезертир, получил предусмотренную законом десятку.

«Получил предусмотренную законом», – подумал следователь, и это словосочетание враз внесло в его душу спокойствие и согласие с собой.

– Вы отдаете себе отчет в том, что говорите? – резкий голос следователя прервал рассказ Фридмана. Maestro вздрогнул. Он не знал, что значит «отдаете себе отчет», тем не менее, понял, что сделал нечто предосудительное.

– Вам не ясно, что вы не имеете права находиться в советском исправительно-трудовом учреждении? – тон собеседника был недружелюбный, почти враждебный, и Фридману стало не по себе. Все же, цепляясь за остатки надежды, он спросил:

– Warum?

– Darum! Вы никогда не были гражданином СССР, вот и весь warum.

Фридман испугался и окончательно умолк.

За дверью кабинета были слышны голоса, скрипели половицы. Там продолжался лагерный быт: охранники приводили и уводили зэков, которые имели законное право находиться в советских местах лишения свободы; следователи задавали вопросы; лагерный врач возвращал заключенных в чувство после тяжелых обмороков. Все было правильно и понятно.

– Ну, вот что, – почти примирительно произнес следователь, и Фридман вдруг почувствовал симпатию к нему – за теплую нотку в голосе, за мягкость, которая почудилась в прищуре глаз, за усталый вид: наверно, много работает. – Мы готовы посмотреть сквозь пальцы на эту вашу... оплошность. Может быть, мы даже освободим вас из лагеря и позаботимся о вашем трудоустройстве. Вам предоставят место в рабочем общежитии... Вы сможете пользоваться всеми правами советского гражданина: избирать и быть избранным. Наш народ – не мстительный и не злопамятный, помните это; русский народ всегда был великодушным. Но мы надеемся, – он раздельно повторил:– мы-на-де-ем-ся, что вы понимаете возможные последствия, если кто-нибудь за пределами нашей страны узнает о вашем существовании. Вы умерли. Вас нет. Вы погибли в фашистском лагере. Ваши кости сгнили на... на Friedhof'e, – вспомнил он слово. – На вашем братском Friedhof'e – вместе со всякими Фридами и прочими Фридманами. – Следователь улыбнулся собственному каламбуру. Потом согнал с лица улыбку и строго спросил:

– Вы меня хорошо поняли?

Жизнь сделала Фридмана понятливым.

Но ведь я-то,
я ничего не знал об этом предупреждении.
Так получилось,
что Maestro
никогда
не рассказывал
мне
о нем.

* * *

– Войдите, – глухо донеслось из-за обитой дерматином двери.

Я привык видеть его на концертах (студентам продавали абонементы со скидкой). Он всегда появлялся под аплодисменты – подтянутый, сосредоточенный, стремительный, на ходу, почти на бегу, размахивая дирижерской палочкой.

Теперь мне предстояло войти в его кабинет, встретиться с ним лицом к лицу. Я надавил на дверную ручку.

За, казалось, бескрайним письменным столом сидел не первой молодости человек – без пиджака, узел его галстука был приспущен, в распахе рубахи бушевала густая шерсть; очки держались на горбинке его знаменитого носа; на меня он смотрел поверх тонкой металлической оправы – нервно и нетерпеливо. Он не поздоровался, не ответил на мое приветствие – не успел этого сделать, а сразу стал задавать вопросы.

– Вы скрипач(?) – он скорее утверждал, чем спрашивал. – Альтист(?) Альтисты у нас укомплектованы. Хорошего контрабасиста я готов послушать. Но только очень высокого класса. С неудавшимся виолончелистом даже разговаривать не стану.

Он смерил меня взглядом – именно смерил, оценил, прикинул, сколько сантиметров в моем росте, в руках, ногах, плечах, шее.

– Сознайтесь: в прошлом вы виолончелист(?)

– Нет, я не виолончелист.

– У кого вы учились?

– Я не учился.

Он мотнул головой; очки свалились с его носа и повисли под подбородком, уцепившись дужкой за ухо.

– Ха! Как – не учились?

– То есть... учился, но не музыке.

Я все еще стоял у двери.

– «Учился, но не музыке...» Ха, «учился, но не музыке», – он перекатывал во рту мой ответ, словно пробовал его на вкус. – А чему? Римскому праву? Канализации и водоснабжению?

Он забросил очки на горбинку и опять, наклонив при этом голову, взглянул на меня поверх оправы. Из-за его набыченного вида создавалось впечатление, что вот-вот он забодает меня. Карандаш в его пальцах непрерывно двигался – то ли чертил в воздухе каракули, то ли дирижировал какой-то фантастической партитурой.

– Я учусь в политехническом.

– Ха! А в свободное время играете на контрабасе(?)! Ха-ха!

Я переминался у порога.

– Ни на чем я не играю.

– Зачем же вы пришли? – тряхнул он головой. Очки сверкнули и опять полетели под подбородок.

Мне надоело это препирательство, затянувшееся и бессмысленное. Не дождавшись его приглашения, я подошел к столу и сел в кожаное кресло. Сиденье вздохнуло и, выпустив воздух, осело подо мной. Я ухватился за край стола. Главный дирижер, не меняя позы, с любопытством наблюдал за мной. Поерзав, я, наконец, утвердил свое тело и почувствовал себя увереннее.

– Скажите, пожалуйста, – теперь вопросы задавал я, – вам знакомо имя дирижера Карла Фридмана?

Отделившись от лица, брови его поползли вверх, и радостная улыбка догадки брызнула из глаз.

– Вы музыковед! Вы занимаетесь венской школой! Вы правы: Карл!-Фридман!-Это!-Удивительное!-Явление!-Ха! Как вы узнали, что следует обратиться ко мне? А? Знаете – я видел настоящего Карла Фридмана, живьем, вот как вас! Ха! Я был на его репетициях.

Шерсть на его груди победно вздымалась, глаза блестели, карандаш полетел в сторону, к противоположному краю стола.

– Вы были в Вене? – робко спросил я, не решившись, однако, продолжить фразу «Wien ist die schoenste Stadt der Welt».

– Нет, что вы. Я тогда был еще ребенком.

Он расположился удобнее, утопил себя в мягкой глубине кресла, откинулся на спинку, закинул ногу на ногу, выставив на обозрение домашнюю фланелевую туфлю, и я понял, что сейчас услышу необыкновенную историю.

– Это было в двадцать седьмом году. Представьте себе: десятилетие революции! Вся страна живет только этим. Флаги, лозунги, портреты вождей... Кому-то на ум взбредает идея: заманить на эти торжества Рахманинова. Представляете? – годовщина октября – и Рахманинов! Диссонанс, нарушение всех мыслимых пропорций, безвкусица. Однако, какая пикантная, какая гениальная! Размах, масштаб, ха-ха!.. Рахманинов выступал в Париже. Там же находился Красин. Он явился на концерт и передал для господина Рахманинова личное письмо и официальное приглашение – разумеется, на бланке, как положено, со всей необходимой атрибутикой, символикой, стилистикой. Точно вовремя, минута в минуту, когда должен был начаться концерт, на сцену вышел ведущий и заявил: «Мсье Рахманинов не

будет выступать, пока советский представитель не покинет зал». По-русски и по-французски, слово в слово. Каков фрукт? Ха!

Он дал мне время осмыслить услышанное.

– Вы знаете, кто поехал в советскую столицу? – интригующе сверкнув глазами, спросил рассказчик. Брови свободно разгуливали по его лбу. – Ну да, я вижу, что вы уже догадались, ха-ха: он, конечно он, Восходящая-Звезда-Европы!-Дирижер!-Карл!-Фридман!!! Эти еврейские интеллектуалы предпочитали жить на Западе, но молились на Восток. Ха! Он приехал, и его приняли с помпой, и он дирижировал в праздничной Москве. Мои родители, тоже музыканты, брали меня на репетиции, и-я-видел-живого-Карла-Фридмана! Представляете?

– Нет...

– Воистину, трудно себе представить. Но это было! Ха-ха!

– Он никогда не рассказывал, что бывал в Советском Союзе.

– Pardon?

– Он мне об этом никогда не рассказывал.

– Кто?

– Карл Фридман.

– Мда...

Взгляд моего собеседника стал строгим.

– Дирижер Карл Фридман погиб в немецком концентрационном лагере. – Это прозвучало как сухая справка из энциклопедии. Затем он потянулся через стол, средним и указательным пальцами подкатил к себе карандаш и стал гонять его по стеклу, полностью уйдя в это занятие. На меня дирижер больше не обращал внимания, решив, очевидно, что имеет дело с психом. Потом, не поднимая головы, пробурчал:

– Простите, я занят. Хм-да.

Я приподнялся и перегнулся к нему через письменный стол.

– Карл... Фридман... не погиб. Он жив.

Дирижер вздрогнул. Я, путаясь в мыслях и словах, торопливо заговорил:

– Вы можете мне не верить, но – послушайте, честное слово! – Карл Фридман жив. Я лично знаком с дирижером Карлом Фридманом из Вены, он живет в... – я назвал наш городок, – это всего двести километров отсюда, он там играет в кинотеатре в оркестре. – Я вдруг понял, насколько неправдоподобно звучит все это после его рассказа. – Конечно, вы мне не верите, я понимаю, я и сам не поверил бы, но это правда.

Я говорил бессвязно, сбивчиво, опасаясь, что меня прервут, не дадут договорить, выдворят из кабинета, вызовут милицию или скорую помощь – и тогда все пропало. Но мой собеседник отвел в сторону взгляд, водрузил на переносицу очки – как бы отгородился стеклами – и углубился в какие-то бумаги; он напевал себе под нос, дирижировал карандашом и в упор не замечал меня.

– Он не погиб, – с мольбой в голосе ронял я в безответную пустоту. – Он был в лагере, наши освободили его в конце войны. Потом его посадили, и он опять сидел в лагере. А теперь он играет в кинотеатре на пианино, я хорошо знаю его, вы бы послушали, как здорово он играет, ну вот правда, из-за него кинотеатр даже получил переходящее красное знамя, они теперь всегда перевыполняют план.

Он поднял на меня безумный взгляд. Я попытался сказать еще что-нибудь, но не знал, что бы добавить к сказанному такое, что прозвучало бы поубедительней; я лишь тупо повторял:

– Вы мне не верите... А он играет в кинотеатре на пианино. А вот вы не верите. Как же это?.. Он же играет на пианино... каждый вечер... Его приходят слушать даже без оркестра – так здорово он играет. Лучше всех.

Вдруг мне пришла в голову, как мне показалось, спасительная идея, веский довод, который, несомненно, должен был убедить его.

– Он и на скрипке играет. Знаете, он так здорово играет на скрипке, даже лучше, чем Федя, а Федя работает в оркестре скрипачом. Федя днем работает сапожником, а вечером скрипачом. Правда-правда. А когда Фридман заиграл, Федя заплакал, я сам видел.

В конце концов эта бодяга ему надоела.

– Послушайте, – он заговорил, не отрывая глаз от партитуры – или что там лежало перед ним. – Я не верю ни одному вашему слову, потому что все, что вы сейчас наговорили, – абсурд. Понимаете? – чушь и бред собачий. Но если... – он боднул воздух, и я всей своей сутью ухватился за это «если» как за последнее спасение, как за самый кончик ускользнувшей было надежды. – Но если... вы понимаете?.. если это так... что я могу вам сказать! Вакансии дирижера у меня нет... пока, но ставку концертмейстера, угол и прописку... для-Карла!-Фридмана! Вы меня поняли?.. Но повторяю: все это... Хм-ха! – он пожал плечами.

– Спасибо!

* * *

Через неделю, вернувшись в общежитие после лекций, я обнаружил на столе письмо – без обращения, написанное в спешке неразборчивым почерком. С трудом, почти по слогам, я прочитал:

Вчера хоронили Фридмана. К ним в музыкантскую прибежал Фомин. Он упомянул твое имя. Он всех выгнал, кроме Каюкова и Фридмана, и все стояли за дверью. Фомин был красный и кричал. А потом пришли еще двое, и Фридман ушел с ними. Его отпустили ночью. На улице ему стало плохо. Никто не знает, сколько он пролежал. Случайный прохожий вызвал «скорую», она долго не приезжала, потом приехала, но было поздно. Может быть, ты знаешь что-нибудь. Напиши. Мама.

Прошло двенадцать лет

На сборы нам дали всего две недели. Нужно было успеть: оформить документы, отремонтировать и передать ЖКО квартиру, сняться с военного учета и сдать военный билет, отправить багаж, обменять валюту (тоже мне валюта!) и т. д., и т. п., и пр., и пр., и пр. – тот, кто в семьдесят первом году не прошел через это чистилище, не пытался пробить непробиваемое безразличие, а чаще – враждебность всех и всего вокруг, тот не сможет оценить, **что** значит для отъезжающего этот срок: две недели – и как его безнадежно мало.

И все же необходимо было выкроить день-другой, чтобы поехать – попрощаться с родителями.

Я выкроил и поехал.

Город моего детства... Вдоль его улочек, от дальних терриконов, плыл туман, перемешанный с угольной пылью и угарным газом; пыль хрустела на зубах, а смрад гари душил, переполняя легкие; все было, как прежде, как всегда, все было знакомо, но теперь воспринималось с какой-то неестественной, а скорее – сверхъестественной отчетливостью: и трибуна в центре города, покрытая темно-серым снегом (над ней в былые времена, подминая под себя всех и все вокруг, тяжелой глыбой нависала фигура Великого Корифея и Гения; теперь на этом месте возвышался лишь пустой постамент), и доска почета у здания Шахтостроя – даже фотографии героев труда, кажется, были на ней те же, что полтора десятилетия назад.

Предметы сохранились, но обветшали и как будто уменьшились в размерах.

Я прошел мимо кинотеатра. Его фасад за массивными колоннами совсем облупился и поник. Подчиняясь привычке, я чуть было не свернул ко входу, но вовремя опомнился: концерты перед сеансами давно отменили, оркестр разогнали, «расформировали», и идти было не к кому.

О моих бывших друзьях-приятелях я знал не так-то уж много.

Мой товарищ Фридрих Гераде переехал в Казахстан, а оттуда с волной немецкой репатриации перебрался в ФРГ. Чем-то он там занимается, в своем новом Vaterland'е: подшивает валенки или играет в оркестре? Хочется надеяться, что alles у него ist in Ordnung, то есть, по-нашему, по-простому, по-современному: все о'кей.

Скрипку, ту самую, из комиссионки, вывезти Феде не разрешили: оказалась она редкой, даже уникальной – семнадцатый век, Италия, Кремона, знаменитый мастер Николо Амати – семь поллитр без закуси.

Остальные музыканты перебиваются на старой родине, кто как может. Витька Чинарев все еще крутит баранку, Яша Кудрявый по-прежнему вкалывает в «скорой», постарел, но, по его утверждению, продолжает покорять сердца, души и даже тела местных джульетт и дульциней, Ефим Соломонович вышел на пенсию и в компании каких-то духоперов-любителей халтурит на похоронах.

Только певица Нина Полонская осталась при кинотеатре, сменив, правда, амплуа: она сидит за окошком кассы и продает билеты; разговаривает кассирша хриплым басом и дымит дешевыми сигаретами. Иногда заходит к ней кареглазый мальчик – ее сын – с большой не по росту нотной папкой в руке. Нина дает ему деньги на мороженое, морщинки на ее лице разглаживаются, взгляд теплеет. Говорят, что, взрослея, мальчик все больше становится похожим на покойного Maestro...

А вот Каюков со своим красным перламутровым «Scandalli» канул, исчез с горизонта. Рассказывали о нем разное: то ли угодил он по пьянке в историю и схлопотал срок, то ли взяли Николая Андреевича в аппарат обкома партии. И то сказать: коммунист, деятель культуры, руководил творческим коллективом, к тому же – сам профессиональный музыкант.

Вот, пожалуй, и все, что могу я поведать о судьбе бывшей культурной достопримечательности нашего города – оркестре кинотеатра имени М. И. Калинина.

И еще – не упустить бы. Наши пенаты покинул Фомин. У жителей

это событие не вызвало ни эмоций, ни откликов, но упомянуть о нем я должен.

Фомин защитил диссертацию, и перед его именем появилась коротенькая приписка: «канд. ист. наук». Он перебрался в областной центр, где много лет затем заведовал кафедрой научного коммунизма в местном пединституте, да, пожалуй, и теперь – конечно, под другой вывеской – что-нибудь возглавляет, кого-нибудь куда-нибудь направляет и ведет. А может быть, уже и на пенсию вышел, на почетный заслуженный отдых. Время-то – оно и для него не стоит на месте.

А я уезжал. Я навсегда покидал страну, а вместе с нею и город моего детства.

Конечно, мне следовало проститься с Фридманом, прийти на его могилу и молча постоять несколько минут. Просто постоять и помолчать. Ведь кроме меня на всем свете не осталось у него никого, кто мог сделать это – последнее, что можно сделать для близкого, дорогого или просто знакомого человека после его ухода из жизни.

Я должен был, но я не мог постоять на его могиле. Нет ее, в природе не существует, не осталось на земле памяти о нем.

...Я шел по городу, в котором прошли последние – уж не знаю: худшие ли, но уж точно, что не лучшие, – его годы. Вон за тем поворотом – железнодорожная линия, переезд с полосатым шлагбаумом, приземистый домик. Много лет назад за его окнами гудел пьяный говор, звенели стаканы, стлался бражный дух. И звучала музыка. На потертом расстроенном баяне играл музыкант, который некогда стоял за дирижерскими пультами лучших оркестров мира; потом... потом ему выпала доля развлекать офицеров непобедимой армии Третьего рейха, в то время как его соплеменников сгоняли в транспорты для отправки в газовые камеры... потом – в форме солдата Красной Армии – он шагал по дорогам Польши, Чехословакии, Австрии и дошел до любимой Вены (O! Wien ist die schoenste Stadt der Welt!)... неожиданный поворот, и он за колючей проволокой ГУЛАГа – умирает от голода и непосильного труда.

Так кем же, кем был в этой запутанной жизни Карл Фридман? Какой след оставил он на земле? Вспомнит ли кто-нибудь имя известного в довоенной Европе дирижера? или клезмера из нацистского лагеря? или до смерти запуганного советского зэка? а может, сохранит людская память образ странноватого лабуха из маленького полулюбительского оркестра, которым руководил алкаш и добрый мужик Николай Андреевич Каюков? Разыграла судьба хитрую партию: австрийский еврей, трогательно влюбленный в свою

неповторимую Вену, исколесил Maestro Friedmann – и по доброй своей, и по чьей-то недоброй воле – полмира, а умер в чужой неласковой стране, в далеком уральском городе, ничем не примечательном, мало кому известном, не на всякой географической карте обозначенном...

Несколько лет Фридман покоился на загородном кладбище; скорбное пристанище его было отмечено жестяной пятиконечной звездой да фанерной дощечкой с надписью. Однако со временем краска и на звезде, и на дощечке поблекла, смылась дождями и росами, жесть проржавела и скукожилась, фанера рассохлась, потрескалась, и стала могила безымянной.

Неожиданно место, на котором раскинулось кладбище, понадобилось для каких-то хозяйственно-стратегических нужд особой государственной важности; родственникам покоящихся было предписано в означенный срок обратиться к городским властям с ходатайством о перезахоронении. Началось переселение останков, исход мертвых.

На кладбище пришли могильщики и перепотрошили кости, освободив их от золотых коронок и прочих ценностей, не имевших цены для усопших; бульдозеры сравняли могильные ямы и холмики.

Приехали взрывники, и затряслось, загрохотало вокруг. Раскидало взрывами комья кладбищенской земли, разлетелись они по округе вместе с незатребованными мощами. Долго еще местные мальчишки, играя в футбол, лихо гоняли по горячей летней пыли, по весенней и осенней грязи да по седой зимней пороше выбеленные солнцем и временем черепа. Трещали лбы от пенделей, глазницы пустые таращились, вороны с криком взмывали в небо. Еще и теперь стонут здесь по ночам неприкаянные души умерших, нет им успокоения.

У Фридмана родственников не было. Рассказывали, что кто-то будто бы обращался в горсовет, но ходатай не смог (или – не смогла) представить необходимые документы, подтверждающие родственные отношения. На том дело и заглохло.

А про поруганное кладбище, в бесхозный пустырь превращенное, вскоре забыли. Гуляют по нему отравленные химией, радиацией и людским равнодушием крутые уральские ветры...

Отряхнув с ботинок мокрый снег, я вошел в подъезд родительского дома.

* * *

В стране моего прежнего проживания, приезжая в командировку в какой-нибудь Репейск или Пролетарск и скучая вечерами в доме для приезжих, который и гостиницей-то постеснялись назвать, я иногда коротал часы, перелистывая местную телефонную книгу. Так можно было удовлетворить праздное любопытство, определяя, сколько в данном населенном пункте проживает Коганов, Каганов и Кагановичей, Гринбергов и Гольдбергов и, конечно же, непременных, неиссякаемых и неистребимых на святой Руси Рабиновичей. Я с любопытством просматривал колонки Ивановых и Проценко, Назырбековых и Акопянов, Муслимовых и Нонешвили – каких только диковинных наций и народностей не намешала по необъятной стране ленинско-сталинская национальная политика! Приняв эстафету от Романовых, новые паханы с таким небывалым размахом развернулись на одной шестой части земной суши, что заплясали леса и горы.

Прибыв на историческую родину – в Израиль, на Землю Обетованную, текущую молоком, медом и самыми кашерными в мире ликероводочными изделиями, я нашел телефонному справочнику новое и на редкость целесообразное применение.

Помнится, булгаковский Шариков постигал русскую грамоту по уличным вывескам, которые читал по-еврейски – справа налево: «АБЫРВАЛГ». Я же для изучения древнего алфавита моих предков приспособил пухлые гроссбухи с фамилиями жителей округов, городов и селений нашей маленькой страны. Перебирая закорючки-буковки, как и Шариков, справа налево, я учился втискивать в плотный ряд трудно распознаваемых согласных букв как бы несуществующие, однако произносимые несогласные.

С Рабиными, Рабинзонами и Рабиновичами отношения у меня с самого начала складывались успешно: я их разгадывал и расшифровывал без особого труда. Хуже было с Леви, Левиными, Левинштейнами, Левинзонами; по моему непросвещенному мнению, эти фамилии следовало либо писать, либо произносить иначе, не так, как это принято. Логично было бы читать их «Луи», «Луин», «Луинштейн», «Луинзон».

Попадались совсем странные буквенные комбинации. В них ничего нельзя было угадать, и казалось, что никто никогда не сможет прочитать их правильно, да и что тут было правилом? – Бог весть.

Домочадцы подтрунивали над моей методой постижения премудростей родного языка, но, непреклонный, часами водил я

пальцем по мерзкой книге и гнусавил, как над усопшим монах.

Фамилия Фридман занимала целый столбец. Имена Алон, Арье, Бен-Цион, Биньямин, даже Гад и Гидон (уж не пушкинского ли князя Гвидона тезка?) – я освоил и поэтому бегло перебирал Фридманов – строчку за строчкой справа налево и сверху вниз.

Запнулся я о Давида, имя это озадачило меня не меньше, чем фамилия Леви. По логике вещей, из представленных трех букв складывался либо ДУД (но если верить словарю, «дуд» – при том же написании означает «котел»), либо ДОД (который, опять же, пишется тем же самым образом, хотя и является дядей).

– Жену отдать доду, – бормотал я, – а самому пойти... к пароходу!

ДОД ни с чем подходящим не рифмовался, а имя «Давид» из данных трех букв не складывалось. Было сомнительно, чтобы такой язык имел право на существование. Подобно всем новоприбывшим, я стремился изменить в этой стране *все*; начинал же я, как всякий неуч, именно с вопросов языкознания.

Так, упершись пальцем и взглядом в, казалось, непреодолимую строку, я задумчиво сидел, как писывали некогда в «Известиях», *под зеленым абажуром* (а абажур у нас и впрямь был зеленый, сохнутовский) – и мысленно возмущался. Мой взгляд, а за ним и палец, заскользили влево, переместились на женское имя, и на нем я тоже забуксовал. Свина? Странно. И некашерно как-то. Может быть – Сбина? Нет, тоже звучит не по-людски. Вдруг дошло: Сабина! Как просто: Фридман Давид и Сабина. Сабина и Давид Фридман... Давид и Сабина... Какое знакомое сочетание! Фридман-Фрид-ман-Фри... Давид и Са... Что?! Давид и Сабина Фридман?!

Отбросив увесистый том телефонного справочника, я вскочил с дивана. Упал светильник; вдребезги разлетелся зеленый сохнутовский абажур; громыхнув, лопнула лампочка. В навалившейся темноте я продолжал повторять:

– Невероятно! Давид-и-Сабина-Фридман! Не может быть... Да быть этого не может!

Дрожало пламя спички, не разгоралась свеча, пальцы не попадали в отверстия телефонного диска. В конце концов, мне удалось набрать номер.

Длинный гудок.

Еще один.

И еще.

Щелчок в трубке.

– Ja-a-a...

* * *

Он был очень старый, этот господин Давид Фридман. Грубое лицо с глубоко прорезанными морщинами, крупный нос, большие оттопыренные уши. В его внешности не было врожденного аристократизма и непринужденной артистичности, которые отличали его знаменитого брата.

И все-таки это был Фридман. В движениях, во взгляде, в повороте головы, в чем-то неуловимом, невыразимом – это был Фридман, я, несомненно, обратил бы на него внимание даже в уличной толпе.

Давид Фридман часто и нервно моргал, глаза его слезились, он напряженно смотрел на меня, словно впечатывая свой взгляд в мое лицо.

– Вы никогда не были в Вене? – вдруг спросил он по-немецки. Господи, тот же голос, та же интонация!.. Я вздрогнул.

– Wien... ist... die schoenste Stadt der Welt, – почти непроизвольно ответил я, и теперь наступил его черед вздрогнуть. Это походило на обмен паролями.

– Bruder! – воскликнул старик и бросился ко мне. – Брат! Я так долго ждал! Я так молил Бога... O, mein lieber Bruder... O, Gott!

Слезы капали мне на плечо; сквозь толщу пиджачной ткани я слышал частые удары его старого исстрадавшегося сердца.

– Ваш брат умер тринадцать лет назад...

– Mein Gott, mein Gott! Боже мой, Боже мой! Брат, ты все так же молод, о, Боже!

Он не слышал моих слов. Их смысл не доходил до его сознания. Его разум не соглашался мириться с тем, что было сейчас произнесено. Ведь он столько ждал, он должен был так много сказать своему брату – сказать все то, что не успел или не смог сказать тогда, в тысяча девятьсот тридцать пятом, когда все еще только начиналось.

Игаль Городецкий

ПУТЕШЕСТВИЕ ИДЫ ПЕТРОВНЫ ЗА МОРЕ И ОБРАТНО

Ида Петровна решила ехать. А что еще оставалось бедной женщине? Пенсия была ничтожной, сбережения таяли на глазах, на улицах убивали. Очень беспокоила экология. Месяц назад Ида Петровна отравилась творогом и долго не могла восстановить нормальную деятельность кишечника. А тут еще сломался телевизор, и мастер запросил та-а-кие деньги!.. Словом, надо было ехать.

Ида Петровна привыкла серьезно обдумывать свои действия. Прежде всего необходимо было решить вопрос с квартирой. Посоветовавшись с нужными людьми, Ида (в молодости она просила называть себя Ирой, но когда стала солидной женщиной и ее пытались величать по имени–отчеству, Ира Петровна не вытанцовывалось, Ирина Петровна было уж слишком далеко от значившегося в паспорте «Ида Пинхусовна», и чтобы не раздражать *гоим*, она на Ире больше не настаивала)... Так вот, посоветовавшись, Ида придумала обменяться перед отъездом со своим племянником, который с женой и детьми все еще жил в коммуналке. Такой обмен был удобен во всех отношениях. Ида получала деньги; дом, где жил племянник, находился в центре Москвы, а в случае возвращения – хотя об этом Иде не хотелось и думать – можно было обменяться «взад». Разумеется, Ида Петровна понимала, что такой подарочек («Здрасьте, я ваша тетя!») не слишком обрадует племянника, но все же не чужой человек.

Итак, Ида решилась. Конечно, ехать с *человеком*, как говорила она, было бы намного легче. Человек, вроде бы, имелся, однако ненадежный и хворый. *Там* жили какие-то его родственники, а он все медлил, тянул. У Иды же не было там никого, только подруга молодости, но та, хоть и была одинока, поехала к сыну и, безусловно, не могла уделить Иде достаточно внимания. И все же Ида решила ехать. С человеком, которого звали Марк, договорились так: она поедет, посмотрит, как и что, а потом и он, возможно, присоединится.

Открылась интенсивная переписка с подругой, несмотря на то, что письма отсюда стоили весьма и весьма дорого. Подруга писала как-то путано, ничего она, видно, толком не знала, жила *за сыном*, похоже, без забот, а вот Иде жить было не за кем. Все сама. Во вся-

ком случае, ясно, что продукты там есть, правда, подруга писала, невкусные. Ну это как на чей вкус, ха–ха! Пенсию плотють, как говорила новая соседка по коммунальной квартире тетя Варя. Сколько, Ида так и не поняла; и она сама, и подруга путались в шекелях-шмекелях, рублях и долларах. Ну да еврейский Бог вывезет.

Ида Петровна и сама не плошала. Она приватизировала жилплощадь, но от соседей-гоев все надо было, конечно, скрывать. Да и вообще помалкивать. Одна евреечка в скверике все подкатывалась, но Ида дала отпор.

Она составила список необходимых вещей, разумеется, посоветовавшись предварительно с людьми. Подушка пуховая – 1. Постельного белья – 5 шт. Тарелки глубокие – 3, мелкие – 3, чашки – 3 (а что ей – приемы устраивать? Одну себе, одну Марку, даст Бог, одну для гостей). Щетка половая – 1, ведро – 1, бидон эмалированный, выварка для белья, чайник. Ну и, кроме того, мыло, нитки, туалетная бумага, одежда теплая. По совету людей были куплены отрезы штапеля и льняные полотенца – на продажу. О пианино или мотоцикле нечего было и мечтать – таких денег у Иды не водилось. Документы оформили быстро.

Встал вопрос с долларами. Хотя их и немного было, но все же боязно *так* везти. Вековой еврейский опыт подсказывал: зашить в трусы. Но, с другой стороны, ведь могут заставить предъявить. Как тогда? Проситься в туалет? Советоваться с людьми было как-то неудобно, да и боязно – нельзя говорить всем и каждому, что у тебя есть валюта.

После недельных мучений Ида Петровна рискнула открыться человеку. Он сначала глянул странно, но потом проникся. Решили все же зашивать, но не наглухо, а так, чтобы, если заставят предъявить, можно было бы, отвернувшись на минутку, одним движением распороть и достать (следовало, конечно, надеть юбку, а не платье). Был сшит мешочек, и были проведены несколько репетиций. Вроде бы, все выглядело достаточно пристойно и, вместе с тем, надежно. Но все-таки некоторое беспокойство осталось.

А вот в другом деле Ида Петровна оплошала. Надо было все же известить подругу о своем приезде телефонным звонком или телеграммой, но Идочка, если честно признаться, пожадничала и решила, что сама справится. Однако когда самолет приземлился (она почему-то думала, что в Иерусалиме) и Ида вышла в душную декабрьскую ночь в своем зимнем пальто и теплом платке, она растерялась. Все суетились, и Ида суетилась. Все стремились

первыми прорваться в зал, и Ида бежала вместе со всеми.

Когда наконец до нее дошла очередь и мужчина за столом спросил, есть ли у нее кто-нибудь в стране, Ида дала адрес подруги. Чиновник взглянул на бумажку и быстро сказал, что мест в иерусалимском центре абсорбции нет и не предвидится и что он может направить ее на съемную квартиру в Арад. Ида Петровна настаивала на Иерусалиме. Чиновник посуровел. Ида попыталась надавить на жалость. Но ни слезы, ни уговоры не подействовали. И Ида смирилась, поняв, что нужен блат. Блата не было, и, утерев слезы, Ида отправилась в Тель-Авив, в гостиницу. После люди ей объяснили, что можно было взять такси (за счет Сохнута) и поехать к подруге *просто так*. Но задним умом...

Короче говоря, заплатив ужасную, как ей показалось, сумму за гостиницу, Ида Петровна наутро с помощью людей связалась с сыном подруги (та до сих пор жила в центре абсорбции, и телефона у нее не было) и слезно умолила его приехать за ней в Телль-Авив – второй раз бесплатно такси не давали. Сын прикатил на машине, внешне любезный, но чувствовалось, что он злится на бестолковую тетку.

Подруги встретились после семилетней разлуки, и каждая поразилась в душе, как постарела и подурнела другая. Им стало жалко друг друга, и они расплакались. В сущности, двум немолодым женщинам не так-то легко было найти общий язык. Как-то перескакивали с темы на тему, вспоминали, как водится, молодость, общих знакомых. Ну и тому подобное.

Подруга подтвердила то, что говорили люди: надо снимать квартиру с кем-то, одной не вытянуть. Что ж, опять коммуналка? А ты как же здесь одна? Маленькая, но все же отдельная квартирка в этом, как его, *маоне*... Тогда давали? А может, у сына есть кто-то, кто мог бы помочь? Понятно. А если *дать*? Кому? И сколько? Понятно...

То, что Ида Петровна останется у подруги – ну хотя бы на несколько дней, – не обсуждалось, ибо Ида своими глазами видела, как ее сын через некоторое время привез раскладушку. Ида несколько переела, спала плохо, а наутро у нее начался понос – то ли из-за пережитых волнений, то ли от непривычной пищи. Поговорили о болезнях. Так, в разговорах, прошло несколько дней. О деньгах подруга пока не заикалась, и Ида не выскакивала.

Денег было как будто много – большие непривычные бумажки, но Ида не знала, что с ними делать: хранить дома, нести в банк? Попыталась посоветоваться с подругой – толку оказалось мало. Что говорить, за сыном живет. Сунуться к сыну нельзя было – всегда

занят. Пришлось искать людей. Ну и закрутилось: *мисрад клита*, банк, *битуах леуми* – пенсия ихняя...

И тут случилась неприятность. Иду Петровну от подруги выгнали. Не иначе, донес кто-то. Начальница маона, где жила ее подруга, заметила Иду в вестибюле, подошла и долго выговаривала ей что-то на непонятном языке. Ида на всякий случай скривила лицо и приготовилась заплакать. Директорша, размахивая руками, обратилась к постояльцам, которые в это время сидели на скамейке перед входом, греясь на декабрьском солнышке: «Русит, русит...» – «Убирайся к своим русским!» – так поняла испуганная Ида. Хорошо, люди объяснили, что от нее требуют покинуть маон, не ночевать там больше.

Пришлось проситься к сыну подруги (он жил недалеко). А у него семья. Жена, дети. Хоть и три комнаты, а места нету. Разложит Ида раскладушечку в *салоне*, а сам придет, усядется в кресло над ее головой, включит телевизор (ничего не поймешь) и смолит папиросу за папиросой. «Вы мне не мешаете», – говорит бедная Ида, а сама от дыма задыхается. Такие дела.

Утром сам, жена его и дети уходят; Иде бы поспать, а не спится, думы одолевают. Где жить, с кем жить, и писем от Марка нет. Попросила Ида Петровна разрешения позвонить в Москву, а жена его та-а-ак скривилась... Все же позволили. А Марк ни бэ, ни мэ. Как же квартиру снимать? С кем? И вообще, как жить дальше?

Пока что Ида завтракала у сына подруги (все уходят, холодильник набит, а в доме беспорядок, бери, что хочешь, никто не заметит, дети портят кучу еды, все потом выбрасывают). Обедала Ида у подруги и ужинала там же. Ходили с подругой в местный «Суперсам». Он, конечно, поразил бедную Иду Петровну после голодной Москвы, но она старалась не подать виду. Обилие незнакомых продуктов волновало и пугало. Что можно есть? Сколько что стоит? Не повредит ли здоровью? А как тут с экологией?

У подруги ничего нельзя было узнать. Она всегда покупала одно и то же: творог, называемый коттеджем, простоквашу, которая тоже как-то чудно называлась, молоко, хлеб, пару апельсинов, яблоки. Ида все осторожно опробовала и нашла приемлемым. Однако пришлось тактично сказать подруге, что недопустимо варить курицу, не сняв с нее предварительно кожу, – это страшный яд. Да, культуры подруге Израиль не прибавил.

В субботу состоялся обед у сына. Ида тоже пошла. (Дети совершенно не умеют вести себя за столом.) Подавали какие-то невооб-

разимые салаты, но Ида ела, так как было сказано, что это проросшие семена, очень полезные. Сто лет Ида не ела клубнику, а тут клубника в декабре! Крупная, красивая, но, увы, невкусная.

За обедом невестка подруги неожиданно сказала, что нашла Иде квартиру – недалеко, трехкомнатную. В двух комнатах будет жить семья – то ли трое, то ли четверо, а одна комнатка – Иде. Платить – семьсот долларов. Ида ужаснулась, и съеденная курица подступила к горлу. Однако ее успокоили, что сумму пропорционально поделят, выйдет долларов двести, и эти деньги будет за нее платить Сохнут или еще кто-то.

Не хотелось Иде так сразу переезжать на съемную квартиру, где за все коммунальные услуги платить надо (и, люди говорят, огромные деньги), а пришлось. Все переговоры провела невестка подруги, Ида Петровна только подписи ставила на договоре. Страх, что обжулят, был велик, так как люди сказали, что обманывают бедных *олимов* все и каждый. Но невестка заверила, что все в порядке, а компаньонами Иды будут приличные люди с высшим образованием.

«Приличные люди» оказались девкой белобрысой, дылдой, ее какими-то пегими ребятишками (две штуки мужского полу) и то ли мужем, то ли сожителем черной масти, который то появлялся, то исчезал. Дылду звали Лена, но она просила называть себя Хана, детишки были в кипах – Ида уже знала, что это такое, – и ходили в религиозную школу. Звали их чудно̀: Ашер и Йорам. Самого звали Миша, но представился он как Михаэль – и что эти русские выкамаривают, уму непостижимо!

Лена-Хана чистая была, не придерешься, но это вечное мытье и занятые постоянно ванная и уборная! Неудобство мешало регулярному опорожнению кишечника, и Ида решила выждать момент, чтобы поставить Лену-Хану на место. Другим поводом для волнений стал холодильник, который принадлежал подселенцам (а может, это Ида была подселенкой?). Иде покупать холодильник не было пока никакого резона, и она подсоединилась. Хана-Лена не возражала, но в холодильнике был такой балаган – Ида усвоила это слово от чиновников министерства абсорбции, и оно ей понравилось, – что нельзя было ручаться за сохранность продуктов. С одной стороны, вечно голодный Миша-Михаэль мог сожрать единственную Идину котлетку, с другой – никто не мог проследить, если Ида возьмет ихнее яблочко, или яичко, или, тем более, чай. Все равно дети портили горы продуктов, и все выбрасывалось.

Кроме того, черные, то есть религиозные, носили этой семейке

тонны продуктов, и, надо отдать должное Лене-Хане, она часто предлагала Иде взять то или другое. Религиозники стали подъезжать и к Иде, но она выслушивала их холодно – ни продукты, ни жилплощадь не предлагали. И все же черные Иду соблазнили. Она стала ходить на лекции по Торе вместе с другими женщинами, некоторые из них казались вполне интеллигентными. За посещение лекций платили тридцать шекелей в месяц. Деньги небольшие, но все же деньги. Тем более Иде все равно нечего было делать.

Два-три раза она выбиралась с подругой в город, но очень уставала от мелькания людей – чудных людей, нисколько не похожих на евреев, – ярких вывесок, рыночного шума и гама. В магазины они входить боялись, так как там на них сразу набрасывались *балабосы* и пытались всучить товар. Не умея дать отпор, Ида-таки влипла разок. Опомнилась только на улице, сжимая в руках какой-то зонтик, который через день-другой вывернулся наизнанку от ветра и сломался. Ида плакала, так как поехать в магазин и потребовать назад деньги не могла из-за незнания языка. Кроме того, очень дорог был проезд – почти стоимость злополучного зонтика.

В местном клубе для пенсионеров несколько раз предлагали какие-то экскурсии. Но за поездки в другие города нужно было платить, а к Стене плача Ида не поехала, так как на этот час ее пригласила на обед одна благотворительная дама и Ида не хотела пропустить. И просчиталась, ибо на обед подали следующее: тарелочку с какой-то серой замазкой, тарелочку с несколькими листочками салата – жесткого и горького, тарелочку с маринованной свеклой и морковкой – слишком остро. Далее подан был один пирожок, отварной рис и в чашке нечто, напоминающее суп.

– Исраэль то-о-ов?! – грозно вопрошала дама.

– Тов, тов, – быстро кивала Ида, давясь замазкой.

От кофе она отказалась.

Больше всего Иде нравилось ходить на склад одежды для *олимов*, где уже удалось достать вполне приличную кофточку, плащик, туфли и много разных полезных мелочей. Хотя, с другой стороны, приходилось терпеть грубости обслуживающего персонала: «положьте на место, это не для вас», «а убирать за вами кто будет?» И тому подобное.

Другим развлечением было посещение занятий по Торе. То, что вещал преподаватель Арье – здоровенный юноша в черной бороде, вязаной кипе и кожаной куртке, – Ида не слушала, мысли всякие одолевали, но после лекции интересно было пообщаться с людьми.

Обсуждались разные важные вопросы: качество местных продуктов, перспективы избрания *наших* в кнесет, распущенность тутошней молодежи, недостатки израильской медицины, засилье религиозных, российские телевизионные программы – последнего Ида была лишена, и это огорчало ее больше всего.

Неожиданно возникла проблема: куда девать деньги, которые, как это ни странно, стали у Иды Петровны накапливаться. Люди сказали, что хранить дома нельзя – инфляция и украсть могут. Что же делать? Сберкассы нет, но есть банк. А может, обменять на доллары?

Ида продолжала советоваться с людьми (которые именно в этом вопросе не отличались откровенностью), а деньги пока отдала на хранение подруге. После недельных колебаний и бессонных ночей было решено все же обратиться к сыну подруги. Нисколько не чинясь, он выдвинул такое предложение: деньги он берет себе, но по истечении определенного срока возвращает с процентами – большими, чем дает банк. Ида опять не спала ночь, ибо не знала, что делать. Посоветоваться с подругой невозможно – это значит выразить сомнение в честности ее сына. Отдавать деньги *так* – боязно, просить расписку – совестно. В тяжелых раздумьях прошло еще несколько недель, Ида так ничего и не решила.

Тем временем произошла удивительная перемена с соседями по квартире. В один прекрасный день Ида заметила, что с головенок детишек Лены-Ханы исчезли кипочки, а на шее самой мамаши появился золотой крестик. Иду разбирало любопытство, но она не знала, как подступиться. Тут сама Лена-Хана попросила называть ее отныне Хелен, а детей уже не Ашер и Йорам, а Филипп и Джошуа. Она сказала, что сыновья ходят теперь в англиканскую школу и она просит говорить с ними по-английски. А поскольку выяснилось, что английского Ида не знает, то лучше уж совсем не говорить... Ой, Готыню, что эти русские вытворяют!

Черные из дома исчезли, но продукты не переводились. Кстати, совсем пропал Миша-Михаэль. Ну уж это не ее забота...

Все эти хлопоты не прибавляли Иде здоровья. А тут еще отношения с подругой испортились. Ида частенько захаживала к ней – надо же пройтись после обеда, – но говорить, в сущности, не о чем было. Никакой информацией подруга не располагала, ничего толком не знала, известное дело – за сыном жила, а тут крутись одна. Поэтому приходилось Иде искать людей. А это подругу раздражало. Всем своим видом она давала понять: кушать ко мне ходишь, а во-

дишься со своими хайками. Не такой уж дурой была Ида, чтобы не понять тонкие намеки на толстые обстоятельства. И что обидно, не пустой же она ходила к подруге – то яблочко принесет, то апельсинчик, то вино церковное – все от Лены-Хелен перепадало.

А ведь так хотелось поделиться: от Марка ни звука, может быть, попытаться здесь кого-то найти... Трудно ведь без человека. Ида на себе вовсе не собиралась крест ставить – она и моложе подруги-то, и фигура еще хоть куда. Тем более, что здесь мужчины, не то, что в Москве, – смотрят, и еще как смотрят. А там уже давно не смотрели.

Наступила жара. Однако к вечеру холодало, и Ида кофточку не снимала. Голову она стала покрывать панамкой, загодя купленной в Москве. И вот эта панамка стала причиной ужасного происшествия. Обычно Ида Петровна и две-три женщины любили в послеобеденное время посидеть на скамеечке в ближайшем чахлом скверике – все же на воздухе бываешь. Беседовали они о своем, а вокруг ребятишки местные вертелись – неприятные дети, крикливые, взлохмаченные, расхристанные. Через некоторое время детишки обратили внимание на Иду и ее компанию, – может, надоело им мяч гонять, может, услышали незнакомую речь. И стали они приставать: замечания какие-то делать, кривляться.

«Руси, руси», – разобрала Ида Петровна. «Уйдем от греха», – предложила одна из дам, но Ида посчитала отступление оскорбительным. Она попыталась призвать распоясавшуюся молодежь к порядку: «Как вам не стыдно, а еще пио...» – вырвалось у Иды, но тут она вспомнила, что речь ее иностранную хулиганы не поймут.

В ответ полетели мелкие камешки. Бедные женщины попробовали привлечь внимание взрослых. Но мамаши с колясочками сидели слишком далеко и не обратили на наших дам никакого внимания.

Вдруг порыв ветра сорвал с головы Иды панамку. Она покатилась по дорожке, прямо под ноги сорванцов. С дикими криками бандиты подхватили Идину собственность, надели на палку и стали с ужасными гримасами носиться вокруг. «Немедленно отдайте!» – возопила пострадавшая, но крик ее не возымел никакого действия на малолетних преступников.

Ида покраснела, кровь прилила к голове, неровно забилось сердце. Возмущение охватило всех, но никто не знал, что делать. «Какое хулиганство!» – только и могли кудахтать бывшие советские гражданки. И тогда, преодолев столбняк, Ида двинулась по направлению к захватчикам. Те же, почувствовав опасность или просто

достаточно натешившись, бросили панамку и обратились в бегство, сопровождая отступление неприличными жестами.

Ида покорно подобрала пыльную и запачканную панамку. День был испорчен. Жалко было новую вещь, обидно, горько, а к тому же надо было возвращаться домой под жарким еще солнцем с непокрытой головой. При людях Ида еще сдерживалась, а придя домой, расплакалась. Да и как было не плакать – всё, всё рушилось, все, все были против нее. Наплакавшись, она стала вспоминать Москву, давно умершую маму – и ей стало еще горше.

После этого случая неприятности посыпались на бедную Иду как из рога изобилия. Захотелось ей как-то сварить манную кашу – опять неважно было с желудком, да и хорошая это, недорогая и сытная еда. Иде уже указали люди на мешочки с желтоватой крупой, и она знала примерно, где они стоят в магазине. Купила она такой целлофановый прозрачный пакетик, пришла домой, поставила на огонь кастрюльку с молоком и засыпала, как положено, манку.

Однако, помешивая кашу, Ида Петровна обратила внимание, что она не густеет, молоко остается жидким. Ида прибавила крупы, но это не помогло. К тому же она почувствовала какой-то странный запах, исходящий от ее варева. Каша никак не хотела густеть, а запах усиливался. Ида еще добавила крупы – никакого толку. Запах стал невыносим, заслезились глаза.

Ида не знала, что и делать. Тут на кухне появилась Лена-Хана-Хелен и сердито спросила:

– Что это вы тут за вонь развели, Ида Петровна?

– Кашу, кашу вот варю... – растерянно ответила несчастная Ида.

– Да что это за каша такая?

– Не знаю, думала манная... – развела руками Ида.

Лена схватила пакетик, который Ида принесла из супера, и прыснула:

– Ида Петровна, вы же чесночный порошок варите!

– Как? Я манку, манку купила...

– Глядите сами, что написано: «Granulated Garlic».

– Но мне же показали... я думала... – запричитала Ида.

– Выключите газ и вылейте эту гадость, – заявила Лена-Хелен и выплыла из кухни.

Долго Ида не могла успокоиться. Жалко было денег. Стыдно своей бестолковости.

Но переполнило чашу ее терпения последнее происшествие. В квартире неожиданно появился Миша-Михаэль. Ночью. Пьяный. Он

буянил, разбудил Иду, называл Лену-Хелен нехорошими словами, какие Ида никогда не решилась бы повторить. Но наутро обнаружилось самое ужасное: он съел курицу, которую Ида накануне сварила себе на целую неделю.

Это был конец. Жить с этими христианствующими хулиганами, с этими гоями Ида не могла. И вообще, жить больше не хотелось. Что же делать дальше? И тут впервые закралась в голову мысль: уехать, уехать обратно.

Мысль эта появилась неспроста, не только от отчаяния. Краем уха Ида слышала от людей историю одной женщины, которая, вот так же, как Ида, намаявшись по чужим квартирам, уехала назад, но... но умудрилась еще чуть ли не год получать пенсию от государства Израиль.

Такую ценную информацию стоило проверить. Нужные люди нашлись не сразу. После осторожных расспросов Ида Петровна поняла, что оформить все можно, но сколько будут платить – год или меньше – уж как повезет. Прежде всего необходимо было найти человека, который проделывал бы операции по пересылке денег, конечно, *не за так*.

Ида развила деятельность в этом направлении. После многих проб и ошибок нужный человек нашелся (не подруга, ибо – хотя на ее честность Ида могла положиться – та, увы, не была *деловаркой*). Человек согласился извлекать ежемесячно пенсию Иды из банка и, взымая определенный процент, переправлять с оказией в Москву. Гарантий никаких не было, но что же Ида могла поделать? Расписку требовать?

Дело сладилось к октябрю. Ида рассчиталась (с помощью сына подруги) с Леной-Ханой-Хелен за коммунальные услуги, обменяла с помощью людей шекели на доллары – набралась не такая уж малая сумма, на первое время хватит. Был куплен билет. По совету людей был приобретен видеомагнитофон – на продажу. Выварка, подушка, простыни, посуда упакованы (половая щетка подарена подруге). Были также закуплены подарки племяннику, его жене и детям – часы, серебряная цепочка, кукла и машинка. Поплакали с подругой. И Ида Петровна отбыла. Через несколько месяцев подруга в Израиле получила от нее письмо.

«Пенсию стали давать только сейчас, так что пока жила на свои. Живу пока у них, задыхаюсь от духоты, стирает горы белья, девочка ночью плачет. Разве это жизнь? Купила холодильник, пока стоит,

пользуюсь их. Ты себе не представляешь, во что превратилась Москва, сплошная торговля на улицах, продают все, мясо, творог, овощи помимо магазинов. *Все* очень дорого, цены растут каждый день на самое основное. Моя пенсия 86 тыс. Картошка 2 тыс., яблоки 3-4 тыс., масло 16 тыс., сыр 19-22 тыс. Одна квартира 32 тыс. Они пока платят. Как жить? Падала уже на улице, убирают плохо, только мостовые, сплошной *беспридел*. Они деньги тянут, ремонт, говорят, нужен, а зачем мне? Экология ужасная, не знаю, как жить. Что-то волосы у меня стали падать, не знаю, что делать, может, у вас есть средства? Вот написала "у вас", и плакать хочется, такая я старая дура, прости меня, пожалуйста».

РОБЕРТА

«Ветер завывал, и холодные струи дождя, похожие на мокрые веревки, с силой били в окна. В кафе было уютно». Написав эти две фразы, Алоиз Блом положил ручку. Ветер завывал, и холодные плети дождя стегали оконные стекла. Все было так и не так. В кафе чисто, светло... Черта с два. Напиши, попробуй. Почему, почему жизнь так бездарна? Вот все они писали такими же, как и он, словами. И им давали Нобелевские и Пулитцеровские премии. Почему у них получалось? А ему даже противно перечитать то, что он накропал. А может, это требовательность к себе? Он чуть было не запустил рюмкой в окно. Может, писать карандашом в тетради, как тот?

Нет, это просто невезение. Полоса такая. Надо отвлечься, успокоиться, приглядеться к людям. Вот, например, этот тип за столиком в углу. С виду обычный алкаш. Хотя не лишенный остатков интеллигентности. Еще один еврей, трепанный жизнью. Он почувствовал, что я наблюдаю за ним. Ишь, заулыбался. Делает приглашающие жесты. Пересесть? Пристанет ведь с чепухой, придется пить с ним, заказывать ему выпивку. А что я теряю? Ведь сам хотел... Новые впечатления...

Алоиз, не сомневаясь больше, собрал свои листки, захватил недопитую рюмку и двинулся к столику, за которым сидел ухмылявшийся бродяга. Он приветствовал Блома широким жестом, чуть приподняв свое грузное тело и отодвигая другой рукой свободный стул:

– Садитесь, прошу вас. Я очень рад, я счастлив. Меня зовут Барух Гринцвайг, я живу в этом городе уже десять лет. Мне показалось – простите меня, если я назойлив, – мне показалось, что вам несколько одиноко.

Блом молча сел, он не был боек с незнакомыми людьми, хотя как будущий писатель старался развить в себе необходимые качества. Он завертел головой, выискивая глазами официанта, но, остановившись взглядом на лице своего нового знакомого, вспомнил, что даже не ответил ему.

– Мне... Я работал, я часто работаю в этом кафе. Мое имя Блом, Алоиз Блом.

Он тут же пожалел, что не назвался вымышленным именем, но было уже поздно.

– Алоиз Блом? Неужели? Скажите, это ваша статья была опубликована в январском номере «Вокабул»? Миннезингеры двенадцатого века не совсем моя область, но ваш подход выдает знатока. Я получил огромное удовольствие...

– Что вы будете пить, господин Гринцвайг? – довольно бесцеремонно перебил его Блом.

Но интеллигентный пьяница не обиделся:

– О, не беспокойтесь, что вам угодно. Пиво, водку, виски. Пока вы не присоединились ко мне, я выпил пару рюмок кирша. Это дешевле, – Гринцвайг доверчиво посмотрел на Блома. – И прошу вас, называйте меня просто Барух.

Блом заказал два скотча и без особого интереса наблюдал, как Барух истово отпил две трети рюмки.

– Так вы занимаетесь литературными исследованиями, Барух? – начал Блом свой допрос.

– О нет, господин Блом. Я, видите ли... Это долгая история. До войны я был владельцем небольшой фабрики музыкальных инструментов, а до этого изучал классическую филологию. Ну, с филологией ничего не вышло, я, знаете ли, не ученый. Потом, как вы понимаете, все пошло прахом. Во Франции, вы не поверите, я был резником. В Испании меня посадили в тюрьму. Вернувшись в Германию, я узнал, что вся моя семья погибла. Теперь я играю на скачках.

Блом не знал, как продолжить этот разговор. Тем временем Барух допил свой виски и нетерпеливо махнул рукой:

– Дорогой господин Блом, моя жизнь мало отличается от жизни многих людей моего поколения. Удобрили мы историческую почву. Но повидал я немало и в таких передрягах бывал, что на десяток первоклассных романов хватит. Постойте... А вы сами не пишете? Что-то мне показалось в ваших глазах... Вы ведь не только статьи публикуете, правда?

– Слушайте, мистер Гринцвайг, я не журналист. Но я действительно пытаюсь стать писателем.

«Зачем я это ему сказал?» – тут же пожалел Блом.

– И я хочу вас предупредить, что Катастрофа европейского еврейства – не моя тема, – быстро добавил Блом и отпил из своей рюмки.

– Прекрасно вас понимаю. «Почему нечестивые преуспевают и вероломные благоденствуют?» Нет ответа. Вы читали «Бухгалтерию смерти» Юнгера? Нет? А «После не будет ничего» Рубингера? В сущности, и они не смогли... И никто не может. Лучше молчать. Тем, кто уцелел, подобает молчать, чтобы не ляпнуть пошлость. Нет, я хочу вам рассказать историю, которая случилась задолго до войны. Хотя кто знает...

– Только, пожалуйста, не о галутных страданиях. И никаких евреев со скрипочкой, замерзающих в русских снегах.

– Ну что вы, господин Блом! Разве я не понимаю? Необыкновенная, захватывающая история! Честное слово, вы напишете прекрасный рассказ или, может быть, повесть. Ах, с каким удовольствием я прочту... Неужели это не вы писали в «Вокабулах»?

Блом отрицательно покачал головой.

– Все равно. Я почему-то верю в вас. Давайте выпьем за ваш успех, – Гринцвайг выразительно посмотрел на пустые рюмки.

Блом уже почти раскаивался, что дал себя втянуть в нелепицу, но автоматически заказал два двойных виски.

Гринцвайг подождал, пока прибудет напиток, чокнулся с Бломом, выпил, закурил сигарету из бломовской пачки, выждал, как заправский актер, небольшую паузу и начал.

– Это случилось в двадцатые годы, история нашумела, но вас тогда, наверно, еще на свете не было. К тому же все происходило в довольно узком кругу спортсменов, промышленников. Скажите, вы что-нибудь понимаете в автомобилях? Гоночных машинах? Так я и думал. Тогда я не буду вдаваться в технические детали.

Итак, жили-были три брата: Генрих, Бруно и Роберт. Генрих – старший, Роберт – младший, в то время ему не исполнилось и восемнадцати. Вообще, все были очень молоды. Где-то на периферии этой истории еще маячили две сестры, но точно никто ничего не знал, да и не интересовался. Семья эта была очень известна, но, повторяю, в определенных кругах.

Их отец, Эгон Бейкер, крупный инженер, изобретатель, получивший десятки патентов в области только начавшего развиваться

автомобилестроения, был человеком широкой души, тонким знатоком музыки, влюбленным в свою красивую жену-скрипачку. Семья была полностью ассимилированной, дети получили светское образование, но Эгон никогда не отказывался от своего еврейства и много денег отдавал на благотворительные цели, жертвовал он и на устройство евреев в Палестине. Однако к сионистской идее был равнодушен.

Братья попросту выросли в отцовских мастерских. Уже подростками они прекрасно водили машину. Когда они, так сказать, оперились, то стали заправскими гонщиками. Вам, наверно, покажется странным, но первые гонки прошли в Европе в тысяча восемьсот девяносто четвертом году! Знаете, какая тогда была достигнута скорость? Двенадцать с половиной километров в час. Не смейтесь. Скорость специально ограничивали, чтобы не пугать лошадей. Но уже через десять лет эта нелепая коляска на велосипедных колесах пронеслась со скоростью сто километров в час! По тем дорогам!

Слушайте дальше. В тысяча девятьсот двадцать втором году году Генрих победил в гонках Берлин – Прага. Через год «Де Дион-Бутон», ведомый Бруно, перешел трехсоткилометровый барьер. На треке лопнула левая задняя шина, и парень получил серьезную травму.

Алкоголь не оказывал заметного действия на Гринцвайга. Только его маленькие серые глазки заблестели, как два лесных немецких озерца. Он говорил без умолку. Однако Блом перебил его:

– Господин Гринцвайг, я ничего не смыслю в спорте и технике. Зря вы тратите порох.

– Но мой рассказ вовсе не о спорте. Это настоящая драма, поверьте мне. Немного терпения.

Он попросил Блома заказать чашку черного кофе, отпил глоток, закурил новую сигарету и продолжил:

– В двадцать пятом году состоялся первый чемпионат мира по шоссейно-кольцевым гонкам, и тогда к Генриху и Бруно присоединился Роберт. Он был необыкновенно красив: огромные синие глаза, длинные черные ресницы, светлые вьющиеся волосы. Да и все братья были истинными красавцами – настоящие арийцы, не в пример этим косозадым, плюгавым, чернявым фюрерам. Такой вот выверт расовой теории.

Уже тогда они договорились никогда не выступать друг против друга. Понимаете, они были отчаянные. Удержу не знали. Необыкновенной смелости ребята. Кроме гонок они увлекались воздухо-

плаванием, были прекрасными лыжниками, альпинистами, ныряльщиками. Их постоянно влекла опасность. И конечно, соревнуясь друг с другом, они могли погибнуть.

Ведь тогда гонки были весьма рискованным занятием. Машины еще далеко не достигли совершенства. Это сейчас пилот так защищен, что часто выходит невредимым из тяжелейшей аварии. В те легендарные времена водитель обязан был не только мастерски управлять своим страшным снарядом, но и прекрасно разбираться в нем, знать до последнего винтика. И все равно шанс свернуть шею был очень высок.

Лежа в своем болиде, поливаемый горячим маслом и облепленный грязью, оглохший от рева мотора, почти не видя дороги, гонщик должен был нервами, мышцами, всем телом чувствовать каждую выбоинку, каждый камешек на шоссе. Его мозг воспринимал и мгновенно обрабатывал, как сейчас говорят, огромное количество информации: состояние дороги и шин, работа стопятидесятисильного двигателя, вращающего вал со скоростью двенадцать тысяч оборотов в минуту, поведение соперников, время, расстояние и еще десятки данных.

– Барух, а откуда вам все это известно?

– О гонках или о семье?

– О том и о другом.

– Я же сказал вам, что владел фабрикой музыкальных инструментов. Был знаком со многими музыкантами, в том числе с Анной Бейкер, бывал у них дома. Ребят я, правда, практически не видел, они почти все время проводили за границей, да и их интересы... А к гоночному спорту пристрастился под влиянием Эгона. У нас были замечательные автомобили. У Эгона – синяя «испано-сюиза» у меня – бордовый «даймлер».

– Вы лучше подробнее расскажите про эту троицу.

– Конечно, конечно, к этому и веду. Только... вы знаете, я бы сейчас выпил рюмочку коньячку.

Блом безропотно заказал коньяк. Сам он предпочел не смешивать.

– Эта троица, как вы сказали, была неразлучна. Везде они появлялись вместе. Серьезный, мужественный, чуть грузноватый, похожий на отца Генрих, беспечный, острый на язык, не терпящий возражений Бруно, нежный, гибкий и сильный, очень напоминающий мать Роберт. Генрих стал прекрасным инженером, как и отец, он запатентовал немало изобретений, например, усовершенствовал

дисковые тормоза. Бруно и Роберт были музыкально одарены, играли на многих инструментах, иногда вместе с матерью радовали круг близких друзей.

Но, разумеется, главным в их жизни были гонки. Они, как я уже сказал, никогда не выступали друг против друга, хотя иногда соревновались в разных клубах. Гениальные гонщики, они не знали поражений. Слава великолепной тройки росла.

И тут словно какая-то тень пробежала. Что-то произошло. Не все обратили внимание, но я, хороший знакомый семьи, почувствовал некое напряжение. Ну, во-первых, Эгон, «железный» Эгон, стал каким-то нервным, рассеянным. Несколько раз я замечал, что в разгар рабочего дня от него попахивает виски. Один раз я застал Анну плачущей... Вообще, надо понимать, что я встречался с этими людьми изредка, мы все же не были близкими друзьями.

Неожиданно Бруно отказался от борьбы за «Гран при»! Поговаривали о болезни, об усталости, о нервном срыве. Я не очень верил. Затем на несколько недель исчез Генрих. До сих пор никто не знает, где он тогда пропадал. А время было горячее, подготовка к чемпионату мира по шоссейно-кольцевым гонкам, который тогда впервые открывался в Каннах. Спортивный мир недоумевал. Роберт, начинающий, но уже прославленный и любимый публикой гонщик, внезапно разорвал контракт с «Метеором» и тоже исчез. Потом я узнал, где он находился, но лучше бы мне ничего не знать...

Гринцвайг допил коньяк. Глаза его заблестели сильнее. Вдруг он схватил Блома за рукав:

– Приближаемся к развязке! Ну, писатель, что там было дальше?

Алоиз высвободил руку:

– Откуда я знаю? Какие-нибудь еврейские страсти. Бейкер этот ваш разорился. Или проворовался. Девочки. Наркотики. Анна Бейкер загуляла с вами.

Гринцвайг поперхнулся кофе и долго смеялся. Потом лицо его сделалось угрюмым:

– Ох, господин Блом, вы, конечно, правы. Что может свести человека с пути? Деньги, женщины, слава... Ничто не меняется. Однако чтобы не продолжать этот поток пошлостей, скажу вам только одно: вы не догадались. Поэтому слушайте.

В мае, перед самым чемпионатом, я узнаю из газет, что Роберт, Генрих и Бруно участвуют в нем, выступая за разные клубы. Содом и Гоморра! Они нарушили свою клятву! Я сразу почувствовал, что быть беде. К сожалению, я тогда на некоторое время вынужден был

бросить все и заняться своими личными проблемами. Но, разумеется, я приехал в Канны на чемпионат.

Да, гонки – это волнующее зрелище. Сейчас, конечно, полно других весьма захватывающих развлечений. Но «Гран при»! Эти разноцветные флаги, публика, репортеры, фотографы, рев разогреваемых двигателей, нарядные машины, запах масла и бензина! Я не поэт, господин Блом, нет у меня слов...

Ясное дело, фаворитами трех ведущих клубов были три брата Бейкер. Безумное волнение охватило всех на старте. Ждали сенсации. Стартовали. Как и обещал, не буду надоедать вам подробностями. Борьба была упорной. Меня мучили нехорошие предчувствия.

Перед стартом мне не удалось пожать руки братьям. Не смог протолкаться. Но в сильный «цейс» я видел их лица. Генрих был мрачен, Бруно презрительно улыбался, но мне показалось, что он еле сдерживает слезы. На осунувшемся лице Роберта бродила очень странная улыбка. Сердце у меня так и заколотилось.

Сначала лидировал Генрих. Затем его обошел Бруно, а потом и Роберт. Сменив шины, вперед снова вырвался Бруно. Роберт не отставал. Вдруг на крутом вираже между ними вклинился итальянец Лампедуза – грозный соперник. Между прочим, – Гринцвайг в каком–то недоумении потер лоб, – все они уже на том свете.

Дальше все произошло очень быстро, как и положено на таких скоростях. Знаете, ведь с трибун все четко не увидишь... В общем, у итальянца оторвалось колесо, его машину развернуло и бросило прямо на «Сандеберд» Роберта. Он, конечно, пытался увернуться, но не смог. Обе машины загорелись... Короче, итальянец выжил – чтобы погибнуть через три года на гонках в Давосе. А Роберт...

Барух залпом допил свой коньяк и повелительным жестом потребовал у Блома сигарету.

– Тело Роберта уложили на траву. Оно обгорело, хотя голова и верхняя часть туловища прекрасно сохранились. И все увидели, нет не все, конечно, я и еще некоторые, что... что... В общем, это была девушка, молодая женщина.

Гринцвайг закрыл глаза. Блом нелепо улыбнулся и, чтобы скрыть смущение, защелкал пальцами, подзывая кельнера.

– Остальное я доскажу вам за несколько минут. Понимаете, в семье Бейкер были два брата и одна сестра – Роберта. Она, как и братья, бешено увлеклась гонками. Девушка крепкая, спортивная и необыкновенно упрямая. Наверно, не без сопротивления родных она стала выступать под именем Роберт. Но у нее были силы за-

ставить всех молчать. И вы уже, конечно, поняли, что она была любовницей братьев.

Газеты долго писали об этом скандале. Вы знаете, что разного рода отклонениями в Германии тех лет мало кого можно было удивить, но это все же была очень известная еврейская семья... И хотя, как я уже говорил, Бейкеры абсолютно ассимилировались, Эгона и Анну это совершенно сломало. То есть, я думаю, про Роберта они знали, не могли не знать, не исключено, даже подыгрывали сравнительно невинной мистификации, но про этот кровосмесительный союз, видимо, проведали на последнем этапе.

Что еще добавить? Через месяц после похорон сестры Бруно застрелился на ее могиле. В его вещах нашли сборник арабской поэтессы седьмого века Аль-Хамсы, которая, как считают, была любовницей своего старшего брата Сахра. Вождь бедуинского племени, он погиб в междоусобной войне. Аль-Хамса боготворила брата.

В душе моей воспламенились раны.
Звезду погасшую, лучиста и чиста,
Сменяет новая в бездонности туманной,
Но Сахра вечная сменила пустота,
И эту пустоту я вижу постоянно.

Увы, так перевели на немецкий ее дивные риса.

Когда наци пришли к власти, Эгона посчитали «полезным евреем» и сохранили ему жизнь. Он некоторое время работал на них, а потом его нашли в лаборатории мертвым. Он принял яд. Анна погибла в Дахау. Генрих пережил их всех. Он метался по миру, пытался записаться сначала во французскую военную авиацию, потом в Королевский военно-воздушный флот, но след этой истории тянулся за ним повсюду. Когда начались налеты на Лондон, в пансион, где обитал в то время Генрих, попала бомба. Все постояльцы, кроме него, спустились в бомбоубежище и уцелели. От Генриха мало что осталось...

Гринцвайг потер виски и тяжело облокотился на стол:

– После войны я ни разу не был в синагоге, я плохой еврей, забывший Бога. Но я старый еврей и когда-то чему-то немного учился. «Иш иш эль коль шеер бсаро ло тикреву» – «Ни к кому из единокровных не приближайтесь». Так написано в Торе. Раши говорит, что именно за такие гадости Всевышнй вышвырнул нас из Эрец-Исраэль. А эти трое... Нет, тут не холодный разврат, это была

страсть, непреодолимая, ужасная, губительная страсть. И повторяю еще раз: она, Роберта, эта змея, была потрясающе, неправдоподобно красива. Лилит, да, Лилит...

Он как-то мгновенно опьянел, забормотал уже совершенную чушь, а потом затих, навалившись на стол.

Блом беспомощно оглянулся по сторонам. Ему ясно представилась «приятная» перспектива тащить старика домой. «Да есть ли у него дом?» – подумал он.

Подошел старший кельнер и подмигнул Блому:

– Знакомая картина, господин Блом. Он каждый вечер рассказывает тут басни всем, кто поднесет. И к ночи – в стельку. Не беспокойтесь, я отвезу его, не в первый раз.

Алоиз посмотрел в окно. Дождь кончился. Под фонарями клубились и свивались клочья тумана. Официанты, тихо звеня, собирали посуду. Мокрая кошка, извиваясь всем телом, протиснулась в полуоткрытую дверь, подошла к Блому, хрипло мяукнула и потерлась о его брюки.

Алиса Гринько

МНОГО ЛИ НАРОДУ НА УЛИЦАХ?

1

Симха и Ализа – две дамы золотого, что называется, возраста. В переводе с иврита «симха» означает «радость»; «ализа» – с ударением на последнем слоге, – «веселая». По этому поводу Ализа иногда говорит Симхе:

– Нам с тобой нужно целый день петь и плясать!

На этом, однако, сходство между ними кончается. Далее следуют различия, причем принципиальные.

Симха – коренная израильтянка, уроженка Иерусалима. Предки ее были выходцами из Испании, сфарадим. У нее тонкие черты лица, прекрасные карие глаза под выгнутыми ровными дугами бровями. Ализа считает, что Симха, которой далеко за семьдесят, сейчас еще интересней, чем на свадебной фотографии, висящей в комнате ее мужа, где невеста молода и очаровательна. Они с Меиром – очень красивая пара.

Ализа приехала по закону о репатриации три года назад из Москвы. Она уже полтора года работает у Симхи «метапелет» – сиделкой. Вышло это так. Ализа сняла однокомнатную квартиру в Иерусалиме, в Старых Катамонах, и забеспокоилась, что дорого, надо найти поскорее работу. А с работой известно как; специальность, конечно, у нее была, и даже не одна; но о чем говорить – репатриантки в таком возрасте, если еще сохранили силы, устраиваются либо прислугами, либо сиделками. Настоящей работы и для молодых не хватает. Иврит Ализа не знала совсем, но говорила по-французски. И ее устроили к Симхе, которая тоже знала французский, кроме того, врачи и муж считали, что Симхе будет полезно припомнить язык: может быть, к ней вернется память. У нее была прогрессирующая болезнь Альцгеймера. Проработав полгода, Ализа, так сложились обстоятельства, уволилась, хотя ей было очень жаль покидать привязавшуюся к ней Симху. А через год вернулась, но разговаривала уже с Симхой исключительно на иврите.

При том, что Симха забывает, что делала пять минут назад: принимала ли таблетки от шума в ушах, поливала ли цветы, – оказалось, что она прекрасно помнит французский. Она знала и другие языки. Когда Ализа хочет сделать ей приятное, она заводит разго-

вор на эту тему и уверяет, что подруги не верят ее рассказам о женщине, которая знает французский, английский, немецкий, арабский, испанский, персидский! Симха перебивает ее, перечисляя и загибая пальцы. Судя по тому, как свободно она говорит на языке парижанок, и остальные знала не хуже. Однако на попытку Ализы выяснить, где и, собственно, зачем Симха приобрела такие обширные знания, следовало в ответ невнятное и не устраивавшее Ализу объяснение. Дело в том, что в былые времена у мужа Симхи был собственный магазин дамской одежды на нарядной, самой оживленной и престижной улице Иерусалима, коротенькой и веселой, заставленной ведрами с цветами и столиками кафе, – Бен-Йеґуда. И хотя у Симхи много было дел по дому и с детьми, муж часто вызывал ее среди дня в магазин по категорическому требованию клиенток, доверявших только вкусу очаровательной и любезной мадам Шошани. А поскольку покупательницы были из разных стран, ей и пришлось осваивать языки...

Муж Симхи, Меир, – иранский еврей. И ей пришлось выучить в свое время персидский. У отца Симхи был магазинчик на арабском рынке в Старом городе. К ним в дом приходили арабы, его друзья. И Симха с детства знает арабский. Ализа говорит своей подопечной:

– У тебя голова министра!

2

Если пройти по центральной улице Кинг Джордж, где около небоскреба «Городская башня» сохранилась еще со времен британского мандата арка старинных ворот с загадочной и волнующей воображение арамейской надписью «Talitha kumi», к Кикар Царфат – Французской площади, и дальше – по широкой и вполне современной, с многорядным движением автомобилей улице Керен Ґа-Йесод, то минутах в трех ходьбы можно увидеть в глубине небольшого сквера четырехэтажный дом. Сквер ухожен, весь в зелени. В дождливое время года здесь пышно расцветают розы; у самого дома растет раскидистое дерево, на котором распускаются большие красные цветы; дорожка, ведущая к дому, огорожена кустами мирта. Меир и Симха живут в просторной трехкомнатной квартире на четвертом этаже. Около квартиры и на лестничке, ведущей на чердак, – тоже растения с длинными, вьющимися вдоль стен и к потолку стеблями и раскидистыми темно-зелеными плотными листьями.

Симха любит цветы, и Ализе хочется в пору цветения роз свести свою гверет (так на иврите уважительно обращаются к женщине) вниз хоть на пятнадцать минут, полюбоваться ими. Но она не делает этого, так как скоро поняла, что Симха сама не хочет покидать стены своей красивой, очень чистой и удобной квартиры. Быть может, причина этому кроется где-то в прошлом? Или это следствие ее болезни? Она даже к окну подходит редко и как бы с усилием, неохотно. Зато, с годами все чаще, задает своей сиделке один и тот же вопрос:

– Ґарбе анашим бе-рхов? (Много ли народу на улицах?)

Болезнь прогрессирует. В те первые полгода, когда гверет и ее метапелет еще говорили по-французски, Симха не раз, услышав по приемнику песню, с воодушевлением рассказывала Ализе о певце времен ее молодости. Симха и Меир с друзьями ходили слушать его на улицу Бен-Йеґуда, где он давал концерты по пятницам. Этот певец был любимцем молодежи Иерусалима, ее кумиром. Его звали, кажется, Арисан, так она произносила с каким-то даже замиранием. Чуть не плача, рассказывала она о его ранней и внезапной смерти, потрясшей всех его поклонниц. Во вторую «каденцию» Симха никогда уже не упоминала о певце, и на робкие попытки Ализы поднять эту тему не реагировала. Забыла.

3

У Симхи большая и благополучная семья. Две дочери и сын, он живет в Швейцарии и почему-то не может вернуться в Израиль, так однажды сказала Симха, но не объяснила, почему, да, видимо, и не могла, не помнила. Старшая дочь, Лили, поселилась под Тель-Авивом. Младшая, Зива, осталась в Иерусалиме и часто приезжает на машине навестить родителей. У Симхи много внуков, чьи фотографии развешаны по всей квартире. В особенности много их в спальне Симхи. Она любит о них рассказывать Ализе, сопровождая восклицаниями: «бубале!» («куколка») и «мотек!» («сладенький»). На большой фотографии девушка в военной форме с длинными темными волосами и мечтательным, загадочным взглядом прекрасных еврейских глаз. Вот она же, опять в форме, полулежит, облокотясь на выступ возвышающейся позади скалы. Рядом – ее же фотография в легком халатике и с малышкой на руках.

А вот – Меир с внуком у Стены плача. На этом фото он уже да-

леко не молод, но есть в его невысокой спортивной фигуре какая-то особая легкость, и кажется, что вот-вот преодолеет он земное притяжение и взлетит.

Он и сейчас интересный мужчина. На свадебной фотографии – вообще киноартист: выразительные глаза, скупая улыбка. Как только Ализа утром входит в квартиру, произнеся обычное «бокер тов, адон Меир» («доброе утро, господин Меир»), – он сообщает супруге:

– Мами! Гверет Ализа баа! – неизменно добавляя к имени слово «гверет».

После этого он сразу же убегает по делам и возвращается часа через два, когда кончается короткий рабочий день Ализы.

У Симхи много нерастраченной энергии. Она редко сидит на месте, ищет свои таблетки, которые, однако, лежат всегда в одном и том же месте, семенит вслед за Ализой из комнаты в комнату... Но делать что-то по хозяйству Симха не может, разве протереть посуду или полить цветы, но при этом она неизменно разливает воду, и Ализе приходится убирать лужи на кухне и высушивать огромный ковер, покрывающий весь пол в салоне.

Все хозяйство ведет Меир, он делает покупки, принося тяжеленные сумки в обеих руках из расположенного неподалеку супермаркета, готовит еду. Проводит дни и ночи с больной, требовательной, привыкшей с ним капризничать женщиной. Однажды он сказал, улыбнувшись, Ализе:

– Молодая – она была «эш» («огонь»)!

4

На главный вопрос Симхи: «Много ли народу на улице?» – среди близких принято отвечать отрицательно.

– Нет, мало, – устало говорит Меир, вернувшись.

Ализа все хотела подсчитать, сколько раз в день он отвечает на этот вопрос. Когда у метапелет возникает желание поговорить с больной, а это с ней случается нередко, она пытается разбудить дремлющий мозг Симхи, начинает объяснять, почему народу на улице мало, или, наоборот, говорит, что люди идут, всегда у них есть какие-нибудь дела, но эта улица малооживленная, потому что на ней нет магазинов, банков, а в центре народу полным полно... Симха возражает: этого не может быть, потому что с улицы не доносится ни звука. Ализа предлагает ей поглядеть в окно, на это

Симха реагирует неохотно, ворчит, что вчера было много шума, а сегодня – шекет! Тишина!

Ализа смотрит в просторное окно на голубое небо с редкими белыми облачками, как на экране компьютера в программе Windows, за которым Ализа проводит время после работы, и, глядя вниз, перечисляет:

– Вон идет религиозный мужчина, а вон – две молодые девушки...

Симха тоже глядит на небо и восклицает:

– Сегодня облачно! Должно быть, будет дождь!

Погода тоже ее весьма беспокоит. Хотя она не выходила из дому, наверно, несколько лет.

В первое время, когда Ализа начала работать в семье, Симха часто спрашивала:

– Как тебя зовут? – слегка смущенно, видимо, осознавая свою забывчивость.

Повторяла она один и тот же вопрос о семье Ализы. Та отвечала, что ее семья в Москве, что у нее там сын.

– Только один сын? – удивлялась Симха.

Ализа терпеливо объясняла, что в России женщины чаще всего имеют одного или двух детей, не больше, потому что там – трудная жизнь. Это объяснение подходит Симхе, она согласно кивает. Но на другой день все начинается снова.

– Твоя дочь живет здесь, в Иерусалиме?

– У меня – сын. Он живет в Москве.

Снова изумление.

– Он не хочет в Израиль?

– Пока нет.

Когда после двухнедельных допросов Симха в очередной раз спросила грозно:

– Твоя вторая дочь живет с тобой?

Ализа, вздохнув, созналась:

– Нет! Она живет отдельно.

– Это – хорошо, – кивнула Симха.

Старшая дочь Меира и Симхи – художница. Среди картин, развешанных в салоне, есть и ее работы. Ализа присматривалась с интересом, стирая пыль или просто так, и картинки, исполненные Лили, казались ей вполне оригинальными, яркими и интересными: черноволосая танцовщица в красной юбке на темном фоне пиршественного стола с тусклыми огоньками свечек; натюрморт в синих тонах с цветами; полуодетая девушка в кресле с обнаженными выше колен ногами...

Лили бывает у родителей редко. У нее семья, дети, даже, кажется, ранние внуки.

В комнатке у Меира – тоже картины, но не ее, не Лили. На одной из них – Ямин Моше: первый квартал нового Иерусалима с мельницей Моше Монтефиоре, на другой – усталая женщина в длинной юбке и шляпке сидит в кресле среди сумок и неубранной посуды. Есть в его комнате и книги – старинные, с золотым тиснением на обложках. В ней стоит маленький письменный стол, в углу – телевизор.

Все в квартире устроено со вкусом: кухня в белых и коричневых тонах, богатый ковер и мягкая мебель в салоне, красивые светильники. В комнате Симхи нет ни картин, ни цветов, ни книг, только две кровати и во всю стену – гардероб, полный нарядов. Все богатство в доме – из прошлого, хотя вещи в прекрасном состоянии: мебель, ковры, посуда, и, конечно, платья и блузки Симхи. Квартира в идеальном порядке: в ней не найдешь ни оставленной чашки или ложки на столе или у раковины в кухне, нигде на спинке стула не висит небрежно брошенный жакет или халат. Все убирается на свое место. Симха любит спрашивать Ализу:

– Это грязный дом?

Ализа, в зависимости от настроения, или подхватывает шутку:

– Грязь до ушей, – или, выражая восторг лицом и жестом, восклицает: – Это самый чистый дом в Иерусалиме (вариант: в Израиле)! – на что Симха удовлетворенно замечает:

– Так все говорят.

Симха понимает юмор. Смеется, когда ее веселят. Ализа шутит с Симхой, как с ребенком: то предложит купить микроскоп, чтобы отыскивать пылинки на полу, то в ответ на настырные предложения Симхи выпить стакан кофе или чаю с ненавидимым Ализой бисквитом говорит, протягивая бутыль с моющей жидкостью:

– Я хочу выпить вот это, – и добавляет, проводя рукой от горла к животу: – Тогда внутри будет так чи-исто!

Симха хохочет.

Иногда Ализа рассказывает Симхе о России, о том, какой огромный и прекрасный город Москва, там жителей больше, чем во всей Эрец-Исраэль, там просторные улицы и роскошные магазины. И много-много народу на улицах... Она рассказывает о русских морозах и о белом снеге, надолго окутывающем землю. И о российских лесах, где малина, и грибы, и много ярких цветов в высокой траве...

– Израиль – это страна камней, – говорит Ализа, – а Россия – страна лесов.

Она пытается объяснить Симхе, отчего невозможно жить в России, но это очень трудно, надо самому прожить там жизнь, чтобы понять! Дело не только в материальных тяготах. Просто в какой-то момент человек уже не может больше выносить ложь, которой пропитаны там уже многие десятилетия все стороны существования. Ложь льется в уши постоянно и отовсюду, изо всех радио- и телеящиков, ложь отравляет все!

Симха в ответ на это удивленно поднимает красивые брови:

– В самом деле?

Ее пораженный болезнью мозг не может сосредоточиться на одной теме, и она прерывает эмоциональные излияния увлекшейся Ализы традиционным вопросом:

– Послушай! Есть ли люди на улице?

Ализа, ощутив эмоциональный спад, отвечает устало:

– Мало.

Симха подтверждает, торжествуя:

– Ни души!

Впрочем, рассказы Ализы о родине неизменно вызывают еще один ее вопрос:

–Ты любишь Россию?

– Конечно, – улыбаясь, отвечает Ализа. Она не забыла страну лесов, где осенью пахнет сыростью и грибами, а на земле – бурые листья брусники. С чего начинается родина? С земли, по которой идешь, с тропинки вдоль леса, мимо моря ромашек. Родину нельзя зачеркнуть, закрыв глаза и уши, перейдя на иное телевидение, газеты, написанные на другом языке.

5

В комнате Симхи – огромное трюмо до самого потолка, под ним – изящный туалетный столик с оставшимися от прежней жизни дорогими безделушками, пустыми флаконами от духов. Симха и сейчас следит за собой – привычка красивой, богатой и холеной женщины. В ее голосе, когда она зовет мужа: «Меир!» – неизменно звучат прежние властные нотки.

И он отзывается – чаще устало, но иногда с улыбкой из «прежних времен»:

– Кен, гверет Шошани!

Шошани – фамилия семьи; «шошана» в переводе с иврита означает «лилия».

Когда в половине девятого утра Ализа приходит на работу, старая гверет уже в полной форме, летом – в легком платьице, зимой – в красном свитере и брюках и с неизменными золотыми, фигурными и украшенными камешками дорогими браслетами на запястьях. На сухих пальцах – перстни, один – с мелкими изумрудами, другой – с прекрасным бриллиантом. Она надевает все эти причиндалы с утра, хотя, повторим, невесть сколько лет никуда не выходит. Раньше, правда, Меир время от времени выводил супругу в парикмахерскую. Хотя у Ализы было подозрение, что мастер живет в том же доме, этажом ниже, выход, тем не менее, был торжественный; Симха придирчиво выбирала платье, туфли. В последнее же время Меир, всегда такой энергичный, начал уставать. Ему сделали операцию на сердце, и он находится под постоянным врачебным контролем. Ализа сказала как-то Симхе в сердцах по-русски, не меняя интонации:

– Ты всех своих родных ухайдокаешь!

Так что в последнее время даже от редких походов к мастеру отказались. Делает стрижку Симхе и красит ей волосы в темно-каштановый цвет ее младшая дочь Зива. Симха при этом почему-то всегда нервничает, возражает, раздражается, кричит на мужа и дочь и зовет для поддержки Ализу:

– Ты где красишь волосы? Дома?!

У Симхи длинные, ухоженные ногти, покрытые ярко-красным лаком. Она любит красный цвет. И с гордостью демонстрирует маникюр Ализе, добавляя хвастливо, что сделала себе его сама!

– Пра-а-авда?! – притворно изумляется Ализа. – Я думала, ты была в парикмахерской!

– Не-е-ет, сама! – радуется Симха.

–Яфе! (Здорово!) – кричит Ализа.

В первый период Ализиной службы ее подопечная долго простаивала перед трюмо. В ответ на одобрительные замечания Ализы говорила:

– Если я не буду следить за собой, муж мне скажет: «Кыш»!

В последний год такое внимание к своей внешности она проявляет все реже.

Ализа – авторитет для Симхи, хотя у «русской» метапелет никогда, ни в России, ни в Израиле, не было времени простаивать перед зеркалом, – взглянет, мазнет и – бежать. Но если она ворчит на се-

бя, что сегодня плохо одета или ей давно надо постричься, Симха неизменно и резко ей возражает:

– У тебя прекрасные волосы! Не надо никакой стрижки! – И про костюм: – Яфе!

Спорить с ней нельзя. Симха авторитарна, это у нее с того времени, когда она была в жизни «царицей бала». И Ализа соглашается:

– Если гверет Симха говорит, что это хорошо, значит, так и есть.

В тот день, когда Меиру делали операцию на сердце, Зива увезла его в больницу на своем автомобиле. Он отсутствовал всего несколько дней – в Израиле подолгу в больницах не держат. В необходимых случаях к больному приходит метапелет.

Симхе ничего не сказали о болезни мужа. Да она бы и не поняла, и не поверила. Стоило кому-то из близких пожаловаться при ней на плохое самочувствие, она сердито вскидывала красивые брови, махала руками и громко, заглушая говорившего, кричала:

– Ло-о-о! (Нет!)

Она и слышать не хотела о том, что кто-то из ее близких может заболеть, и как-то заявила Ализе:

– Болеют только гои!

Тем не менее, в тот день, когда Меир ушел на операцию, Симха ужасно разнервничалась, без конца хватала телефонную трубку и набирала номер то собственной квартиры, то мобильника мужа, с отчаянием вскрикивая:

– Не могу дозвониться!

С ней было очень тяжело в тот день, и Ализа с трудом дождалась Зиву, приехавшую, чтобы забрать маму на эти дни к себе. При дочери та присмирела. Поддерживаемая Ализой, медленно спустилась по лестнице.

6

Ализа как-то обратила внимание на то, что, приходя к Симхе и выполняя несложные свои обязанности, она тут же начинает мурлыкать песенку. Причем вспоминались самые примитивные, из очень давних времен, типа «Не кочегары мы, не плотники»... Может быть, они соответствовали ритму ее работы?

Ализа часто задумывалась о своих отношениях со старой, больной гверет. Бывшая владелица модного магазина красавица Симха, окруженная большой семьей, постоянной заботой мужа, – и нищая одинокая репатриантка, вынужденная подрабатывать прислугой, чтобы жить более или менее нормально. Правда, она владелица кооперативной квартиры в Москве, там у нее во всю стену богатая библиотека, есть и дача, и домик в далекой деревне... Она знакома с ранней юности с отечественной и зарубежной классикой, бывшая театралка, любительница музыки.

Что же касается Симхи, то вряд ли она читала что-нибудь в своей жизни, кроме газет и модных журналов, – разве что литературу на иврите местного производства, отгороженную от мировой невидимым занавесом, прочнее железного. Этот занавес – в умах людей, не интересующихся тем, что есть, было и будет в большом мире, кроме как: хорошо или плохо это для евреев? Вот и вся тебе мировая скорбь. Ализа как-то спросила Симху, читала ли она Шекспира. Старая гверет ничего не ответила, лишь поджала сухие, сморщенные губы.

И тем не менее, между этими женщинами с такой разной судьбой была какая-то странная, особенная, необъяснимая близость. Ализа стала замечать это далеко не сразу и долго размышляла над этим загадочным феноменом, именно потому, что она вообще не любит непонятных, необъясненных вещей и явлений. То, что роднило их, глубинное и тайное, не было родством душ. Ализа даже не могла найти подходящее понятие для этой общности... В этом было что-то иррациональное.

Опыт работы метапелет у нее небольшой, но общение с другими старушками было обычным – отношения больной, нуждающейся в уходе, с приходящей работницей. Здесь было другое, больше похожее на общение двух очень дальних, давно расставшихся и вновь встретившихся родственниц. Ведь только между родственниками, при всей несхожести интересов, уровней развития, характеров, всегда остается возможность окончательного понимания и примирения.

– Как настроение? – спрашивает всегда по утрам Ализа Симху, переступив порог.

Однажды та ответила:

– Когда я тебя вижу, у меня уже хорошее настроение.

7

При подходе к скверику, за которым стоит дом, где живет Симха, иногда, вскинув глаза, замечала Ализа в голубом небе за неровным четким контуром холмов Иерусалима еще один контур, такой же неровный, но расплывчатый и туманный. В этом была еще одна загадка волшебного мира: Ализа не могла понять, видимая ли это в иные дни цепь более далеких гор или странная низкая пелена, дымка, нависшая над горизонтом. Дымка появлялась и исчезала независимо от погоды: ее могло не быть в ясные дни, когда воздух прозрачен и чист, но она могла появиться, когда даль подернута легким белесым маревом. Иногда Ализа думала, что это, может быть, мираж. Стоя у широкого окна с компьютерным небом и расставленными на подоконнике цветочными горшками, приглядывалась к повисшей над холмами туманной пеленой.

– Где ты? Что ты там смотришь? – нетерпеливо кричит Симха, шаркая шлепанцами по коридорчику, ведущему из кухни в салон.

– Я смотрю, много ли народу на улицах, – рассеянно отвечает Ализа.

Во второй раз она проработала у Симхи без малого три года. Болезнь прогрессировала. Временами гверет, спохватившись, собиралась куда-то, искала ключи, говоря, что должна идти домой, потому что муж не знает, где она. Однажды спросила Ализу, где другая женщина, которая пришла вместе с ней, а потом ушла и не сказала «шалом».

– Я пришла одна, Симочка, – терпеливо отзывалась Ализа, которую удивляли, но не пугали эти заскоки. – Здесь не было никого, только я.

– Неправда! – не соглашалась терявшая разум больная.

Однажды, окончив работу и собираясь домой, Ализа сказала по-русски, вздохнув:

– Ну, ты сегодня совсем «чайник»!

Симха понимала «по-русски» только «прошу, пане», и Ализа иногда, высказываясь на непонятном гверет языке, отводила душу.

– Ты с ней всего два часа! А я целый день, – как-то, не сдержавшись, пожаловался Меир. Это было вскоре после того, как ему сделали операцию на сердце.

Все оборвалось быстро, по-будничному просто и внезапно, как вообще по закону жизни происходят крутые перемены: мгновенно и необратимо. Однажды в середине декабря Меир разрешил метапе-

лет уйти пораньше. Он вез Симху на проверку в больницу. На другой день Меир сообщил Ализе, что его жену перевели в бейт-авот – дом престарелых – с постоянным уходом, поблагодарил со всей сердечностью за работу, сказал:

– Ты хорошая женщина!

По его словам, он был бы рад оставить Ализу домработницей хотя бы на два дня в неделю, но у него трудности с деньгами. Оказалось, что сын Меира и Симхи, живущий в Швейцарии, не может вернуться из-за огромных долгов, которые наделал в Израиле, и теперь Меир их возвращает. Вот уж, действительно, – богатые тоже плачут…

Через несколько дней Ализа пришла к Меиру еще раз, чтобы он подписал ей бумажку для получения от Института национального страхования зарплаты за последний месяц.

Она спросила его о Симхе.

– Ей лучше, чем дома! У нее очень хороший бейт-авот! – заверил ее явно повеселевший адон Шошани.

В квартирке было чисто, как всегда. На столике в салоне на белой скатерти стоял пышно разросшийся алый цветок цикламена, которого раньше не было.

Юрий Кацнельсон

СУД

Й. Ш. вышел из тель-авивского мирового суда, отряхнул ноги, умыл руки, наплевал в углы, отыскал самую затрапезную на всей стоянке машину, расплатился за стоянку всем, что было в кармане, и поехал на восток, в высокий город Иерусалим. Там старуха, похожая на каменный оттиск рептилии, уже проснулась, и теперь ей надо дать воды и повернуть ее на бок.

Когда он выехал из подземной стоянки, то увидел дождь. И какой! С треском, с градом, с пузырями, с бурными потоками – все сразу! Это было странно. Час назад, когда он туда въезжал, не было тому никаких признаков, и солнце сияло, а сейчас казалось, что никогда не было в мире ничего, кроме дождя, и весь он из дождя лишь одного и состоит. И небо – беспросветное, как заложенный нос.

Как, однако, мало надо времени адской машине правосудия, подумал Й. Ш., чтобы прожевать его дело и выбросить, пропустив через длинную кишку процесса, его тело в совершенно другую действительность – из-под солнышка да под дождик.

Он включил дворники и радио. Радио говорило о дожде. О том, что он – первый после сухого лета и как раз в новогодние дни – как надо и как никогда не бывает. И сразу – ливень, без раскачки. Пошел 5761 год от Сотворения мира, и Й. Ш. исполнилось шестьдесят лет от роду. 5=6-1, 7=6+1 – две первые цифры это разность и сумма двух последних. Счастливая у этого года гиматрия, подумал Й. Ш., мало заботясь, гиматрия ли тут или просто «железка».

Вокруг лило. Однообразно скрипели дворники по лбу. Происшедшее только что в суде было гадко, и думать об этом в присутствии первого дождя было неприлично. Он стал думать о матери, которая по сухости своей с этим проливным дождем сочеталась гораздо лучше. Она была сухая, умирающая материя, пустыня, вопиющая к влаге, а там, в суде, было нечто такое, что может только превратить чистую воду в грязную жижу.

Мать уже десять лет не вставала, и он стоял при ее нечистотах невольным свидетелем «отвратительных таинств старушечьего туалета». В отличие от параноидного немца из «Пиковой дамы», Й. Ш. без неприязни играл эту роль. К повести дописывался при этом эпилог в духе проникновенных нищенских баллад из питерских по-

слевоенных электричек. Там Германн оказывался тайным сыном старой графини, шестьдесят лет назад забытым на черной лестнице, той самой, по которой годом раньше крался, прижимая к груди треугольную шляпу, заезжий счастливец в шитом кафтане и белом парике рококо. Папаша, то есть. Вода, утекшая с тех пор, – это жизнь Й. Ш. и еще девять месяцев.

Выгребены давно из лубянских подвалов белые кости того шалуна, и дотлевает на высотах Иерусалима то, что осталось от прелестницы. Но подо всем этим романтическим бредом лежал вполне биографический сантимент: он не знал свою мать молодой. Никогда не видал, как смеется она, как волнуется, – он получил ее недавно и сразу в засушенном виде. Она была изъята из его жизни еще в животном ее начале, еще до того, как вселилась в него душа, и поэтому не он мог помнить ни ее саму, ни обстоятельства их расставания, он узнал об этом позже из рассказов одной старухи. С отцом же увидеться и вовсе опоздал.

Отца взяли за месяц до его рождения, в Москве, где он служил в каком-то важном инженерном чине. Он тогда недавно вернулся по горьковскому призыву из Парижа, где пережил в университетской тиши славные годы первых пятилеток. Отец приезжал на «Стреле» по воскресеньям и загостевывался на понедельник. У него был служебный номер в гостинице «Москва», но бывать там они избегали. Гостиница и в Москве была ему «казенным домом», и он тянулся к маминой комнатке с ее легким запахом женского беспорядка, рассыпанной пудры и растормошенного ридикюля. Там было высокое окно, смотревшее на размытые в тумане купола Петропавловского собора. На окне стояли гвоздики с Трубной, привезенные в субботу на «Стреле», и достаивали там до следующей субботы; цветы в то время были стойки.

Они всегда возвращались поздно и всегда навеселе из ресторана, где мама пела по вечерам с аккордеоном, скрипкой и кларнетом. Она поднималась в квартиру одна, снимала туфли и, выдержав паузу, пока гость обогнет угол дома, зайдет со двора, промочит в ледяной каше ноги, взойдет со своим министерским портфелем под мышкой, растопыренным коньяком, жареными цыплятами и ресторанными салатами, по кошачьей черной лестнице на шестой этаж, потопчется у заднего хода и одеревенелыми от холода костяшками обхватившей портфель руки выстучит на железной двери «собачий вальс», впускала его на кухню и быстро проводила в комнату. Она боялась проклятия черной богомольной старухи-соседки не меньше, чем косого глаза гостиничной челяди.

Старуху ту звали Ксения Михайловна, и была она из жидовствующих, сибирячка. Когда-то ее община арендовала всю эту квартиру целиком на ее имя для субботних молитвенных собраний, которые тогда проходили в нынешней старухиной комнате. Сама же старуха прислуживала в помещении и жила в комнате, которую теперь занимала мама, – при кухне. Остальные пять комнат вдоль коридора отводились под приезжих братьев и сестер. Кухня совмещала функции трапезной и хоздвора.

Когда хозяином этого доходного дома стал бездоходный революционный домком, квартира была уплотнена пролетарским элементом. Ксения Михайловна тогда успела перескочить в бывший молельный зал – большую комнату у белой лестницы с лифтом. В задней, кухонной части квартиры она после уплотнения не появлялась и варила свою капусту у себя на керосинке.

Ее прежняя комнатка при кухне досталась революционной подруге домкома. Скоро ту подругу по ихним революционным делам пустили вместе с ее патроном в расход, и комната перешла за взятку к патлатому еврею с тщедушной базедкой-женой. У них была аляповатая железная кровать и огромное пианино «Бехштейн». При пианино была конопатая отроковица с острыми коленками и рыжими косицами баранкой. Потом, когда отроковица выросла, округлилась и осиротела благополучно, в интерьер была вписана большая репродукция ренуарового «Яхт-клуба», приехавшая с папой из Парижа, и его непременные гвоздики с Трубной.

Мама и ее родители пришли в Питер в тридцать втором году из голодной Белоруссии, пешком, при телеге с поклажей, как записные кочевники. Хотели морем пробираться в Палестину. На месте, однако, выяснилось, что денег на взятку в порту уже не хватает, а пока еще хватало на взятку жилотделе, они и променяли Сион в тумане на ордер в кармане. Сходная история описана в Книге Бытия, когда отец Авраама повел свою семью из Ирака в Израиль, но сил хватило только до Сирии, где и осели.

Вскоре один ненормальный застрелил товарища Кирова, и все стало становиться на свои места: западное направление массового отъезда сменилось на восточное. Их тоже звал родной Биробиджан, но тут родители слегли и к строительству новой жизни на болотах Приамурья стали непригодны. Они умерли один за другим как раз тогда, когда в гнилом воздухе города трех революций зареяло новое ругательство – «сионизм». Этому направлению партийной мысли прочили большую перспективу и не ошибались. К оставшейся

одной семнадцатилетней маме это не имело, однако, никакого отношения: ее в тот же год приняли в консерваторию.

Колорит той жизни Й. Ш. восстанавливал по стилю выписки из протокола, приложенной к справке о реабилитации, выданной на отца; мать-то, как пропавшая без вести, и справки не была удостоена. Там значилось: «Участие в международном сионистском (!) заговоре о поджоге мавзолея бессмертного Ленина с последующим затоплением сточными водами из канализационной системы московского Кремля, с целью лишения товарища Сталина места его предстоящего обессмертивания».

Особенно впечатляла версия о последующем затоплении. Труп остался без положенного ему разложения в земле, и потому ему назначено еще одно, посмертное уничтожение – *в огне*. А потом еще и пепел в воде растворить – это как контрольное дострелива-ние. И не просто в воде, но в кремлевской сточной, т. е. собравшей совокупные отходы всех его апостолов, естественным – в прямом смысле! – образом становившихся невольными соучастниками этого вандализма.

Сточные воды для затопления мумии отца-основателя предполагалось пустить обратным ходом, через специальные шлюзы, которые отец Й. Ш., своевременно обезвреженный инженер-вредитель, собирался тут запроектировать при реконструкции кремлевской канализационной системы. (Отец был, кстати, родовитым русским дворянином, что сообщало определенную пикантность квалификации заговора как «сионистского».)

Четкость формулировки, чистота и бодрость тона физкультурных парадов. Выплывали, как месяц из тумана, два любезных дяди в серых макинтошах и шляпах в стиле Великой депрессии, пришедшие, как ангелы, перед рассветом через парадную дверь, чтобы пригласить маму с собой, помочь московским товарищам разобраться в папином деле. «Это ненадолго, чистая формальность, ведь он уже сам дал все необходимые показания; уже и расстрелять успели».

Этот черный фарс был первой встречей Й. Ш. с юстицией. Он проводил ее в воде, плавая в жестяном корыте на кухне: «Жизнь начиналась в корыте картавою мягкою шопотью». Возрастная широта взглядов помогла ему тогда все это легко пережить. А вторая встреча произошла сегодня, на другом конце мира и жизни, и от той трагедии абсурда остался один лишь абсурд – трагедия за шесть десятков лет вся выветрилась, вся сошла на нет. Но то, что уходит с ветром, с ветром же и возвращается, но уже набравшим на кругу

своем ураганную силу. В компенсацию за утраченную трагедию, вместо той кухонной чертовой купели пришел сегодняшний благословенный дождь, обмывавший бока машин и уходивший свободно в открытые поры земли.

«Чертовой купелью» называла его корыто та самая старуха-соседка, которой побаивалась мать, и со слов которой была ему известна эта сцена его осиротения. Во время обыска и при понятых она спикировала на него, как зимняя ворона на кусочек сыра, и унесла в свою комнату, на другой конец квартиры, так что из описи имущества он изящно выпал. Очень странно, но никто из соседей по инстанции не доложил; не только, видно, мать боялась старую колдунью. Еще более странно, что и сами дяди не обратили никакого внимания ни на штамп в мамином паспорте о наличии Й. Ш., ни на собственный его документ в ящике комода. И позже тоже не спохватились. В этом сюжете Й. Ш. не был предусмотрен.

Й. Ш. подумал, что жизнь его прошла под знаком Старухи – началась под той, теперь кончается под этой. Та старуха, оставшись с ним на руках, как мадонна на картине, обрезала его, переростка, в подпольной мессианской молельне и растила его в строгости и рафинированной чистоте баптистского быта, усвоенной ею в детстве, прошедшем среди тюменских болот и волчьих ягод. Перед смертью она так напутствовала его: «Твоя мать – сухая земля Израиля. Ее отняли у тебя и ей не дали тебя растить. Она знает секрет жизни, и она тебя ждет, чтобы тебе его передать. Ты придешь, и откроешь ей источники вод, и дашь ей воды, и всех ее верблюдов напоишь. Это будет, и никто тут не может ничего изменить, ибо назначено тебе судить Израиль».

И. Ш. было тринадцать лет, и он не понял метафору. Он вообще не понимал тогда, что такое еврей, и себя к проклятому народу не причислял. Он понял это только после старухиной смерти, и сразу со всех сторон – от соседей, из школы, с улицы. Ему народ объяснил. Понял, осиротев, и эти два понятия – сиротство и еврейство – соединились в его душе.

Старуха оставила по себе толстую Библию, рукописные переводы из Кабалы, изучаемой в ее оторвавшейся ото всех метрополий общине, и коробку из-под вафель, набитую мамиными письмами. Письмами содержимое той коробки можно было назвать лишь условно. Эти жалкие кусочки трухлявой бумаги, сложенные в полосочку, скатанные в комочки, вынесенные под лифчиком, под гульфиком, под протезом и в других темных местах, выкинутые из поезда,

протиснутые сквозь проволочную сетку, разглаженные и разложенные, были больше похожи на необработанный археологический материал. История маминого исхода.

Исход этот начинался на воде, когда самоходная баржа «Музыковед Андрей Жданов», этапировавшая роту «комсомолок» на великую стройку социализма, встала на зиму во льдах великой сибирской реки. Стоял тогда сентябрь, и старая эсерка Фанни Каплан, затесавшаяся на этот комсомольский этап попутно, в ссылку, сказала, что это – месяц Нового года и надо молиться о прощении, так как приближается день Суда. И в этот день положено поститься, что в тех обстоятельствах звучало цинично.

На «разговение» лагерного начальства они везли полные трюмы воблы, водки и свиной тушенки, на том пайке их женский этап с Божьей помощью и перезимовал вместе с конвоем и экипажем. Также слились незаметно и две враждующих пасхальных идеи – чистая и нечистая – на этом богоспасаемом корабле. А когда под Пасху – последнюю – лед отпустил, то течение вынесло их в океан и они стали в свободном дрейфе продвигаться на запад. Сопротивляться этому враждебному направлению их линкор был уже не в силах, так как все, что могло гореть – все табуретки, плакаты агитпропа, секретные инструкции, стенгазета и, конечно же, вся солярка, – все за зиму ушло на обогрев личного состава.

В третий месяц пути после снятия со льда, в самой середине месяца, Гольфстрим прибил их к норвежскому острову, где была немецкая морская база. Фанни Ефимовна снова объявила, что пришли праздники: Новый год – день Суда – и день поста, – а потом настанет праздник шалашей и надо печь пироги с яблоками из оставшегося пайкового компота, а главное, опять надо молиться о дожде.

Старухе было лет пятьдесят, и до того, как заняться своими серьезными делами, она воспитывалась в приличной семье в том же местечке, где жили мамины родители, но их не помнила. Ее забыли расстрелять в восемнадцатом году, и теперь она после двадцатилетнего отдыха в одиночке направлялась с этой оказией в ссылку и вся была полна патриархального умиления из детства. Маму она опекала, как родную, – она была тоже «убийцей вождя» и в маминой истории видела карикатуру на свою, что виделось ей полным срамом для всего их чистого революционного дела.

Они добрались-таки, в конце концов, до великой стройки социализма, только теперь уже не нашего интернационального, а чужого,

просто национального. Мама, впрочем, несмотря на полный курс советского образования, была тогда одинаково далека от обеих версий, и тут судьбе было угодно начать устранение этого недостатка ее опыта. (С упомянутым в ее приговоре сионизмом ей предстояло ознакомиться в последнюю очередь, но зато весьма подробно.)

Однако отличиться на трудовом фронте маме тогда так и не пришлось. В числе прочих представителей избранного народа она была переправлена в другой лагерь, более серьезный, где не работали, – сказано же: «Сынов Израиля Соломон не делал работниками», – там и застал ее салют победы. И, как всегда, врасплох, когда в живой очереди на плановую кремацию она уже подходила к дверце. Те два ангела, сменив макинтош на шинель с зелеными петлицами, опять оказались «в нужное время на нужном месте». И мама поехала на восток, в родные края – из лагеря истребительного в лагерь исправительный.

На территории мятежной Польши набитый до крыши мамин эшелон пошел, не без помощи местного населения, под откос, и она, выбравшись из-под груды своих попутчиков, наваленной вдоль полотна, снова оказалась в свободном дрейфе. Не этот раз – «по Тюрингии дубовой, по Саксонии сосновой», по Германии хреновой и по всей Европе новой, объединенной общим срамом, отдыхавшей в развалинах после группового изнасилования.

Ее третьим лагерем был американский лагерь для перемещенных лиц в Греции, где она попала в поле зрения других ангелов – мирового сионизма. В день Нового года, пять тысяч семьсот седьмого от сотворения мира, она выходила торжественно на душный, как библейский рай, яффский причал, заваленный первыми апельсинами, – зелеными на этот раз, как плоды Древа жизни. Это был день шестой и последний, рептилия вышла на сушу.

Итак, книга маминого исхода закончилась так же, как и началась, – на Новый год и на воде; Ноев круиз, если не считать сухопутной части. Только вместо обледенелого железа тюремной баржи было теперь раскаленное железо ржавого перефрахтованного греческого парома с трюмами, напоминающими ад. Апельсины пришли в это видение из детского воспоминания Й. Ш.: как они со старухой – тоже под Новый год, только по русскому счету, – шли по искрящемуся снегу и несли их в авоське за две ручки. На них было написано «Яффо», и они были красны и вожделенны для глаза, как плоды другого райского дерева, предстоящего Древу жизни, – Древа познания добра и зла. Тогда различило впервые его ухо чудную мелодию: «Израиль».

После старухиной смерти Й. Ш. остался один в ее комнате, самой просторной и светлой в квартире. Ее община еще до войны была выслана обратно в Сибирь, где ко времени рождения Й. Ш. благополучно вымерла. А так как никакой другой общины старухе не подобралось, то померла она в полном, если не считать тринадцатилетнего Й. Ш., одиночестве. Даже похоронами дворник распоряжался.

Соседи кормили Й. Ш. остатками супа и отдавали школьную форму, когда из нее вырастали их дети. Не то чтобы просто жалели сироту; было еще какое-то особое отношение – он его чувствовал, но не мог определить. Как к чему-то неприкасаемому, причем одновременно в обоих смыслах: и в ритуально-гигиеническом – нечистое, и в музейно-экологическом – «руками не трогать». Обидеть еврея было как таракана раздавить: нужна особая дерзость против Божия возмездия.

Тогда в невинное сознание советского труженика начинали просачиваться крамольные слухи о еврейской Катастрофе в прошедшей войне. Эта новая кровь наложилась на прежнюю кровь погромов, смешанную с ритуальною кровью христианских младенцев, и брезгливая неприязнь, которую всегда вызывают изнасилованные, приняла негласно-официальный характер. Такой срам навлекли тогда евреи на Европу, что Европа до сих пор не может им этого простить. Очень получилось неудобно. В России было, однако, попроще: немцы показали, что евреев бить можно, и за это – *только* за это! – ничего не будет. Дальше уже вопрос вкуса, интересов и прочих частностей.

Положение Й. Ш. во всем том враждебном мире было не самым плохим. Во дворе, заполненном детьми, полученными от скрещивания Рабочего и Колхозницы посредством скрещения их половых органов – молота и серпа, – в этом славном дворе его спасало его сиротство, отсутствие непьющего папы-инженера и крикливой толстожопой мамаши.

Но имя, тем не менее, остается именем, и нос остается носом, и всякое, пусть и пустяшное, поощрение со стороны гегемона рабской благодарностью отзывалось в душе. Эта слабина была ему почему-то особенно обидна. Среди немногих, от которых Й. Ш. не ждал плевка, был сосед по квартире, тихий алкоголик Коля, который занимал теперь мамину комнату. Тихий в самом прямом смысле слова: у него при каком-то легком ранении был задет лицевой нерв. Он работал в сапожной артели инвалидов, и так как слух его был сохранен, вел пассивную клубную жизнь на заднем дворе углового магазина.

Й. Ш. ходил к нему, закусить за него вялым бочковым огурцом с большими семенами, который самому Коле в бессловесное его горло уж не лез. Он чувствовал, что Коля – его щит и опора и что в маминой комнате он не случайный жилец. Он был единственным, с кем Й. Ш. мог поделиться самыми сокровенными своими переживаниями общественной жизни. Про одноклассника, например, тишайшего Гришу Гальперина, который в один прекрасный день стал Алферовым. Однажды зимним вечером, возвращаясь после закрытия магазина домой, Коля перед подъемом по черной лестнице прилег отдохнуть, неожиданно заснул от усталости и замерз насмерть во сне. (О, эта черная лестница из «Пиковой дамы» – ангелы восходили по ней!)

Коля был таким тихим, а выпуск обувной продукции и оборот винно-водочного отдела так велики, что его исчезновение не сказалось заметно на положении ни в квартире, ни в стране в целом. Что ему снилось в ту ночь и куда он тогда ушел – это никого на свете не интересовало. Проводы во дворе были, тем не менее, многолюдны. Пришли коллеги и одноклубники, было множество спонтанных речей, поминаний, и даже нос кому-то разбили после увоза тела.

Мамина комната продолжала свою жизнь, в нее вселилась новая соседка Лора. У Лоры был черный халат с серебряными птицами, и она работала в ночной смене на кондитерской фабрике им. Пражской Конференции. Перед уходом на работу она иногда приглашала Й. Ш. к себе, выпить чаю с «подушечками». Тогда, разогревшись чаем до нужной кондиции, она гасила свет, снимала халат и устраивала ему торопливый маленький рай на своей огромной железной кровати.

Кровать мерцала шариками, скрипела, как уключины на регате по Малой Невке, и видом своим была похожа на ткацкий станок из кинофильма «Светлый путь»; Й. Ш. помнил эту кровать по бедному Коле. А так как Коля ее, конечно же, не покупал, то она была тут и при маме, и на ней Й. Ш. был, по всей вероятности, сделан – со всеми своими прыщами на лбу и цыпками на руках, рыжий, щуплый, в падающих со шмыгающего носа очках.

(Интересно, что эту сильную внешность Й. Ш. получил как раз от своего аристократического отца с пшеничными усами русского барина и спесивой фамилией прусских баронов. При этом на самом отце все это выглядело, судя по фотокарточке, благопристойно, как вицмундир, чего никак нельзя сказать о Й. Ш. От мамы же, кроме фамилии, не поддающейся обработке во рту, были только влажные, пушистые глаза библейской Рахели, но они-то и ставили весь порт-

рет на место, так что паспорт можно и не показывать. Глаза – не только зеркало души, но еще и пункт анкеты.)

В Лорином раю было душно и жарко, как в Божьем саду из старухиной Библии. Пар поднимался от чайного блюдца, орошая лицо, и бисерными капельками оседал на лбу, перемешиваясь с девственными прыщами. Из душного того сада человек ушел, как из яйца, чтобы умереть на свободе. Й. Ш. ушел в армию. Там он попал в автороту, что избавило его от строевой каторги и неудобного для правосторонней еврейской природы марширования с левой ноги. Остались на его долю только обычные казарменные неудобства, положеные жиденку, опущенному в народ; подуставные как бы. Ну, в сапог ночью насрут, ну, еще какая проказа гусарская...

Там был, в казарме, еще один еврей, тоже такой, что пробу ставить негде, – вот он-то этим и занимался. У него к тому же была русская фамилия, и он изо всех сил старался ее оправдывать. А лучший способ доказать свою непричастность к какой-нибудь дурной компании, это какому-нибудь из той компании публично поднасрать. Можно и в прямом смысле, почему бы нет?

Так он и поступал. Как проснется до подъема, так обязательно и наложит аккуратненько Й. Ш. в голенище, и его же портянкой поглубже и пропихнет. А заодно ею же и заткнет, чтобы не воняло на всю казарму. Славная эта потеха быстро всем надоела, но пресекать ее солдаты не спешили. Ждали, когда же, наконец, еврейчики между собою подерутся. Как подрались на улице в Египте два еврея-раба или как в Риме от безвыходности убивали друг друга на публике гладиаторы из пленных евреев.

Однажды общий смех разбудил Й. Ш. до подъема. Продрав глаза, он увидел, что тот еврей сидит на своей кровати и плачет горько. Оказалось, что он в то утро прилег после своего деяния, неожиданно заснул, и кто-то из солдат поменял им для оживления игры сапоги. Влезть в собственное говно – это, должно быть, так обидно, что Й. Ш., который был тут единственный, кто пробовал этот «завтрак в постели», из сочувствия даже посмеяться вместе со всеми не смог. Вспомнился бедный Гриша Гальперин с его «обращением Савла в Павла».

Общаться между собой, даже после общего позора, а может, как раз благодаря ему, этих двух однополчан почему-то не тянуло. То ли сионистского заговора стеснялись, то ли друг друга. (Потом, в Израиле, он увидел, что у евреев вообще нет тяги друг к другу, скорее отторжение: если еврей неприятен всем окружающим, то самим-то евреям почему же быть из этих всех исключением? От этого

так стоек в еврейской государственной идее императив расширения пространства – чтобы было куда отвернуться от ближнего своего.)

Он написал письмо Лоре, но ответа не получил, а когда вернулся, то от соседей узнал, что вскоре после его ухода она умерла. Скрутивший ее рак был так же агрессивен и тороплив, как ее объятия. Большая мамина кровать скрипела теперь под семьей участкового милиционера. Пианино, пережившее тихого Колю и порывистую Лору, было, наконец, вынесено, чтобы освободить место для более полезного ящика – сундука, на котором умножавшиеся дети могли спать поперек, не мешая тому добру, что внутри.

Й. Ш. пристроился ночным помощником лодочника на лодочную станцию в парке напротив Крепости. Стояли белые ночи, и лодочник поручал ему сдавать лодки любителям ночных катаний. Он должен был неотлучно пребывать на причале до второго трамвая – на первом уезжала заспанная до синевы подружка лодочника Верка. Как только второй трамвай отзвонит, шеф и сам вываливался из будки – «поссать по холодку», как он выражался, – и это была смена вахты.

Однажды сидел Й. Ш. со старухиной Библией в не привязанной по собственному недосмотру лодке и читал, как в начале творения Божий Дух носился над водой. Он закрыл глаза и стал слушать тихий переплеск – это вода верещала, лежа под Духом, устраиваясь поудобнее перед чем-то очень важным в ее бытии. Он слишком натурально видел картину и слишком не мог от нее оторваться, чтобы идти дальше.

Он видел, как Дух раздвигал воду, рылся носом между ее круглыми упругими валами, открывая ее лоно и извлекая оттуда землю. Так рождался мир, и вода, протоматерия, была ему матерью. Космический эрос волновал сиротливую душу Й. Ш. Но мир с первой попытки не удался, и сказал ему в гневе Творец: «Уходи обратно в чрево матери своей – в воду, из которой ты взят!» И смыл его водой, как акварель.

Так думал Й. Ш., засыпая под спокойный переплеск воды. Ему снился Божий Дух, реющий, как парус одинокий, над дикими водами Первого дня. Парус был почему-то перевернут носом вниз, как на мамин Израиль, плывущий по карте. Одинокий парус в аравийском океане средь буйных волн и черной тьмы; совсем не похоже на дымчато-розовый «Яхт-клуб», висевший над ее кроватью. Айсберги со всех сторон готовы раздавить его в любую минуту, но Божий Дух дирижировал всей этой космофонией и кораблик плыл себе и плыл, и все куда-то к югу, к югу...

Когда он проснулся, был короткий темный час белой ночи. Жест-

кая зыбь била лодку между быками моста, и хотя быки отстояли один от другого сотни на полторы метров, казалось, что лодку швыряет от стенки к стенке. «Река металась, как больной в своей постели беспокойной». Ветер выл уныло, как в водосточной трубе. Шакалий писк праздных уключин радости не прибавлял. Й. Ш. услышал над головой тяжелый, протяжный шум, как будто две тучи терлись брюхами, и поднял голову. То, что он увидел, было жутко, как тот библейский стих, на котором сон остановил его чтение.

С железным скрежетом по темени медленно начинали расходиться тяжелые створки моста. Как будто крыша дала трещину и в теплое жизненное пространство валилась под собственной тяжестью свинцовая масса бесконечности. Это открывались небесные хляби, и, удерживаемые ими доселе, нескончаемые верхние воды готовы были двинуться на землю, чтобы снова слиться с нижними. Божий Дух, который до этого регулировал разделение вод, отлетел по другим делам, и ничто более не в силах противостоять мощной воле материи к воссоединению ее вещества.

Потом река пойдет навстречу морю, и все, что на пути, сразу потеряет значение – все будет затоплено, растворено, возвращено в первичное ничто. Тут вдруг панический ужас отошел от Й. Ш., и он стал действовать решительно и точно, как по программе. Он закрыл глаза и уши и стал считать. Надо было отсчитать назад до цифры 3920, чтобы с этой позиции напомнить Богу об обещании больше нас водой не смывать. И чтобы Дух вернулся на место.

Счет остановился на середине от мягкого толчка, и Й. Ш. открыл глаза. Лодка уткнулась носом в береговой песок. Вдали в разведенном молоке белой ночи мокли створки разведенного моста. Гуляки важно гуляли с дамами среди канав, как адамы с евами по саду в день грехопадения. Шорохи и шепоты летели с лавочек и из кустов. Рядом пролетела белая чайка, она несла в клюве черемуховый лист. Он встал, поднял со дна лодки забрызганную водой, как от церковного окропления, старухину Библию, вышел на сушу и пошел вглубь острова.

Дорога привела его к камню. Он поискал глазами. На поваленном дереве сидел некто и чертил прутиком на земле. Никто из гулявших тут ни камня, ни писавшего на земле не замечал, и нечитабельные знаки, выходившие из-под прутика, тут же зашаркивались. Но после исчезновения на земле они сразу же выступали на камне.

«Почему повалено дерево? – подумал смущенный этим Й. Ш. – Написано, что трости надломленной не переломит, а тут – столетний дуб как топором срублен».

«Да, написано, – сказал тот, – но жизнь есть жизнь. Дерево под крыло попало, бывает при посадке. Не в этом сейчас дело, не в дереве. Лес рубят – щепки летят. Принеси-ка чего-нибудь попить».

Голос булькал и клокотал, как в горлышке бутылки, и Й. Ш. вдруг услышал в нем сиплого Колю, умершего пять лет назад под черной лестницей. Лицо было неразличимо, и он узнал немого по голосу. Почему-то он не сомневался, что этот голос мог принадлежать только Коле, о котором он, кстати, давно уже и думать забыл.

Он принес свежего пива из ларька, и тот пил. И пену сдувал, как живой человек.

«От тебя ли, назначенного спасти мир, скрою то, что намечено! То, что так напугало тебя, – это только периферия. А я иду в центр, в поганый город Иерусалим, от которого смрад дошел до небес. Буду его жечь, как бесплодную смоковницу, а потом топить, чтобы наверняка. Потому и пошло по краям это возмущение вод, что так тебя напугало. Иерусалим стоит высоко, и, чтобы его утопить, придется прежде залить всю нижнюю землю. То, что ты видишь, это только начало».

Й. Ш. не понял, как и от чего суждено ему спасать мир и чем провинился вечный город.

«А чем провоняли, тем и провинились – смертью, ее тлетворным духом. Мы сделали его бессмертным, но он упорно тянется ко всякой мертвечине. Земля, на которой он стоит, пожирает своих обитателей и от этого смердит. Там будешь – поймешь».

Сознание Й. Ш. сразу наивно соединило смерть с пожиранием землею умерших и нашло, что это нормально. Человек, отработав в саду, уходит в землю, из которой он был взят, и черви земли извлекают из его тела разные вещества, полезные для жизни. Ему вспомнилась мама и мавзолейное дело: закопали бы вождя своевременно в землю – не было бы и дела. Только он-то тут при чем, Й. Ш.-то?

«При том, что метка поставлена на твоей душе при рождении. По движению этих меток Мы узнаем, что тут у вас творится, и планируем свои действия. Сейчас таких меченых душ мало осталось – почти всех перебили, приходится перегонять туда-сюда.

А что до пожирания землею живущих на ней, то не мертвыми, но живыми душами питаются черти той земли; черти ведь не черви, мертвецов не едят, им душу живую подавай. От такого питания производит из себя та земля проклятые народы Ханаана, тупые и жестокие. Пытались заменить их другим народом, даже специальную породу вывели – евреев, в Египте размножили и туда пересадили. Ничего не получилось. Земля та всех, кто на нее придет, в третьем

поколении обращает, души их пожрав, в амореев да ханаанеев; если сбежать не успел. Таков ее дьявольский закон. Так что ничего не остается, кроме как топить – мочить, по-вашему».

Й. Ш. опять, как и со старухой, ничего в этом алкоголическом бреде не понял и только подумал: а что, если есть в мире что-то такое, что погибели не подлежит? Хоть одно!

«Не утоплю и ради одного», – сказал Коля, и исчез в белом пространстве. Иероглифы на камне сразу стали читаться, и Й. Ш. вернулся к тому, с чего и начиналась для него эта длинная ночь, – опять углубился в чтение.

На лодочную станцию Й. Ш. больше не пошел и вообще к реке с той ночи не приближался. Даже в ванну заходил со страхом, вспоминая «проклятую купель» маминой кухни. Водобоязнь вообще-то подозрительна на бешенство, но дальше этого не пошло. Зато появились признаки параноидного синдрома под условным названием «Отпусти народ мой!» Как и у всего психического, в основании этой придури лежали детские обиды и прочие глупости, но главное было не это. Главное, что придавленная годами музыка детства вновь заиграла из глубины.

Первым шагом в направлении земли неведомых отцов и забытой матери был переезд из Питера в Москву, поближе к Шереметьево. Он выменял старухину шикарную комнату на каморку сапожника под лестницей – в память о Коле, вероятно, – и сразу приступил к делу.

В ОВИРе ему разъяснили научно-популярно, что секретность автороты, где он по утрам выгребал говно из обоих своих сапог по очереди, не позволяет в ближайшие пятнадцать лет отпустить его во враждебное государство. Он, однако, не отставал, и вражеское его занудство вынудило родину к пропорциональной самозащите: с новым, входившим в моду диагнозом вялотекущей шизофрении он был отправлен в Заможайское психучереждение. На лечение и отдых.

На изнанке советских зверств парадоксалист найдет что-то неожиданно мудрое – нет худа без добра – какие-то, может быть, точные интуиции, заставлявшие задуматься о непременной вмешанности высших сил во все людские установления, даже и самые отвратительные. В гонениях, например, генетики и кибернетики можно увидеть теперь предчувствие грядущих извращений генной инженерии и мертвящей компьютерной субкультуры. В этом ракурсе позорная для государства еврейская статья в паспорте может выглядеть как единственная возможность сберечь этот народ от полной

ассимиляции; ну, хоть номинально (это при том, что народом-то евреев не признавали). Так же и психушки – кого аминазином вытравляли, а кого сводили с такими учителями, каких нормальная жизнь никогда не подсунет. Для Й. Ш. это был университет, чего на свободе лишен он был наглухо. И какой университет!

Университет тот сидел в углу, на кровати у окна, в комнате, куда привел Й. Ш. громила-санитар. Он выглядел лет на сто двадцать, как, впрочем, и пристало всякому приличному университету. Когда сухая тонкая рука без посторонней помощи отделилась и указала на табурет, Й. Ш. вздрогнул от неожиданности.

«Циолковский, Константин Эдуардович», – сказал голос, еще более подвижный, чем рука. То, что имя его теперь известно и почитаемо, было ученому забавно, но не более того. Знакомство с Й. Ш. было гораздо важнее.

«Пододвиньте-ка поближе свою тубареточку, чтобы я разглядел, кого привели. Вы, я слышал, на Израиле чокнулись? Вполне достойное помешательство. Был бы я помоложе – тоже просился бы. Обязательно. Очень интересное историческое явление».

Было тогда лето шестьдесят седьмого года, и весь мир наблюдал с изумлением, как Израиль в одиночку отчаянно крушил кулаками шипевшую вокруг него арабскую массу, как херувим, поставленный у Дерева жизни, крутит по радиусу обоюдоострым мечом: «Не подходи, убьет»! В России, где много говорят о традиции милости к слабым, а уважают по-настоящему только силу, в ту пору народ зауважал евреев. Особенно – самых плюгавых, конечно. Если такому случалось затесаться в очередь за водкой, толпа тут расступалась, нехотя, но почтительно: «Дай ему, Клава, без очереди – у них теперь победа!»

Из тех дней Й. Ш. запомнился такой эпизод. Он ехал в поздней электричке, в почти пустом вагоне, только незначительная старушка дремала в углу. На Электростали ввалился огромного роста гегемон, похожий на громилу с окон РОСТа – глаз наружу и измызганная беломорина на нижней губе. Свои полбутылки водки (по Бабелю) он уже выпил, а «об дать кому-то по морде», так это пока не подвернулось. Зависает над Й. Ш. и дышит тяжелым паром. Беломорина тяжко падает Й. Ш. на колено, как пристрелочный снаряд. Старушка в углу торопливо обкладывает себя крестами. И вдруг Голиаф расплывается в улыбке и протягивает съежившемуся Давиду татуированную пятерню: «Ну, давай пять, ебена мать!» – и уходит дальше искать свою, люмпен-пролетарскую правду.

В общем, Й. Ш. ходил тогда триумфатором, весь в сиянии отблеска славы, к которой не имел ровным счетом никакого отношения. Но это он понял значительно позже, уже прибыв на место, а пока переживал захватывающий подъем всего своего национального, попранного и забитого. «И та, что в фартух зарывала, мучась, / дремучий стыд, теперь, осатанев, / летит в пролом открытых преимуществ / на гребне бесконечных степеней» – это про его душу свихнутую.

«Ну, я, кажется, дождался! Как Симеон Праведник дождался, пока родится царь Израилю и принесен будет к нему в храм на Сретение. Осталось только благословить, и Бог отпустит меня, утомленного днями.

Я не знаю, сколько суждено вам здесь просидеть – пролежать, извините, – но что я знаю точно, так это то, что пока вы здесь, то и мне не отчалить путем всей земли. Сейчас у ваших евреев Новый год, потом мы будем с ними поститься, а потом, с ними же, начнем, с Божьей помощью, читать. Стих за стихом, ничего не пропуская. Хорошая, знаете ли, методика: каждую неделю по четыре главы с разбором, и за год – все Пятикнижие. А потом сначала».

И Й. Ш. на психиатрической койке вновь, как тогда на Неве, переживал одну за другой эти мощные картины в их реальном времени и во всех деталях.

Как в начале был мир изведен из воды и потоплен потом, и как уходили под воду одна за другой высокие горы, и снежные их головы дождь превращал в обсосанные леденцы, а последней ушла глазурованная голова Арарата. И как потом в обратном порядке возвращалось это все обратно, и первым воссиял между тихим небом и тихой водой изумрудным сиянием льдов все тот же омоложенный Арарат, – сотворенный из воды мир был водою же и пересотворен заново. И как сделан был из земли человек, и отправлен обратно в землю, и снова из земли той воскрешен, как прежде сама она была воскрешена после потопа сотворившей ее средой. И как Авраам вышел свободным человеком из страны вавилонской, и как потомки его вернулись туда, на землю их отца, пленниками. И как потом пошла от них из той земли странствовать по свету Библия, кормя голодных хлебом истины. И как она обрела, как Авраам, свою истинную родину на земле патриархов, и как возвращается теперь туда постепенно. По всем кругам проводник провел Й. Ш. неторопливо.

«Вот это и будет вам моим благословением: благословение от старца Симеона, так сказать. А другого у меня нет – я ведь человек светский насквозь, даром что мистик».

Й. Ш. провел там ровно год. Они читали на языке Колиных надписей на камне; инсулиновый шок вернул ему эту память. Старец комментировал из фонда всей застрявшей в нем культуры. В промежутках рассказывал, что помнил, о себе.

Он только год как был переведен сюда, в Можайск, из десятикоечного Калужского психдиспансера, до которого за пятьдесят лет советской власти добрался-таки, наконец, райздрав и на всякий случай тут же закрыл его на инвентарный учет.

«...Как заснул тогда, не помню: обморок, вероятно, голодный – обычное дело для тех-то времен. Просыпаюсь от каких-то ударов по крышке и сотрясений. Вижу: стенки, гроб кругом, душно, сыро, и как будто что-то шипит. Тут гроб начинает качаться, и я вроде бы поднимаюсь, как на лифте. Потом все установилось, крышку ломиком сковырнули, и вижу: небо синее сияет, купола золотые – ну, думаю, приехал. Где тут Петр с ключами?

И правда – стоит. Мужичок, такой невзрачный, что лица и не приметил, только голос запомнил, сиплый, как телега наехала. С ним два чернеца, которые гроб тянули, все трое как бы со вчерашнего подпития. Сиплый говорит: «Вставай, – говорит,– из гроба, живи пока...» Что за «пока»? пока что? – этого он меня не удостоил, но и на том спасибо. И что удивительно – в гробу слух ко мне вернулся. Я ведь давно оглох, отосклероз, это необратимо. А тут на тебе: то ли от голодного шока, то ли от особого воздействия удара гробового гвоздя по твоей собственной крышке!

Привел в желтый домик маленький, передал доктору-громиле и велел, чтобы перезахоронили – с Оптинского погоста, откуда он меня извлек, прямо в ихнее заведение, только что открытое там же на монастырской территории, но еще не зарегистрированное. А на учет чтобы не ставили. Пока. А там комната – большая, на десять коек, и на койках с десяток старцев в белых кальсонах; это сиплый-то их туда и сгреб из ихних скитов оптинских, миньян себе сколачивал».

В ходе их штудий Й. Ш. казалось, что он все понимает, но ничего не запоминает. «Ничего, ничего, – сказал учитель, – главное – это ключи, а знание – об этом не беспокойтесь. Это всплывет, когда придет "время всплывать", это же всплывающий продукт, знание-то.

Что действительно беспокоит, так это то, что вы будете там среди другого, неизвестного народа. Вы зря думаете, что там – свои: нет у еврея своих. Он всюду сам по себе, так их Бог расположил. Бить-то, может, и легче, но, с другой стороны, – так никогда не перебьют всех.

"Пришелец я среди вас", – говорил Авраам аборигенам. "Еврей" – это значит "чужой", "посторонний". Из одних посторонних народа не составить, а Израиль хочет быть народом, как все, устал он от мессианства. Значит, будут и там своих "евреев" выделять, а значит, и бить будут. А то для чего же выделять-то, если не для жертвы?

Но в жертву-то не сына должно приносить, а заблудшего барана – так учил Авраама Бог. Но этим ведь надо все до конца обязательно довести, до абсурда то есть. А как принесен был в жертву живой человек, так и кончился народ – другие тысячами вешают и предают, а Иуда из-за одного удавился. Одни тени остались, бесплотные и бессмертные, каиново племя окаянное. Интеллигенция, одним словом, очень малоприятная публика.

Однако готовым надо быть всегда и ко всему. Вот вы, батенька, говорите, что в Израиль вас вроде как Бог посылает. Авраамом себя эдаким, поди, представляете – мол, "иди себе из земли твоей, от родины твоей, от отечества твоего" – да? Но ведь тем же тройным зовом и в ту же землю Мория Он его и на заклание сына посылал: "...единственного, которого любишь, Ицхака..." И тем же "иди себе". Что это значит? А то, что если на первое клюнуть хочется, так и к этому, последнему, будь готов. Предупреждение тут: того без этого не бывает.

Вы, однако, с отъездом-то не затягивайте, а то как бы не опоздать. Это же народ учителей да судей, он, когда в силе, быстро съедает сам себя – можете и не застать никого. Обидно будет».

В последнее свое психо-утро Й. Ш. проснулся один, соседа его в комнате не было. Вошел санитар и повел Й. Ш. в душевую перед выпиской.

В рамках параллельного «семинарии» курса реабилитационной терапии Й. Ш. изучил переплетное дело и по освобождении был направлен в артель инвалидов, наподобие Колиной; по странному совпадению – тоже поблизости от углового гастронома. Такое соседство упорядочивало производственный процесс, но жизнь остановилась в анабиозе, совсем как у бедного Коли. Спасало самостоятельное продолжение штудий и повседневное производственное общение с разной книжной рухлядью.

В день истечения пятнадцати лет от его прикосновений к военным тайнам он снова пришел проситься в Израиль. На этот раз выяснилось, что вызывавшая его матушка до сих пор проходит по списку беглых, неважно, что по статье, попадающей под амнистию. Решения об ее реабилитации так и нет, а потому и самой ее вроде

как бы и нет. Так что вызов от такого, с позволения сказать, лица во вражеское государство на постоянное жительство (вещь уже и сама по себе сомнительная) тут уж и подавно недействителен. Похоже было, что теперь застрял он там надолго, с российской могильной безнадежностью. Коле пришлось тогда немало дров нарубить на просторах родины чудесной, от Беломорканала до речки Колымы, для его высвобождения.

(Странно, кстати, что сама-то та их ночная встреча и вообще весь тот кошмарный эпизод на реке, – все это почти полностью стерлось из памяти, причем очень быстро; остался только нежный рубец, как от детской ветрянки. Так же, как и сама беседа, и образ собеседника – Колин, – все улетело. Знаки же, которые он после прочел на камне, полной графикой стояли перед глазами и манили, как Лесной Царь. Значенье их тоже стерлось, но зрительный след остался, и его действие было властно.)

Все вокруг работало тогда на отъезд, но главным его мотивом было простое любопытство. Хотелось посмотреть, как это евреи живут без оглядки и стыда не ведают. Занимают русские места и не знают своего места, ничего не боятся и не прячут свои обрезки. Хотелось посмотреть на небитого еврея, тут-то такого и в тайге не встретишь. А от битого – чего от него ждать-то, кроме говна в сапоге!

На родине Й. Ш. еврейство было неприлично, как грязь под ногтями, которую скрыть можно только, упрятав в кулаки, что при общем его невзрачном облике было бы совсем уже нелепо. Ему с детства говорили, что здесь его родина и что родина – это мать, и он хотел ее любить, но она не давала. Держала его за чужого – за стол не приглашала и в комнату не звала, а все заставляла топтаться в прихожей, в сторонке где-то, и в паспорте «евреем» прописала.

У него не было никакой трибуны, чтобы все это высказать, и его единственной формой выражения был отъезд. Ну и еще, конечно, буковки Колины тут сыграли – очень уж тянули.

Когда спасаются евреи, то рушится мир вокруг. Они тогда выскальзывают, взыкая, как рыбки, изо всех швов и стыков общественной постройки, в которых были намертво зажаты. Система тогда теряет устойчивость и вся плывет.

В день отбытия, на Петра и Павла, были слякоть и первый снег. Когда перед рассветом самолет поднялся над белыми полями Шереметьево, Й. Ш. взглянул в иллюминатор и ужаснулся. Город внизу весь как будто сдвинулся и пополз. Тучи, готовые излиться на зем-

лю серой, заволокли небо. Люди бежали за самолетом, пытаясь ухватиться за колеса, но колеса прокручивались, и люди срывались и падали. На лицах остававшихся леденела гибельная улыбка безразличия.

Это была картина ада, и Й. Ш. было стыдно из этого бежать. Он не мог ни смотреть, ни не смотреть. Самолет лег на другое крыло, и это спасло его от участи Эвридики или Лотовой жены: теперь перед его глазами было одно только небо и оглядываться было некуда. Земля спала в сиянии голубом, пока он переносился на другую, светлую сторону мира.

Он летел в землю Суда и царство справедливости. Это царство виделось ему большим колхозом, который его, наконец, примет, и утешит, и включит в свою общую судьбу. Одинокая душа его всегда тянулась в колхоз, но жизнь вместо этого подсовывала казарму.

Толстая старухина Библия на его коленях была открыта на Книге Исхода, и там было написано: «В этот самый день Господь вывел сынов Израиля из страны египетской...» А перед этим: «И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать их из земли той». Так что же все-таки было: вывел Господь или понудили гегемоны? И то, и это. Гонимых подбирает Бог.

«Все правильно, – думал Й. Ш. – народное чутье не ошибается: если не признавали евреев за своих, значит своими и не были. Только прикидывались». На той же странице, что открыта у него на коленях, написано: «По прошествии четырехсот тридцати лет, в тот самый день, вышло все ополчение Господа из страны египетской ночью». Значит, просто истекли четыреста тридцать лет стоянки – и пора в обратную дорогу. А почему ночью? Значит, все-таки бежали. И торопились.

Когда после пересадки в Будапеште – разве может быть Исход без стоянок! – Й. Ш. опустился на землю Израиля, опять стояла ночь. С трапа он увидел освещенные снизу пальмы и сапфировое небо южной ночи. Волна жаркого воздуха мягко обняла его за шею, погладила под воротником, поцеловала в щеки, в губы и в лоб и залила уши.

Была осень, шел праздник шалашей. Внешне эта ласковая ночь в аэропорту отдавала каким-то сочинским китчем, лубочным фокстротом «О, море в Гаграх, о, пальмы в Гаграх!», – но при этом все выглядело серьезно, достойно как-то. В этот момент он остро почувствовал белое и голубое – самый холодный тон, как он в этом пейзаже неслучаен! Сейчас он спустится с трапа и смешается с толпой веселых и свободных великанов, называемых народом Израиля.

Он ошибался, не смешается: еврей – и в Израиле еврей, он не смешиваем по определению. Родная земля его выталкивает, а обетованная отталкивает, как собака волчонка. Так и в Египте было, и в Европе, и всегда.

Когда мама узнала, что после сорока лет переписки она увидит наконец своего сына собственными глазами, у нее случился удар, и Й. Ш. застал ее уже в больнице. Он поселился в ее комнатке и стал ее навещать. Так началась его репатриация. Потом к ней вернулась ненадолго речь, и она сказала, что в банке есть какие-то деньги на его имя и чтобы он к ее выходу непременно что-нибудь купил. Он прибавил к ним свои «подъемные» – подарок от мирового сионизма – и наскреб на эту таратайку с мотоциклетным мотором. Он думал, что будет ездить на ней по всей стране, глядеть по сторонам и искать себе работу. Ездить, однако, не пришлось – все делалось с помощью газет и по телефону. По телефону-то и взяли его на этот «гоп-стоп».

Для начала предложили вступить в какую-то хорошую компанию, которая бескорыстно раздает работу по профессии. А какой же русский не любит бесплатных угощений! Работа предполагалась в переплетной мастерской, и требовалась страховка от укуса бегемота. Мелочь как будто, дань местной традиции, такая же формальность, как приглашение тех, заутренних маминых макинтошей – последовать за ними, что-то там подписать, уже подписанное. А тут и подписывать ничего не надо. Он объяснил, как мог, что платить за страховку ему нечем, извинился за беспокойство, и вскорости забыл об этом несостоявшемся приключении.

Это была грубая ошибка. Страховая компания с восьминулевым оборотом, которая уже включила его копейки в доходную статью своего бюджета, сочла себя униженной и оскорбленной и через жирного адвоката возопила к правому суду о покрытии убытков. То есть, о погашении всей страховой суммы за предстоящие двадцать, указанных в полисе, лет с прогрессивным процентом за задержку. (О работе и переплетной мастерской уже не упоминалось; смешно и вспоминать!) За семь лет занудной тяжбы, по письму в квартал, дело распухло, как сучье вымя.

Мама на ноги так и не встала, и ему сказали, что прямо из больницы ее переводят для реабилитации в богадельню. Пожизненно, с отъемом ее казенного жилья, где он пока что расположился кое-как. Богадельня была частная, комната маме полагалась все равно от-

дельная, и ему тоже нашлось там место для коечки, взамен на разные услуги по уходу. Так что мама под конец жизни пригрела-таки его у себя, в своей комнатке, как и мечтала. Только сама она к тому моменту уже отлетела душой ото всех этих сантиментов.

На обратном пути, наблюдая, как дождь остужает крутой лоб его машины, смывая с него следы осквернений штрафными квитанциями, Й. Ш. и сам отмокал, мыслию и чувством, под дружное чавканье дворников. Но «отвратительные таинства туалета» израильского правосудия, открывшиеся в этом спектакле под Кафку, бесстыже продолжали стоять перед глазами.

Адвокат истца, весь в засаленно-черном и несвеже-белом, был не то что бы жирен, но какой-то набухший, водянисто-гнойный, лицо от тела отшнуровано черным галстуком. Издали это было похоже то ли на вывернутый из рыбы пузырь, то ли на черную жабу с белым жабо. В компании он состоял на жаловании и дрался за нее, как пес. Судия же, наротив, был сух и тощ гвоздеобразно, и черная инквизиторская мантия на нем была как нельзя кстати. Заподозрить этого неподкупного вида аскета в том, что он тоже был у компании на прокорме, было бы слишком радикально, разве только в непрямой какой-нибудь форме.

Гвоздь, по драматургическим понятиям Й. Ш., должен был показать под конец жало и торжественно жабу проколоть с фонтаном брызг и последующим истечением гноя. Но действительность оказалась еще круче. Жаба была проколота так хитро, что все ее зловонное содержимое вылилось прямо на Й. Ш., а сама гадина тут же восстановилась, как ни в чем не бывало.

Гвоздь начал, как на защите диссертации, с вольной цитаты из источников: «Вот, ты хочешь ниспровергнуть установленный Мной порядок, обвинить Меня и суд Мой ниспровергнуть. А где ты был, когда Я полагал основания этой земли, когда давал меру всем вещам? Когда мы создавали тут государство в пустыне и кровью своею кормили комаров на малярийных болотах, гибли на высотах сирийских и гнили в синайских окопах, в плену египетском – где был ты тогда? Говно из сапогов вычищал? Так и дальше вычищай, говночист вонючий, а мы тут кровью заработали наше право на отдых!»

Он распространялся довольно долго, и Й. Ш. не то чтобы заснул, но отключился на какое-то очень короткое время, достаточное, однако, для сновидения. Ему привиделась старинная легенда о падении Иерусалима, слышанная им от его психушного учителя, когда

он отходил от инсулинового шока. Тогда она была разыграна перед его закрытыми глазами в декорациях, которые теперь увидал он своими глазами. И персонажи сегодняшнего сюжета вписались в этот фон органично и естественно (если только можно употребить это слово применительно к Гвоздю и Жабе).

Была на востоке Иерусалима гора, по западному склону заросшая вся оливами. У подножия горы располагались прессы для отжима масла, и потому называлось это место Гефсиманией (*гат шемен* – маслопресс). В Гефсимании той был каменный грот, и о нем была дурная слава, будто там ученики изменили учителю. Из-за этого сорок лет уже богобоязненные владельцы садов не сдавали туда свои оливки. Кошки прятались там от дождя, псы лизали заплесневелые камни, и приходили пилигримы поклониться. Прессы в запустении заросли жасмином.

Один горожанин скупил Гефсиманию по дешевке и устроил, как водится, обмывку покупки: накрыл столы и открыл ворота. В разгар попойки, обходя гостей, он заметил за одним столом некое нежелательное лицо и тут же стал его гнать. Тот просил его не портить застолье, предложил даже оплатить свою долю, но хозяин был неумолим. Тогда он пообещал оплатить потом весь этот пир, только бы теперь не срамили его при всех. Хозяин имел прозвище Скупец, и такое предложение было для него соблазнительно. Но ненависть ценилась в городе выше соблазнов, и слуги выкинули гостя за ограду.

Эта уродливая сцена разыгралась на глазах у всех пивших там и жевавших. А были то по большей части учителя закона и судьи, составлявшие в городе большинство населения. Гвоздь и Жаба возглавляли застолье. И никто ничего не сказал, и не встал, и не возмутился – милосердия в городе стыдились. Был, впрочем, один такой – незримо присутствовавший там ангел этого города. В самом начале скандала он сел на плечо гонимого, и когда был вместе с ним выброшен за ограду, то отлетел от города. Тогда пришли римляне, сожгли Храм и выгнали из города всех учителей и судей. Город опустел.

Две тысячи лет маячили учителя по миру, везде мозоля глаза населению, пока Бог их не простил. Только после страшных – пострашнее египетских – казней, обрушенных на этот раз уже на их голову, получили они разрешение вернуться. И вернулся народ, и расположился, и кого же они тогда поставили над собою, жестковыйные, кого отрядили судить и охранять закон? Опять Гвоздя и Жабу!

Й. Ш. очнулся, когда говоривший резко перевернул интонацию от усыпляющих грозовых разрядов на червеобразно-вкрадчивое подсюсюкивание.

«Вот вы тут все поете "не подписывал да не подписывал". Ну и что, что не подписывал, это и не обязательно вовсе. После того, что вы в одностороннем порядке прекратили платить – уже начав и тем самым вступив в сделку де-факто, пусть и невольно, как вы утверждаете, – так вот, после этого все ваши разумные контраргументики-то-с ничего-то и не стоят-с. Конечно, из одного лишь здравого смысла исходя, который вы все время педалируете по привычке, можно бы вас и понять бы – нехорошо обманом заставлять человека платить за то, чего ему, как вы изволили выразиться, не надобно. Но есть ведь у дела и другой смысл, судебный, и тут-то положение ваше бесперспективно-с. То, что вы тут обмануты, – это вам еще придется доказывать, а вот то, что нарушили условия договора, который заключила с вами потерпевшая сторона, – пусть и односторонне, но заключила же! – так это доказано. Вашими же платежами-с и доказано-с! А нарушение контракта – это ой-ва-вой в деловом-то мире! Так что разумнее бы вам, любезный, ваши неполовозрелые претензийки-с похоронить-с; во избежании худшего-то-с».

В отжатом виде вся эта мудянка вот что означала: чтобы не брать на себя дополнительных судебных накруток, не лезь на рожон со своими правами. Такими, как ты, эти компании питаются, как киты кильками. Это наша общественная экология, и мы относятся к этому с пониманием. А судить, да рядить, да на каждое грошовое дельце специального соломона-царя засаживать – жалко времени.

В глаза Й. Ш. силой впихнули то, что он более всего боялся, чтобы туда попало, – в святом месте Израиля, в его суде, как ни в чем ни бывало, квакала Жаба. Ему опять насрали в сапоги, теперь уже здесь – в оба сразу и среди бела дня! Согласие свое со справедливостью иска Й. Ш подписал, не поперхнувшись, как под гипнозом. Как некогда мама подписала на папу: что угодно, только бы глаза и уши унести от них поскорее.

Машина, урчавшая под Й. Ш., стоила дешевле своего бензина, но она была его единственной собственностью, имеющей хоть какой-то денежный эквивалент. За отсутствием регулярного дохода, который можно было бы переадресовать на утешение потерпевшего, ее ждала теперь свалка – оплачивать ее содержание будет нечем. Какая досада! Жизнь никогда ничего ему не дарила, все только отнимала что-нибудь: тогда – мать, теперь – машину. И еще в промежутке, по мелочам.

Этой машиной как будто возвращалась к нему старуха его детства, под черными платками унесшая его некогда из корыта, от серых макинтошей. Легче броситься с нею вместе в Мертвое море с утеса, разогнавшись, чем так расстаться! Она похожа на ослицу пророка – белая, горбатая и верная. Эта старуха состарилась на его глазах, пока носила его двадцать лет вдоль и поперек по земле Израиля и сносила терпеливо все завихрения его разбитого жизнью характера. Русский санитар в маминой богадельне прозвал ее за уютную округлость «бочкой Диогена», и сейчас понял вдруг Й. Ш., что в этой бочке может быть последнее спасение. И что выход из тупика есть только один – вверх: «...и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею». На горбу машины стоял Коля и управлял грозой.

«Человек дурен изначально во всех проявлениях своих, и нет судьи у Израиля», – мрачно думал Й. Ш. Он рвался сюда не для того, чтобы судить эту страну, но для того, чтобы тут присоединиться к народу своему, который, вроде бы, позвал его. Но где он, тот народ? Нет его! То, что есть, – это все, что есть, и более этого нет ничего, только Жаба да Гвоздь. Мир упал, и ждать от него больше нечего. Вставай и суди!

«Всех утопить», – сказал он неожиданно, как будто отвечая на вопрос. И вдруг услышал – откуда-то снизу, от мотора, далеким голосом старухи: «Сей-час, сей-час...» Заговорила валаамова ослица!

Й. Ш. все гнал и гнал ее, усталую, настегивая, от моря в сторону реки, сквозь дождь, пересекая землю Израиля посредине. Вода была сзади, вода была впереди, и сверху шла вода. Радио все так же говорило о дожде, о том, что его ждали семь лет, и что земля отощала, и дай нам всем Бог, чтобы побыл у нас подольше. Мажорная интонация пришибалась при этом некоторой растерянностью перед происходящим, и даже с признаками испуга. И дождь не проходил, но нарастал неумолимо, как минус в банке. Вода поднималась, и по мере удаления от Й. Ш. тель-авивского храма Правосудия, все более тревожным становился тон радиосводок. Когда машина брала последний крутяк на Иерусалим, было объявлено, что покрылись водой крыши самых высоких домов, какие есть в Тель-Авиве и окрестностях, и что вещание прекращается, так как радиомачта тоже уходит под воду.

Вышний город Иерусалим принял их в тишине неправдоподобнейшей – какая бывает только наутро после погрома. Вся земля со всеми ее звуками осталась под водой. Дождь перестал, но вода

продолжала прибывать снизу. Она стекала к морю и, оттолкнувшись от встречной воды, поднималась обратно, подлизывая Й. Ш. задние колеса. Все плыло вокруг. В дальнем углу неба одиноко маячил забытый там обрывок радуги.

Всякая жизнь на равнине была потоплена, и птицам было негде освободиться от яиц. Бомбя яйцами по воде, птицы полетели в Иерусалим, потому что это был мертвый город, в нем не было дыхания жизни и воде было нечего там заливать. Рыбы плыли над степными дорогами вверх, в сторону Иерусалима, чтобы на его мелководье выметать, наконец, икру, красную от натуги и черную от передержки. Жаба тащила в пасти гвоздь. Все, что движется, от куропаток до львов, устремилось, спасаясь, туда и толпилось, скопясь перед входом. Там старуха, сухая, как эта земля, ждала сына домой, чтобы дал ей воды и сказал, что ей делать со всем этим сбродом.

Шломо Ленский

ЛИК АНГЕЛА

Это было в ту эпоху, когда еще не было олимовской партии, обещавшей решить все наши проблемы, и люди пытались решать их сами. В то время евреи еще сами заботились о своих стариках и не доверяли это филиппинцам. И я работал тогда в фирме Минца, обеспечивавшей уход за немощными стариками и инвалидами.

Кипа, борода и пейсы, определявшие мой внешний облик, сыграли важную роль в этой истории. Причем, за короткий период моего пребывания в стране это был уже второй раз, когда меня «встречали по одежке». В первый раз – мне предложили вступить в одну из политических партий и сделать карьеру: «У нас в партии кипастых не хватает, а ты еще и репатриант! Прямая дорога в...» Противно, но незабываемо. А в этот раз мне сказали: «Есть постоянный клиент с непростым характером. Уже трех работников у него сменили – не выдерживают, говорят – капризный, да еще и религиозный... Попробуй ты. Справишься – повысим тебе ставку».

Ну кто из наших клиентов не капризный – по нашему мнению? Да все! Их капризы – это попытка создать иллюзию, что они нор-мальные люди, с желаниями, целями, мечтами, а не просто объекты обслуживания или для выражения сочувствия. Один из моих подопечных, например, бывший начальник чего-то, после тяжелой болезни и ампутации ноги слег, набрал лишний вес. Когда я поднимал его с кровати, он вел себя намеренно пассивно, заставляя меня напрягаться, причем в момент, когда мне удавалось его посадить, нога его не должна была касаться холодного пола, а я должен был подставить под нее тапочку с точностью до сантиметра. Причем каждый этап выполнялся по его команде. Затем следовало очень нервное мытье в душе – а кого не раздражала бы собственная нагота при полной зависимости от постороннего? Но больше всего он любил журить меня за опоздания. А опоздания были неизбежны – я обслуживал пять-шесть клиентов в день, живших в разных концах города; машины у меня не было, и я зависел от автобусов и пробок. Зато, помучив меня полчаса и обретя подвижность и определенную самостоятельность на костылях, он начинал вести себя снисходительно-великодушно, позволяя мне час-полтора отдохнуть, почитать или даже угощая меня кофе с видом начальника,

приближающего к себе одного из подчиненных. Я подыгрывал ему, и, в конце концов, оба были довольны разыгранным спектаклем.

Итак, я пошел в первый раз к капризному религиозному клиенту, раву Франку. Центр Иерусалима, старенький двухэтажный дом, но каждый этаж такой высоты (как это принято в старых домах), что к нужной мне квартире вела довольно крутая лестница. Я поднялся по ней торопливо, желая не опоздать хоть на первую встречу с новым клиентом. Я постучал в дверь, она сразу же открылась. Рав Франк стоял в проеме; справа от него, в углу прихожей, я заметил табурет, сидя на котором он, видимо, ожидал моего прихода. Я успел проговорить лишь: «Шалом, я из фирмы Минца...» – рав Франк вцепился в мою руку, и, словно опаздывая куда-то, потянул меня обратно, вниз по лестнице: «Мы идем на прогулку!» Опираясь на мою руку одной рукой и на палку в другой, он, сильно хромая, дошел до перил. Резким движением перекинул свою руку с моей – на перила. Медленно, морщась от боли при каждом шаге, он стал спускаться по лестнице. Я страховал его, одновременно оглядывая, пытаясь заглянуть в глаза под нависающими кустистыми бровями. Я ведь так и не понял – опоздал ли я, сердится ли он на меня за это или он такой бука по характеру? Спуск занял минут пять. Внизу рав Франк присел на заранее приготовленный им самим или моим предшественником табурет. Я стоял рядом, неожиданно оробев, не в состоянии первым заговорить, представиться хотя бы. Я попытался по его поведению и по внешности понять, что за человек передо мной. Судя по одышке, он «сердечник». Но, похоже, перенес операцию на ноге – и вряд ли из-за травмы: на травмированную ногу ступают иначе. Судя по одежде – заношенной-переношенной, но чистой-застиранной, – небогат, но опрятен. Экономный или скупой? Мимо нас проходили люди, здоровались с ним очень почтительно, слегка склоняя спину. Видимо – уважаемый человек, раввин. Он же – кому кивнет слегка, а в сторону некоторых делает некое движение, словно пытается привстать, выражая почтение. На приветствия проходящих женщин лишь слегка сводит брови. Знает себе цену, имеет статус.

Отдышавшись, он взглянул на часы. «Через тридцать пять минут (он сказал *регаим*, а не *дакот*, как это принято на современном иврите) нужно принять лекарство (он снова употребил архаизм – *рефуа* вместо *труфа*). Идем!» Я помог ему встать. Мы пошли по тротуару, свернули в переулок, затем в еще один и совершили круг, вернувшись к табурету. Он приостановился, словно

желая присесть. Снова взглянув на часы, он пожевал кончики усов – у меня это обычно означает озабоченность или досаду. «Давно не гулял. Продолжим!» Явно пересиливая боль в ноге и борясь с одышкой, крепче вцепившись в мою руку, он повторил маршрут вокруг дома, уже не замечая ничего по дороге, не отвечая ни на чьи приветствия. Отдохнув минуту на табурете, он совершил восхождение вверх по лестнице, толкнул дверь квартиры, словно она ему мешала, и, войдя в прихожую, опустился на табурет в углу. Я ожидал увидеть его изможденным после этой прогулки, но его лицо выражало удовлетворение и радость. Наконец рав Франк поднял на меня глаза и, глядя мне в лицо, произнес: «Великое дело ты совершил сегодня! Заслуга есть у тебя перед Всевышним!» Его взгляд, неожиданно теплый и благодарный, без слов объяснил мне, что удовлетворен он был прогулкой, а рад – за меня, за ту заслугу, о которой он только что упомянул. Я даже смутился, словно от незаслуженной похвалы... Потом мы пили чай на кухне. Он наконец-то стал называть меня по имени, произнося его на ашкеназский манер – «Шлойме». Все, что я узнал о нем в тот день, это то, что ему восемьдесят восемь лет и что он перенес операцию на сердце: ему заменили один из кровеносных сосудов на вырезанный из его собственной ноги. С тех пор он и хромает.

В следующий раз я опоздал к нему на пять минут. Я даже не успел постучать в дверь, как рав Франк, услышав мои шаги на лестнице, рывком открыл дверь. Я остолбенел, словно увидел перед собой ангела Гавриэля с огненным мечом, – так выглядел на этот раз этот малого росточка, хромой и больной старикашка в заношенном сюртуке. «Гозлан (разбойник)! – произнес он, обжигая меня взглядом. – Ты украл у меня время! Ты потратил мои нервы! Это такой ущерб, который ни один человек не может возместить! Несчастный – да простит тебя Бог!»

«Ого! – подумал я. – Понятно, почему у него сменилось столько работников!» Я к тому времени уже несколько лет изучал Тору и Ѓалаху и знал о строгом отношении еврейской традиции ко времени, но – пять минут? Кто в Израиле считает пять минут за время?! Совершив в полном молчании обычный маршрут прогулки и поднявшись в дом, рав Франк на этот раз не поил меня чаем. Он заставил меня сделать множество мелких работ по хозяйству, сам же просидел все это время, уткнувшись в Талмуд. Я думал, что и расстанемся мы, не попрощавшись, но он остановил меня в дверях: «Не думай, что старики дорожат временем потому, что им его осталось мало. Если в

старости ты подсчитаешь все свои прошлые опоздания, – поймешь, что безвозвратно потерял годы. Философам и психологам достаточно объяснить людям, что и почему они потеряли, а Торе важно предотвратить потерю. Я не ругал тебя, а учил...»

Хасидизм утверждает, что эмоциональный пик наступает за мгновение от ожидаемого, как самая пугающая тьма сгущается перед первым лучом солнца. Я так боялся опоздать на следующую встречу с равом Франком, что пришел на минуту раньше. Постучав, я открыл дверь и застал его посреди прихожей, по дороге к табуретке в углу. Может быть, сумерки в прихожей развеял свет из открытой двери, но мне показалось, что она озарилась каким-то неземным светом, исходящим от улыбки рава Франка. Он даже ростом показался мне повыше или даже приподнялся над полом, невесомый, как ангел. Все время прогулки он поглядывал на меня счастливыми глазами и, не умолкая, рассказывал мне о себе, о своей жизни. Потом мы не только пили чай – он пригласил меня отобедать с ним. Еда была диетически пресная, но вкус и смысл (выражающиеся на иврите одним словом – *таам*) придавала этой трапезе традиционная еврейская беседа, со множеством цитат из Талмуда и мидрашей, а также благословение каждого блюда. Традиция приучает еврея благословлять каждое произведенное им действие, каждое испытанное удовольствие, ведь все – от Бога. Но произнося десятки благословений каждый день... Это становится обыденным, доводится до автоматизма. Рав Франк простую картофелину благословлял так, что мне хотелось встать по стойке «смирно», я чувствовал, что ангелы действительно спускаются в это мгновение в квартиру старого раввина, чтобы ответить ему: *амен*! Я представил себе: больше восьмидесяти лет этот человек прожил среди людей в присутствии ангелов – он не мог позволить себе ни солгать, ни увильнуть, ни смалодушничать. Поэтому, наверное, не стал ни богатым, ни гордым, но строгим, скромным. «И добрым», – сказал мне мой внутренний голос. Или ангел шепнул?..

Мы подружились. Впрочем, трудно подобрать в человеческом лексиконе подходящее определение тому, что между нами было. Мне даже было стыдно, что я получаю от Минца деньги за визиты к раву Франку. Но старик успокоил меня: «Ты сумел сделать то, что многим другим до тебя не удавалось, а значит, ты – специалист (на иврите *оман* – «мастер», «художник», «артист»). Ты достоин награды, но не забывай, что настоящая награда ждет тебя в будущем мире».

Так прошел год. Мне было тогда тридцать пять, седины в бороде – на сорок пять, четверо детей, но темперамент двадцатипяти-

летнего. Я был уверен, что рожден для великого. Я ушел в политику, потом – в журналистику, в бизнес. У меня стало не хватать времени на рава Франка.

Мне было стыдно. Я даже не ходил больше по его улице, боясь сначала – встретиться с ним, а потом – увидеть траурное объявление с его именем, ведь он был больным стариком...

Но избежать этого было невозможно. Однажды, проходя по одному из переулков в центре города, я наткнулся взглядом на знакомую фамилию на объявлении в черной рамке. Остановился. Несколько минут не решался подойти ближе. Подошел. Рав Франк... Сердце забилось у самого горла, сдерживаемые слезы обожгли глаза. Я развернулся и, отменив прежние планы, пошел в направлении знакомого дома. Двери в квартиру были открыты. По квартире сновали соседи. На кухне, любимом месте бесед с равом Франком, сидели его сын и внуки, приехавшие из Бней-Брака. Я застыл в прихожей, не уверенный в том, уместен ли я здесь в этот час, но зная, что имею право. Он не был мне чужим, этот старик. Я вдруг вспомнил Мишну: «Если встретишь человека с лицом ангела, – у него учись Торе». Он был мне учителем, одним из немногих, кого я всю жизнь буду считать учителем. «Шлойме! – услышал я вдруг голос. – Ты ведь Шлойме?» Это сын рава Франка обратился ко мне. Я лишь кивнул, дрожащими губами пожевывая усы. «Папа знал, что ты придешь. Он говорил об этом. Он просил передать: ты не должен корить себя за то, что ушел с этой работы. Он сказал, что ты можешь взять на память книгу или стакан для кидуша, что-нибудь для выполнения мицвы, чтоб чаще его вспоминал...» Мы обнялись. Я ушел, унося с собой на память нечто, что мог унести только я. Лик Ангела.

ВЕЩМЕШОК

Нашим детям посвящается

«Надо начать с мелочей. Именно о них обычно забываешь, а потом больше всего жалеешь», – мысленно сам себе сказал он, положив на кровать рюкзак песочного цвета, которым он всегда пользовался, собираясь в милуим*. Он напоминал ему солдатский вещме-

* Резервистские сборы (*иврит*).

шок – сантимент, навеянный советскими фильмами о войне. Расправив горловину рюкзака, он приготовился укладывать в него вещи. Но первым делом он положил не в сам рюкзак, а во внешний его карман, старую зубную щетку, маленькую отвертку-тестер, фланелевую ветошь и шахматную фигурку из карманного набора, с магнитом. Последнее было его собственной «находкой» – магнит был необходим для поиска металлического штырька, который фиксирует боек в затворе автомата М-16 и имеет обыкновение теряться при разборке и чистке оружия. На здешнем армейском сленге он называется «пиншабат» («штырь-суббота»), так как утерявший его в наказание остается в выходную субботу на базе. Весь этот набор для чистки личного оружия был его первым солдатским опытом, приобретенным в Израиле. Солдатом он был и в советской армии, но бойцом стал именно здесь, в ЦАҐАЛе. И, несмотря на то, что в Союзе за потерю детали от автомата не увольнительной бы лишили, а суток трое «губы» влепили бы, по-настоящему бережное, уважительное отношение к оружию появилось у него здесь. Еще бы – страна фактически на военном положении, хоть и говорят исключительно о мирных инициативах...

«Ладно, – мысленно вздохнул он, – лирическое отступление закончено...» Носки. Надо положить пар пять или шесть. Ноги надо беречь. Он навсегда запомнил свою первую боевую операцию: пятьдесят шесть часов непрерывного преследования двух бандитов, перешедших египетскую границу (все думали – с взрывчаткой, оказалось – с наркотой). «А если бы в портянках, как в той армии?» – с тоскливым ужасом подумал он. Но, с другой стороны, то, что там, в портянках, он делал с трудом, сжав зубы, – здесь, в носочках, давалось ему играючи. «К черту воспоминания! К черту советскую армию!» Закалился, стал неприхотливым – это полезно. Но нервишки-то – с тех самых пор пошаливают... И появившаяся в двадцать два года первая седина – это что? Пусть сейчас и там солдатам выдают носки, душа у них все равно – в портянках... Стоп! Проехали.

Майки. Их нужно побольше, минимум четыре: одна на себе, вторая на смену, третья в стирке, четвертая сушится. Это уже опыт последней операции, «Хомат-маген». На всех тогда надели бронежилеты. Причем для каждого задания они были разные: в керамических, во весь торс, килограммов шестнадцати веса, обыскивали подозрительные атомобили; на патрулирование выезжали в «облегченных» – килограммов по двенадцать; на задержание выходили в восьмикилограммовых, защищавших только грудь. Ну, а добавь к

этому шесть полных магазинов к М-16, да две гранаты, две фляги с водой и еще рацию – в любом случае минимум четырнадцать килограммов на плечах. Не считая автомата и каски. Попотели... А затем этот пот, выпаренный израильским солнцем в соль, да вперемешку с вездесущей пылью... «Так, не забыть – жидкое мыло и шампунь!» Он не смог удержаться от смеха, вспомнив про шампунь в этом контексте. Во время «Хомат-маген» их палатка благоухала, как парфюмерная выставка. За пятнадцать лет службы в милуиме он не помнил такого – явились все: и бармен из герцлийской «Марины», и тель-авивский студент юрфака, и сын йордим* из Германии, и холящий себя музыкант из какой-то авангардной рок-группы... И каждый – со своими фирменными дезодорантами, гелями, даже кремами... Он еще иронично посмеивался над ними, когда опытный командир роты, готовясь выйти с ними на задание, заставлял их перед этим принять душ с казенным мылом, чтоб ликвидировать демаскирующие на десять метров ароматы. «Стоп. Не забыть еще четыре майки с длинным рукавом – на ночь, если пошлют залечь в засаду». Да-а-а... В «Хомат-маген» он, пейсатый «поселенец» из Иудеи, чувствовал себя уверенно, идя с любым из них в разведку, в засаду. И все они пили за его здоровье, обмывая его почетный знак «Отличившемуся в операции». Еще на полгода им хватило того ощущения братства – перезванивались, переписывались, звали друг друга в гости. «На войне – как на войне!» Но ведь снова отступили, снова вернулись к политике, к переговорам, к поиску друзей среди врагов. И он снова стал для них просто «поселенцем». Сегодня он не пошел бы с ними в разведку... А они – с ним?.. Он задумался, отстранился от рюкзака, нервно прикурил сигарету. Грустные мысли не оставляли его. «Это же надо – ЦАҐАЛ натравить на евреев!..» – он машинально продолжал наполнять рюкзак вещами: белье, спортивные кроссовки, трико, шлепанцы для душа, полотенца... «От такой грязи, пожалуй, не отмоешься... Это ж не в Союзе, от старшины увиливать, это ж – свое, родное...» Там, в чужой армии, он научился уклоняться от службы виртуозно, с творческим изыском, доводя до бешенства и старшину, и сержанта, вызывая восхищение одногодок и ревность «стариков». Был бит за это, и не случайно – мусульманином-азербайджанцем. Но отплатил ему через несколько дней, «вырубив» его ударом кирзового сапога, стоя на верхнем ярусе кроватей. Молодцы друзья-литовцы, не подкачали: заявили командиру, что «сержант Курбанов

* Йордим (ед. йоред, *иврит*) – израильтяне, эмигрировавшие из страны.

инициировал стычку на национально-религиозной почве». Отделался тремя сутками «губы», Курбанова перевели в другую часть – и слава Богу! Но здесь, что делать здесь? Морду можно набить любому и здесь тоже. Но как после этого жить? «Нет, надо молить Бога, чтобы вправил евреям мозги». Он положил в рюкзак нейлоновую сумку, в которой уместились талит, тфилин, сидур, Хумаш и подсвечник для субботних свечей. «Сколько сегодня дают солдатам-"отказникам"? Месяц тюрьмы? А служить сколько – три года? Я в свое время призвался в начале мая, а демобилизовался через два года, в конце июля, – отплатил старшина Алексиков, продлил "удовольствие" на три месяца. В тюряге было бы не слаще... Что ж, и он месяцок отсидит, по отцовским стопам. Не сломается».

Он затянул тесемки на горловине рюкзака. Все. Вещмешок собран. Завтра он едет провожать первого из своих сыновей на призывной пункт.

ДЯДЯ СЕВА

Его лицо казалось маской. Такое молодое, мускулистое тело и такое старое лицо... Нет, не старчески-морщинистое, а словно изношенное, местами затертое, даже затоптанное, что ли. И глаза – настороженные и слегка надменные, как у рыси. Взгляд его становился по-собачьи теплым только когда мы, дети, просили его покатать нас на лодке по Двинке. Он никогда не отказывал. Наверное, и кошачьи глаза были маской. Ну, откуда нам было знать, какие глаза должны быть у сына репрессированных обрусевших немцев, в одиночку выжившего в ленинградской блокаде? Как? Это осталось его тайной, как и маска...

Он появился у нас неожиданно. Его привел, мне кажется, друг моего дяди, сын еврейки и корейца, человек молчаливый и по-восточному загадочный, с которым дядя подружился в армии и прошел с ним огонь, воду и весь Союз вдоль и поперек. Так было заведено в нашем доме издавна: друг моего друга или брата – мой друг. Надо переночевать – пожалуйста, ночуй. Многие оставались в нашем доме надолго. А потом «переходили по наследству» к другим друзьям. Так я познакомился с Севой, Всеволодом Лессигом.

Когда он не катал никого на лодке, не пил водку с моим отцом и не спал – Сева писал стихи. Иногда он писал стихи и во время еды – просто отставлял еду, хватал любую бумажку, салфетку и что-то

на ней писал. Бывало – сразу и выбрасывал. Тогда мой отец вскакивал, подбирал и говорил строго: «Севка, не кощунствуй!» Отец был уверен, что Севка – гениальный поэт. И, хоть в те годы все считали друг друга гениальными, мой отец редко ошибался. Я помню, как все завидовали подобным образом собранной-подобранной отцом коллекции набросков и эскизов одного, ставшего знаменитым на весь Союз, художника.

У Севы не было прописки. Он не мог устроиться на работу. К тому же, он не умел делать ничего, кроме как писать стихи и катать нас на лодке. Ему вообще стало опасно оставаться в городе, и все меньше становилось друзей, готовых предоставить ему ночлег. Весной, как только сошел снег, Сева переехал на «дачу» – дощатую будку в пригороде, на участке с клубникой, который мой дед получил от завода как ветеран войны и труда. Но когда и там начался «дачный сезон», отец сказал: «Надо поговорить с друзьями, может, переправят Севку в Москву, к Искандеру, – говорят, он молодым талантам помогает». Так и случилось.

Через несколько месяцев Сева Лессиг прислал каждому из немногих его друзей тоненькую, страничек в двадцать, брошюрку. Это был изданный в серии «Молодые голоса» цикл его стихов «Песня травы». На обратной стороне обложки рукой Севы было написано: «Дача в И-те». Много водки было выпито в тот вечер в Севкину честь, много добрых слов сказано в адрес Фазиля. Книжечка переходила из рук в руки. И мне было приятно подержать в руках книжку «дяди Севы». Там были удивительные песни травы, песня кузнечика, песня цветка, услышанные «дядей Севой» на дедушкиной «даче». Лет через десять я, окунувшись в иудаизм и хасидизм, узнал о замечательном учении раби Нахмана о том, что «у каждой травинки, у каждого цветка на земле есть собственная мелодия, из которой составляется песнь пастуха». Те десять лет я не очень скучал по Севе Лессигу. Точнее – лишь изредка вспоминал, обычно – когда слышал сетования родителей, что Севка пишет все реже. Но в тот момент мне ужасно захотелось поделиться с ним своей мистической ассоциацией. Я выпросил у отца его адрес, но письмо у меня не получилось: слишком долгим вышло предисловие о раби Нахмане и хасидизме, и я побоялся показаться занудой.

Еще через год меня призвали в армию. Служить мне пришлось аж на Дальнем Востоке. Заслужив недельный «отпуск на Родину», я неделю добирался до Москвы, чтоб там пересесть в поезд на Ригу. В Москву я приехал засветло, а мой поезд домой отходил ночью, и

мне совершенно некуда было себя деть, да и вытягиваться перед каждым патрулем надоело. Промучившись часа два, я вдруг вспомнил: «дядя Сева», Сева Лессиг – вот кого мне надо найти; тем более – я должен рассказать ему про раби Нахмана! Последнее, что я о нем знал – это то, что Фазиль устроил его в отдел поэзии журнала «Сельская молодежь». Позвонив в редакцию, я узнал его адрес – комната в коммуналке, недалеко от площади Ногина. Я рванул в метро. Добравшись до площади, я позвонил по телефону: «Сева, дядя Сева, это я... из Риги... я в армии... мне бы до ночи...» «Ты где, на площади? Не сходи с места! У тебя погоны какого цвета? Все – жди!» Я стал ждать. Было пасмурно, и была слякоть. Люди ходили, опустив головы, все в одинаковых каких-то плащах. Я боялся его не узнать, хоть меня он не опознать не мог, других солдат с погонами моего цвета на площади не было. Но все же я узнал его первым – он был в белом, таком пижонском, как сказал бы мой отец, плаще. На лице была знакомая мне с детства маска, но с добрыми, собачьими глазами. Мы обнялись.

Мне не терпелось в его коммуналку, сбросить шинель, присесть к столу и рассказывать, рассказывать, и слушать, слушать... Но по дороге мне еще раз пришлось его ждать – он зашел в гастроном, отстоял очередь в «Напитки» и вернулся с двумя бутылками пива «Жигулевское». Небрежно рассовав их в карманы своего шикарного плаща, он кивком указал мне направление к своему дому. По его немногословности и странной, плетущейся походке я понял, что «дядя Сева» – с тяжелого бодуна.

Мы вошли в квартиру, по темному коридору добрались до комнаты. Он поставил «Жигулевское» на неубранный стол, откупорил одну из бутылок, отхлебнул и присел на диванчик, с которого, видимо, согнал его мой неурочный звонок. Я огляделся. Простецкая комната, бедная обстановка, однако и у нас дома была не намного лучше. Но еще что-то, родное, я все-таки почувствовал и быстро сообразил, что. В квартире отца обои были покрыты надписями, как и здесь. Только у отца это были его любимые цитаты из Платона, Сократа и Эйнштейна, а у Севы стены пестрели автографами гостей, четверостишиями, подписанными звонкими именами известнейших писателей, артистов и поэтов, от госиздата до самиздата. Пока я расшифровывал некоторые надписи, Сева прилег, и я испугался, что он уснул, так и не сказав толкового слова. Но он вдруг повернулся ко мне лицом и спросил: «Как же ты меня первым узнал? Это же какую память надо иметь?!» Я ответил: «Главное – чтобы было,

что вспоминать...» Сева пристально поглядел на меня, а затем сказал, больше самому себе, чем ответил: «Все, сдаюсь. Узнаю породу отца!» И забылся тяжелым предпохмельным сном.

Возвращаясь из отпуска в часть через Москву, я снова пришел в коммуналку у площади Ногина. Но в Севиной комнате жил совсем другой человек, не знавший ничего о Всеволоде Михалыче. Я, в ужасе выбежав на площадь, не отвечая на окрики патрулей, кинулся к телефону-автомату, звонить в редакцию. «Лессиг? Конечно он там больше не живет! Ему дали отдельную, однокомнатную, в новостройке!» Я от радости готов был прямо в погонах бежать в ближайший магазин за бутылкой. Но побежал все-таки в метро. Я застал Лессига дома. На этот раз мы выпили что-то крепкое и импортное, оставшееся от новоселья. Обалдевший от пережитого только что в коммуналке, слегка опьяневший от выпивки, я забыл, что хотел рассказать ему о раби Нахмане и песне пастуха. Мы говорили о всякой чепухе, о моей службе, по нескольку раз передавали уже переданные приветы моим родителям и от родителей. На прощанье я попросил у Севы книжку его стихов на память. Он посмотрел на меня вновь кошачьими глазами и, отведя взгляд, проговорил: «Я давно уже ничего не пишу. Я теперь умею лишь чужие стихи править...»

Так мы расстались. И всю неделю, проведенную в поезде, я грустил.

Прошел еще год. Наступил долгожданный дембель, и я знал, что снова поеду через Москву и уж на этот раз, никуда не торопясь, расскажу «дяде Севе» обо всем, о чем забыл в прошлый раз.

В Москву я приехал с Юркой, моим соседом по казарме, а потому – другом. И я уговорил его заехать к Лессигу со мной. Подембельски шикуя, мы взяли такси, купили у водителя бутылку водки и при полном параде явились к знакомой двери. Но Севы там не оказалось. Мы прождали около часа – его так и не было. Я, не в силах больше удерживать рвавшегося домой Юрку, да и сам истосковавшийся по дому, решил оставить «дяде Севе» записку у соседей по лестничной клетке. Соседка посмотрела на нас странными глазами. «Вы не знаете?.. Михалыч, то есть, Всеволод Михалыч, – умер, вот уже третьего дня...»

Я рыдал. Мы сидели в подъезде дома Лессига, хлебали из горла принесенную с собой водку, и я рассказывал, захлебываясь слезами, ничего не понимающему Юрке о раби Нахмане из Брацлава, о мелодии трав и песне пастуха....

Григорий Люксембург

НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО

Мы знаем, что должно быть смирение,
что следует предавать страданиям душу,
чтобы подчинить и смирить ее...
Йеґуда Ґа-Леви, «Кузари»

Сержант Тули, кладовщик, худенький тонкоголосый тип, привез на базу порнографические фильмы. До дежурства целый час, и, побросав на пол все снаряжение, я сижу в темном клубе и смотрю эту жуть. Сам Тули стоит у двери на стреме, чтобы не застукал командир, и комментирует фильмы. Они беззвучны, но Тули идеально озвучивает весь этот маразм на экране и, кажется мне, испытывает глубокое наслаждение. Он чмокает, он охает, он шуршит снимаемой одеждой, он скрипит пружинами. Талантливый Тули, очень талантливый.

Еще битый час до дежурства. Я лучше бы мультики по телевизору смотрел, чем слушать этого импотента Тули и глазеть на этих несчастных актеров в постели. Но в клубе место сбора, а против массы не попрешь. Как всегда в таких случаях, мне ужасно хочется взглянуть на соседа, узнать, что делается с другими. Вот я думаю о тех, кто снимается в таких фильмах. И представляю, как мы лежим с женой в нашей спальне, где так тесно, что и кинокамеру-то негде поставить... Но оператор вскарабкался на шкаф, режиссер уселся на подзеркальник, в окнах на пожарных лестницах стоят осветители, на лампочке повис звукооператор, а в дверях толпятся костюмеры, гримеры и зеваки. Помощник режиссера еще раз проверил, спит ли наш ребенок, отсчитал последние секунды, и камера заворчала. Кто-то стягивает с нас одеяло, и все зашептали сладострастно: «Ну, давайте, ребята, начинайте!»

Но я ужасно стеснительный. Я опять покрываю одеялом свою наготу, а они стягивают его. Я тяну одеяло на себя, а они стягивают.

Жаль, что оператор не заснял все происшедшее после в моем воображении. Я выбивал зубы и ломал черепа этим свиньям, выбрасывал их из окон пятого этажа. Получился бы славный боевик. И ребенок проснулся и закричал: «Мама, мама!»

Я выматерился на весь клуб – оттого ли, что ребенок проснулся

не вовремя, или просто потому, что надоело сидеть тут, – а молчавшие до сих пор зрители восприняли мат как сигнал для обсуждения. Молодой сабра, сидевший рядом, смачно сплюнул на пол и сказал:

– Шакалы они, эти европейцы. Неужели нельзя делать это по-человечески! Я даже при мухе не могу любить жену. И вообще, у каких животных они эти приемы подсмотрели?

– Сосунок, – пискнул Тули, будто оскорбили его мужскую честь, – варвар марокканский! Что знаешь ты о белых женщинах и белой любви?

Но большинство солдат, очевидно, тоже не знали ничего о белых женщинах и сочувственно молчали. А когда зажегся свет, кто-то крикнул:

– Тули, у тебя сперма из носу капает. Выйди во двор и высморкайся.

Наконец меня вызвали и погрузили в машину. Офицер называл фамилии и посты, и я благодарил небеса за такой подарок: махсом Орез, контрольно-пропускной пункт на выезде из Газы в сторону Ашкелона. Это весьма оживленное место, и там всегда полно всяких приключений. В машине еще дюжина солдат. Они сидят точно в такой же дурацкой позе, с какой начали свою службу. Уткнув лицо в ладони и удалившись от мира сего, они считают количество дней, часов и даже минут, оставшихся до конца службы. Когда кончается очередной день, кто-нибудь встрепенется и скажет счастливо:

– Ну вот, всего пять дней осталось! Скоро домой вернемся...

Я люблю Голаны, люблю Синай, люблю Газу, люблю всякое место, куда забросит меня Господь. Чужой город – что незнакомый человек, с которым всегда можно найти общий язык. Вот Газа, например, напоминает мне город моего детства – Ташкент. Арабы – те же узбеки. Та же пыль и грязь, тот же горький запах мочи из-под заборов. Вонь шашлычного дыма, базары, ослы, худые голодные собаки, босые дети на раскаленном асфальте. И мулла кричит с минарета то же слово: «Алла, Алла!»

Я не считаю свои дни. И часы на руке никогда не носил поэтому. Пусть все длится и длится, как будет Богу угодно. К тому же в Газе есть и такое, что вовсе не пахнет моим прошлым. Это берег Средиземного моря и два выброшенных на берега во время шторма корабля. Одуревающий запах цветущего жасмина по ночам.

– Нет худа без добра! – кричит мулла на минарете пять раз в день. Я арабского не знаю, но так мне слышится его молитва. – Ал-

ла, Алла, нет худа без добра! – пять раз в сутки проносится над Газой. Первая молитва звучит перед рассветом в самый крепкий сон, и я улыбаюсь во сне мудрости этой молитвы. Господи, ведь ты даешь радость и в тюремных стенах! А Газа по мне – рай сущий.

– Махсом Орез! – заорал шофер из кабины, и трое солдат выпрыгнули из грузовика. Я с ними. Те, кого мы заменили, пожелали нам спокойной ночи и укатили на базу.

До утра – двенадцать славных ночных часов, без проклятой жары, с приключениями и новыми знакомствами, с террористами и контрабандистами. Славная ночь впереди! На радостях я бурчу под нос цыганские праздничные мотивы, вроде: «Пускай погибну безвозвратно, навек, друзья, навек, друзья!» Солдаты, не видя особой причины для веселья, ухмыляются и садятся подальше от меня.

Я налил из канистры керосин в железные банки с песком, и поднявшийся огонь осветил все предупреждающие знаки у поста и «ежи», перекрывшие дорогу. Теперь наш пост освещен и каждый из нас стал отличной мишенью даже для начинающего террориста.

В ту и другую сторону проезжают машины, но у меня еще нет настроения начинать работу всерьез. Да и подозрения эти машины не вызывают никакого. Сами останавливаются, предлагая себя проверить.

Тем еще интересен этот пост, что с голодухи здесь не помрешь. Едет грузовик с арабскими курами в Иорданию – водитель подарит живую курочку. Насильно оставит, если будешь сопротивляться. А в сторону Газы едут евреи, братья сердобольные. Эти поджаренную курицу выбросят из окна несчастному солдату. Так весь день евреи с арабами в милосердии состязаются: араб – рыбу свежую морскую, еврей – карпа фаршированного; араб – пол-ящика апельсинов, еврей – недопитую бутылку виски. Сытный пост, ничего не скажешь.

Вдруг несется на дикой скорости из Газы дальний свет, наших огней вовсе не замечает. «Вот, – думаю, – начинаются приключения. У этих еще та курочка!» Выскакиваю на середину дороги и торможу «додж». А «додж» на меня, не снижая скорости. Я пулю в ствол и целюсь в «додж». Остановился как вкопанный в нескольких сантиметрах от меня, провизжав на тормозах. Выскакивает сучонок весь в прыщах, лет двадцати, из водительской кабины и бросается на меня.

– Ты что, дерьмо, в своих стрелять будешь, да? – и хватается за мой автомат.

Пнул я его ботинком в колено и так взревел, что мои сослуживцы отсчет времени приостановили и бросились на помощь.

– Руки на машину, гадина, и не дышать!

Он руки на машину положил, сробел, но продолжает кукарекать что-то о братстве, о еврейской солидарности. А я ощупываю его сверху донизу такими шлепками, что все почки отбиваются у этого сопляка в туфлях на высоких каблуках. Потом сунулся в окно кабины и вытащил ключи из замка зажигания, как того требует инструкция. А в кабине замечаю двух кошечек из наших, прятавшихся на заднем сиденье.

Не мое, конечно, дело до этого сутенера с его товаром, который он возит в Газу. Но такого гада надо проучить.

– Где паспорт? – кричу я ему голосом страшным, не своим.

– Нет у меня с собой паспорта, – рычит он, как раненный зверь. – Не нужен он ни мне, ни тебе. Ты что, не видишь, что я еврей! С сестренками в Газу шашлык поехали кушать, а ты на мне орден собираешься выслужить.

Я дулом щекочу ему задницу и кричу все тем же голосом, хотя в этом уже нет нужды:

– Может, ты паспорт тоже продал арабам?

– Ты ответишь, солдат, за эти слова, – ворчит трусливо прыщавый. – Ты что, по морде моей не видишь, что я еврей?

– На морде я тебе напишу сейчас, кто ты, – говорю я ему. – Еще ничего не написано, но я напишу.

Солдаты окружили нас и ждут, что я буду дальше делать с этим выродком. А я и сам не знаю, где точку поставить. Тут и бабехи его выползли из машины и повисли на мне. Устали, конечно, за день малышки, домой хотят скорее, в постельку.

Хорошенький пост, вот уж верно – сытный. Жаль мне стало этих девочек, моих солдат, и самого себя жалко. Бросил я ключи под ноги сутенеру и ушел за нашу будку. Слышал, как рванулась машина и орал обнаглевший прыщавый:

– Встретишься ты мне в Тель-Авиве, голову бутылкой отрежу!

...Долго я приходил в себя после встречи с сутенером. Звезды, как цыплята, вылупились из черной скорлупы ночи, но, не обнаружив ничего интересного, застыли. Напрасно я ждал падения звезды, чтобы загадать желание. Не падали сегодня звезды. А желание было уже наготове.

Загадал бы я, чтоб изувечил Господь прыщавого. Не сильно, а слегка. Чтоб прихрамывал он всю жизнь или чтоб шею поворотить

не мог. Ведь почему он так бычится на всех? От здоровья и силы своей. А когда человек с увечьем или недостатком каким, он и за день жизни благодарит Всевышнего, и на других не сверху смотрит, а как-то снизу, что ли. Нет, не возмездия просил бы я. Ведь все равно его либо пристрелит кто в кабаке, либо ножом пырнет насмерть. И то сказано: не любит своих детей отец, который не бьет их. Так это же нас имеют в виду и Творца.

Но звезды не падали, и судьба сутенера постепенно перестала занимать мои мысли.

В полночь подъехал старый араб на телеге с осликом. А на телеге старуха плачет и охает.

– Сынок, – говорит очень вежливо араб, – сними женщину. Она еврейка, ранена немного.

Слово «ранена», да еще на скверном иврите пусть и вежливого араба, приводит нас в боевую готовность. Мы окружаем телегу и начинаем допрос палестинца.

– Откуда ты?

– Из Хан-Юнеса.

– Где подобрал еврейку?

– На улице валялась.

Старуха плачет и держится за голову. Руки и лицо в крови. А ведь этот араб мог бы и не везти ее к солдатам, а выбросить где-то на свалке.

Мы снимаем старуху за руки и за ноги на землю. Старый араб протягивает нам авоську с тряпками, принадлежащую старухе. Я благодарю его по-арабски и прощаюсь с ним. Старуха воет на земле, но понять ничего невозможно из этого воя. Солдаты поднимают ее и несут к будке под прожектор, где стоит скамейка. На ярком свету удается рассмотреть старуху. Ей лет восемьдесят. На голове копна седых волос, а на самой макушке – кровавая рана. Толстая, но лицо хорошее: красивое и умное. И плачет она не по-старушечьи безобразно, а величественно, без показухи и жалоб.

– Не плачь, мать, – прошу я старуху. – Не плачь и успокойся. Сейчас мы тебя живо вылечим. – Кладу ее голову себе на грудь и расчищаю рану от волос. Потом достаю флягу с водой и обмываю рану.

Боюсь я всегда чужой крови до смерти. Но тут исчезла всякая брезгливость и страх, и чищу ей рану, как матери родной.

– Ну а теперь рассказывай, что с тобой случилось, – говорю я старушке, продолжая обмывать рану.

А платье на ней задралось, и штаны, теплые и белые, до колен, обнажились, и от этих штанов теплых стала она еще старее и несчастнее. Но она не видит или не обращает внимания на такую чепуху. Плачет, положив голову мне на грудь. Ну, как родная.

– Рассказывай, в чем дело. Где живешь? Откуда приехала?

– Из Хулона, любимый, из Хулона.

– А какого черта ты крутишься в Хан-Юнесе, – зло говорю я ей. – Мы тут с автоматами и то в одиночку не ходим, а ты чего так расхрабрилась?

– Я к колдунам ездила, сладкий мой, к арабским колдунам, – и снова плачет моя матушка.

«Ну, – думаю, – влип я на этом посту дерьмовом. Мало того, что раненная, так еще и свихнутая бабка. Будут мне до утра и ведьмы, и колдуны». Я ухмыляюсь невезучести своей.

– Чего смеешься, дурень, – подняла свое лицо старуха. – Не веришь в колдунов, да?

– Верю, маманя, верю, – успокаиваю я встрепенувшуюся праматерь. – Кто же тебе голову так раскроил – колдуны арабские?

– Нет. Арабские мальчишки не дают проходу еврейке. Закидывают камнями или сбивают велосипедами. Повзрослеют – исправятся, а сейчас балуются. Дети – они дети.

– Стоп, мать! Так ты что, не в первый раз приезжаешь сюда?

– А ты как думал! – возмутилась старуха. – Я уже три месяца мотаюсь, у всех колдунов побывала. Ты новенький, а меня тут все знают. И арабы, и солдаты.

Красиво говорила она. И держалась с достоинством. Даже задранное платье и байковые штаны до колен не посягали не ее величие. Было ясно, что не шутит она с колдунами, и, перевязывая ей рану бинтами, я слушал рассказ.

– Сын моего сына, погибшего в Шестидневную войну, – коэн, как и все наши мужчины. Десантник, только кончил армию, участвовал в операции «Йонатан» в Энтеббе. От девчонок отбоя не было. И вдруг приводит в дом калеку, на десять лет старше себя, и женится на ней. Нет-нет, не богатая она, бедная и голая. Но и с этим бы я смирилась. И даже то, что дочь у нее семилетняя, меня не пугает. Ужас ведь в том, что разведена она. Мы – коэны, а она разведенная.

– Я вижу, что ты из России, – продолжала она после короткой передышки. – Вы там давно перестали быть евреями. Добрыми остались, умными остались, Иерусалим не забыли, а евреями быть перестали. А мы из Египта как вышли, так больше никуда ни шагу.

Так чтобы знал ты, русский еврей: не может коэн на разведенной жениться. Никакой рав не соединит их. И на кладбище коэну входа нет, и в доме мертвого находиться ему запрещено. Даже если этот мертвец – я, его родная бабка.

– Почему, мать? – удивляюсь я.

– Что почему, что почему: а потому, что не может лев с собакой жить. Воротит его от мертвечины. Хотел бы, а не может. Таким сотворил его Господь. А он уехал на Кипр, как воришка, со своей хромоножкой расписался гражданским браком. Нет, не даст мне Господь умереть, пока не изгоню я из дому эту подстилку. Потому, сынок, и не боюсь я одна и без ружья среди арабов. Меня Бог ведет.

Снова заплакала старушка. Но уже другим плачем: тихим и скорбным. И был этот плач уже не от болящей раны на голове, а от более страшной раны в сердце. Меня этот плач так доконал, что побежал я в нашу будку какой-нибудь еды вынести. Кто знает, сколько не ела эта бедолага у арабских колдунов!

Съела она хлеб с повидлом яблочным, не отказалась, и бананов поела. Поправил я ей платье и лицо мокрой тряпкой вытер от крови. Совсем похорошела матушка.

Один из солдат уже ощипывал только что зарезанную курицу, двое других проверяли машины на дороге. Краем уха я слышал, как называли они меня бездельником и дебилом. Плевать я на них хотел. За плачем и шутками в разговоре с раненой старухой я ожидал нечто более важное, но тянул и тянул резину, зная, что главное никуда не уйдет. Главное уже у меня в кармане.

– Слушай, мать. Вот говоришь ты, что лев с собакой жить не могут, что вы, мол, такие святые, что вам и к мертвому подойти нельзя. А вот перед тобою я, плебей из России. Мне даже мертвечину жрать можно. Ведь я не коэн. Но поверь, старуха, не стал бы я делать такую гадость своим близким, какую ты собираешься сделать своему внуку. Да еще таким запрещенным приемом. Какого ты черта ездишь к этим колдунам-язычникам: грех ведь это, страшный грех. Выжила ты из ума, старая, вот и пакостишь своему внуку. Эти колдуны только и ждут таких дур, как ты, чтобы подпортить нам кровушки. Ей-Богу, уж лучше убили бы тебя сегодня арабские детишки!

Думал, разгневается сейчас бабка, кричать будет, камнем в меня запустит. Нет, молчит, склонив голову, смотрит на руки свои, на пальцы с черными окаменевшими ногтями. Молчит. Наверное, привыкла к таким проклятиям. А мне хорошо стало, что осадил ее маленько. Пусть не строит из себя святошу. И голосом победителя говорю ей:

– Неужели ты, еврейка, мать коэна, дочь коэна, веришь, что какой-то жалкий колдун из пустыни может изменить судьбу коэна? Ты, умная, старая еврейка, идешь к дьяволу зло просить!

Взяла меня старуха за руку двумя горячими ладонями и, прижав их к груди и глядя в какую-то бездну во мне, сказала:

– Во-первых, дорогой, арабы – твои сводные братья, а Авраам – наш общий отец. Так что язычниками они уже не могут быть. Во-вторых, о каком зле, о каком грехе ты говоришь? Найдет она себе другого, и он переболеет, найдет другую. Какое же это зло, какой это грех? Душа дана от Бога, женщина – нет.

Вот так просто она вновь осадила меня. То есть был ты, парень, бараном, бараном и остался. И стричь тебя можно и нужно.

– Была у меня служанка-арабка, – продолжала спокойно женщина. – Умная девка, работящая. Это она мне о колдунах рассказала. Я любила ее, как сестру, верила каждому ее слову. Арабы говорят, что между ними обитают «белые люди». Люди, которых никто не видит. Они принимают любой облик и могут жить птицами в небе, животными в земле, рыбами в воде. «Белые люди» следят за живущими на земле, вмешиваются в их жизнь, могут убить живого и воскресить мертвого. Моя служанка сообщила мне под большим секретом, что она сожительствует с одним таким «белым». И даже дети есть у них общие. Но с этой семьей она встречается только во сне. Она его очень любит. Случается, что они видятся и днем, наяву. Есть у нее и земная семья: муж и четверо детей. Но их она любит меньше. «Белый» муж защищает ее, дает ей умные советы. Он ей посоветовал ездить из Газы в Хулон и работать служанкой у евреев. «Белый» муж велел ей любить евреев и не делать им зла. И когда ее «земной» муж связался с террористами и завел в доме оружие, «белый» велел своей жене пойти в военную комендатуру и выдать злодея.

...Запахло жареной курицей. Солдаты не теряли времени зря. Солдата, как и соловья, баснями не кормят. Это лишь я, лопоухий, мог попасться в такую примитивную мышеловку и остаться без жареной курицы на ночь.

– Не ешь эту дрянь, сладкий, – неожиданно вставила в свой рассказ старуха, заметив, должно быть, шевеление моих ноздрей и мыслей. – Лучше слушай дальше. Кур на свете – миллиарды, а такая несчастная, как я, – одна на тысячу лет. Ну, так слушай. Колдунам-шейхам передается по наследству право прямого общения с «белыми». Они дают колдуну советы, колдун в свою очередь может

приказать им все что угодно. Есть сволочи, которые ради денег делают людям зло. Но таких очень мало.

– Знаешь, солдат, – продолжала вдохновенно старушка, – когда я сижу у черного шатра шейха-колдуна, мне кажется, что я библейская Сара. Что этот грязный шатер – мой дом, и в этом доме живет Авраам, мой муж. Видел бы ты, как этот шейх похож на нашего праотца! Я вся дрожу, видя его лицо, слыша его голос. А что, наши равы в лапсердаках похожи на предков наших? Как попугаи на орлов! Нет, милый мой солдатик, не боюсь я ездить одна в Синай. Мне хорошо здесь, как дома, как в шатре Авраама!

– Ну и загнула ты, тетка, – рассмеялся я. – Авраам, Яков! Что это я тогда торчу в Газе день и ночь, охраняя Авраама? Не шибко он нас жалует. Может, ты тоже за «белого» вышла замуж и он тебя в пустыню к шейхам посылает? Ну, признавайся, старая, есть у тебя дети от «белого»? Не он ли тебе велит внука-десантника погубить?

Она посмотрела на меня, как на дурака, и отвернулась. И я понял, что перегнул маленько. Далеко мне до нее, корни мои, как у луковицы, коротки.

Настало то время, когда на какой-то час замирает всякое движение на дороге: ни в Газу, ни из нее. Друзья мои по дежурству расселись рядом, курицу жареную едят. Скучно едят, без аппетита. Дали бы мне кусок – я бы им показал, как надо жить с жареной курочкой.

Прожектор светит над нами, а вокруг него тысячи комаров, жучков, бабочек летают. А еще выше – луна, как прожектор, и вокруг нее тысячи звезд кружат. И мы вокруг бабки, на какой-то свет ее слетелись.

Снова наш разговор к колдунам и священникам вернулся. Старухин рассказ, как солнышко в зените.

– Отец его погиб, отец – герой войны, памятник в Хулоне стоит. А мальчишка мне твердит: «Бабуля, любим мы друг друга, жить без нее не хочется!» А я ему кричу и плачу, кричу и плачу: «Но ты же коэн!» А он смеется и целует меня в глаза. Пошла я к раву. Рассказала все. Он развел руками: мол, не вмешивай ты меня в это дело. Пошла я еще к двум равам, самым известным. И те бессильны. Тогда поехала к шейхам-колдунам, они многим евреям помогли. И вот, третий месяц езжу. Автобусы здесь не ходят, если сжалится кто – араб или еврей, – возьмут в машину. А визит к такому шейху стоит как прием к самому дорогому профессору. Всю пенсию трачу на эти дела.

Замолчала бабка и закрыла глаза. Я подумал, что уснула она, но вижу: капельки из глаз закрытых катятся, значит, не спит.

И услышал я звон колокольчика медного. Вроде тех, что на двери вешают у входа. Душа задрожала от этого звона. И то ли сам себе сказал, то ли кто-то во мне ахнул, но услышал я сразу после звона слова такие:

– Вот, голубчик, как за баб воюют! Первородство, престол, корону за любимую женщину отдают. Даже за калеку. Расскажи этой грязной старухе, какое ты ничтожество, расскажи ей, какую женщину бросил. Ты на сутенера взъерошился, а сам-то кто?

– Бабка, милая, родная, хорошая моя бабка, – закричал я шепотом, чтобы не слышали чужие уши. – Я тоже был лев! Клянусь тебе, бабка, я тоже был лев. И я любил калеку. Здоровая она была и красивая, но, наверное, калека была все-таки, потому что еврейкой решила стать.

Не открыла старуха глаза, а только молча кивала головой и втихомолку плакала. Будто знала всю мою историю и теперь оплакивала не внука своего, а меня.

– Слушай, дура старая, – кричу я шепотом, – ты только думаешь, что знаешь все, но ты многого не знаешь... Я тоже был лев. А она – калека, наверное. Старше меня была. И с ребенком чужим. Но я был лев. Потому что с собаками тоже жить не мог. И к мертвечине не подходил.

Не открывает она глаз, а только кивает головой и слезы льет.

– Калека она была, поэтому ноги моему отцу мыла, когда он болен был. А отец украдкой ездил к своим колдунам и то же самое просил, что и ты.

– Успокойся сынок, успокойся, – тихо вдруг сказала бабка, вытерев слезы. Она погладила меня по голове, по лицу шершавой ладонью, как будто не солдат чужой сидел перед нею, а пятилетнее дитя с игрушечным автоматом. – Кем ты был в своей России, помнишь? Рабом! Может, и львом ты был, да львом в цирке. А теперь царство ты получил в награду, великое царство. Ты при жизни получил его. И дети твои царство получат. А если бы отец твой не ездил к колдунам, то и дети твои грызли бы зубами клеть свою и проклинали отца своего. Мне внука спасать надо. И детей его спасти. Ведь лишатся они царства, – и завыла старуха пуще прежнего.

Вспомнил я, как и мой отец царство мое оплакивал. Вернувшись однажды из очередной поездки к колдунам на Западную Украину, заперся старик на три дня в спальне и не выходил ни разу. Не ел и не пил ничего. А когда вышел наконец, худой и заросший, то рассказал за столом, где вся наша семья обедала и жена моя, мрачную историю.

Сидел он ночью на вокзале какого-то маленького украинского се-

ла. Сидел и ждал поезда, который пройдет только утром. Сидел, как белая ворона, среди нищего местного люда. Не на скамейке сидел, а на каменном полу, ибо народу на таких станциях всегда множество. Зима, грязь, холод. И подошли к нему два мужика, и разглядывать стали, и шептаться между собой. А потом один вытащил из кармана рваной телогрейки большой пакет семечек. Щелкают они семечки и плюют отцу в лицо, щелкают и выплевывают шелуху на седую голову его. А он не прикрылся ничем, смотрит им в глаза, и облипает его старое лицо слюнявой шелухой. Так и плевали они на отца до тех пор, пока весь пакет не прикончили. Потом отряхнулись весело и ушли на перрон.

До утра в шелухе сидел старик, не пошевелился. Украинские дети бегали вокруг, смеялись и пинали отца ногами. Только свист паровоза вывел его из оцепенения.

Рассказал это отец, посмотрел на меня, потом на жену мою. Ни на кого не посмотрел, только на меня и на жену. Сжалась она в комочек, несчастная. Чужая она была всем. А мы ей родными были. И ноги отцу в тазике мыла. А он к колдунам ездил, чтобы разлучить нас.

Дали мне, конечно, колдуны царство, хорошо мне в нем. Камни дорожные целую. Но радость моя однобокая какая-то. Может и права старуха эта, тысячу раз права. Но есть в правоте этой подлость страшная. Вон царь Давид пляшет перед Богом рядом с чернью, псалмы медовые распевает ему, и тут же втихую убивает своего лучшего бойца, чтобы с женой его переспать. Хорош гусь, а? Однако какой Соломон явился из греха этого! О, Господи, рехнуться можно от Твоих чудес! Ну, не хочет быть человек коэном, не хочет! Букашкой жить желает, букашку с ребенком любит. Да плюнь ты на него, Господи, оставь ему эту маленькую радость!

И снова кинулся я на старуху, заведомо зная, что все это впустую, что не справиться мне с «белыми», колдунами и коэнами.

– Оставь их, мать, детей этих. Ведь любят они друг друга! Может, не лев он, а праведник, которому спасать калек и падших. И мертвых ему оплакивать хочется, а не сторониться их.

Молчит старая, и слезы из закрытых глаз капают. Жалко мне ее мучить, вижу, что сама она против воли своей творит, что сердце ее вот-вот от боли разорвется.

– А что, колдуны твои, шейхи, помогли чем-то?

Она залезла в правый чулок и вытащила скомканную бумажку с маленьким камешком.

– Вот, – говорит она, – то камушек дадут заговоренный, то моне-

ту, а то просто записку. Ночью я закапываю на хулонском кладбище эти штучки у любой могилы. Колдуны говорят, что духи мертвых обязательно рассорят влюбленных. А эти еще больше липнут друг к дружке. Узнал внук про мои поездки, прилетел ко мне, горячий и гневный, говорит: «Бабушка! Если с моей Орной что-нибудь случится, то и со мной случится!» А я говорю ему: «Меир, Меир! Ты же коэн! Завянет душа твоя! Несколько тысячелетий душу твою хранили и лелеяли, а ты одной жизнью, одним мгновением в тряпку ее обратишь. Про душу великую забыл ты, Меир!»

Кончился час затишья, и вновь засуетилась дорога. Проснулись друзья мои, пушки на пузо – и к машинам.

– Эй, – кричу я им (за всю ночь так и не познакомились). – Бабке тремп до Хулона нужен. Прямо до Хулона. Но только израильскую машину, слышите!

– Командир говенный, – отвечает мне один, – подними свою хрустальную задницу и сам лови тремп для своей крали.

Едва я вышел на дорогу, тут же возник израильский «фольксваген» со стороны Газы. Откуда он взялся в четыре часа утра среди арабских машин, везущих грузы в Иорданию и рабочих в Тель-Авив? Загадка. В машине сидели два религиозных парня.

«Что скажу я им», – думаю про себя, а вслух спрашиваю:

– Куда, ребята?

– В Хулон, – отвечают они, а я думаю: «Они такие холеные и чистые, и чехлы на сиденьях новенькие и дорогие. Как же они возьмут эту старую, грязную, окровавленную, перебинтованную старуху, которая будет скулить всю дорогу и рассказывать о синайских колдунах?», – а вслух говорю им:

– Бабку коэна посадите до Хулона?

– А почему бы нет? – отвечают они.

– Но она грязная и раненная, а у вас чехлы новые, а? – а про себя думаю: «Сейчас вы ее увидите, голубчики, посмотрим, как запоете!»

Оба вышли из машины, подняли старуху осторожно, сетку ее захватили и пошли все к дороге. Усадили мою бабку, как царицу, на переднее сиденье. И вижу, как снова она плачет оттого, что пригрели ее, и снова рассказывает она:

– Внук мой – коэн, на разведенной женился...

И захотелось мне тут же бежать за машиной, плюнуть на прошлое и будущее, обнять этих двух в ермолках и всю жизнь слушать рассказ безумной бабки. Но унеслась машина, будто выросли у нее крылья по бокам, улетела как птица...

Послесловие автора

Описываемые в рассказе события происходят в середине семидесятых. Это были годы послевоенного расцвета в Израиле, когда евреи вернулись в границы Эрец-Исраэль, установленные Всевышним для «поднявшихся из Египта». Тогда нашим левакам еще не пришла в голову идея создания палестинского государства, а арабы, в массе своей, были готовы жить в еврейской стране, подчиняясь ее законам. Газа была обычным израильским городом, куда люди съезжались со всего Израиля, привлеченные дешевизной рынков, гаражей и ресторанов. Я привозил на военную базу свою девушку, и мы по вечерам ходили в кафе, а ночью купались в заброшенном порту. Арабы угощали нас на берегу шашлыками и благодарили за спасение их от египетского рабства.

Виктория Орти

АНАПА, ТАНЬКА, ТЕТКА, МОРЕ

Анапа, Анапа, Анапа. Анапана – напана, опа-на, мы приехали отдыхать, и даже Петр Великий не смог ухватить нас за хвосты, перетянутые белесой резиночкой. Не смог, родимый, отец родный, заступник и кровопивец, удержать нас около копыт своих памятных. Около перста своего каменного. Около глазонек своих застывших навыкате. Не смог. Мы приехали отдыхать.

Хозяйскую дочку звали Танькой. Ну как еще может зваться хозяйская дочка в Анапе?.. Танька – Татьяна – Татьяна Андреевна – Татьяна Андреевна Тополева, 1970-2045 предположительно.

Мускусный запах отлетал от нее и растворялся в морском бризе, сливаясь с ним, – сладкая отрава для отдыхающих в местных краях. Она походила на молодую кобылку: так же косила карим глазом и фыркала, отворачиваясь от пятнадцатилетних сопляков, страдавших прыщавой маетой.

А мне – тоже столько же, но я не переношу мускусный запах, пользуюсь болгарским дезиком сиреневого цвета, ношу носочки с воланчиком и только-только... ну, в общем, я уже девушка, слава Богу, теперь надо уговорить маму купить лифчик, тогда будет о чем рассказывать первого сентября.

Танька проходит мимо каждое утро. Я ласково здороваюсь, стараясь не вдыхать глубоко, и ухожу завтракать, мама готовит манную кашу с изюмом – *питательно, надолго хватит, на пляже поедим фруктов, вечером перехватим чего-нибудь и – спатеньки.*

Уже на подходе к пляжу я жадно втягиваю в себя запахи моря: водорослей, бойких рыб, разномастных кораблей, рыбачьих лодок, дельфинов. Мне хочется петь о любви, но я не знаю слов, только мотивчик. А квасная тетка около бочки улыбается золотой улыбкой и предлагает маме *свеженького, перед пляжем – ой как хорошо, а попи́сать и в море можно, что ж вы себе думаете, нешто все до туалетов добегают...* Мой мотивчик затухает, я вспоминаю Танькин мускус и представляю, что она плывет-плывет, солнце оплавляет ее лицо, добавляет веснушек; Танька хохочет и выплевывает море вместе с пузырчатой слюнкой, похожей на остатки квасной пены, а потом задумчиво писает в море – прямо на гнилые водо-

росли, мертвых рыб, утонувшие корабли, верещащих дельфинов... *Ой,* говорю я маме, *у меня та-ак живот болит, ну ты даже не представляешь себе как, я вернусь домой, а?*

...Ночью зажигают фонари, чтобы заглушить свет звезд. Ведь иначе кто-нибудь придумает себе Космос с черными дырами, млечными путями, одинокими большеглазыми марсианами, страшными мелодиями погибших миров... и взметнется вверх. Но наткнется на золотозубую квасную тетку, перегородившую проход своей бочкой. А Танька захохочет и обдаст волной мускусного запаха.

Ну прямо скунс, ей-Богу.

ПОРТРЕТ НИЩЕГО НА ФОНЕ АПОКАЛИПСИСА

Забавный. день прокукарекался вчера. Нет, не то чтобы смешной, не то чтобы. Но подобрать имечко для всех этих забав невероятно, нужно родиться не здесь, не сейчас, горние дали – приют таких выдумщиков, а я родилась на улице Дивенская, дом девять, квартира тоже.

Жизнь идет ровненько, неведомый хореограф ударяет в ладоши сухим хлопком и... *раз-и-два-и-три-и-четыре, поворот, и-раз-и-два-и-три-и-четыре, посмотреть в глаза партнеру, улыбнуться, и...* Но вдруг хореограф исчезает, светотени появляются на затаивших дыхание стенах, и ты понимаешь, что закручен в дикой пляске, изгибы тела непредсказуемы, руки-ноги отделяются и живут своей жизнью, катавасия орет кошачьим весенним ором, не стесняясь прохожих. Тогда и случаются чудеса.

Тот вечер ничем не отличался от прочих. Ну разве что машин за окном было поменьше. Ну разве что телевизор выключился сам собой. Ну разве что дети уснули на полчаса раньше. Мы решили лечь и выспаться на всю оставшуюся жизнь. Дураки.

...Мне приснилось лицо нищего. Светлое и ошарашенное. Немытая бородка, впалые щеки, юродивые нежные глаза. Что-то заскреблось в моей поистертой памяти: *впалые щеки, нежные глаза, впалые щеки, нежные глаза* – заскреблось и уснуло. Он кланялся проезжавшим на центральном перекрестке нашего доисторического Града Авраґамова. Машины отфыркивались и уматывали, редкая протягивала сердобольную руку, редкая, но тогда ОН светился нищей радостью, будто светляк около украинской мазанки. Я приоткрыла окно машины и позвала ЕГО самым нежным из всех моих го-

лосов: *АДОНИ, ГОСПОДИН МОЙ,* – нищий подошел и глянул внимательно. *ВОТ, ГОСПОДИН МОЙ,* – мелочь перетекала в ЕГО ладонь серебряным ручьем, Млечным Путем, соединяющим вселенные. *ГОСПОДИН МОЙ*, – повторила я напоследок. Красный циклопий глаз светофора пожелтел-позеленел. Муж дабанул-рванул, я расслышала ответное: *будьте...* – нищий исчез.

...В сумбурном мире упорядочены только звонки спящим. Мы засыпаем, теряемся в черных лабиринтах нереальности, хаос втягивает наши окаменевшие души в репродукторные воронки, вечное блаженство распахивает объятия и... звонок.

А не разбудил\ла ли я вас ненароком, а? – интересуется желанный голос на ТОМ КОНЦЕ.

Да нет, я не сплю, что вы, я вообще никогда не сплю... Да и правда, кто в наших краях спит в полседьмого? Вставай, труба сыграла сбор.

Сонная злая женщина (СЗЖ) опасна для окружающих. СЗЖ жужжит и кусается, мириады ядовитых жал летят во все концы. Сонная и злая я – опаснее всех СЗЖ, вместе взятых. Все скорби земной жизни легли на мощные плечи мужа, атлант дрогнул, небосвод рухнул. Началось светопреставление.

Рассвет сменился утром.

Небо покрылось песчаной завесой.

Суховей расправил одежды и превратился в раскаленного добела бедуина, выжигающего всех и вся.

П...ц! – проговорила я и подобрела.

Список домашних дел – понятие растяжимое. Утром кажется, что за полчаса ты переделаешь все: покупки, уборка, готовка, глажка, педикюр... Ан нет! Покупки изматывают и утомляют настолько, что сил хватает на педикюр и отдых после дружного поедания заказной пиццы.

Сиеста великолепна. О, пятничная разморенность, неторопливое бытие в предвкушении до-о-олгой субботы! Гимн Гименея звенит в ушах, сменяясь нежной мелодией Морфея. Тягучая Лень приходит в дом, ложится на диван и раскрывает новую книжку Т. Толстой. Не нужно спасать человечество. Есть еще пара сотен лет до конца света – и слава Богу.

Сиеста почти уморила нас своим приторным восточным ароматом, но муж вспомнил о непочиненном вентиляторе для кухни и решил срочно сдать его в мастерскую.

Он надел футболку цвета девственницы, выходящей замуж, я – кофточку цвета последней любви, мы запрыгнули в машину и по-

ехали в мастерскую трех индусов, прошедших реинкарнацию и забывших о священных коровах своей бывшей родины.

Мы все немножко реинкарнированы в этой стране. Изредка проклевываются Смутные Воспоминания. Запахи весны, дождя, моря навевают что-то дежавюйное и быстро до неприличия тают. Я не помню запаха прелой листвы в Ботаническом саду, но узнаю его за сотни метров, узнаю корявую царапину на одной из скамеек. Память о пирожках у станции метро не будоражит меня, но я куплю парочку похожих в соседнем супере и выброшу: не тот вкус... Индусы тоже припоминают запах людской толпы и праздных коров на улицах Dheli, бросают быстрый взгляд на левантийскую реальность и чинят вечные лампы – фонари – люстры – вентиляторы, пусть всем будет светло и нежарко.

Мы ехали к индусам, напевая дуэтом: *легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда, и любят песню деревни и села, и любят песню большие города.* Не думали о смысле этой абракадабры, а о смысле жизни – тем более.

Машина затормозила перед перекрестком. Циклопий глаз светофора налился кровью. Час пик в Вирсавии похож на час пик в Нью-Йорке, те же усталые евреи спешат домой в предсубботнюю прохладу, вмещающую бульон, салаты, халу, детский смех и неторопливые рассказы о прошедшей неделе. Ожидание дома зависает над машинами облачком, тихой аурой, а воздух начинает звенеть жарой.

Нищий явился ниоткуда. Лицо из моего сна возникло, будто чеширский кот перед оторопевшей девочкой. *Впалые щеки, нежные глаза, впалые щеки, нежные глаза.* Я начала судорожно рыться в сумке, но светофор позеленел, муж даванул-рванул, нищий растерянно растаял в прошлом, успев как-то уж слишком пристально глянуть на меня.

Вернись, пожалуйста, на тот перекресток, вернись, бросим горстку монет в ЕГО подставленную ладонь, вернемся и исправим прошлое! Как часто удушающее НИКОГДА навалИвается и не дает продохнуть! Я не окажусь в том мартовском дне, когда, одолеваемая пятнадцатилетними гормонами, ненадолго сбежала из дому, а мои обезумевшие предки метались по скользким питерским переулкам, заглядывая, расспрашивая, леденея... Отец умер через полгода, я и не знала про рак. Вернуться бы, вернуться бы, застыть на пороге, разглядеть их лица, улыбнуться и целый день не отпускать пока еще теплую отцовскую руку.

Нет, ни себя, ни его не вернешь. Живи, вспоминай, выстукивай ознобное прости-прости-прости – безответно.

Мы единственные на этой планете, кому разрешили ВЕРНУТЬСЯ И ИСПРАВИТЬ. Всех дел: горстка монет в руку нищего. Но где он? На каком перекрестке? В каком измерении? Мы метались по городу, ополоумев; возвращались на одно и то же место; суховей набирал обороты, песчаная поземка пустынной гадюкой бросалась под колеса машин. Мы были брошены в беличье колесо собственных жизней. Золотой ключик от волшебной дверцы превратился в многопудовый ключ без права передачи. *Нам надо найти этого нищего*, плакала я, *ведь в моем сне ОН принял серебро и сказал: б у д ь т е . . . А без серебра в ЕГО руке и нам не быть.*

Мы возвращались. Усталые и растерянные. Сломанный вентилятор бултыхался в багажнике.

Нищий по-чеширски возник на перекрестке возле нашего дома.

Я не поверила самой себе, но увидела *впалые щеки, нежные глаза, впалые щеки, нежные глаза*. И протянутая ладонь приняла горстку серебра, разогретого моим теплом. Сказав: *б у д ь т е . . .* – ОН растворился.

Так мы спасли себя. Ухватили, будто утопающих за прядь волос, вытащили на лазурный небесный берег из огнедышащей песчаной круговерти, судорожно вдохнули струю свежего воздуха и закрутились вместе с безумной планетой, подставляясь весеннему солнцу.

...И РАССКАЖУ ОБО ВСЕМ

Весенний день Вирсавии начинается ровно в пять. Автобус собирает квелых рабочих, увозит их на Мертвое море. Вместе с ними уходит ночь.

Соседский младенец жадно пьет молоко, не отлепляясь от липкого соска Шушаны, а Шломо, привыкая к сыну, целует его парнюю макушку и вспоминает Шмулика из Ливанской войны. Шмулик упал возле него, сжимая простреленную жизнь в каменеющем кулаке. *Еще восемнадцать лет впереди*, – думает Шломо, – *целых восемнадцать лет...*

Марианна из восьмой пьет кофе. Марианна снова на диете. Два куска диетического хлеба и обезжиренный сырок на блюдечке дожидаются легкого надкуса Марианниных зубок, далекий Йоси думает о том же. Пройдут всего два часа, они встретятся на снятой квар-

тире, Марианна прикоснется к Йосиной щеке прохладной ладонью и назовет его *мотеком*...*

Таксисты выезжают на трассу, принюхиваются к весенним флюидам и задумчиво поглядывают на острые или округлые коленки первых пассажирок. Разносчики пиццы оглаживают упругие бока мотоциклов в ожидании первых заказов. Один из них, Иланчик, вчера познакомился с Люсией – юной *олой хадашой*** – и думает о ней под тягучий, будто старомодное танго, запах готовящейся пиццы.

Я просыпаюсь и ужасаюсь наступившему дню.

Впереди ДОКЛАД. О, это страшное слово! О, эта печальная участь – стоять перед тихо дышащей аудиторией и журчать лингвистической речью: *Комплементайзер, Тема, Рема, Фокус, Топик!..****

Ай-ай-ай, Соссюрище*****, запутавший меня в своей паутине! Ай-ай-ай! Куда бы слинять на сегодня, какой необитаемый остров предоставит мне статус жителя, какое дерево укроет от хищных глаз профессорши Ширель? Часы на стене тикают мне стародавнее проклятье: НЕ-КОГ-ДА... НЕ-КОГ-ДА... Я выпиваю кофе, съедаю нежно любимый омлет и бегу, бегу, бегу, бегу навстречу ДОКЛАДУ.

Нас трое на автобусной остановке – я, старик и скамейка. Скамейке нет до нас дела, а старик небрит, немыт, у него слезятся глаза и расстегнута ширинка. Я представляю себе переполненный автобус, нам придется стоять рядом... и хватаю такси, хотя душа укоризненно вздыхает.

Таксист великолепен. О, израильские таксисты – воплощение великого мачоизма! О, вы, не ведающие страха, рычащие в мобильник, курящие и подпевающие Сарит Хадад одновременно! Какое вам дело до бледных пассажиров, вжимающихся в безукоризненную обшивку сидений, до сирых созданий, прощающихся с жизнью на каждом вираже, судорожно пристегивающих ремни под ваш неторопливый треп на скорости сто двадцать с другом-таксистом в соседнем ряду...

Мой таксист был нежен и предупредителен. От него пахло милым одеколоном. Она позвонила, и всю дорогу до университета я слушала шоферскую Песнь песней о грудках, локотках, волосах и пальчиках Возлюбленной. Он взмыл над землей в своем «мерседе-

---

* Мотек – сладенький (*иврит*).

** Ола хадаша – новая репатриантка (*иврит*).

*** Комплементайзер, Тема, Рема, Фокус, Топик – лингвистические термины.

**** Фердинанд де Соссюр – основатель лингвистики как науки.

се», забытая миром Мерсѐдес улыбалась из далекого загробья, а я парила вместе с ним. Мир вращался вокруг солнцеподобного тела Возлюбленной, таксист бросал себя в костер любви, мне хотелось плакать. Я приехала, расплатилась, но он и не заметил моего исчезновения...

Впереди была геенна огненная – семинарская комната, забитая до отказа. Все пришли посмотреть на мои конвульсии. Я оправдала ожидания, сошла со сцены под василисковым взглядом профессорши Ширель, глотнула минералки и села смотреть на остальных смертников. Три часа растянулись на трижды три, но все-таки канули в свой временной ад.

Дорога домой заняла полчаса. Полчаса в полупустом автобусе рядом с дородной дамой российского разлива. Даму обтягивало синее платье в белый горошек, перетянутое дохлым пояском и кружевным воротником. Я представила себе поездку в райцентр, тряску, пыльный универмаг и разбитную продавщицу Таньку, про которую все всё знают... Танька мяучит голосочком мартовской кошки: *Ой, ну прям для вас, ну прям для вас, а цвет-то какой синенький, ну прям под глазки, худит вас цвет-то, Марь Наумовна, худит!* Логично, подумала я, у нас жарко, а платье хебешное, не купит ведь она десятишекелевую маечку на распродаже – и засмеялась, представив себе эту даму в маечке без лифчика. Дама глянула на меня, буркнула: *никакого воспитания*, – на этом и разошлись.

...Я вошла в дом, забросила ДОКЛАД на пыльную полку и набрала номер подруги.

Я знала, **что** сейчас расскажу ей. Все вокруг истекают весенним соком. Тетки в хебешных платьях все еще приезжают, не подозревая, что через пару лет они похудеют, остригут громоздкие учительские прически, купят маечку с распродажи и забудут надеть лифчик.

Еще я расскажу ей о том, что ДОКЛАД прошел. Не то чтобы гениально, но никто меня из универа не выгонит, учись – не хочу. О том, что муж – слава Богу, мы все еще любимся по утрам, хотя я уже не должна прикрывать платочком следы от поцелуев. *Дети веселы,* – скажу я ей, *– может быть, даже счастливы. Не хватает только тебя.*

Автоответчик поведал мне на непонятном французском о пустующем доме, холодном дожде, расцветающей акации.

Я достала старый альбом. Она уехала во Францию, оставив пяток фотографий, где мы, юные и невесомые, ничего не знаем о любви, докладах, старости. Наши глаза светятся неземным светом незнания. Фотографии слегка потерты, но еще не выцвели...

РЕКВИЕМ В ЛИЛОВЫХ ТОНАХ

(цикл рассказов)

Вступление

Во здравие трехлетнего Адара, смертельно раненного в хайфском теракте, погубившем двадцать человек, в том числе шестерых детей.

Разрешите, я провою Реквием. Не каждому дано превратиться в чопорный хор, выверяющий каждую нотку. Язык – на полсантиметра вглубь, альвеолы выше, фаринги – ниже, и вот вам звук, к примеру, *ре*. А, может быть, *си*, я не разбираюсь в этих певческих заморочках.

Мой Реквием прост, всего лишь набор букв, хаотичный и непредсказуемый на вкус японца или, скажем, шведа. Набор букв, лишенный смысла без моей души, точно так же, как ноты лишены оного без дрожащего горла, трепетной скрипки или покорной валторны. Как вложить в этот набор букв боль бытия, о которой – выть, перемешанную с радостью и нежностью бытия, о которых – петь? Как рассказать о любимых и незнакомых, о больных и здоровых, о смурных и беспечных?.. Как? Да и нужно ли это кому... Пусть не нужно, пусть. Ведь мой Реквием не изменит ход событий в Большом Мире, политики будут собираться в круглых-овальных-квадратных-треугольных кабинетах, огромные заводские турбины – вращаться, не думая об одышке, самолеты – рвать облака на клочки, парады и войны – грохотать. Но вот маленькие миры, о, эти чудные маленькие миры, пронизанные нашими мыслями, будто дождями по осени, и насыщенные озоном нашей любви, миры, равных которым нет и не будет... Они уловят мой Реквием и подпоют ему, превратив скромную мелодию во Вселенскую, не убоявшись черных дыр, белых карликов и красных гигантов. И, может быть, чужой трехлетний мальчик по имени Адар, почти что убитый в хайфском теракте, этот почти что мертвый трехлетний мальчик раскроет глаза и скажет: *мама*.

А я пойму, что не зря родилась.

ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ

Р. М.

...Ночь улыбнулась напоследок и улетучилась – баюкать иных засонь. Я остаюсь не у дел: день будет скучным и тягомотным. Схожим со *вчера*. А *вчера* уже прогуливается по тенистым тропам Аида и степенно рассказывает попутчику о своей недолгой, но насыщенной жизни. В рассказ этот уместятся все рожденные и умершие в нем, первые-последние крики-вздохи, поцелуи и щекочущие прикосновения к запястьям. Быстрорукие рабочие и рыбоглазые клерки, терпкое вино в ресторанном бокале и пресный рис на маисовом листе. Столько-то убитых, столько-то раненых, столько-то овдовевших... *Вчера* знает всю эту арифметику назубок и умиротворенно вздыхает: ЖИЗНЬ ПРОЖИТА НЕ ЗРЯ. Попутчик поддакивает, понимая, что так оно и есть, попутчика зовут *позавчера*, и ему хочется поддержать новенького, помочь освоиться в новой обстановке. Им не светит возврат в те края, а впереди – Вечность.

Сегодня уже освоилось на новом месте. Новорожденные исправно поступают в мир, обреченные на смерть – умирают, конвейер налажен. Но некий диссонанс вплетается в эту вселенскую гармонию, мелодия бытия прихрамывает на ноте *ми*, и *сегодня* тревожно прислушивается, пытаясь отыскать сбой, ведь отчитываться – ему.

А вот вы когда-нибудь бывали на приеме у английского посла? Вы примеряли туфельки лилового цвета и сумочку божественных тонов, душились душещипательным парфюмом, блестели узким и длинным вишневым ногтем?

Она – нет.

А вы когда-нибудь отдыхали на необитаемом острове с шустрой обслугой, пальмовой веткой и черепашьим супом, дышали вечерним ветром, в котором тает ваше прошлое, а настоящее сладит мурашками на предплечье?

Она – нет.

А вы когда-нибудь получали престижную литературную премию, застенчиво улыбались фотографам, подписывали книжки со своим витиеватым именем на твердой обложке, оробело поглядывая на саму себя, растиражированную в зеркальных стенах?

Она – нет.

А вы когда-нибудь плакали, повторяя: *Мир прекрасен. Спасибо. Продли эту бренную жизнь. Дай на-дышаться вволю, наглядеться, на-... на-... на-...*?

Я – да. Сейчас. За нее.

Перелопатив Вселенную, я найду точку, с которой все началось, и припаду к ее Началу. *Посмотри,* – скажу я Ему, – *во-он там, на улице имени Крепости, в доме с оконами-бойницами, на узкой кровати, под байковым одеялом. Ей больно сейчас, помоги, а...*

Ах, если бы Он мне ответил, если бы.

Сумерки подкатывают к горлу, будто воспоминание об умершем отце, они внезапны и безысходны, за ними – тьма. Я цепляюсь взглядом за – пока еще – серое небо, впитываю ушедший день расширяющимся зрачком и вздыхаю о своем.

Скоро мир станет готовиться ко сну. Матери осторожно и ласково намылят задумчивых детей, ополоснут, укутают в пушистые полотенца, отнесут в постели и станут рассказывать о рыцарях и королевах, Гретхен, медведях, северном ветре и южной розе, спящей красавице и доброй волшебнице, прогнавшей Смерть.

Потом, поцеловав спящие макушки-лобики-носики-щечки, они выйдут к усталым мужьям, ну и так далее, у каждого свое...

Ночь придет и – ровно в полночь – положит холодную руку на глаза *сегодня*, отправив его в царство теней и вечного влажного сумрака.

Я улягусь в постель, укроюсь и подоткну одеяло. Так надежнее. Но перед тем, как уснуть, я повторю заклятие: *Еще один день, пожалуйста, подари ей еще один день!..* И для верности мысленно плюну в глаза *когда-нибудь*, притаившегося за ее левым плечом.

О, ХЛОЯ...

Тишина сбегает ранним утром. Невмоготу ей, бедной, прислушиваться к первым автобусам, налитым звенящей силой после ночного отдыха. Дворник осторожно соскребает прах прошлого дня. Киоскер заполняет полочки сигаретными пачками, салфетками, газетами.

Хлоя обязана проснуться **до**. Она не переваривает мелодичную проповедь будильника, изо дня в день призывающего соблюдать распорядок: не залеживаться, не лениться, не... Точь-в-точь, как мама из недавнего бытия. *Девочка, ты еще мало смыслишь в жизни, многое зависит от твоей собранности, умения все распланировать.* Ах, это простенькое счастье – выпить чашечку черного кофе, выкурить мятную сигаретку, погладить кофточку и снова – выкурить мятную сигаретку! Хлоя добра и хороша собой. У нее длинные стыд-

ливые ноги, сведенные в коленках, зеленые протяжные глаза, верхний прикус, в котором недостает двух – незаметно, слава те, Господи! – зубов. Все любят Хлою, она мало кого обидела за двадцать три года. Все – любят, а Марик – обожает. Он-то знает, как прохладна Хлоина кожа после душа, и даже пытался сосчитать мурашки на лодыжках, но не успел, пришлось укутать Хлою в одеяло. Замерзла, милая девочка.

Марик тоже добр и хорош собой. Вот этим они схожи, безусловно, именно этим они и схожи. Он играет на кларнете. Когда скучно. Пару лет назад, незадолго до знакомства с *девочкой*, Марик, обалдевавший от ноющего желания, научился извлекать свиристельные звуки из этой красивой дудочки. Да он вообще способный парень – добавочная стоимость к внешности, улыбке, серьге и... об этом не стоит. Хлоя застенчива, а я – всего лишь подглядываю за нежной (какие их годы!) и неторопливой (ну, это ненадолго, ребята) жизнью. Мне немного завидно, ведь мои годы уже протикали мимо васильковой нежности первых поцелуев, сиреневой одури первых объятий, хмари первых измен, раскаянья, да и живот неупруг – двое детей вышли на этот свет и прилипли к моей груди... Я завидую Хлое, но не черной, а бежево-розоватой завистью. Мой любимый цвет.

...Но вот они уходят. Не навсегда, подобно Джульетте и Ромео (о, бедные, бедные сосунки, растаяли в средневековой холерной духоте! Недобрый гений нарисовал гримасу предсмертия на их прежде прекрасных лицах). **Мои** персонажи уходят на семь-восемь часов. Хлоя – на учебу, Марик добывает хлеб насущный – в пекарне старика Нисима поставили новую шведскую линию, и Марик – главный опекун винтиков, пружинок, цифирек на табло.

Хлоя прилежна и исполнительна. Она-то и принадлежит к тому роду милых студенток, о котором преподаватели ничего не говорят, но на лекциях поглядывают на них с облегчением и надеждой: хоть кто-то слушает, хоть кто-то записывает, хоть кому-то интересно. И ноги красивые.

Нет смысла описывать день Марика или день Хлои, лень мне, да и вам будет скучно, но вот вечер... – вечер стоит того.

...Они выходят из дому, держась за руки, пока еще держась, перекачивая друг в друга тепло, пересекаясь пульсами, подрагиванием мизинцев, линиями жизни, ума, судьбы, семьи. Проходят два квартала, Хлоя, как всегда, рассказывает Марику обо всех препах, кто какую глупость сказал, кто похвалил, а лаборант Зеэвчик подошел к ней и по-

просил номер телефона, а она сказала: *Зеэвчик, меухар, еш ли хавер*[*]. Марик кивает с пониманием, конечно, у Хлои такие красивые ноги, а если бы этот Зеэвчик, волчонок, знал, как хороши они вблизи, то свихнулся бы и до конца дней своих мыл лабораторную посуду.

Они входят в *матнас*[**], забегают в раздевалки и... Марик появляется в черных, со стрелкой, брюках, романтической рубашке, королевских ботинках. Он причесан и подтянут. Он – воплощение пылающего Ромео и безумного Ланселота – раскрывает объятья Хлое, летящей навстречу. Хлоя, Хлоя... Твое лиловое платье – вопль женщины, обреченной любить. Твои плечи – безумное видение пьяного поэта. Твои изгибы – укор всем домохозяйкам мира. Твои ноги... О, твои ноги, Хлоя!..

Дети мои, как вы хороши в летящем танце, как много в вас жизни, сколько Света в ваших глазах и сколько Тьмы в полете ваших тел! Я оставлю вас в тот самый момент, когда музыка застынет на мгновение, а вы метнетесь в иное измерение, превратитесь в две стремительных тени, две души, оторвавшиеся от бренного пола *матнаса* и взлетевшие в никуда...

И только лиловое платье Хлои повешу на плечики в шкафу моей памяти.

КУКУРИЦА, или ВСЕ СУЕТА СУЕТ...

Ха-ха-ха, кто знает, ЧТО ТАКОЕ К У К У Р И Ц А ?

...Венгры – веселый народ, они придумали язык, который не в силах понять ни взбалмошный русский, ни озадаченный англичанин, ни веснушчатый ирландец – этот язык состоит из непереносимого набора согласных и повтора ударений. Единственное слово, доступное разуму негениального филолога, то бишь, меня, – КУКУРИЦА. Да и смысл ясен – смесь курицы с кукурузой, этакий наваристый куриный суп странного вкуса плюс лапшичка и паприка, куда же венгру без паприки...

Балатон разлегся около ног моего семейства и широко раскинул мелководье. Несуетливо, по-курортному праздно. Яхты мелькали вдали, банальное *Белеет парус одинокий* воскресло, открыло ячейку номер такой-то моей памяти, выползло наружу и сладостно потянулось. Крепконогие тетки катили разномастные тележки и вы-

[*] Зеэвчик, поздно, у меня есть друг (*иврит*).

[**] Районный дом культуры (*иврит*).

крикивали в приезжие груди, спины, ляжки, покрытые особым, балатонским загаром: КУ-КУ-РИ-ЦА! КУ-КУ-РИ-ЦА! КУ-КУ-РИ-ЦА!

Лень моя – царица государства с красивым именем Виктория. Ну, если не так поэтично, то... я ленива. Очень ленива. Муж мой обычно добавляет: *и необязательна,* – но тут приходит мой черед обвинить его в шаблонном мышлении, предвзятости, использовании клише и штампов. Так вот, даже я, преодолев сладостную лень (теплынь, запах воды, над головой – крона невероятного дерева, сон прикрыл правый глаз и поглаживает левый), даже я подняла расслабленные чресла и двинулась к той кукурицыной тетке с банальнейшим вопросом: ЧТО ТАКОЕ КУКУРИЦА?

Тетка остановилась, вперила в меня цыганский бароний глаз и нагло заверещала на том самом многоголосом мадьярском языке, понять который не в силах ни взбалмошный русский, ни озадаченный англичанин, ни веснушчатый ирландец. А тем более – я, израильтянка с солидным стажем пребывания в невероятной иврито-русской среде, с трудом осознавшая великолепие фразы *в йом шиши пойдем на шук и сделаем книйот*[*], но так и не сумевшая ее выговорить.

Я повторила баронихе свой скромный вопрос на трех доступных мне языках, но в ответ снова получила порцию мадьярщины. Попробовала принюхаться и на нюх определить форму, цвет, ингридиенты, питательность. Ни фига. ОНО не пахло. Видно, упаковано было на совесть, дабы голодные туристы не нанюхали лишнего. Н-да.

Покупать кота в мешке, а точнее, кукурицу в упаковке, не хотелось. Пришлось мне мило улыбнуться и проворковать: *тода, геверет, ѓаит нехмада меод*[**] – и удалиться в тень. Великолепную тень дерева, листочки которого начинали звенеть в тот самый миг, когда закат расстилал на воде нежно-бордовую дорожку – от **временно** умирающего солнца – к нам, бренным.

Закат на Балатоне подобен закатам всего мира. Он напоминает смертным, только что хохотавшим, нырявшим, глотавшим пиццу и бурду, о том, что ЗАКАТ все равно наступит. И всего лишь несколько минут будут отделять мир, наполненный светом, щебетом, страстью, – от тишины. Исполненной Иным. И каждому из нас захочется – до смертного хруста в жилах – вернуть то, что было всего лишь мгновенье назад, но Иное не пустит обратно. Не пустит.

И, слава Богу, вопрос, ЧТО ТАКОЕ КУКУРИЦА, отпадет сам собой.

---

[*] В пятницу пойдем на рынок и сделаем покупки (*иврито-русский сленг*).

[**] Спасибо, госпожа, ты была очень любезна (*иврит*).

И Я ПРИДУМАЮ РАДУЖНЫЙ МИР

...Ну зачем же так? Кому нужен этот рассказ и кому нужны эти долгие излияния души в тару чужих сердец? Ну все ведь просто. Да и не ново: *человек умирает.*

Так умирали миллиарды. Животные, рыбы, люди... Я не первый, о, далеко не первый.

Чего стоят долгие ненужные мысли, упертые в закат, будто лоб – в стену... Ну да, безысходность – тяжелая наука, но и ее освоим, выдюжим, хотя... Отчего так страшно смотреть на руку, шевелить пальцами, разглядывать вены и представлять себе распад этих тканей, собственной плоти, дышащей и живущей? Пока еще дышащей и живущей! Нельзя, нельзя, нельзя. Нельзя заглядывать в глаза женщине, берущей эту самую руку в свои ладони. Женщине, приникающей к моей спине так, что я содрогаюсь от толчков ее сердца.

Мы избавлены от совместного старения. Точнее, я избавляю ее от существования рядом с моим дряхлеющим телом, неуверенной походкой, ворчливыми речами по утрам и безысходным вечерним молчанием. Избавляю от смущенного раздевания передо мной, страха показаться слишком старой, слишком ненужной, слишком говорливой...

Надо думать о Боге. Вот это, говорят, утешает. Но как думать о том, кого не знаешь, и не видел, и не слышал. Ну разве что мальчиком, прикладывая ухо к раковине и втягивая в себя гул моря, вдруг подымал глаза к небу и думал: *море–я–небо–море–я–небо...* – перебирая звенья бесконечной единой цепочки, надетой на чье-то запястье.

Ну, хорошо. Я придумаю себе бесконечный свет, назову его Богом, придумаю невесомую душу и назову ее мной. А что дальше? Я ведь должен буду приникнуть к Нему и раствориться в Нем. А вдруг Он не захочет или я не смогу, а вдруг? Он ведь припомнит мне этого горемычного котенка, которого я хотел спасти от голодной смерти и накормил бульоном, убийственным жирным бульоном. Я смотрел на это ледяное **оно**, еще вчера бывшее пушистым и теплоглазым, и не верил, и ненавидел, и... Я буду так же вытянуто и глупо лежать на черных носилках, черный ребе затянет кадиш, женщина умолкнет, чернея подглазными полукружьями... дети наденут черные очки, а Людка оправит черное платье, купленное для ЭТИХ похорон. Да не пошли бы вы все!

Завтра распахнется дверь, стремительная сухая врачиха глянет на меня и скажет: *Знаете, мы ошиблись. К счастью, мы ошиблись. Повторные анализы показали, что...* Что могут показать по-

вторные анализы? Да ничего, кому они нужны, эти повторные... Они сказали – месяц. Две недели на разгон, две – на спуск, вечность на все остальное. Мое лицо под матовым стеклом повесят на стену. Будут посматривать, отводя взгляд от второй половины выпуска новостей.

В месяце не так уж мало секунд. Если полюбить каждую и перекатывать ее с нежностью в ладонях, то родится Время. И я успею придумать себе все то, что после. Придумаю радужный мир, в котором ничто не помешает мне выбежать на берег моря, прижать к уху раковину и посмотреть на небо.

ОЗЕРО ВЕЧНОСТИ ДЛЯ СТАРУХИ С УЛИЦЫ СКОРОХОДОВА

Жила-была Старуха с улицы Скороходова. Просто старуха. Палка с набалдашником, похожим на подбородок, и подбородок, похожий на набалдашник. Они соседствовали и гармонировали, подпирая старухины глаза, вялые мешочки щек и платок холодного цвета. Девочка-октябренок приносила старухе городской батон, дочка заскакивала с готовыми парными котлетками и бутылкой кефира, соседка заходила проведать, жива ли... А на Луне старуху поджидало Озеро Вечности – Lacus Temporis. Эту конечную цель старуха наметила себе, будучи девятилетней девочкой, пока еще умевшей переноситься, куда душа пожелает. На Луне богатый выбор, она даже решила, что юность стоит провести около Залива Радуги – Sinus Roris, выходить замуж на фоне Озера Нежности – Lacus Lenitatis, рожать, окунаясь в Озеро Счастья – Lacus Felicitatis, жить невдалеке от Залива Верности – Sinus Fidei. А умереть, растворясь в Озере Вечности.

Пришлось смириться и с иными названиями. Она разучилась переноситься, куда душа пожелает, и познакомилась – по книгам – с лунными Озером Ненависти – Lacus Odii, Озером Суровости – Lacus Asperitatis, Морем Холода – Mare Frigoris... Все бы не страшно, но одно пугало старуху – боязнь, что Некто может перепутать и распределить ее не в Озеро Вечности – Lacus Temporis, а в Болото Гниения – Palus Putredinis, выбраться оттуда невозможно, на то оно и болото.

Будущее старухи состояло из недель, отсчет им вела, отстукивая палкой секунды-шаги по коммунальному коридору – в туалет и обратно.

Девочка-октябренок знала, что по вторникам она обязана выйти из старого кирпичного дома, пересечь две улицы в положенном месте, заскочить в булочную за городским батоном и подняться на второй этаж, погладив по дороге лестничного котенка. Она вставала на носочки и трижды нажимала на замусоленную пупырышку звонка. Старухина соседка тетя Аня открывала, и девочка, проговорив: *здрасьтететьаня*, – проходила в старухину комнату.

Комната была размером в тридцать девочек, если бы весь третий «а» решил навестить старуху, то места не хватило бы, ведь в классе учились тридцать пять октябрят, да и мальчишки слишком толстые и вихрастые.

Иногда девочка пыталась представить себя такой же старухой, но ничего не получалось. Даже тетей с детьми не получалось, а уж старухой – зажмуривай глаза или не зажмуривай – ничего не видно. Впрочем, она знала, что старухой придется быть не скоро, до этого изобретут лекарство для вечной молодости и бессмертия, ей повезло родиться вовремя, а старуха вот опоздала. Точнее – поторопилась. Но девочка втайне надеялась, что лекарство изобретут вот-вот и старуха получит капельку микстуры на чайной ложечке, поморщится, проглотит и помолодеет на глазах, превратясь в веселую нарядную тетечку с альбомной фотографии. Вечерами она подсаживалась к папе – смотреть выпуск программы «Время» и ждала сообщения Партии и Правительства о самом человечном лекарстве. Сообщений не было, девочка засыпала, уткнувшись носом в папино колено, и он относил ее в кроватку, бережно поддерживая нерасплетенную на ночь косичку. Ученые не торопились изобретать, у них было много других хлопотных дел – запустить в космос улыбчатых космонавтов, построить большой корабль, догнать какую-то Америку... Поэтому старуха умерла.

Девочке сказали, что шефство отменяется и теперь она должна поливать цветы на переменке. Желтая лейка и лопаточка заменили городской батон и пупырышку звонка. Девочка быстро забыла про старуху. И слава Богу, ребенку незачем помнить про смерть. Еще успеется.

Но, уже превратясь в молодую женщину, девочка внезапно и тоскливо вспомнила про старуху. Она рассказывала сыну про луну, лунный атлас лежал на ее коленях. Сын ерзал и не слушал, за окном поселился вечер, фонари и луна зажглись одновременно. ***Озеро Вечности – Lacus Temporis***, прочла она и почему-то представила себе старуху из детства. Молодая веселая Старуха сидела на

берегу лунного озера, болтала гладкими загорелыми ногами и разглядывала лунных стрекоз – чудно̀е занятие! Палка с набалдашником, похожим на подбородок, отброшенная за ненадобностью, валялась рядом...

МЕЛОДИЯ, ЖИВУЩАЯ ВО МНЕ

Здравствуйте, здравствуйте, я каждый раз удивляюсь новому утру – *все еще живу, а?* Мне все еще доступно чудо вдоха и выдоха, хрящики хрустят в утреннем потягуше, тело отзывчиво и преданно, оно мне не в тягость.

Мелодия, живущая во мне, тоже просыпается. Она неизменна. **Тара-ра-ра-тарарара-та-ра, тай-рай-та-ра-рай-та-ра-рай-рай-рай...** Ну да вы все равно ничего не поймете. Но пока я слышу ее, вот тут вот, чуть пониже сердца и направо, – я знаю, что жива. Может быть.

Я обожаю утреннюю спешку и вечернюю неторопливость. Все как положено. Природа сидит на скамеечке Центрального парка, слизывает ванильные капли с подтаявшего мороженого и наблюдает за нашим распорядком, посмеиваясь. У нее рыжие кудряшки, пряменький нос, зеленоцветные глаза и свои планы – красавица, да и только. А главное – умна и в меру стервозна.

Мы пытались подружиться, но я не смогла приноровиться к ее норову, слишком жалостлива и не так сообразительна. Пришлось удалиться, восхищаясь.

А вот – еще одна... Совершенно иной типаж, она и в подметки первой не годится, хотя строит из себя невесть кого. Глаза похожи на мыльный пузырь – радужные, круглые, бессмысленные. В них нельзя вглядываться – могут лопнуть. Волосы ее подобны старым бурым водорослям дачного пруда. Губы слишком жадны, слишком манящи. А руки... Руки холодны и худы, длинные пальцы с обгрызанными ногтями унизаны медными дешевыми колечками.

Это – моя Память.

Ей не так уж много лет. Но изношена – не по годам. Слишком часто я ее вызывала поболтать, покуривая легкую сигаретку. Слишком часто. Она меня недолюбливает, проку от этих вызовов никакого, маета, глупота, всех делов. Не прийти – не может, я ведь знаю, за какую небесную ниточку дернуть, притягивая ее, этому меня рыжая успела обучить...

Иное дело Любовь. О, мы курлычем на одном языке. Любовь проста и белокура. Она неизменно появляется в одном и том же ситцевом платье (чтобы тело дышало...), туфельки на удобном каблучке (не споткнуться бы невзначай...), никаких шляпок или зонтиков (пусть припекает...), забывает накраситься, и поэтому всем сразу становится ясно, что это – настоящая. Любовь прибегала ко мне дважды и оба раза задерживалась допоздна. Вот и подружились.

...Но есть у меня одна врагиня. Я боюсь ее чеканного профиля, нарисованных глаз, бровей, губ. Она слишком худа, костлявое плечико просвечивает – белым сквозь черную драпировочную ткань, лакированные туфли неправдоподобно остроносы, каблуки вонзаются в землю, будто иглы в податливую плоть. Духи – невыносимы. Браслеты – тяжелы. Голос... Она безголоса, а молчанье ее наполнено непроизносимым ужасом.

Я ненавижу ее. Запираю двери, приколачиваю *мезузы**, покупаю индейские амулеты и индийские ароматные палочки, заговариваю *хамсу*** и вытаскиваю красную ниточку из надоевшего свитерка.

Но пройдет еще лет сорок, она вспомнит и мой адрес, войдет в ночную квартиру, присядет на краешек постели, глянет четко прорисованным глазом. И, покрывшись последней испариной, я пойму вдруг, что ее одну я помнила и любила всю свою бестолковую жизнь.

АРМАГЕДДОН ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Всю жизнь я тянусь к Солнцу и боюсь Тьмы, ибо родилась в тот самый миг слияния ночи и утра, с которого начинается новый день. Нигде, никогда, никому не рассказывайте про это, ведь колесико моей Судьбы может остановиться, если чужой проведает о секрете. Не оттого, что – секрет, а оттого, что никому не дано знать о миге, с которого начинается новый день, а мне просто повезло родиться при соприкосновении солнечной макушки с линией Тьмы, поэтому и Солнце, и Тьма запомнили меня. И ничего тут не поделать.

Давайте сразу перескочим с младенчества на детство, начиная с

* Мезуза (*иврит*) – футляр с вложенным в него кусочком пергамента, на котором написан фрагмент из Торы. Прикрепляется у входа в еврейский дом.

** Хамса (по-арабски – «пять») – амулет в форме ладони, символизирующий покровительство Всевышнего.

возраста разглядывания мира, ухватившись за широченную взрослую ладонь.

Вы ведь тоже тогда мечтали, правда? О том, что вас забросили с тайной миссией на планету Земля, что вы наделены великой силищей, о которой эти сутулые и очкастые земляне даже не подозревают; о том, что стоит вам только поднять правую руку и направить тепловой импульс на во-он того дядьку, как он тут же испарится в неизвестном направлении... Ну, а о полетах и говорить не приходится. У нас-вас на планете Тау Кита или Альфа Центавра таким глупостям даже не обучают. Родился ребеночек, и тут же прыг-подпрыг, пяточку от пола оторвал, разлетелся, раздухарился – и в небо. В прекрасное оранжевое небо с сиреневыми облаками.

Ну и, конечно же, подрастая, молодой тау-китянин (или альфа-центавровец, по выбору фантазера) понимает ИСТИНУ, горькую, с привкусом травы, растущей на северо-западной стороне сопки имени маршала Квей-мей-топа. ИСТИНА в том, что пора и ему в дорогу – нести варварам планеты Земля все то, чему обучали молодого тау-китянина (альфа-центавровца, по выбору) в «школе жизни». И придется ему, бедолаге, колдыбачить эту самую МИССИЮ среди не умеющих летать, но умеющих стрелять землян... Колдыбачить до вожделенного прилета сменщика, озирающего инопланетными очами бренную планету Земля. А отколдыбачившему прошепчет Глас: «Возвращайся, МИССИЯ закончилась, тебя заждались дома, сынок (в моем случае – доченька)», – и рассветное оранжевое небо с сиреневыми облаками заменит предзакатное сиреневое с оранжевыми.

Это краткое описание наших-ваших мечтаний детства. Многоокий Космос, спирали галактик, россыпи звезд, тянущая душу мелодия миров... Думаю, что в зрелости те немногие, кто сохранил способность мечтать, мечтают о разном. Но чудесная инопланетная быль сменяется скорбной былью земною и вечным ожиданием Чуда.

Верьте не верьте, но майсы про измерения – вовсе не чушь... Вот – мой пример. Утро начинаю в Измерении «Сейчас», заполненном завтраком, сбором детей в школу и садик, забрасыванием в духовку размороженной курочки, намазанной майонезом и специями. Запускаю стиральную машину и выглядываю в окно, выглядывая зарево над Иерусалимом – не пришел ли? – но покамест тихо. Затем – скорые сборы в университет, где я состою на весьма непочетной и весьма неоплачиваемой должности Вечной Студентки. Добегаю до аудитории и прыгаю – со всего размаху, грузновато

и потешно – в Измерение «Тогда», озирая Византию, каролингов, готов; ха, ну и нравы у них там, чуть что – и очередной добропорядочный монах, вообразивший себя первооткрывателем очередной истины, водружается на пыточные приспособления и испускает дух. Гордый, несломленный дух, дошедший до потомков рукописями, из-за которых не только глаза испортишь, но и хребет сломаешь, так и не поняв, что же такого нового было в этой новой монашеской истине и ради чего он так ужасно мучился, бедняга.

Отвожу взгляд от святого Иеронима, строчащего Вульгату*, и – о, конечно! – завершившего жизнь свою мучеником в Вифлееме, в том самом Вифлееме, куда я в жизни не ступлю ногой, разве что Машиах поставит все точки над «i» и разъяснит некоему Вождю Доблестного и Непобедимого Народа, Угнетенного Коварным Агрессором, что пора бы о душе подумать, не то и Машиах не поможет... – отвожу взгляд от праведнейшего монаха и попадаю в Измерение «Потом».

Оно, вполне естественно, несколько надуманное, но в рамках моих координат – самое-пресамое, лучше не бывает! Все дело в том, что я верю в Третий Храм и приход Машиаха.

Давайте-ка я расскажу и вам про эту веру, кто знает... авось меня никто не обезглавит подобно тому, как обезглавила толпа язычников святого Иринея Лионского или не замучит, аки блаженного Фому в Индии. Да я и не из *той* братии. А если причислить меня к стану язычников, то – слава те, Господи, Торквемада** да-авным да-авно превратился в маленькую зловонную лужицу гнили – постфактумный факт для исторических придурков-садистов, почитателей преходящей Цели. Сколько их уже сгинуло – Великих Диктаторов, парящих в багряных небесах своих отечеств? Сколько народу они перемололи своими железными челюстями? Сколько сердец превратилось в маленький сморщенный кусочек плоти, пробитый пулей? Кто подсчитает слезы детей (о, добродетельный классик, он радел о слезе ребенка, не зная, что такое слезы детей, ведомых в газовые камеры... Певец пропахших кошками подворотен моего любимого города, смог бы он прослезиться, почуяв запах газа циклон из века грядущего?)...

Конечно, вы вовсе не обязаны принимать мою веру за Истину, я-то знаю, что их на свете – не счесть... Вот, к примеру, Истина во-он того красавца с белозубой улыбкой и чудным разрезом глаз – в том, что он мизерабельнейший мизерабль, так и не сумевший пробиться в замы к

---

* Вульгата – первый перевод Библии на латинский.

** Торквемада – глава испанской инквизиции, известный своим садизмом.

Генеральному, а Истина во-он этого мизерабля в нечищеных ботинках – в том, что он самый расчудеснейший красивец, любимчик-папуля-котик, и тест на беременность показал, что еще каких-нибудь семь месяцев – и он взлетит на седьмое небо, прижимая к себе бесценный плод любви. Все Истины на этом свете неплохи, ну, почти все, я не говорю про Истины Дураков, уверенных в том, что кровь, текущая в их жилах, отлична от крови всяких-яких. Один такой долго рассказывал мне о том, что мои предки подобны дьяволу, что все беды мира – от нас, и что расстрельные рвы ждут не дождутся новых тел... наших тел. Я и впрямь превратилась в дьяволицу, зубы мои, становясь клыками, забыли про слабость, бренность и нерегулярные визиты к стоматологу, улыбка стала гримасой ярости, глаза мои потеряли голубизну и, подобно двум огненным шарам, прожгли тело Дурака. Одного только хотелось мне: перегрызая дурацкую глотку – уничтожить сам след никчемного дурацкого бытия и самую малую молекулу возможности повторения того, что уже никогда не вернешь и не исправишь.

Ну, а вера в Машиаха... да что вам сказать! – конечно, спроси меня хоть тот же Торквемада на допросе: «А как выглядит этот твой Машиах?», – ответ мой не оставил бы никакого выхода, только костер, несмотря на мой совершенно невинный голубоглазый образ, в котором нет ни капельки ведьмовства – ни тебе смуглости с нежным отливом, ни тебе карих глаз, ни тебе припухающих губ, окаймленных розоватой полоской, с которой сам Дьявол сцеловывал бы капельку пота. Недаром ведь Инквизитор, напялив черное одеяние на немощные чресла, с ужасом и страстью превращал ненавистную живую плоть в кусок мяса.

Так вот, мой Машиах огромен и непостижим, но – одновременно – нет ничего проще, чем прижаться к его груди, обнять и вдыхать запах Цфата, перемешанный с сосновым духом весеннего дня. Представьте себе картинку: вместе с заревом нового дня появляется Машиах, задумчиво и неторопливо едущий на белом ослике в сторону Иерусалима, а следом за ним – миллионноголосье живущих, выглядывающих из окон, спешащих вослед, и умерших, восстающих из праха... Ай-яй-яй, скажете вы, бедный еврейский ребенок, напридумывала и нам эти майсы пересказывает. Ну и что, отвечу я, нас ведь много таких – бедных еврейских детей, знающих, что следом за Торквемадой и Гитлером придет задумчивый и неторопливый Машиах, поглаживающий шею белого ослика и посматривающий с нежностью по сторонам на этих самых бедных еврейских детей, стоящих по обочинам дороги, поднимающейся к Иерусалиму, и поющих «Г'алелуя!».

Софья Рон

СТОРОНА «В»

(главы из романа)

Глава 1

– Почему ты развелась?

Она перестала упорно размешивать слишком длинной ложкой остывший капучино и посмотрела в сторону. Декоративный столбик, отделанный блестящим металлом, все отражал как в зеркале и поэтому притягивал взгляд. Если бы оттуда выглядывала миниатюрная блондинка с подведенными глазами и локонами до плеч, она залилась бы краской, вскочила и ушла. Рыжеволосая зеленоглазая стерва отрезала бы, ни на секунду не задумавшись: «Потому что он был такой же зануда, как ты». Высокая брюнетка со стильной короткой стрижкой и ярко-голубыми клипсами в тон свитеру сказала бы... нет, то, что она сказала бы, Дина не могла повторить. Но всех этих экземпляров в наличии не было. Из зеркала, точнее, из столбика, на Дину смотрела шатенка в неброском сером жакете и с явно недостаточным макияжем. Надо было все-таки покрасить волосы в другой цвет. Глаза, правда, были зеленые, но разглядеть это на таком расстоянии ей не удалось. Пришлось ответить просто:

– А почему ты спрашиваешь?

Все было не так. Пирожное «сабрина», когда-то воздушное, с легким привкусом коньяка, в этом кафе оказалось приторно-сладким, с каким-то противным липким соусом. Костюм, почти совсем новый, уже несколько недель дожидавшийся в шкафу особой оказии, – облегающее платье до колен, жакет почти такой же длины, – выглядел тусклым и незаметным и сидел плохо. Волосы, упрямо сопротивлявшиеся гладкой прическе, загибались кверху. Впрочем, для этого типа напротив и так было достаточно. Пожалуй, даже слишком много.

Ему и в голову не пришло, что она отвернулась, чтобы посоветоваться со столбиком. Он это расценил как знак смущения.

– Ну как же. Когда знакомятся с серьезными намерениями, надо же понять, почему распалась прежняя семья.

Что тут скажешь. Она только и думает, как бы повежливее встать

и уйти, потому что уже почти час они дисциплинированно помешивают ложечкой – она капучино, он свой растворимый кофе, – как будто надеются обнаружить на дне чашки тему для разговора. А у него, оказывается, серьезные намерения.

– Видишь ли... (Она все же старается быть тактичной.) Сначала люди встречаются. Выясняют, подходят ли они друг другу. И только потом начинают интересоваться прошлым.

– Нет, – возразил он, – так невозможно.

– Почему невозможно?

– Возникнет эмоциональная связь. А потом выяснится, что прошлое одного из нас для другого совершенно неприемлемо. И придется идти на разрыв. Лучше все знать заранее.

Да. Это аргумент. Она оглянулась на столбик. Прическа у шатенки чуть-чуть растрепалась, и выбивавшиеся наружу задорные завитки волос отливали рыжим. Глаза сверкали в тон платью серебристого оттенка. Возможно, потому, что зажегся свет.

– Хорошо, – произнесла она вкрадчивым тоном, как на лекциях, когда приходилось отвечать на вопросы с подковыркой. – Я расскажу тебе, почему я развелась.

Он подался вперед, оперся на оба локтя и расположился поудобнее. Приготовился слушать.

– Просто у меня уже такой был, – коротко и ясно.

Он не понял.

– Как это?

– Демагог, который говорил длинными скучными фразами и смертельно боялся ответственности.

– Кто был?

– Мой бывший муж!

– Так что означает «уже такой был»?

Она была неправа. Этот даст Хаиму сто очков вперед.

– Ты что, не понял?!

Теперь он понял. Теперь надо вставать и эффектно удаляться. Но эффекта не получилось. Она забыла закрыть сумку и оттуда, громко стукнувшись об пол, вывалился пелефон. Официантка обернулась поглядеть, что случилось. Пришлось быстро подобрать пелефон и уходить, не оглядываясь. Тип уйти не мог. Ему надо было заплатить по счету.

На стоянке она открыла сумку, чтобы достать ключи от машины, но сначала извлекла оттуда вчетверо сложенный листок. Так и есть. Пункт девятый. Сторона «В» обязуется при первой встрече, каково

бы ни было ее впечатление, не говорить ничего оскорбительного и нелицеприятного стороне «С». Кажется, именно это она, сторона «В», сейчас и сделала. В тексте, правда, не говорилось, что сторона «С» может задавать любые вопросы.

Договор был на месте, зато не было ключей. Наверное, остались в замке зажигания. Она проверила дверцы. Все были заперты, нет чтобы хоть одну по забывчивости оставить открытой. Пришлось прибегнуть к испытанному методу. Защищенные от камней пластиковые стекла закрывались неплотно. Отогнув и притянув к себе переднее, она просунула руку в образовавшуюся щель и открыла дверцу изнутри. Делала она это не в первый раз, прохожие могли подумать, что она пытается взломать чужую машину; впрочем, машина того не стоила. Ключей внутри не было. Они оказались в кармане пальто.

– Ну что, получилось? Что-нибудь обещают?

Маме она сказала, что ходила встречаться по поводу дополнительной работы.

– Не знаю. То есть, неточно. То есть, они вообще-то хотят, но не знают, будет ли у них бюджет. Месяца через два станет известно...

– Все ясно. Только голову морочат. Давай, не стой в пальто. Ты будешь суп?

Есть после «сабрины» совершенно не хотелось.

– Нет, я ела. Встреча была в кафе. И потом, мне надо бежать. Где Михаль?

– Пошла с бабушкой к тебе домой. Ей нужно делать уроки, а учебники там.

– Ты хочешь сказать, что ребенок не может жить на два дома?

В сумке громче обычного зазвонил пелефон. Дина машинально нажала на кнопку, не взглянув на определитель номера.

– Ну, что? Как было? Он тебе понравился?

– Я перезвоню попозже, – быстро ответила она, – я буду дома через час-полтора.

Сторона «А». Надо же, как не вовремя.

– Ничего я не хочу сказать, – вздохнула мама, – ты психуешь, потому что с работой не вышло, и напрасно. Ты и так загружена выше головы, а деньги все равно растратишь.

В начале одиннадцатого, когда Михаль уснула и за бабушкой закрылась дверь, она задернула шторы, выключила свет в салоне,

оставив только торшер, и, забравшись с ногами в кресло, набрала номер. Красноватый абажур разбрасывал вокруг слабые блики света, охватывая только ковер и журнальный столик, немытые тарелки и кастрюли на кухне скрывал надежный полумрак, и это хотя бы отчасти обеспечивало столь необходимое для предстоящего разговора чувство уверенности в себе.

Сторона «А» была уже в курсе.

– Значит, он тебе не понравился. Ты, конечно, могла бы это выразить в более мягкой форме...

Нападение – лучший вид обороны, напомнила себе Дина и сразу перешла в наступление:

– А кто дал ему право копаться в моей личной жизни? Ты знаешь, о чем он спрашивал?

– О чем?

– Почему я развелась.

Трубка вздохнула. На том конце явно ожидали худшего.

– Ну, это еще не так страшно. (А что она имела в виду, интересно?) И потом, ты могла спросить его о том же.

– Зачем мне это надо! Но, кстати, если уж на то пошло, почему он развелся?

– Не знаю точно, это было давно, лет восемь назад. Кажется, жена от него ушла.

– С тремя детьми так просто не уходят.

– Уходят и с пятью. Ну ладно, не вышло – не вышло.

– А он что сказал?

– Был очень обижен. Сказал, что ты вела себя как бизнес-леди, как будто это не романтическое свидание, а интервью. Но ты не переживай, это всего только первый раз. На этой неделе была свадьба моей клиентки. Двадцать девять лет, но уже с тремя детьми, вышла замуж очень рано. У меня она полтора года. В прошлом году чуть не вышла замуж, но в последний момент свадьба расстроилась. Она места себе не находила, но все к лучшему, теперь я ее познакомила с программистом из Нетании, тридцать четыре года, двое детей у жены в Америке...

– Кажется, у меня вторая линия, – успела вставить Дина. Дослушивать до конца очередную историю с неизменным хэппи-эндом не было настроения. Шуламит не настаивала.

– Позвоню, когда будут новости, – пообещала она и отключилась.

Шуламит Вальсдорф возникла из газеты «Ѓа-Цофе», в которой Дина каждую субботу просматривала брачные объявления и рекламу бюро знакомств. Агентство «В добрый час» («Шуламит Вальсдорф с вами с первой минуты и до хупы, двадцать лет успеха говорят сами за себя, для вязаных кипот, только с высшим образованием»), в отличие от прочих, объявления помещало крупные и с завидным постоянством.. С месяц Дина колебалась, в конце концов решилась и позвонила по указанному в газете номеру. Шуламит откликнулась с понятным энтузиазмом. Встретиться договорились в лобби гостиницы «Рамада Ренессанс». На объявления в «Ѓа-Цофе» у агентства «В добрый час» деньги были, на собственный офис – нет. Дину это как раз устраивало. В офис она бы в жизни не пришла, к тому же, возле «Рамады» всегда можно было найти стоянку.

Госпожа Вальсдорф при ближайшем рассмотрении оказалась крупной брюнеткой в шелковом костюме персикового цвета и в шляпе с большими полями в тон костюму. Дина опоздала минут на десять (со стоянкой и правда вышло без проблем, но по дороге были пробки), однако персиковая дама сделала ей знак подождать – она была еще занята. Наконец грузный лысеющий мужчина тяжело поднялся с места и двинулся к выходу. Дину он как-то не вдохновил, но она тут же себя одернула. В объявлении говорилось, что в агентстве «В добрый час» выбор очень обширный.

Спать не хотелось. Дина задумчиво постучала пальцами по телефонной трубке. Начало двенадцатого. В такое время позвонить можно разве что Алисе, тем более, что Алиса – единственная, кто знал про Шуламит. Она набрала номер. Длинные гудки. Наконец ответила «электронная секретарша». Позвонить на мобильный? У Алисы «Селком», у нее «Пелефон», снова придет во-от такой телефонный счет.

Она поднялась, зажгла на кухне свет, выложила на блюдце кусок сыра. Конечно, нельзя есть в такое время, но один раз погоды не сделает. Чай или сок? Чистая посуда кончилась. Если чай – надо вымыть чашку, если сок – стакан. Можно, конечно, взять чашку из верхнего шкафчика, из субботнего сервиза, но это уже слишком. Несколько чашек все равно придется вымыть, для молока с корнфлексом, утром Михальке перед школой. Значит, решено: чай. С лимоном.

Шуламит тогда сказала, что проблем не будет. Сейчас многие женятся по второму разу. Тридцать два года, год после развода, один ребенок, работающая женщина, своя машина (какая именно, Дина уточнять не стала) – прекрасно. Квартиры нет – это хуже, ну ладно, не страшно. Десять лет из России – достаточно давно, акцент почти не чувствуется, она уже выглядит как израильтянка и вообще замечательно выглядит, она знает об этом? Но на большую любовь надеяться не надо – да, и красивым женщинам тоже; второй брак – это брак по расчету, по хорошему расчету, не обязательно только материальному, просто люди учатся на ошибках. А кого она хочет? Интеллигентного, с высшим образованием – ну, разумеется, в ее агентстве все такие; до сорока – хорошо, хотя не стоит так цепляться к возрасту; уроженца страны – ладно, а если он американец или из Европы, это подойдет? Ах, она не хочет именно из России, почему? Религиозных из России мало, и она всех знает? Быть такого не может! Ну ладно, хотя у нее есть как раз один из России, очень интеллигентный, врач, недавно развелся, двое детей, живет в Писгат-Зеэве, правда, Дине не подойдет, ему не то сорок шесть, не то сорок семь... Да, совершенно верно, Михаэль, так они знакомы? Нет, тайну она хранить умеет, никто не узнает, что Дина к ней обратилась, на нее можно положиться, пусть не беспокоится. Условия такие: она предоставляет десять опций в течение года, то есть, конечно, срок может растянуться, если, к примеру, Дина будет встречаться с кем-то полгода, а потом ничего не выйдет, ведь и так бывает. Вот у нее была одна клиентка, встречалась год, потом они разошлись, а через месяц она вышла замуж, нет, не за него, за самый первый вариант, а этот был четвертый, но она вернулась к первому, они оба поняли, что это самое лучшее, так бывает. Десять опций. Пять тысяч. Хорошо, ей она сделает скидку, четыре шестьсот. Перед свадьбой – дополнительная оплата, но тут ей беспокоиться нечего, это всегда берет на себя жених. Да, вот еще что: если за это время Дина с кем-то познакомится сама и выйдет замуж, денег требовать назад она не может, это как если бы она купила платье в магазине, а через месяц купила другое, еще лучше, – она ведь первое в магазин не вернет. А такое с ее клиентками бывает, хорошая примета, как только начнут встречаться, выходит, что знакомятся и сами по себе. Хотя с рекомендацией, конечно, лучше. Она, Шуламит, знает всех в Иерусалиме, да и в Гуш-Дане почти всех, все семьи вязаных кипот, до родословной, все-таки двадцать лет практики...

Она еще раз набрала номер. Длинные гудки. Наконец ответил незнакомый голос. Какая-то девочка.

– Алисы нет дома, это ее подруга, я у нее ночую. Она в Тель-Авиве, вернется поздно, просила звонить ей на мобильный. У вас есть номер?

Дина позвонила на мобильный. «Абонент временно недоступен», – сообщили ей. Видимо, у Алисы, как всегда, кончилась батарейка.

Договор с Шуламит Дина подписала тут же. На месте. И выписала отсроченные чеки. Шуламит в договоре именовалась «сторона "А"», сама она – «сторона "В"», опции – «сторона "С"». Конечно, серьезная, ответственная женщина так не поступает. Она берет документ домой и все спокойно обдумывает. Она обращается в несколько агентств и после тщательной проверки, взвесив все «за» и «против», выбирает оптимальный вариант. У нее всегда на месте ключи от машины и не накапливается в раковине немытая посуда. Она не ест по ночам голландский сыр, не ведет задушевные разговоры и не спит потом по утрам до одиннадцати. К тому же, ответственная женщина не разводится. Она правильно выходит замуж, а если не успела сделать это вовремя, не выходит вообще, ожидая совершенства, а потом публикует объявления в рубрике знакомств. «Устроенная, с высшим образованием, 39 лет, незамужняя, познакомится с соответствующим». Как будто соответствующие бывают.

Дина времени на обдумывание не попросила. Может быть, потому, что от фамилии Вальсдорф веяло надежностью и респектабельностью немецких евреев, как и от подающегося на всех свадьбах салата с одноименным названием. Может быть, потому, что надоели ночные бдения с задушевными разговорами и хотелось изменений. Прямо сейчас.

Первый вариант Шуламит предложила через два дня. Замдиректора школы из Петах-Тиквы, разведен, трое детей. По телефону Дина никакого впечатления не составила, при встрече ей сначала показалось, что это тот самый, которого она уже видела тогда в «Рамаде», потом она поняла, что нет, не он, просто похож, но внешность не обманула. Конечно же, ни обаяния, ни такта. Ни чувства юмора. Второе издание Хаима. Точнее, первое. Хаим таким станет лет через десять. Правда, он красивее. Но это пока.

Начало первого. Никуда уже не позвонишь, но не помешает проверить сообщения на автоответчике. Так, пять сообщений. Первое. Дыхание в трубку, молчание, затем короткие гудки. Кому-то не хотелось разговаривать с «электронной секретаршей». Второе. То же самое. Третье. От мамы. «У Михальки здесь нет учебников, не знаю, когда ты вернешься, попробую позвонить тебе на пелефон». Дальше. «Ты так и не перезвонила и не сказала, ждать ли вас на шабат, перезвони сразу, как услышишь это сообщение. Юдит». Последнее. Снова молчание и короткие гудки.

Нет, на шабат в Мигдаль-Эдер она не поедет. Не хочет участливых, маскирующих любопытство расспросов, не хочет сочувственных взглядов и улыбок в синагоге. Не сейчас. Потом, когда что-нибудь получится с Шуламит. Она проведет субботу дома, приедет Алиса, на вечернюю трапезу придут мама и бабушка, мама, как всегда, принесет шарлотку, после трапезы они сядут пить чай здесь, за журнальным столиком. Придется, конечно, навести на кухне порядок, иначе как готовить... «Бабский клуб» – именовала острая на язык бабушка эту компанию не устроивших свою личную жизнь женщин: ее самой, дочери и внучки, Алиса исключения не составляла. Михаль в такие вечера устраивалась тут же на ковре и спать идти не желала ни за что. Обожала взрослые разговоры, пусть и по-русски.

В семь часов зазвонил будильник. С полузакрытыми глазами Дина выбралась из кровати, разбудила Михальку, подогрела в микроволновке чашку с молоком и высыпала туда корнфлекс. Утренняя процедура занимала двадцать пять минут. Летом, когда не нужно было надевать колготки, пальто и сапоги, – на пять минут меньше.

– Мама, – поинтересовалась Михалька, – мы едем на шабат в Мигдаль-Эдер?

– Потом, – отложила решение Дина, – поговорим потом, когда вернешься из школы.

Приоткрыла дверь, посмотрела, как Михалька спускается вниз по лестнице, закрыла ставни, чтобы задержать в комнате ночь, и забралась обратно под одеяло. Спать, спать, спать...

Глава 2

Она никак не могла попасть ключом в замочную скважину, а дверь отпереть надо было срочно, потому что там, внутри, исходил криком телефон. Ключ почему-то все время выскакивал обратно, а когда в конце концов повернулся в замке и дверь подалась внутрь, телефон испустил последний пронзительный вопль и обиженно замолк. Этого звонка Дина ждала вот уже почти два года. Она схватила трубку, набрала звездочку, потом – сорок два, чтобы выяснить, кто звонил, но сотрудница телефонной компании с плохо скрытым торжеством в голосе сообщила, что в данном случае выяснить номер последнего абонента не представляется возможным. «И чему она так радуется?» – удивилась было Дина. Через некоторое время телефон опять зазвонил. Она не могла в темноте нащупать трубку, протянула руку к тумбочке и зажгла настольную лампу. Дина сняла трубку. Юдит.

– Ты что, спала? У тебя такой голос...

– Я была в душе, – пояснила Дина, с запозданием сообразив, что от этого сонного голоса не бывает.

– Я так и думала, что для тебя еще раннее утро, но мне надо бежать, я уже опаздываю. Ну так что ты решила, вы приезжаете на шабат?

– На шабат? – переспросила Дина. – Ну да, конечно...

Утром все выглядело совсем не так – не так безнадежно, как вчера. Сегодня четверг, у нее две лекции в Общинном доме, с четырех до семи, а сейчас только одиннадцать. У нее свободное расписание, она не ходит на работу с восьми до четырех, она может позволить себе выспаться по утрам. Она никуда не опаздывает, она спокойно примет душ, потом приготовит себе кофе и тост. Тост с сыром, конечно, не самое то, что нужно для фигуры, но, пока узкие юбки застегиваются, ничего страшного. У нее мама и бабушка, на которых можно оставить ребенка всякий раз, когда ей нужно уйти. Она получила развод за несколько месяцев, а ведь случается и так, что на это уходят годы. Вчерашняя неудача ничего не значит, следующий кандидат от Шуламит вполне может оказаться приемлемым. Почему бы и не поехать в Мигдаль-Эдер, ребенку так хочется встретиться с подругой, а она, если не будет настроения никого видеть, может провести весь день у Юдит, не выходя из дома. Вообще, день выдался безоблачный, и заливавший комнату солнечный свет вселял в Дину оптимизм.

На следующий день, собирая сумку, она в очередной раз решала гамлетовский вопрос: на машине ехать или на автобусе. На машине – означало взять с собой все, что только может понадобиться, свитера себе и Михальке на случай, если вдруг похолодает, и кофточки для более теплой погоды, новую Барби, книжку, чтобы подготовиться к лекциям на той неделе, и постельное белье, чтобы избавить Юдит от необходимости стирать два лишних комплекта. На машине – означало выехать из дома за час до наступления субботы и с комфортом припарковаться у самой двери Юдит. На автобусе – означало взять только самое необходимое, выехать на три часа раньше, может быть, всю дорогу простоять на ногах – в последнем автобусе часто нет мест, – потом тащить сумку от автобусной остановки: Юдит живет на отшибе. Совсем плохо, если завтра вечером пойдет дождь. У Юдит нет машины.

Но поехать на машине означало к тому же, благополучно добравшись до Мигдаль-Эдер, провести сутки в тревожном ожидании, отгоняя навязчивую мысль о предстоящем возвращении домой, одной с ребенком, по пустому шоссе, петляющему среди погруженных во тьму холмов. Не говоря уже о том, какова будет мамина реакция.

Дина оставила машину в Гило, и они сели на последний автобус. Мест хватало, и Михалька устроилась у окна с куклой на коленях – настояла-таки на том, чтобы взять ее с собой, и гардероб Барби уложила в отдельную сумку.

Автобус вынырнул из туннеля, и Дину снова охватило щемящее чувство возвращения домой. Сотни, нет, какое там – тысячи раз она ездила по этой дороге, и всякий раз что-то сжималось внутри. Ничего захватывающего, вроде бы, нет в этих скупых на краски местах, другие пейзажи не в пример красивее – серебрящиеся в лунном свете горные дороги Самарии, ярко-зеленые, как на открытках, лесистые склоны Галилеи, скалы на подступах к Эйлату, эти гигантские, на редкость профессиональные декорации, застывшие на фоне безупречно голубого горизонта. Но все это, как соседские зеленые лужайки или аккуратные цветочные клумбы, на которые смотришь иногда из окна своего дома; дом же был – здесь. Дина не могла объяснить, отчего неброская красота этих холмов притягивала ее сегодня, в точности как и одиннадцать лет назад, когда она оказалась здесь впервые; тогда тоже было начало весны и так же цвел на обочине миндаль. Экскурсионный автобус, пробравшись по узким улочкам арабской деревни, вскарабкался вверх по склону и высадил их группу у въезда в Мигдаль-Эдер. Облицованные иеруса-

лимским камнем домики с красными крышами утопали в зелени. Здесь она будет жить, решила Дина. Любовь с первого взгляда, как, наверное, бывает у удачливых женщин, которые легко влюбляются, без всяких проблем, как будто так и нужно, выходят замуж, и потом на протяжении десятков лет им не надоедает, их не раздражает, напротив, по-прежнему заставляет растрогаться живущий в их доме мужчина с его привычками, капризами, со всей изнанкой прежней романтики, и ведь не объяснишь, почему.

Автобус обогнул круглую цветочную клумбу. Конечная остановка. Клумбу здесь разбили всего четыре месяца назад, как раз когда Дина переезжала в Иерусалим.

У Юдит все было как всегда. Нагроможденные в беспорядке книги и кипа газет на столе, разбросанные по полу игрушки. Тут же еще не разобранные продукты из супермаркета в картонных коробках. Перед субботой старшие дети наводили тут порядок за считанные минуты, но сейчас, похоже, никого их них не было дома.

Михалька, швырнув сумку посреди салона, завертела головой в поисках подруги.

– Ее нет, – сказала Юдит, – пошла с папой кормить лошадь.

– А можно, я тоже с ними? – подскочила Михалька.

– Ну конечно.

Дина присела к столику на кухне, налила себе сока. Юдит помешала что-то в кастрюле на плите и опустилась рядом на табуретку. В салоне у окна, отодвинув немного в сторону сложенную на диванчике груду выстиранного белья, смотрела телевизор худенькая девочка лет девяти, в джинсах и с длинной челкой, Дине не знакомая.

– Дочка Лены, – пояснила Юдит, поймав взгляд подруги, – ты ее не помнишь, она очень выросла. Лена за границей, и она на неделю у нас.

Леной звали первую жену мужа Юдит, девочка на диване была ее дочерью от второго брака. История получалась запутанная.

Дина и Юдит были соседками по мерказ-клите – центру абсорбции. Дина приехала с мамой и бабушкой, Юдит – тоже с бабушкой, а еще с родителями и младшим братом. Собственно говоря, тогда это была еще не Юдит, а девочка Юлечка, с завязанными в хвостик светло-русыми волосами и ангельским выражением серых глаз. Ей было восемнадцать, но выглядела она от силы на пятнадцать. Юлечка с отличием закончила в Москве школу с литературным уклоном и готовилась к экзаменам в университет.

Жили они рядом, но Юлечкины родители прилагали все усилия, чтобы не пускать дочку к Дине домой. Дина, на два года старше, самостоятельная и категоричная, представляла в их глазах серьезную опасность. Юлечка, опасались они, подпадет под влияние подруги и тоже станет религиозной.

Юлин отец религиозное засилие считал основной проблемой Израиля, а религиозный истеблишмент – своим личным врагом. Довольно скоро ему представился случай реализовать свои убеждения на практике. Цукерманы, его друзья еще по Москве, а теперь соседи по мерказ-клите*, собрались разводиться.

Цукерманам, отказникам со стажем, было где-то за тридцать. Поженились они рано, старшей дочери недавно исполнилось десять, а младшие, два близнеца, только что пошли в детский сад. С детьми, в основном, сидел отец, забирал близнецов из садика, делал со старшей уроки. Мать занималась поисками работы. Иврит они оба выучили еще в подполье в Москве, но работу первой начала искать жена, Лена, – по установившемуся в семье мнению, она была практичнее.

Работы Лена не нашла, зато нашла другого мужа. Врач, ватик**, из алии семидесятых, он был старше ее на десять с лишним лет и недавно развелся. В мерказ-клите жили, как в улье, друг о друге все знали – разумеется, те, кто интересовался, – но развод Цукерманов всех застал врасплох. Они прежде не скандалили, не выясняли отношений, и на Лену с ее ватиком в городе никто ни разу не наткнулся. Соседи были поражены. В особенности, соседки.

Но тут обнаружились сложности. Илья Цукерман, отказник и преподаватель иврита в подполье, по Ѓалахе*** не был евреем – Цукерманом он был по отцу. На детях это не отражалось, Лена была еврейкой с обеих сторон, но Цукерманы почему-то решили, что, если один из супругов не еврей, развестись будет труднее. Илья попросил двух московских знакомых подтвердить, что он еврей. Одним из свидетелей был Юлин отец. Просьбу он исполнил с энтузиазмом, не только, чтобы помочь Илье, но и из принципа. Раввины, заявил он, не будут нам определять, кто еврей, а кто нет.

Цукерманы благополучно развелись, но мерказ-клиту ожидали новые потрясения, история на этом не закончилась. Сначала выяс-

---

* Мерказ-клита – центр абсорбции (*иврит*).

** Ватик – старожил (*иврит*).

*** Ѓалаха – свод законов иудаизма (*иврит*).

нилось, что все трое детей остались у Ильи; Лена не возражала. Илья, конечно, был на редкость преданным отцом, но как можно вырастить троих детей без матери, тем более, трехлетних малышей? Какая женщина возьмет на себя такую обузу? Женщина очень скоро нашлась. Восемнадцатилетняя Юлечка, отличница и примерная дочка, сообщила родителям, что выходит замуж за Илью Цукермана. Да, она все понимает, да, она собирается воспитывать его детей.

Разразился скандал. Либеральный отец запер непокорную дочь в комнате, но устарелый метод не сработал – в предоставленном семье Сохнутом трехкомнатном блочном домике не было ни башен, ни дубовых дверей с тяжелыми железными засовами. Романтический побег сложности не представлял. Юля дождалась, пока уснут измотанные криками и скандалом домочадцы, и без помех вылезла в окно, опять-таки железной решеткой не снабженное. Через несколько минут она уже была в доме у возлюбленного. На соседней улице.

Утром отец отправился в полицию, где доставил томящемуся от скуки и жары (кондиционеров, во всяком случае, в Иерусалиме и окрестностях, тогда еще не устанавливали) дежурному по отделению бесплатное развлечение. Мотивируя свое требование интересами следствия, дежурный заставлял этого чудака снова и снова излагать на своем корявом иврите историю о том, как его дочка сбежала через окно к соседу. Машинистке, уборщице, сменщику – всем, с самого начала и со всеми подробностями. Пострадавший терпеливо повторял все с начала, в точности в тех же выражениях. На третий или четвертый раз дежурный не выдержал и разразился смехом. Смеялся он долго, а отсмеявшись, объяснил оторопевшему отцу, что не дочка и не сосед, а он сам нарушил закон, потому что запирать в комнате совершеннолетнюю дочь – это издевательство физическое и моральное, даже если комната на первом этаже и на окнах нет решеток.

После неудачи в полиции Юлина мать пришла к Дине домой посоветоваться, не с Диной, конечно, а с ее мамой и бабушкой. Вчетвером они пили чай на кухне, мама советовала соседке успокоиться, может, все еще уладится и девочка вернется домой, а дальше будет видно. Бабушка заметила, что могло быть хуже.

– Что могло быть хуже! – вскинулась Юлина мать.

– Да вы не волнуйтесь, – сказала бабушка. – Сами знаете, что. Мало ли что случается в молодежных компаниях. Наркотики, абор-

ты. Вы вот боялись, что Юлечка будет ходить к нам, а напрасно. Чай вот пьете, и ничего, а чашка, между прочим, кашерная.

Бабушка Динины увлечения относила за счет присущего молодежи радикализма и кашрут дома завела исключительно с тем, чтобы внучка не ходила голодной, но соседке нежелания пускать дочку к Дине не простила и теперь с удовольствием подпустила шпильку. Та не отреагировала, ей было не до булавочных уколов, ее волновало другое.

– Как вы думаете, Роза Менделевна, не сообщить ли кому следует, что Цукерман не еврей? Тогда он не сможет жениться на Юлечке, но получится, что мы солгали в суде, не посадят ли мужа за лжесвидетельство?

– Дело серьезное, – отвечала бабушка, – я бы на вашем месте посоветовалась с хорошим адвокатом; шутка ли, показания в суде! Да вы не волнуйтесь так, выпейте еще чаю.

Уже в дверях Юлина мать произнесла запомнившуюся Дине до сих пор фразу:

– Вся эта история с Юлечкой – это нам наказание за лжесвидетельство. Наказание свыше.

Решилась соседка сообщить «кому следует» по поводу будущего зятя или нет, Дина не знала; так или иначе, выяснилось, что Цукерман по матери не еврей, но Юлиным родителям это не помогло. Напротив. Илья прошел гиюр, и через год они с Юлей, тогда уже Юдит, поженились по закону Моисея и Израиля. Дина была старше на два года, но зависти к подруге не испытывала. Илья, конечно, замечательный, но это все не для нее, она тогда ждала принца. Илья носил теперь большую вязаную кипу, Юдит – косынку, и молодая пара с тремя детьми перебралась в караван в Мигдаль-Эдер, там же два года спустя поселилась и Дина, когда вышла замуж, нет, не за принца, выдержки не хватило столько ждать. Старшая дочка Юдит, Рахелька, была на полгода старше Михали, девочки вместе ходили в детский сад, в первом классе сидели за одной партой и страшно переживали, когда Михаль с мамой переехала в Иерусалим.

Юлины родители на свадьбу не явились, с дочерью и зятем сперва вообще не разговаривали, но когда родилась внучка, все же пришли в больницу. Примирение состоялось частичное, Юдит с тех пор иногда бывала у родителей в иерусалимском районе Неве-Яаков, но «этого подлеца», заявила мать, с наказанием свыше так и не смирившаяся, она не пустит на порог, и их с мужем ноги тоже не будет в его доме. Илья сказал: тем лучше, хватит ему с лихвой и

бывшей тещи, которая время от времени приезжала к ним повидаться с внуками. От своего решения родители Юдит не отступились даже тогда, когда через четыре года у нее родился мальчик и брит-милу устроили в синагоге в Мигдаль-Эдер.

Лена, бывшая жена Ильи, к тому времени развелась со вторым мужем и теперь училась на курсах для гидов водить экскурсии по Европе. Сейчас она выехала на десять дней на стажировку, а девочку оставила у Ильи, мотивируя это тем, что его старшим детям «она все-таки сестра». Илья на жизнь зарабатывал лекциями и экскурсиями, правда, только по Израилю, а года два назад обзавелся лошадью и ездил по окрестным холмам, иногда добираясь до соседнего Эш-Цион. У Ильи не было водительских прав.

– А когда Лена закончит свои курсы и будет регулярно выезжать на экскурсии, – поинтересовалась Дина, – она, что, вообще оставит девочку у вас?

– А что, это идея, – задумчиво проговорила Юдит. – Тогда Илья, наконец, достроит второй этаж, а то все так и застряло на полутора комнатах, – но, видимо, в глазах Дины отразился неподдельный ужас, и она тут же добавила: – Да нет, не пугайся, к Лене переезжает мама из Нацрат-Илита. А ты что, подумала, что я серьезно?

– Кто тебя знает, – вздохнула Дина, – от тебя всего можно ожидать.

Зазвонил телефон.

– Деби, – сняв трубку, пояснила Юдит, – она говорит, чтобы ты обязательно пришла к ним на трапезу завтра утром.

– Михалька не захочет, – сказала Дина.

– Деби так и подумала, – сказала Юдит, – она говорит, возьмешь с собой обеих девочек. Кстати, пора уже звать их домой, переодеваться.

Прикрыв глаза, чтобы произнести благословение над только что зажженными свечами, Дина задумалась. Минуты, когда женщина зажигает свечи, считаются благоприятными для молитвы, но не может же она, как положено, просить за мужа и сыновей, чтобы изучали Тору и своими добрыми делами освещали мир, как эти свечи. У нее нет ни мужа, ни сына, но читать эту молитву она перестала за несколько лет до развода, когда осознала, что остаться с Хаимом на всю жизнь – об этом и речи быть не может и что с ним детей у

нее больше не будет. Тексты молитв не рассчитаны на соскочивших с общей трассы, хотя, если вдуматься, именно они-то и молятся по-настоящему.

– Шабат шалом, – Юдит отошла от столика с подсвечниками и опустилась на диван. Теперь можно отдохнуть. На стол у них накрывают дети.

– Шабат шалом.

– Красивое платье, – заметила Юдит, – пройдись, я хочу посмотреть. Новое?

– Купила в Тель-Авиве. – Дина поднялась и отошла к окну, скосив по дороге взгляд на внутреннюю, зеркальную стенку привезенного еще из Москвы серванта, но там, за чашками и сахарницей, виднелся только рукав. Платье и правда было особенное, оливкового цвета, из тонкой шерсти, облегающее до бедер и расклешенное книзу, с присобранным сбоку подолом, по которому в кажущейся асимметрии были разбросаны три крупных бордовых цветка. Результат деловой встречи на прошлой неделе в Тель-Авиве, назначенной в соблазнительной близости от небоскребов «Азриэли». Шестьсот шекелей. «Ну хорошо, только для вас пятьсот восемьдесят». Пять выплат по кредитной карточке, сто с чем-то шекелей в месяц, не так и страшно. Платье Дина надела впервые; конечно, брать его сюда было незачем, но, во-первых, оно не мялось и его вполне можно было свернуть и положить в сумку, во-вторых, оно подходило к платью Михальки, тоже недавно купленному, в точности того же бордового оттенка, что и цветы на подоле, в-третьих, ей просто захотелось. Теперь, рядом с Юдит в ее черной юбке и трехлетней давности белом джемпере с люрексом – кто теперь носит люрекс! – ее вдруг захлестнуло обжигающее чувство неловкости, и в комнате стало слишком жарко.

– Давно не выбиралась в город, – сказала Юдит, – надо будет завести себе что-нибудь похожее, только похудею сперва, а то после Давида никак не получается вернуться в норму.

– Что-нибудь синее, – кивнула Дина, – тебе пойдет, я сама с тобой схожу, – и, опустившись на диван рядом с Юдит, расстегнула на узком сапожке молнию. – Поищи мне что-нибудь попроще, устала ходить на каблуках. У нас, кажется, один размер.

За столом беседой завладели близнецы. Дина, откинувшись на спинку стула, оглядывала комнату, такую знакомую. Подсвечники Юдит поставила в маленькой нише напротив окна, и крохотные фа-

келы отплясывали медленный танец в черном стекле. В следующий раз она приедет сюда не одна. Познакомьтесь, это Йоси. Хотя почему Йоси, как будто нет других имен. «Познакомьтесь, это Эфи. Мои друзья, Юдит и Элияґу. Эфи Зильберман – адвокат, младший компаньон адвокатской конторы Нойбергер и Зильберман, да, возможно, ты видела вывеску, нет, не на улице Яффо, в Рехавии». – «Дина, твоя подруга не обидится, если после трапезы мы выйдем прогуляться?» – «Нет, что ты! Юдит такая милая, она все понимает. Пройдем здесь, поднимемся вверх по тропинке, здесь никого нет, сейчас, в темноте, можно различить только очертания холмов, днем, когда не поднимается туман, отсюда видна долина Аялона». – «Да, здесь так красиво, Дина, здесь я построю тебе дом с венецианскими окнами и поднимающимся до самой крыши вьющимся виноградом, здесь мы будем гулять рука об руку, когда зацветут вишни»... Впрочем, нет, так он не скажет, молодые перспективные адвокаты, даже романтически настроенные, едва ли читают Булгакова, несмотря на интригующее местное заглавие «Дьявол в Москве». Лучше так: пойдем, посмотрим, расцвела ли лоза виноградная, распустились ли гранаты. Отведи от меня глаза твои, потому что они волнуют меня. Волосы твои, как стадо коз, что сбегает с гор Гильада, пряди на голове твоей как пурпур, я хотел бы запутаться пальцами в твоих кудрях. Как красивы твои зеленые глаза, Дина, как идет к ним это платье, то есть, нет, это платье она надеть не сможет, раньше лета все это никак не случится, неважно, у нее есть другое платье, не оливкового цвета, а бледно-зеленого. «Придвинься поближе, вечерами здесь прохладно»...

– Выйдем прогуляться после трапезы, – сказал Илья, – Дина давно здесь не была.

Одна свеча догорела, остальные слабо трепыхались в темноте за окном. Михаль с Рахелькой уже убежали из-за стола и сооружали посреди комнаты дом из диванных подушек.

– После чая, – сказала Юдит, – когда младшие лягут спать.

– Лучше завтра, – Дина придвинулась поближе к столу, – по вечерам сейчас такой ветер...

– Звонил Штайнер. – Юдит поставила на стол термос и теперь расставляла на скатерти чашки, знакомые чашки с ярко-розовыми цветами и золоченой каймой. Позолота местами облезла, и от этой незавершенности линий Дине почему-то стало зябко. Она подня-

лась, подошла к окну, задернула занавески. Без зияющего черного отверстия в комнате потеплело. Свечи все равно уже все догорели.

– Этот зануда, – отозвался Илья, – знаю, он уже капал мне на мозги в синагоге.

– Что ему было нужно?

– Да все то же. Насчет лошади. Чтобы я не выезжал за пределы ишува, потому что это, видите ли, получается живая мишень для арабов. Что я для всех создаю проблемы. Я ему сказал, машины на шоссе, это, по его мнению, не мишени? Они лучше защищены, чем лошадь, эти жестяные коробки? Это чудо, что еще не стреляли на повороте, с холма, сверху, идеальное место для снайпера, там же нет поста, а движение постоянное, лучше бы Штайнер на эту тему побеспокоился. И потом, если мне нужно в Эш-Цион, он за мной пришлет машину или мне идти пешком? Это безопаснее?

– На лошади ты привлекаешь внимание, – сказала Дина.

Илья налил себе еще чашку.

– Арабы не действуют сами по себе. Они отражают наше самоощущение. Когда от нас исходит эманация страха, они нас убивают. Когда мы излучаем уверенность в себе, они бегут. Это и есть дилемма сионизма. Террор или трансфер. И зависит все от нас, иначе нас давно бы здесь не было. Численное преимущество за ними, но как они видят соотношение сил – зависит от нас.

Эманация страха. Может быть, Илья и прав. Где-то она слышала что-то подобное, только другими словами. Ну конечно. Экскурсия по Старому городу. Она тогда еще училась в «Бар-Илане», и экскурсантов тогда еще водили в мусульманский квартал. Полдень, около Цветочных ворот. Ощущение такое, что остатки полусгнивших фруктов, раздавленные помидоры и обрезки питы плавятся на асфальте, прямо под ногами, превращаясь в горячую липкую кашу. Их группа, опасливо сбившись в кучку, жмется к тротуару. Экскурсовод – высокий парень, темные вьющиеся волосы, маленькая бородка, клетчатая рубашка, цицит наружу, «узи» через плечо. Только не бояться, говорит он, только не уступать дорогу. Они в точности улавливают, боимся мы их или нет. У того, кто боится, гораздо больше шансов получить нож в спину.

Дине тогда показалось, что он смотрит прямо на нее. Она вскинула голову и быстрыми шагами направилась к воротам, между прилавками, в гущу экзотической восточной толпы. Только не смотри по сторонам, смотри вперед и вверх, туда, где развешаны их платья, эти яркие балахоны, малиновые, зеленые, синие, но все с

одинаковым, как погоны, орнаментом. Только бы не поскользнуться на шпильках, та еще, конечно, обувь для экскурсии, но кроссовок или босоножек на платформе, как у девочек из группы, у нее не было, а эти еще хоть как-то смотрелись прилично. Она уже дала согласие Хаиму, после стольких-то лет, но по-прежнему ждала чудесного случая, а случай следовало встретить во всеоружии, то есть на каблуках. Если ей воткнут нож в спину, экскурсовод выстрелит, но будет уже поздно. Если она выживет... Она в инвалидной коляске. Тонкие пальцы перебирают складки длинной, просторной, полностью прикрывающей ноги юбки. Теперь уже не стоит вопрос, какие надеть босоножки. Шушуканье за спиной. «Такое несчастье, такое несчастье. Такая красавица, эти зеленые глаза, эти пепельные локоны и – калека». – «И что, ничего нельзя сделать?» – «Нет, знаете ли, безнадежный случай. Задет позвоночник». А если ударят в шею... Нет-нет, только не в шею!

Группа ее геройство встретила сдержанным одобрением. Конец третьего курса, но она так и не стала своей. Что сказал экскурсовод, она уже не помнит, ничего существенного, и, разумеется, не попросил номер телефона, когда они садились в автобус.

– Классный парень, – заметила, устраиваясь у окна, одна из девочек.

– Живет в мусульманском квартале, женат, трое детей, – немедленно дала справку Хагит. Хагит всегда все и обо всех знала.

Дина снова откинулась на спинку стула.

– А ты что думаешь, Юдит?

Та пожала плечами.

– Илья все равно будет делать, как считает нужным. Конечно, с машинами тоже проблема...

– Ты не знаешь Штайнера, Дина, – заметил Илья.

– Почему это я не знаю Штайнера? Ты считаешь, раз я отсюда уехала, я уже никого не знаю? И ничего не могу сказать?

– При чем тут это! Ты же знаешь, что я не это имел в виду. Ты Штайнера не знала и когда тут жила. Хотя, конечно, ты могла и остаться. По крайней мере, до конца года.

– Ну что ты такое говоришь! Ты же знаешь, почему я отсюда уехала.

– Знаю, конечно, и считаю, что это глупо. Кто сказал, что ты должна на кого-то оглядываться, каждый имеет право жить, как считает нужным.

– Как она могла остаться, – вступилась Юдит, – она была бы тут белой вороной.

– А что, в Гиват-Мордехай все по-другому?

– Там город, каждый сам по себе. И потом, надо же ей устраивать свою жизнь. С кем-то познакомиться.

– Иерусалим тоже деревня, – сказал Илья, – с кем там знакомиться и где? В Общинном доме? В этом борделе Изольды Франкенштейн?

– Илья, – возмутилась Юдит, – что ты говоришь!

– А как мне ее называть, не говорить же каждый раз «госпожа директор Общинного дома Изольда Рафаэлов-Левенштейн»?

– Да нет, – засмеялась Дина, – Франкенштейн – это ей как раз подходит, Юдит не это имела в виду.

– А, бордель? Дети не знают таких слов.

– Хорошо выглядишь, – одобрительно заметила Деби. – И платье интересное. Правда, оно в таком стиле...

– Знаю, знаю, – засмеялась Дина, – в стиле Петах-Тиквы.

– Ну да, – сказала Деби, – но тебе идет.

Деби. Деби с ее сентенциями, из-за которых Петах-Тиква зримо увеличивалась в размерах, превращаясь из небольшого городка в символ – символ бездуховности и буржуазного образа жизни. В знаковое обозначение мира, где ежегодный отпуск проводят за границей, праздники – в гостиницах и где женщины появляются в синагоге главным образом с целью демонстрации мод. Деби, девочка из профессорской семьи, ухитрившаяся и в свои тридцать с лишним сохранить непримиримость юности, прежнее окружение осуждала за склонность к компромиссам. Мать Деби шляпку надевала по субботам и праздникам, а также на свадьбы и бар-мицвы, – не так уж редко, но не каждый же день. Деби головной убор не снимала даже тогда, когда оставалась дома одна с детьми, так что по-старому выкрашенные в белый цвет стены ее дома (соседки в последние годы красили стены кто в кремовый, кто в пастельный, а кто и в яркие цвета, но Деби новой моде следовать отказывалась), надо полагать, и в самом деле почти никогда не видели ее волос. Дина, во всяком случае, не припоминала, когда видела их в последний раз. Замуж Деби вышла за уроженца Кирьят-Яма, из многодетной сефардской семьи, впрочем, окончившего Технион, но родители, вопреки ее ожиданиям, против мезальянса не возражали – им понравился жених. Вообще, если родители Деби и усматривали в ее де-

монстративном стремлении «жить просто» разновидность дочернего бунта, бунт этот предпочитали не замечать, зато свекрови пришелся не по вкусу выбранный невесткой стиль и она не скрывала раздражения, когда Деби появлялась у нее в Кирьят-Яме в неизменной широкой длинной юбке, длинной блузе и косынке. «Ты не выглядишь как жена инженера», – передразнивала Деби свекровь, имитируя, как потом уже поняла Дина, знаменитый телевизионный комикс семидесятых годов, местную версию Райкина. Отношения со свекровью у Деби не сложились, и она категорически отказывалась сделать той уступку и одеваться, отправляясь к ней, «в стиле Петах-Тиквы». Дине, со слов подруги, Петах-Тиква долгое время представлялась чем-то вроде Манхэттена, этаким центром мегаполиса, где отцы семейств проводят дни в огромных кондиционированных офисах, их жены в это время примеряют наряды в бутиках, а вечерами улицы освещаются гигантскими буквами неоновых реклам, и наконец там очутившись, она долго не могла взять в толк, как может весь этот красочный и благополучный мир умещаться в нескольких маленьких уютных кварталах, которые легко можно обойти пешком в субботу.

– А мне это как раз подходит, – сказала Дина, – вот ты бы и познакомила меня с кем-нибудь из Петах-Тиквы.

Деби покачала головой.

– У меня там почти не осталось знакомых, мы и ездим-то только к родителям. И потом, поверь мне, тебе с ними будет скучно.

– А я и не ищу интеллектуального партнера. Я ищу стабильность.

– И все-таки ты к таким не привыкла. Тебе с ними не о чем будет говорить. Хотя, конечно, нельзя всех стричь под одну гребенку. Взять, к примеру, эту симпатичную пару, что поселилась в... то есть, я хотела сказать...

Муж Деби поспешно поднялся с кресла и через несколько секунд уже с шумом что-то передвигал на кухне.

– Деби, – крикнул он, – я не могу найти вторую халу!

– Уже иду, – откликнулась Деби.

– Да бросьте вы, – вздохнула Дина, – я ведь не парализованная старушка, от которой нужно все скрывать. Они сняли или купили?

– Пока сняли, – ответила Деби, – хотят пожить полгода-год, потом решат.

Говорить-то ей можно все, только утром она специально повела девочек другой дорогой, чтобы даже издали не видеть знакомый поворот, а за ним – разросшуюся смоковницу, облетевшие розовые кусты и хлопающую на ветру калитку. Хозяин так и не починил замок, а ей было уже не до того. Она и сама не знала, что ее ударит больнее: запертая дверь, наглухо закрытые ставни с их молчаливым упреком или распахнутые окна на втором этаже, чужие занавески, трепещущие на ветру, белые в цветочек в спальне, яркие в полоску в детской, оживленные незнакомые голоса в салоне. Ей не надо было сюда приезжать. Здесь все было усыпано падающими листьями воспоминаний, то кроваво-красными, то ностальгически-золотистыми, иногда уже блеклыми и пожухлыми; куда бы она ни пошла, они тянулись за ней рваным шлейфом, и было нестерпимо больно слышать, как они шуршат и ломаются под небрежными чужими шагами, хотя, конечно, это было не нарочно, ведь этого листопада никто кроме нее не видел, она сама виновата, ей не надо было сюда приезжать.

К вечеру пошел дождь. Илья дал им с собой зонтик, проводил до остановки. В автобусе Михалька задремала, привалившись к ее плечу. Дождь хлестал по окнам, пытаясь протаранить пуленепробиваемые стекла. Вполне можно было взять машину, в сплошном тумане ни один снайпер не отличил бы желтый номер от зеленого, хотя, кажется, номера у них теперь белые. В Гило ветер мгновенно вывернул наружу и разломал спицы, превратив зонтик в бесполезный пучок лохмотьев. Михалька, толком не проснувшаяся, брела еле-еле, и они, пока добрались до стоянки, промокли насквозь. Дома она поспешно раздела Михальку, вытерла ей волосы – горячей воды, в такой день, конечно, не было, – натянула на нее оказавшуюся очень кстати прямо под подушкой розовую фланелевую пижаму с синими слониками. Все, вот теперь можно спать.

Когда она уже подоткнула одеяло, Михалька вдруг открыла глаза.

– Мама, когда мы вернемся в Мигдаль-Эдер?

– Мы еще приедем на шабат.

– Нет, не на шабат. Жить.

Дина зажгла ночник, села на ковер.

– Разве тебе плохо в Иерусалиме?

– Я не говорю, что плохо. Я только хочу знать, когда мы вернемся.

– Может быть, через два-три года.

– Так долго!

– Нам здесь будет хорошо, ежик. В следующую субботу, если бу-

дет хорошая погода, мы пойдем гулять в парк. Ты знаешь, что здесь водятся олени? Мы поищем их следы, может, даже их увидим, если повезет. И потом, ты же знаешь, здесь бабушка Инна и бабушка Роза.

– Но здесь нет Рахельки. Почему бабушка Инна и бабушка Роза не могут с нами переехать?

– Не могут, я же тебе уже объясняла. Давай будем спать, а? Завтра рано вставать.

– Мама!

Дина, уже у двери, обернулась.

– Помнишь, ты говорила, мы пойдем в зоопарк?

– Пойдем, – сказала Дина, – во вторник у меня выходной.

Вернувшись в салон, она включила радиоприемник. Эта допотопная махина в углу на тумбочке ее раздражала, но Хаим сказал: «Какая тебе разница, ты с техникой все равно обращаться не умеешь», – и, в общем-то, был прав. Сперва она хлопала дверьми и кричала, что всю эту рухлядь он может оставить себе, Хаим отвечал: ты тоже, – но кончилось тем, что они все делили, упорно, ожесточенно, до мелочей, как пятилетние дети, которые пристально следят, чтобы пирог резали в точности на равные части. Холодильник – ей, стиральную машину – ему, диван и кресла – ей, стол со стульями – ему, книги – смотря по тому, кто какие принес в дом до свадьбы, остальные – тоже пополам; проще всего оказалось со спальней, потому что в свое время они не купили кровати с общей спинкой и теперь разделить их ничего не стоило. В конце концов стол со стульями Хаим оставил ей, на время, пока не женится, а сейчас он снимал комнату и держать ему все это было негде. «Только если ты выйдешь замуж раньше, – предупредил он, – я его заберу, не желаю, чтобы твой муж сидел за моим столом». – «Не беспокойся, – сказала Дина, – я не выйду замуж за оборванца вроде тебя, который даже не может купить стол со стульями, забирай все хоть сейчас». – «А что, – сказал он, – у тебя уже кто-то есть? Ну, не проживет он с тобой и года, как у него не останется денег на бензин, не то что на мебель, ты разбазаришь всю его зарплату, как растратила мою». – «Было бы что тратить, – сказала Дина, – вспомни лучше, что ты подарил ребенку на день рождения».

– Переменная облачность, – произнесла дикторша, – возможны кратковременные дожди на севере и в центре страны. Вы прослушали девятичасовой выпуск новостей радиостанции «Коль ѓа-

Дегель». В эфире программа Йоси Розенфельда «Доброй недели».

Сколько раз она давала себе обещание, что в следующую субботу в девять вечера будет занята. Что ее не будет дома. Что она выйдет на несколько минут к соседке. Начнет как раз в это время телефонный разговор. Включит телевизор.

В другой раз. На следующей неделе. Сейчас она только хотела послушать новости. Еще минута, и она выключит радио.

Знакомый бархатный баритон:

– Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер и доброй нам всем недели. К счастью, нынешняя суббота не ознаменовалась трагическими событиями, но будущее по прежнему покрыто угрожающим мраком неизвестности, и о том, что нас ожидает, мы поговорим с сегодняшним гостем нашей студии, министром полиции. Но сначала – реклама. Оставайтесь с нами.

Дина потянулась к розетке и резким движением выдернула шнур. Из розетки вырвался сноп голубоватых искр.

– Мама, – позвала Михалька из комнаты, – ты забыла включить ночную лампочку. Я не могу спать в темноте.

Глава 3

– Мидраш рассказывает, что Бат-Шева от рождения была предназначена в жены царю Давиду, более того, она знала об этом и не случайно поднималась купаться на крышу своего дома в полдень, когда город почти пуст, а крыши домов прекрасно видны с кровли царского дворца...

Дина накинула на плечи пальто. Отопления в Общинном доме не было, электрическая печка, единственная на всю комнату, грела кое-как, оконные рамы сотрясал ветер. Иерусалим, конец февраля. Начало месяца адар. Меньше чем через две недели Пурим, надо позаботиться о костюме для Михальки. Солнце, опустошающее город в изнурительно жаркий полдень, представлялось куда более далеким от реальности, нежели красавица из книги Шмуэля, сбрасывающая одежды на крыше низенького каменного дома, красавица, сумевшая три тысячи лет назад привлечь внимание старевшего царя.

– Понятно, что в полдень, – подал голос сидевший недалеко от двери Борис, – в полдень солнечный бойлер лучше работает. Горячей воды-то к вечеру не было и нет, что тогда, что теперь.

– Что же это получается, – заметила еще одна слушательница, – выходит, замужняя женщина пыталась соблазнить другого мужчину?

– Не все так просто. Не с водой, конечно, – Дина бросила быстрый взгляд в сторону двери, – хотя и с водой проблем хватает, а с матримониальным статусом Бат-Шевы. В те времена, уходя на войну или отправляясь в дальнее странствие, муж давал жене условное разводное письмо, чтобы, если по той или иной причине он не вернется, а достоверных сведений о его смерти не будет, она не осталась соломенной вдовой. В письме обычно указывался срок, по истечении которого развод должен был вступить в силу, но дело в том, что вообще-то по закону гет, то есть разводное письмо, не может быть условным и теоретически вступает в силу сразу же. Женщины, разумеется, ждали, но строго с юридической точки зрения были свободны от брачных уз. Проблема царя Давида, таким образом, состояла совсем не в том, что он вступил в связь с замужней женщиной, – Бат-Шева, как мы только что выяснили, таковой не являлась, – а в том, что он нарушил моральные обязательства вождя по отношению к ушедшему на войну солдату, ведь Ури рассчитывал, что Бат-Шева дождется его возвращения с поля боя...

Курс этот Дина вела уже несколько лет, и привычные объяснения, обгоняя ход мыслей, слетали с ее губ. Бат-Шева. Бат-Шева. Бат-Шева. Если верить мидрашу, сколько же ей требовалось веры, сколько терпения, чтобы изо дня в день подниматься на крышу, сбрасывать одежды под палящим солнцем, распускать падавшие до колен волнистые черные волосы и ждать, ждать, ждать!.. Может быть, в этом кроется ответ на вопрос, каким чудом ей удалось потом стянуть в тугой узел невидимые нити ускользающего чувства, удержать при себе царя Давида и сделать своего сына наследником. А может быть, и нет. В чем твоя тайна, Бат-Шева, как попал в твои руки заветный ключ, которым женщины с незапамятных времен отпирают наглухо запертые двери, ключ, Дине недоступный?

– Подробности после перерыва. – Она пристроила пальто на спинке стула и направилась к двери.

– Куда вы так спешите, Диночка, – остановил ее Борис, – вы, я надеюсь, не обиделись?

– Обиделась? На что? – Дина удивленно тряхнула головой, возвращаясь к действительности.

– Ну как же, насчет воды...

– Ах, это... Да что вы, нет, конечно, просто я хочу успеть во время перерыва выпить чашку кофе.

– Жалко, что не вы ведете передачу по радио про еврейскую традицию. Этот старый зануда, которого они там держат, с трудом говорит по-русски. Почему бы вам не попробовать?

– Меня туда никто не звал, – пояснила Дина и выскользнула наконец из комнаты.

В закутке, отведенном под кухню, где тоже поблескивала накаленной решеткой электрическая печка, только тут она была гораздо эффективнее, секретарша Ирена уже разливала кофе. Ирена всегда и всюду ухитрялась создать необъяснимое ощущение уюта, вот и сейчас керамические чашки с выщербленными краями, одна синяя, другая зеленая, на цветастой клеенке, и аккуратно разложенное на пластиковой тарелочке печенье из лавки внизу создавали впечатление изысканного домашнего чаепития. С Ireной, как и с Юдит, они тоже были когда-то соседками по мерказ-клите; как и Юдит, домой к Дине Ирена не ходила, но не потому, что мама не пускала, Ирена была уже замужем, однако Дине честно объяснила, что приходить к ней боится. «Ты на меня повлияешь, – заявила она тогда Дине, – я тоже стану религиозной, начну каждый год рожать по ребенку и так располнею, что скоро в дверь не войду».

С тех пор они не виделись лет семь, а когда наконец встретились, Дина, явившаяся в тот день на самую свою первую лекцию в Общинном доме, – как она тогда волновалась! – ответила растерянным взглядом на приветственный возглас сидевшей за конторкой секретарши.

– Ты что, не узнаешь? – догадалась та.

Дина вгляделась пристальнее: Ирена.

– Надо же, столько лет прошло Ты, значит, вышла замуж?

– Ну да, – подтвердила Дина, – живу в Мигдаль-Эдер, да, на территориях, нет, недалеко, в Гуш-Эционе.

– Ну, замечательно! А мы купили квартиру в Гило. У тебя, конечно, есть дети?

– Девочка, – сказала Дина.

– Вот как! И у меня девочка, – и тут, оглядев друг дружку, обе они разразились смехом, вспомнив те споры семилетней давности, потому что Дина снова носила свой тридцать восьмой размер, Ирена же после родов как раз располнела, неудивительно, что Дина сна-

чала ее не узнала, что-то гормональное, а может, просто наклонность была такая. Никаких комплексов, однако, у Ирены по этому поводу не было, вокруг ее конторки вечно крутились поклонники из числа посетителей Общинного дома, но без последствий. Ирена, как сказала бы Динина мама, была в полном смысле слова Ответственная Женщина, у которой прибрана квартира, на каждый день приготовлен обед, суп и второе, ухожены и присмотрены и ребенок, и муж, и уж конечно, она не из тех, кто разрушает семью без уважительной причины, просто от неудовлетворенности жизнью, каковой, впрочем, не испытывает.

Дина протиснулась за столик, придвинула к себе чашку.

– Повезло тебе, что ты здесь по воскресеньям не бываешь, – заметила Ирена, – вчера заявилась Изольда, злая как черт, все тут на ушах стояли.

– А что, что-нибудь было не так?

– Да нет, просто королева была не в настроении.

Директор Общинного дома Изольда Рафаэлов-Левенштейн должность эту занимала десять лет и все эти годы была грозой сотрудников. Девочка из бухарской семьи, закончившая балетное училище в городе, название которого Дина много раз слышала и тут же забывала, она, оставив позади многочисленных соперниц, в семидесятые годы выиграла непростую битву за руку, сердце и амидаровскую квартиру в Тальпиот-Мизрах назначенного директором только что открывшейся радиостанции «Алия» Григория Левенштейна. Брак этот для Левенштейна оказался третьим, но прочным, радиостанция, обладавшая монополией на «русской» улице, позволяла ему без отмычки отпирать двери иерусалимского муниципалитета, вплоть до кабинета мэра, так что, когда в центре города открылся Общинный дом, вопроса о том, кто его возглавит, не возникало. Не то чтобы постаревший Левенштейн изменил привычкам молодости, с годами его брак с Изольдой все больше напоминал основанный на общих интересах монархический союз. Квартира в Тальпиот-Мизрах давным-давно уступила место вилле в Эйн-Карем, где могущественная пара устраивала приемы, Дина там ни разу не была, но, по слухам, приемы больше походили на оргии. Ближе к полуночи, оставив гостей у заставленного бутылками стола, всесильный хозяин уводил наверх по витой лестнице очередную одалиску, у которой слегка кружилась голова от водки и бренди, сигаретного дыма и обильно сдобренных матом интеллектуальных раз-

говоров в окружении антикварной мебели и тяжелых золотисто-коричневых бархатных портьер. Хозяйка себе в развлечениях тоже не отказывала, но, если Левенштейн о своих фаворитках заботился и впоследствии устраивал их на радиостанцию «Алия» либо выдавал замуж, а при удачном стечении обстоятельств и то, и другое вместе, то Изольда вела себя как царица Тамара: сменявшие друг друга в смежном с боссом кабинете заместители директора Общинного дома в течение считанных месяцев, а иногда и недель, отправлялись на биржу труда. Илья Цукерман, из породы талантливых неудачников, профессиональный уровень радиостанции Левенштейна определял как «смесь бухарского с нижегородским» и попытки устроиться туда на работу расценивал как изначально обреченные на провал. Королеву Дина видела крайне редко. Оформляясь на работу, она, как и все, прошла обязательную аудиенцию. Изольда запаздывала, ждать полагалось в приемной, наконец двери распахнулись и через холл, не оглядываясь, прошествовала дама в ярко-желтом костюме с мини-юбкой и в черных кожаных сапогах выше колена. Походка у нее сохранилась балетная, вот только распущенные по плечам черные волосы плохо гармонировали с уже появившимися на лбу и вокруг глаз морщинами. Сзади семенил очередной заместитель. «Ей разве что стека не хватает, правда?» – шепнула сидевшая в приемной Ирена, беззвучно, только губы шевельнулись, но Дина поняла и напряженно кивнула головой. Аудиенция заняла не больше пяти минут.

Мобильник, она отключила его, чтобы не мешал во время лекции, вспомнила Дина, нажала на кнопку – и аппарат тут же зазвонил, как будто только этого и ждал.

– Записывай номер, – без предисловий перешла к делу Шуламит Вальсдорф, – то, что тебе надо. Из Реховота, высокий, симпатичный, двое детей, только двое, вторая степень, не помню, какая именно, он по этой специальности не работает, у него магазин канцтоваров в центре города, семейный бизнес.

– Может, лучше он сам мне позвонит, – сказала Дина.

– Конечно, он сам позвонит, но номер на всякий случай все-таки запиши.

На следующий день она стояла в раздумье перед распахнутыми створками шкафа. На этот раз никаких бизнес-леди. Что-нибудь романтическое. Узкая длинная черная юбка с разрезом сбоку, черная трикотажная блузка с отороченным мехом воротником. Маленькие

жемчужные сережки, волосы перехвачены черной бархатной лентой, совсем чуть-чуть косметики.

Стоянку она нашла прямо возле кафе «Ґилель». Накрапывал дождь, затянутые тонкой водяной пленкой тротуары поблескивали, отражая матовый свет фонарей, так что улица Эмек-Рефаим, всегда по вечерам полуосвещенная, приобретала сегодня какой-то неуловимый отсвет очарования и праздника, обещания и тайны. Дина выбрала столик у стены, в глубине зала, стряхнула с зонтика тяжелые капли. Кажется, тогда тоже шел дождь. Сколько лет прошло? Четыре, пять? Нет, чуть больше четырех. Это было в самом конце осени, когда все началось, зима была уже в разгаре, она задергивала кремовые шторы и оставляла зажженным только бра на стене; они любили светлые цвета, хозяева этой квартиры, и действительно, это было красиво: низкие кресла с бежевыми подушками, желтые блики света на белом пушистом ковре – и ритмичный шум дождя за шторами, и приглушенный двойными рамами вой ветра за окном. Ей нравилось думать, будто это ее дом и не нужно смотреть на часы, и Михалька спит за дверью в соседней комнате, и не придется скоро, так скоро, опасливо оглядываясь и не зажигая свет на лестничной площадке, спускаться вниз, распахивая тяжелую дверь ухоженного фойе навстречу пронизывающему холоду. Возвращаться к действительности.

– Я опоздал?

Дина подняла глаза. Вспомнила, что надо улыбнуться.

– Нет-нет, все в порядке. Это я пришла раньше.

– Я Иерусалим почти совсем не знаю, заняло время найти эту Эмек-Рефаим. Но место особенное, наверное, когда нет дождя, тут есть на что посмотреть.

Он опустился на стул напротив, Дина проследила за направлением его взгляда, все явно произвело впечатление, и черная узенькая полоска меха вдоль воротника, и бархатная ленточка в волосах. А если бы такой она появилась здесь тогда, элегантной, уверенной в себе, с маленькой сумочкой вместо того идиотского полиэтиленового мешка с нарядным платьем, в которое следовало переодеться, чтобы потом идти на свадьбу, она уже не помнит, чью, – может, все сложилось бы иначе? Может, у нее был бы шанс?

– Ни в чем ей не отказывал. – Дина поймала себя на том, что не слушает и с ходу попыталась восстановить упущенные подробности. – Захотела поменять мебель в салоне – пожалуйста, хотя салон новый, всего два года как купили. Машину – хорошо, будет тебе

машина, заказал ей фиат-уно, по каталогу, красный, как она хотела. А она еще жалуется: тебя вечно нет дома, что мне тут делать в четырех стенах! Пусть бы и пошла на работу, было бы чем заняться, – но зачем, если ей и так только птичьего молока не хватает?

– «Безделье, – процитировала Дина, – приводит к скуке».

– Точно. Откуда это?

– «Шульхан арух». Замужняя женщина не обязана зарабатывать на жизнь, но немного работать ей рекомендуется, чтобы не было слишком скучно и нечем заняться...

– Надо же, никогда не встречал женщину, чтобы цитировала «Шульхан арух». Ну конечно, ты ведь лекции читаешь. Короче, она говорит: поеду, мол, на несколько дней прошвырнуться по Европе с подругой. Заодно купят себе что-то, как раз весенний сезон, или осенний, не помню уже, что там у них. Ладно, хочешь – поезжай. Она уже там, и вдруг на следующий день я натыкаюсь в городе на эту самую подругу, Дорит ее звали. Как, говорю, ты разве не в Париже? Она на меня смотрит, как будто в первый раз видит. Что, какой Париж? Ах, да, Париж, ну да, мы вместе собирались ехать, но у меня в последний день все отменилось, пришлось ей лететь одной, так обидно. Тут я вспоминаю, я же не отвозил их в аэропорт, она сказала, не надо, их отвезет муж этой Дорит. Выходит, Дорит знала. Весь Реховот знал. Только я, как последний идиот, ничего не подозревал.

– И что потом? Когда вы развелись, он женился на ней?

– Нет, конечно. Зачем она ему нужна, он же не дурак. Дети остались с ней. Что я мог сделать, такие законы.

Дина скосила глаза на тарелку. Остался маленький кусочек творожного торта. Что она ела тогда? Кажется, луковый суп, потом спагетти. Да, верно, она тогда попробовала луковый суп в первый раз.

– Поздно уже, мне еще в Реховот ехать, дороги скользкие. Ну как, можно будет тебе позвонить?

Вот он, решающий момент.

– Знаешь, когда мне Шуламит сказала: лектор, да еще в колледже преподает (верно, она в прошлом семестре начала курс лекций в колледже в Бейт-Шемеше), – я тут же представил себе...

– Знаю, знаю, что ты себе представил. Дама с короткой стрижкой в костюме неопределенного цвета, я права?

– Да, мне такие попадались. Но мне было важно, чтобы женщина работала, я сказал Шуламит, хватило с меня. Но ты другая, совсем

не то, что я думал. И акцента у тебя почти нет. Ну так как, можно будет тебе звонить?

– Можно, – сказала Дина и уже потом, оставшись одна в машине, подумала: «Зачем, собственно, я это сказала?»

Дождь перестал, она выключила дворники. Направо, налево, снова направо, обогнуть круглую площадь. На улицах ни души, по вечерам этот молчаливый квартал с его мраморными арками, ажурными решетками и аккуратно подстриженными кустиками представляется заколдованным городом, жители которого исчезли по мановению невидимой руки, оставив все в безупречном порядке. Теперь еще раз направо и вниз, вот он, тупичок, сколько она здесь блуждала, в Старых Катамонах, на этот раз нашла дорогу с первого раза. Зеркало внизу в фойе, кадки с цветами на лестничных площадках. Второй этаж. Кокетливая табличка на двери, «Розенфельды, профессор Элияґу и Анат». Зачем она пришла, что, если кто-нибудь выглянет из квартиры, впрочем, она всегда может сказать, что ошиблась, зашла не в тот подъезд. Но глазок на двери отсвечивал черным. Профессор Элияґу Розенфельд, по всей вероятности, выехал с супругой в очередное лекционное турне, и квартира, как обычно, пустовала.

Когда она вернулась домой, Михалька уже спала. Бабушка смотрела телевизор в салоне.

– Звонил этот, – сообщила она, – Хаим. Напомнить, что на эту субботу Михалька у него, – и, оглядев Дину, поинтересовалась: – Ну как, что-нибудь дельное? Или просто так?

– Просто так, – подтвердила Дина. – Просто так.

А если вдуматься: почему бы и нет? У нее будет свой дом. Кремовые шторы на окнах, кресла с бежевыми подушками, золотистые отблески света на белом пушистом ковре. Настоящие серебряные подсвечники на низеньком столике. Он не будет возражать, напротив, сочтет, что у нее хороший вкус, у той, прежней, с ее поездками в Париж за покупками, наверняка вкуса не было. Михалька в соседней комнате, а еще по квартире носится мальчик, в коротеньких штанишках и матроске, с зелеными глазами и белокурыми локонами до плеч, их же не стригут до трех лет. Все так, весь реквизит, только это не Мигдаль-Эдер и не Старые Катамоны, а Реховот. Вместо подернутых сиренево-розовой дымкой кустов миндаля – апельсиновые плантации, вместо иерусалимского камня – аккуратно побеленные дома, вместо пронизывающего ветра – влажный теплый воздух, вместо... Но, в конце концов, нельзя же все иметь.

Она сняла трубку. Набрала номер. Алиса со второй попытки обнаружилась на мобильном, но батарейка уже агонизировала.

– Посидим завтра с утра где-нибудь в центре, – предложила она, – ты мне все расскажешь по порядку.

– В одиннадцать, – сказала Дина. – Нет, к одиннадцати мне не успеть, в половине двенадцатого. Только не опаздывай, а то я тебя знаю, а у меня завтра в два лекция в Бейт-Шемеше.

– О чем ты говоришь, – успокоила ее Алиса, – конечно, не опоздаю, мне самой потом на работу.

...Алиса, разумеется, опоздала. Дина, после нескольких попыток убедить официанта, что она ждет подругу, не выдержала и после его очередного рейда к занятому ею столику заказала салат по-гречески. Когда она добралась примерно до середины, дверь с шумом распахнулась. Наконец-то. Яркая шаль накинута на расстегнутое пальто, поверх шали длинные пряди черных волос. Алиса помахала Дине рукой, в которой держала мобильник, смахнула по дороге сумкой пепельницу с соседнего столика, впрочем, та не разбилась. Официант, прежде к словам Дины относившийся с явным недоверием, восхищенно присвистнул. По его мнению, такую подругу явно стоило подождать.

Алиса опустилась на стул, продолжая начатый еще до ее появления в кафе телефонный разговор. На черном чулке обозначилась и медленно поползла вверх тонкая стрелка.

– Зеленый салат и бутылку минеральной воды. Нет, не содовой, без газа, это полнит. Что? Нет, я не сказала, что тебя это полнит, это я официанту, я на деловой встрече в кафе. Нет, я же тебе уже объясняла, что у мужчин отсутствуют объективные критерии. Не пытайся соперничать с его бывшей женой, дай ему то, чего у него не было раньше. Вот-вот, домашний уют. Приготовь что-нибудь, пусть он придет к нам, я останусь ночевать у подруги. Соседка по квартире, – чуть понизив голос, пояснила Алиса Дине, – еще только пару минут.

Новая напарница, Дина ее еще не видела. Из пяти или шести девушек, поочередно занимавших вторую комнату в квартире, которую Алиса вот уже долгое время снимала возле перекрестка Пат, ей запомнились самая первая, продержавшаяся больше двух лет, и еще одна, выбравшая для себя редкое имя – Зильпа. Первая, маленькая, полненькая, кругленькая, пыталась поддерживать в квартире рекламируемый теперь Алисой по телефону домашний уют,

задрапировала яркой, правда, постоянно сползавшей в сторону тканью обшарпанную стену в салоне, подобрала в тон коврик, закрыла цветной мохнатой скатертью с кистями, свисающими до пола, видавший виды журнальный столик, но до кухни у нее руки не доходили, возможно, она считала, что это пока лишнее, что сначала следует найти мужа, для чего и прилагала соответствующие усилия. Дина как-то осталась у них ночевать – машину взял Хаим, а на последний автобус она опоздала, – и утром, в результате тщательнейшей инспекции, в холодильнике обнаружила только яйцо, половинку помидора и открытую банку йогурта: Алиса, как и сейчас, сидела на диете, впрочем, дома ее уже не было. Ее напарница, стоя у плиты в распахнутом халатике, помешивала на сковородке длинной деревянной ложкой нечто белое, булькающее, на вид явно несъедобное. «Воск, – пояснила она недоумевающей Дине, – нет, не для свеч, при чем тут свечи? Снимать усики».

Зильпа, полная противоположность специалистке по косметике, была женщина-гренадер, Дина еле доставала ей до плеча. Ухищрениями вроде воска для удаления усиков Зильпа не интересовалась, посещала вечерние занятия, куда ходили преимущественно американки, и когда Алиса пользовалась ее продуктами (а такое случалось), оставляла подробные записки с цитатами из Гемары, где объясняла, почему делать этого не следует. В те вечера, когда занятий не было, к Зильпе приходил друг, ученик йешивы, недавно вернувшийся к Торе, младше ее лет на шесть (Зильпе было не то двадцать семь, не то двадцать восемь), маленький, щупленький, тоже едва достававший ей до плеча, так что напоминала эта пара бабелевскую Басю с ее Соломончиком Каплуном. Мальчик оставался на ночь, по утрам читал на кухне утреннюю молитву и требовал, чтобы Алиса выключала радио, потому что женский голос задевает его скромность. В одно такое утро Алиса не выдержала и пообещала позвонить главе его йешивы, чтобы выяснить, что именно вступает со скромностью в большее противоречие: женский голос из репродуктора или ночные визиты к ее соседке по квартире. К поднятому вопросу мальчик отнесся со всей серьезностью и после этой примечательной беседы исчез бесследно. Зильпа, в отличие от Баси, была бесприданницей, отца, который мог бы о ней позаботиться, при ней не оказалось, а жаль – исчезнуть совестливый мальчик исчез, но память о себе оставил, и очень заметную. К счастью, вмешались дамы-патронессы с вечерних курсов, глава йешивы оказал им полное содействие, и месяц спустя Зильпа стояла с мальчиком

под хупой, а еще через несколько месяцев родила близнецов. Деби выхлопотала молодой паре караван в соседнем с Мигдаль-Эдер поселении Эш-Цион, Зильпа с тех пор родила еще троих, и все было в порядке.

Алиса закончила наконец телефонную консультацию, расправилась заодно с зеленым салатом и, секунду поколебавшись, подцепила вилкой из тарелки Дины пару маслин и квадратик сыра.

– Ну, видишь, этот не стал тебя расспрашивать, почему ты развелась. Когда человек рассказывает о себе, это как-то более нормально.

– Как сказать. Что-то тут неестественное. Супружеская измена, с любовником в Париж... Слишком уж сюжетно. Так на самом деле не бывает.

– Судя по тому, как ты его описываешь, сам он такого бы не выдумал. У него явно нет литературного воображения. Я возьму еще кусочек сыра?

– Особого воображения тут и не нужно. Сюжет самый банальный.

– Очень даже нужно. И потом, почему ты считаешь, что в жизни так не бывает? Чего не бывает? Измены? Кто бы говорил. Именно поэтому ты ему назначила встречу в Эмек-Рефаим?

– О чем ты говоришь. Ты же знаешь, что это совсем, совсем другая история. Ты же знаешь, что между нами ничего не было.

– Ты, конечно, можешь так считать, если тебе нравится.

– При чем тут нравится – не нравится. Я просто люблю точность.

– Хорошо, пусть будет точность. Но в любом случае назначать встречу в этом кафе в Эмек-Рефаим – это все равно, как будто... как будто...

– Что-нибудь еще? – к их столику снова подошел официант. Склонился над стулом Алисы. – Суп? Рыбу? Тогда, может быть, десерт?

– Яблочный пирог и капучино, – сказала Дина, – ты будешь?

– Нет, конечно, мне только двойной эспрессо. И как это ты столько ешь! Тесто... Капучино... Сплошные калории!

– Надо же мне поесть перед лекцией. Я не могу питаться травой. Я не кролик.

– Что не кролик, это точно. Если столько есть, получится не кролик, а корова.

– Коровы как раз питаются травой, а не пирожными.

Официант поставил перед Алисой эспрессо, и она, выбрав нужный пакетик, высыпала в чашку сукразит.

– Тебя не убедишь. В общем, что я хотела сказать... Я хотела сказать, что назначать там встречу, это... это...

– Это, – закончила Дина, – как будто начинать новую жизнь на кладбище.

– Да, пожалуй, так. Определения тебе всегда удаются. Но почему ты ему сразу не сказала, что ничего не получится?

– Не знаю. Не сумела. И потом – что, если другой возможности у меня не будет?

– Что за чушь. У тебя же еще восемь вариантов.

– А если все остальные будут ничуть не лучше?

– Начинается. Снова твои вечные страхи. Ты ведь и за Хаима вышла из-за боязни, что других вариантов не будет или что они будут ничуть не лучше. Я возьму у тебя попробовать кусочек пирога? Совсем маленький...

Следовало, конечно, позвонить и сказать, что она передумала, но Дина со дня на день откладывала разговор. На исходе субботы он позвонил сам, договориться о следующей встрече. Дина несколько секунд молчала в трубку, потом решилась.

– Не стоит, – пробормотала она, – я подумала и поняла, что у нас не получится.

– Почему не получится? – не понял он.

– Не получится и все, – сказала Дина, – это трудно объяснить.

– Это все отговорки, – настаивал он, – все можно объяснить. Женщины всегда любят все усложнять...

Вот и все. Она захлопнула очередную дверь, не удосужившись за нее заглянуть. Реховота не будет.

Начало одиннадцатого. Передача на «Коль ѓа-Дегель» уже закончилась. Она набрала звездочку, потом сорок три, чтобы не высвечивался номер ее телефона. Потом – номер, который не забыла до сих пор.

– Доброй недели, – мягко произнес профессионально поставленный голос. И, после нескольких секунд молчания, добавил уже с оттенком нетерпения: – Вас не слышно, перезвоните.

Она с силой нажала на рычаг и отодвинулась от столика, в самый угол дивана, как будто из студии «Коль ѓа-Дегель» – или из машины, он, скорее всего, уже в машине, – можно разглядеть, кто и откуда звонит.

Владимир Ханан

ТАЙНЫ РЕМЕСЛА

(Три рассказа)

Кажется, у Довлатова это где-то промелькнуло, где, не помню, да и неважно. Эту историйку я услышал в первый раз довольно уже давно от нашей общей приятельницы Тани Юдиной, не раз упоминавшейся в довлатовских записных книжках. Они переписывались, Танька читала мне наиболее интересные письма – так, о знаменитой эпистоле Довлатову от Воннегута я узнал из письма, намного раньше его русскоязычных читателей.

А сам анекдот – в первоначальном значении этого слова – таков. Некий молодой человек, решивший стать писателем и усиленно постигавший тайны писательского ремесла, объявил, что одну тайну, из самых, подчеркивалось, главных, он уже постиг. Самое трудное в рассказе, говорил он, это концовка. Так вот, он нашел универсальную формулу этой самой концовки, подходящую практически для любого рассказа. Плюс абсолютная простота и стопроцентный успех. Примеры? Извольте. Война, молодого солдата отправляют в разведку. Трудное задание, риск, реальная возможность гибели. Концовка: «Капитан долго смотрел ему вслед...» Еще. Из другой оперы. Конец пятидесятых. Молодой парень рвется на целину. Белоручка, еврастеник. Начитанный, но слабый. Но рвется. Там – трудности, лишения, кочевой быт. Концовка: «Секретарь райкома долго смотрел ему вслед...» Еще. Больница. Молодой человек после тяжелой травмы. Врачи однозначно: не будет ходить. Медсестра – самоотверженная, молодая, красивая. Влюбленность, роман, роковая страсть (он уже ходит). Наконец, выписывается, уезжает. Концовка: «Медсестра долго смотрела ему вслед...»

Последний пример меня добил, то есть убедил окончательно. Правота молодого писателя была мне очевидна. Я и до этого интуитивно чувствовал, что есть, есть какие-то формулы, которыми втихомолку пользуются «инженеры человеческих душ». Что помимо таланта и вдохновения держат они в своих тайных кладовых и иные, так сказать, кирпичики, из которых складывают свои «нетленки» и «эпохалки». Следовало только провести проверку практикой – и я взял вышеприведенную формулу, не страшась обвинений в плагиате, ибо – об этом говорит вся история литературы – прием, найденный одним автором, становится законным достоянием всех. Вариант с медсестрой показался мне самим многообещающим и, в силу заявленной профессии, наиболее универсальным. О результатах судить читателю.

Рассказ первый

СЕРДЦЕ РАЗВЕДЧИКА ПРОХОРЕНКО

– Товарищ генерал! Полковник Прохоренко явился по вашему приказу! Что случилось, Алексей Петрович?

Несколько секунд генерал, не мигая, пристально смотрел на вошедшего и, не принимая неофициальный тон, сказал:

– Садитесь, полковник. Садитесь и расскажите, причем прежде хорошенько подумайте... Только не выдумывайте, не выдумывайте! – раздраженно повторил генерал, – короче, рассказывайте о ваших, так сказать, делах.

– О каких именно, товарищ генерал? – спросил Прохоренко. – Я же вчера направил вам подробный рапорт по всем подлодкам класса ГП-137А, его что – не передали? Могу доложить устно. Все это барахло у нас берут с дорогой душой, а по цене выше, чем мы рассчитывали. Похоже, их хотят толкнуть куда-то в Африку, тамошним обезьянам, как действующие. У нас по документам они проходят как простой металлолом, да еще в разборе... То есть пять уйдут как три. Деньги через оффшорную, как вы приказывали...

– Передали, передали, – криво усмехнувшись, сказал генерал. – Через третьи руки! Ты, что, не понимаешь, что об этом письменно... Ладно, проехали. Расскажите нам лучше, полковник, – голос генерала снова стал официальным, – о других своих делах: как давно и по какой цене вы продаете иностранцам оборонные секреты нашей Родины?

– Какие секреты? О чем вы, товарищ генерал? Кому я... – полковник приподнялся и снова сел, почти упал на стул, – я вас не понимаю...

– Не понимаешь? Он не понимает! – зло сказал генерал. – А это что? – в его руках оказалась какая-то странного вида газета. – А твое сраное интервью этой... как ее?..

Он наклонился к селектору:

– Игорь, принеси перевод из японской «Кимоноку расава».

Через десять секунд генерал держал в руках несколько страниц машинописи.

– Вот, здесь: «Наша страна не держит оружие массового поражения на Сахалинской гряде...» А вот еще: «Склад бактериологического оружия в Волочаевске-17 ликвидирован еще в прошлом году в соответствии с договором от...»

Генерал швырнул листки на стол.

– Ты что, тридцать лет в разведке, зубы на этом съел, голова вон вся седая, не знаешь, что это и есть наши главные секреты – о том, чего у нас нет? Ты знаешь, что с нами Москва, – он кивнул в сторону неснятого портрета Андропова, – сделает?! В общем так, Матвей Данилович, – голос генерала был почти спокоен, – это дело нам с рук не сойдет. Это не подлодки... Значит, вариант у нас один. Ты сегодня же пишешь рапорт на увольнение в запас по состоянию здоровья и уходишь – пока в отпуск. Рапорт я придержу – мало ли что... Может, и обойдется... А не обойдется – в отставку, с полным пансионом. Будешь рыбку ловить... Где твои старики? В Ростове? Посидишь с удочкой у теплого моря, не то, что наше... Да не нервничай так! Рожа красная, как после поллитры. Давление? Это при нашей работе профессиональное... Я предусмотрел. Щас тебе укольчик, в приемной сдашь рапорт капитану – и домой, в постельку...

– Кустарникова здесь? – спросил он в селектор. – пусть зайдет.

– Лариса Андреевна, – сказал генерал вошедшей в кабинет сорокалетней женщине в белом халате, туго облегавшем ее аппетитное тело, – сделайте-ка нашему отпускнику успокоительный укольчик, а то он у нас за последнее время что-то сильно разволновался. Вы медсестра опытная, не мне вас учить.

Генерал исподлобья заглянул в красивые, блестящие, слегка расширенные зрачки Ларисы Андреевны и, вздрогнув, отвел глаза.

– Отпускнику, – ласково говорила Лариса Андреевна, между тем руки ее быстро готовили все для укола, – сделаем, как отпускнику, – проговорила она, уже вводя иглу в вену полковника Прохоренко. – Вот и все. Вот и хорошо.

– Ну, ты все понял. Будь. Если что, звони, – уже скороговоркой говорил генерал в спину выходящему.

«Жалко, конечно. Но как разведчик он все равно пропал, – глядя на закрывшуюся дверь, думал генерал. – Даже не вспомнил, с чего начинается наша служба. А начинается она со слов "из разведки не уходят – из нее выносят вперед ногами". Все. Проехали».

Сдав рапорт дежурному адъютанту, полковник Прохоренко шел длинным коридором управления и думал: «Обойдется не обойдется, а отдохнуть и впрямь пора. Вон как сердце разболелось».

А тем временем вышедшая из тех же дверей медсестра Лариса Андреевна Кустарникова, поставив на пол свой чемоданчик-аптечку, прикуривала длинную сигарету «Данхилл» от красивой импортной зажигалки. Она знала, что до обязательного, точно спланированно-

го современной медициной, паралича сердца полковнику чекисту Прохоренко осталось ровно пятьдесят метров коридора и два лестничных пролета. Уже держась за сердце правой рукой, Прохоренко медленно шел по направлению к своему отпуску.

Медсестра долго смотрела ему вслед...

Рассказ второй

ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ

– Значит, так, товарищи, – седой человек в дорогом импортном костюме и модных очках обвел взглядом присутствующих, – или господа, как это сейчас принято? Ситуацию вам полностью обрисовал товарищ из комитета.

– Не комитета – ФСБ, – тихо поправили из угла.

– Неважно. Короче, ситуация нетерпимая, надо ее решать. Я разговаривал на самом верху, – он сделал небольшую паузу, – там очень недовольны. Вы понимаете – карт-бланш нам не дадут, не те времена, но и особо придираться тоже не будут. Вот так. А вообще-то я не понимаю, – он повернулся к директору НИИ прикладной химии, – вы что, сами не в состоянии справиться с этим, как его... Парнокопытным?

– Паперным, – тихо поправили из того же угла.

– Как? – горько спросил директор, низенький толстенький академик. – Из партии исключить? Так он в ней сроду не был, да и что она сейчас... Премии лишить? Ну так не купит он себе лишние две бутылки пива – знаете, какие у нас сейчас премии... Выгнать с работы? Так представляете, какой шум поднимется? В «Гринписе» он свой, у местных «зеленых» тоже, а «Мемориал»? А Боннэр, у которой он каждую субботу пасется? Выгоните, попробуйте – через два дня сто пятьдесят западных газет, да и наших тоже, завопят, что репрессирован борец за окружающую среду, за демократию, за черта в ступе... Думаете, это увольнение не свяжут с его заявлением о продолжающихся в нашем НИИ работах по химоружию?

– Зеленые, – пробурчал человек в модных очках, – звездно-полосатые, жовто-блакитные... Хосподи! Докатились: несколько серьезных организаций не могут заткнуть рот одному болтуну. Резюмирую: ситуация нетерпимая. Надо решать. И решать – вам. Ну а мы – если что помочь...

– Феликс Юрьич, – обратился академик к эфэсбэшнику после отъезда седого, – вы ведь говорили как-то, что у Паперного где-то там, в Дубне, кажется, пассия... Может, их сфотографировать в постельке...

– Господи! Ну что вы говорите, – отозвался тот, – жены у него нет, кому мы эти фотки предъявим? «Гринпису»? Так это же не американский Конгресс. Им все равно, с кем он трахается, лишь бы не с моржихой или там... Да и не любовница это, а первая любовь, еще со школы. Они и не видятся, только переписываются, правда, очень пылко. Фотки – не то... Хотя... подумать об этом стоит.

Через две недели старший научный сотрудник НИИПРАХИМа Паперный стоял перед директором института.

– Прекрасно вас понимаю, милейший Михаил Давидович, – вкрадчиво, но тепло говорил академик. – Конечно, поезжайте. О работе не беспокойтесь, здесь все же не дети, да и план вы оставили подробный, видел, хвалю. Только вот одна мелочь. Чисто для проверяющих. Знаете, времена новые, но и старых инструкций никто не отменял. Два месяца за свой счет, это, знаете... Лучше так: командировка по линии «Гринпис» с такого-то числа на неопределенное время. Вернетесь – поставим дату. Вам все равно, а отделу кадров спокойней.

Еще через два дня эсэнэс НИИПРАХИМа Паперный сидел в кресле напротив главврача специализированной клиники неврозов им. профессора Хорвата в подмосковной Дубне.

– В общем, Михаил Давидович, ничего страшного. Но подержать ее здесь, полечить, – поправился главврач, – придется. А теперь извините великодушно, я – на совещание. А вам все очень подробно объяснит старшая медсестра отделения, кстати, очень опытная медсестра, рекомендую – Хронина Нина Каллистратовна.

– Понимаете, Михаил Давидович, – говорила Хронина, когда они прогуливались по саду перед главным зданием клиники, – она обратилась к нам в первый раз два года тому назад. Вы не знали. Естественно. Она вам об этом не писала. Нет, то, что у нее, – конечно, не сумасшествие. Вы знаете, мы, медики, вообще не употребляем таких слов. Это, как минимум, ненаучно. Но здесь действительно ничего опасного. Нужно только время, терпение и, – тут она проникновенно посмотрела в глаза Паперного, – хоть немного любви и понимания... Дело в том, что отношения с вами – я знаю, что только письма, знаю – у нее стали чем-то вроде мании. Все, что она писала вам про своего мужа, – нет у нее никакого мужа и не было. Она просто... сначала боялась себя и своего чувства – отсюда выдумки про семью, – а потом запуталась, испугалась, в общем, вы понимаете.

У нас таких женских историй знаете сколько? Словом, Михаил Давидович, дорогой, мы ее немножко подготовили, теперь все зависит от вас. На сколько у вас отпуск? И месяц, и два? Отлично. Будете приходить раз в два-три дня, гулять, беседовать, я уверена, это даст положительный результат. Все. Идите. Я вам там не нужна. По этой дорожке до чугунных ворот, они открыты, потом все время вперед, там будут следующие, она там. Ждет. Ну, ни пуха!

«Подумать, как все поворачивается, – думал Паперный, не забыв послать к черту милую Нину Каллистратовну, – бедная Лариса! Почему не написала, что одна? Я бы сразу... Сколько же это мы не виделись?»

– Все в порядке, – доложила главврачу Хронина и тихо вышла из кабинета. В коридоре она остановилась у окна и закурила длинную сигарету «Данхилл», щелкнув красивой импортной зажигалкой.

По дорожке сада медленно, задумчиво шел их новый пациент, бывший эсэнэс НИИПРАХИМа Михаил Давидович Паперный. Он шел по направлению к чугунным воротам, которые – о чем он не подозревал – закроются за ним навсегда, а у вторых, несуществующих, его встретят два санитара, которые и решат за него все его бывшие и будущие проблемы. Михаил Давидович шел медленно, потом вдруг ускорил шаги и быстро, решительно двинулся по длинной и прямой как стрела дорожке сада.

Медсестра долго смотрела ему вслед...

Рассказ третий

НОЧНОЕ ЗАДАНИЕ

– А почему «медсестра-то»? Ты что, в медицинском училась? – сидевший в кресле бритоголовый «бык» с удовольствием разглядывал длинноногую, с роскошной грудью и прекрасной формы жопочкой красотку, наводившую макияж перед высоченным, в два человеческих роста, зеркалом.

– Какой там медицинский! В тюрьме кличку дали.

– Ты что, сидела? – в голосе «быка» послышалось уважение.

– Да нет, – совершая какие-то действия кисточкой, отозвалась красотка, – только этого не хватало. Я тогда путанила в «Европейской», ну, шеф и послал меня в Крестуху. К серьезным людям. У них там в камерах, вообще-то, все было, кроме баб. Ну, меня и послали

им помочь. Типа расслабиться и тэ пэ. А мне что, работа есть работа. Там, конечно, бесплатно, но никогда не знаешь, что может пригодиться. А мужчины там действительно сидели серьезные. У них сам начальник корпуса, полковник, как мальчонка, шестерил. Так вот, там был один авторитет из Средней Азии, то ли узбек, то ли таджик, я в них не разбираюсь, в гостинице у меня только фирма, так он всем мужчинам говорил «брат», а женщинам – «сестра». И когда меня трахал, все время говорил: «Ты как мэд, сестра. Ты как мэд, сестра». Вот они, остальные, и прозвали меня «мэдсестра». А оттуда на волю как-то передалось. Теперь уже все:«медсестра» да «медсестра».Так и пошло. Я привыкла.

– А спидович где приобрела? – поинтересовался второй, помельче и прыщавый, но тоже бритоголовый.

– Да уж не за партой, понятно, – ответила красотка, отойдя, наконец, от зеркала. – И ведь никогда же не шла с азиатами, только с фирмой, а тут купилась. Красавчик, весь в золоте, одна булавка с брюликом чего стоит, да и подруги с опытом говорили: не пренебрегай арабами, у них миллионеры каждый второй. По нефти. Вот и приобрела – на весь миллион.

– Кончили разговоры. К делу, – появившийся без стука молодой человек с дипломатом внимательно посмотрел на девушку. – Лариса, готова? Пошли.

Уже вдвоем, без охраны, они подошли к маленькому смотровому окну, через которое был отлично виден отдельный кабинет ресторана.

– Вот этот, в сером пиджаке и очках. Посмотри хорошенько, не перепутай. А перепутаешь – поправим. – Он хищно усмехнулся. – Считай, что тебе повезло: парень красивый, да и в постели, говорят, гигант – бабы от него без ума. Так что работа у тебя будет приятная. Вот ключ от номера на втором этаже, там все: прикид, драгоценности, сумочка, туфли, все, что надо, в лучшем качестве, без подделки. В сумочке штука баксов – твоя. Еще колечко с бриллиантиком. Значит так: твоя работа – две ночи. Это чтобы с гарантией. И гуляй. Но две ночи надо работать хорошо. Через час жду тебя здесь. Знакомство и прочее – дело наше. Все.

Утром следующего дня Лариса лежала на шикарной, громадной, как летное поле, кровати, отдыхая от только что отбушевавшей любви и удовлетворенно мурлыкала под восхищенным взглядом любовника.

– И откуда ты такая взялась? – в который раз говорил он. – Где я только ни был, чего только ни видал – и Бразилию, и Таиланд, в

швейцарском Давосе был на симпозиуме, там элита со всего мира, а самое прекрасное – его руки опять потянулись к ее груди – оказалось здесь, в своем городе. Под боком.

– Лара, – продолжил он, оторвавшись от ее губ, – у меня сейчас дел буквально на два-три дня. Потом поедем, куда ты захочешь: Канары, Багамы, Амазонка, Ниагара – на неделю, вдвоем, Лариса, а?

– Ми-и-лый, милый мой, – говорила, она, перебирая пальцами его волосы, – какая неделя? Ты же знаешь, я замужем, через два дня муж приезжает, все, что я могу, – это остаться с тобой – боже, как я этого хочу! – еще на одну ночь. Еще на одну неземную, волшебную ночь. Поэтому распорядись сделать нам кофе, пей, одевайся и поскорее возвращайся. Я буду тебя ждать здесь. Слышишь: я бу-ду те-бя жда-а-ать.

«Жалко? – спросила себя Лариса, когда дверь спальни закрылась за мужчиной. – Жалко, жалко, жалко, да нет, не жалко. Все они дерьмо, и этот такой же – ласковый». Она стояла у большого «венецианского» окна, украшавшего шикарный трехэтажный особняк, расположенный посреди огромного, обнесенного сплошной оградой, участка. Выйдя из дверей, Марат Дмитриевич Панов – так вскоре будет высечено на могильной плите – подошел к своему уже выведенному телохранителем из гаража «Мерседесу» и, послав воздушный поцелуй окну спальни, сел рядом с водителем. «Мерс» легко взял с места и тихо двинулся по направлению к уже начавшим открываться воротам.

Держа у распухших, нацелованных за ночь губ длинную сигарету «Данхилл», только что прикуренную от красивой импортной зажигалки, «медсестра» долго смотрела ему вслед...

Иерусалим, 6 августа,1998

ПОД ПЕПЛОМ

Деревня под Друскениками, в которую я ездил восемнадцать счастливых плодотворных лет, до сорок первого года была литовско-еврейской. Еврейскую половину населения смел ветер войны – в описываемое время о ее существовании свидетельствовали только фундамент маленькой синагоги, на котором рачительный хозяин-литовец поставил коровник, да кладбище, о котором я знал еще до приезда по рассказам троюродной сестры, уже давно американки, когда-то учительствовавшей в этих местах.

Еврейское кладбище (рядом с костелом было еще католическое) находилось от деревни через холм, метрах в трехстах от крайнего дома. Придя туда в первый раз, я даже не понял, что нахожусь на кладбище, – пока не наткнулся на несколько наполовину ушедших в землю камней с полустершимися еврейскими буквами. Контраст с еврейским кладбищем Ленинграда с его склепами и памятниками был разительный. Стоя между холмиками, в которых я не сразу признал могилы, я испытал странное чувство – какое, может быть, испытывает колючий комок перекати-поля, вдруг неожиданно ощутивший втекающие в него соки земли и, так же неожиданно для себя, пускающий в нее тонкие благодарные корни.

Активность жилой части деревни, населенной в основном стариками, ненамного превышала кладбищенскую. В тишине и покое мне хорошо писалось, ночь я проводил, сидя над книгами и своими бумажками, а день, начинавшийся, к удивлению моей хозяйки Антоси, в два часа пополудни, проводил, шатаясь по округе, или собирал грибы в окрестных лесах. Деревенские жители – что в России, что в Литве – собирание грибов считают, как известно, за баловство, поэтому конкурентов у меня было мало, к тому же дело происходило в южной Литве, обширные леса в этих местах славились обилием грибов, а в послевоенное время – аж до середины пятидесятых – еще и обилием «лесных братьев». Советской исторической наукой трактуемых однозначно как бандиты, а современной литовской – как борцы с советской оккупацией.

В лес я уходил часа в три, напившись вкуснейшего в мире чая, заваренного в родниковой воде, и уже через пару-тройку часов возвращался с полной корзиной. Поскольку я приезжал обычно осенью, то и грибы были поздними: рыжики, очень популярные у местных зеленки и лисички, которых было особенно много. К слову сказать, лисички у литовцев зовутся белочками – «воверайтис», а один человек в Ле-

нинграде вообще называл их еврейскими грибами, потому что «они не бывают червивыми». До сих пор не понимаю, анти- или филосемитский смысл вкладывал он в свои слова. Ну да Бог с ним.

Направляясь в сторону реки – один из постоянных моих маршрутов, – я проходил мимо дома, когда-то еврейского, а ныне принадлежащего поне (литовский вариант польского «пани») Юзе, пожилой бабе со склочным, по всеобщему деревенскому мнению, характером. Иногда я видел ее мужа, хмурого молчаливого старика. За все восемнадцать лет мы с ним перекинулись едва ли сотней слов, да и те были моими: «лабас ритас», «лаба дена» и «лабас вакарас», – соответственно «доброе утро», «добрый день» и «добрый вечер», – в ответ на которые он молча кивал, не прекращая своего занятия, или, если встреча происходила на дороге, кивал и продолжал свой путь.

Как однажды выяснилось, хмурый муж стервозной Юзе не всегда был молчуном, был момент, когда он очень даже разговорился – зимним вечером то ли сорок шестого, то ли сорок седьмого года, когда в его дом заглянул советский – «руський» в произношении моей хозяйки – военный патруль. Отдохнуть и перекусить чем пошлет Бог и отнюдь не всегда гостеприимные хозяева. Наш оказался гостеприимным: сытно накормил, не пожалев самогонки, а когда гости благодушно уснули, быстро смотался в лес и вернулся с группой «лесных братьев», которые – не без участия хозяина – порубали спящих гостей топором, а тела спустили под лед в Нямунас (Неман). «Пусть пан расскажет это кому следует в Вильне! Пусть пан все расскажет!» – так закончила вышеприведенный рассказ горбатая старуха Она, жившая по другую сторону от моего дома, давняя врагиня Юзе.

О незакрытых счетах и незабытых обидах в литовских деревнях я знал по рассказам своих вильнюсских знакомых – и литовцев, и нелитовцев. То, что в России уже давно стало историей, в Литве еще не успело покрыться пылью времен, разве что тонким слоем пепла, под которым тлели, да еще как, незатушенные угли. «Если тут, в Литве, случится какая заваруха, – не раз говорил мне за бутылкой "дягтине" – литовской водки – сосед Юлюс, – никаких русских не понадобится: литовцы сами друг друга перережут».

Обдумывая то, что поведала горбатая Она, я вспомнил фильм, пересказанный мне вильнюсской знакомой. Фильм литовской студии, шедший только местным экраном, даже, кажется, не дублированный на русский язык. Содержание его таково. Парнишка из деревни, к концу войны лет тринадцати-четырнадцати, окончив школу, едет в Вильнюс (или Каунас), там поступает на юридический, оканчивает его

и через какое-то время становится прокурором, причем немалой величины. И вот однажды он едет в свою родную деревню, чтобы серьезно и окончательно разобраться в ворохе накопившихся за военное и послевоенное время противоречий – восстановить, одним словом, человеческую и, так надо понимать, историческую справедливость. Приехав в деревню, он энергично принимается за дело... и неожиданно для себя вскрывает такой туго закрученный узел взаимных обид, претензий и ненавистей, что деревню начинает буквально трясти от вовсе, как оказалось, не забытых страстей. Расследование словно прорывает плотину, и начинается разгул стихии: кто-то кого-то убивает, кто-то кончает жизнь самоубийством. Фильм заканчивается кадрами возвращения нашего прокурора в город на арендованной по случаю крестьянской телеге – с нереализованными намерениями, вдребезги разбитым сердцем и основательно оплеванным чувством еще недавно неколебимой правоты.

В Вильнюсе я, разумеется, никуда не пошел: дорога была одна – в КГБ, а с этой организацией я знаться не хотел. Литовские междоусобицы вызывали у меня житейский и литературный интерес, их политическая составляющая меня волновала мало. Помимо всего, к тому времени передо мной уже начинало плескаться другое море, а над головой гореть другие костры. Мало-помалу я начинал различать ноты новых мелодий, которые по-настоящему услышу и пойму значительно позже и в совсем других местах.

А пока что я бродил по окрестностям, радуясь осеннему разноцветью, читал взятого в библиотеке Вергилия и писал стихи, запивая все это волшебным напитком из родника, которого больше нет.

22 января 2003

СКВОЗЬ ВОДЫ И ТУМАН

Она пришла в их школу в девятый класс, когда он учился в одиннадцатом (времена недолгой хрущевской политехнизации среднего образования), последнем. Он сразу обратил на нее внимание – так резко она выделялась неожиданной в ее возрасте зрелой женственностью, но всего более ее красили глубокие и ласковые, так ему казалось, глаза. Почему она обратила на него внимание, тоже было понятно: неспортивный (тогда спортивность еще только набирала цену) узкоплечий очкарик, он считался од-

ним из записных школьных умников и остряков, что давало свою – и немалую – долю популярности.

Вне школы они не встречались, да и в школе встречи были спонтанными, разговоров уже и не вспомнить, да, кажется, и тогда они не имели особого значения: контакт был чисто эмоциональный, сейчас бы сказали «чувственный», потому-то ему потом так и помнились не слова, а взгляды.

Через три года после школы, когда она только поступила в институт, а он бестолково осваивал пространства относительной свободы в ее богемном варианте и, как мог, увязывал свои стихотворные и алкогольные опыты и пристрастия, они случайно встретились возле ее дома, глядевшего окнами на Нижний парк, откуда он вышел купить вина и куда, купив, собирался возвратиться. Она пригласила его к себе, удачно купленная бутылка была тут же водружена на стол. Выпив, он пересел на диван и, когда она села рядом, притянул ее к себе. Она довела движение до логического конца, верно угадав его желание, и еще через мгновение, сбросив свои разношенные полуботинки рядом с ее босоножками, он оказался вплотную прижатым к ней (диван был довольно узкий). Она лежала с закрытыми глазами, его правая рука медленно, осторожно поднимала подол широкой юбки. Оторвавшись от ее губ, он перевел взгляд вниз и увидел под смуглой полоской загорелого живота простые белые трусики, в самом низу приподнятые небольшим бугорком. Но в тот момент, когда его ладонь уже скользнула под резинку, раздался звук отпираемой входной двери, и шепотом вскрикнув: «Это мама!», – она, а вслед за нею и он, вскочила с дивана.

Почему они не повторили попытку назавтра, через несколько дней, через месяц, он не может сказать сейчас, как, боюсь, не смог бы сказать и тогда. Кто знает ту настоящую причину, которая мешает какому-то мужчине и какой-то женщине стать любовниками или, скажем высоким слогом, единой плотью? Еще через пару лет они встретились на улице, он со своей компанией, она со своей, – компаниями между собой не знакомыми, так что встречу можно было считать почти интимной – и при расставании в их прощальных взглядах была ласка несостоявшейся близости, и взаимное прощение, и грусть.

Через много лет, уже за границей, он вдруг стал часто ее вспоминать, без какой-либо внешней причины. Что это было – потребность в тепле, которую все больше ощущает каждый человек в свою осеннюю пору? Очень может быть. Как бы там ни было, в очередной

приезд в Питер он решил ее найти. Задача не выглядела простой: Царское Село, в котором они когда-то жили, разрослось, наверное, втрое, а по населению так и раз в десять, дом он помнил смутно, ни его номера, ни номера квартиры в памяти не осталось, да и район был окраинный, вполне подходящий для новостройки. И все же он попытался. На его счастье, место оказалось забытым если не Богом, то строителями, не без труда обнаружилось и что-то вроде домоуправления, и, за пять долларов купив благосклонность восседавшей там дамы, он нашел в ветхой домовой книге нужный ему адрес вместе с нужной, не забытой, фамилией. Однако радоваться, он это понимал, было рано. Девять шансов из десяти были за то, что жильцы сменились и, может быть, даже не один раз, а уж что касается фамилии, которую в данном случае следовало называть девичьей, – то уж она-то поменялась наверняка.

И тем не менее... И тем не менее, когда после краткой передышки – одышки – на нужном этаже он нажал на звонок, дверь ему открыла она, узнанная безошибочно и мгновенно, и самым удивительным, на несколько секунд перехватившим ему горло, было то, что и она сразу узнала его и назвала по имени.

Потом они сидели в комнате и говорили, и ему, да, наверное, и ей было понятно, что слова абсолютно не важны: в истории их раздельной жизни не происходило ничего необыкновенного, – что куда более важным было то, что трудно назвать словами, но что ощутимо для обоих стояло сейчас между ними – теплое и плотное, как вода когда-то любимого ими Колонического пруда.

Он сидел напротив нее, слушал, говорил, и все больше понимал, что эта встреча – не с нею, вернее, не столько с нею, сколько с его собственным *несбывшимся*. С тем, что когда-то могло стать его радостью или болью, подарком небес или ударом судьбы, да мало ли чем еще, но чего уже никогда – *никогда* – не будет. Бутылка вина, которую он на всякий случай захватил с собой, опустела. Темнеющая комната – свет она не включала – медленно заполнялась туманом, ползущим со стороны Нижнего парка. Почти машинально он пересел на диван, а когда она села к нему, мягко, но решительно уложил ее рядом с собой. Потом так же быстро и решительно снял с обоих все лишнее, потому что им нужно было многое успеть до того, как раскроются двери.

9 августа 2003

LIEBER*

Иногда к бабушке приходил ее знакомый – то ли по Умани, то ли по Покотилову – по доленинградским, короче, временам – Либер.

Что это было – имя или фамилия, я сказать не могу, а спросить уже не у кого. Эта фраза – о том, что не у кого спросить, – все чаще появляется в моих писаниях, неизменно вызывая у меня чувство печали, но отказаться от нее, попросту ее не написав, я не могу, ибо она, как мне кажется, идеально передает необратимость времени – факт, конечно, нерадостный, но тут уж ничего не поделаешь.

Кем был Либер по профессии, я не знаю, думаю, что ремесленником: среди бабушкиных и дедушкиных знакомых преобладали именно они – помню могучего, широкого в кости скорняка, тихого сутулого часовщика, портного. Окружение моего отца – «командиры производства» и разного рода совслужащие – выглядело более солидно, начальственно, однако плебейские, «рядовые» лица ремесленников нравились мне больше и вызывали больший интерес, чем холеные физиономии номенклатуры.

Либер был невзрачным – низкорослый, с патлами седых волос вокруг лысины, очень, не по возрасту, подвижный. Его мимика и жестикуляция выдавали чудаковатость, о которой бабушка говорила не раз и по разным поводам, я же помню один, но зато характерный. Обидевшись на хамство какой-то собесовской мымры, Либер отказался получать свою пенсию. Отказался наотрез и, насколько я помню, не получал ее в течение года или двух – до самой своей смерти, не поддаваясь на уговоры сына и знакомых, моей бабушки в том числе.

Почему, спрашиваю я себя сейчас, так упорно, так назойливо возвращается моя память к этому почти незнакомому старику Либеру, ни одно слово которого не зацепилось за мое сознание, ибо с бабушкой они общались исключительно на непонятном мне идише? Может быть, потому, – не столько утверждаю, сколько догадываюсь я, – что чудаковатость его жестикуляции и странность языка уже тогда нашептывали мне о временах, когда и мой образ жизни будет выходить за общепринятые рамки, вызывая недоумение окружающих и обрекая меня на одиночество?

---

* Lieber – любимый (*немецкий, идиш*).

Уезжая из Ленинграда навсегда, я предполагал (и не ошибся), что не буду скучать по его искусственным красотам, в которых мне всегда недоставало исторической подлинности, коей насквозь пропитан тесноватый и грязноватый город нынешнего моего обитания – Иерусалим. Но вот Царское Село!.. Никак не менее искусственное, чем Петербург, вконец, до самого названия «город Пушкин» залитературенное, держит оно, тем не менее, в своих ладонях мое сердце. «Куда бы нас ни бросила судьбина...» В общем, что говорить!

После шестилетнего отсутствия приехав в Питер, сразу засобирался я в Царское к любимым моим друзьям – паре, о которой скажу несколько слов. Одноклассники с пятого класса, мы с ним подружились классе в седьмом – и примерно с тех же времен начинает отсчитывать свой печальный стаж моя любовь к ней. Следует сказать, что и парой они стали моими, в значительной степени, усилиями. Заметив ее недвусмысленную склонность не ко мне, а к нему, я в старших классах и после окончания школы самоотверженно (как последний идиот – комментирует внутренний голос) таскал его к ней каждый вечер, не оставив им в конце концов иного варианта, кроме брака.

День, в который я приехал, оказался днем рожденья их дочери. За столом мать именинницы была раздражена, злилась на мужа, и, когда мы вышли, ссора перешла в активную стадию. Хотя семейный скандал не такая вещь, чтобы выбить меня из колеи, этот задел тем, что она – именно она – совершенно не обращала внимания на мое присутствие, словно меня не было. Алкоголь усиливал горечь, и, сославшись на тут же выдуманную причину, я попрощался (он меня удерживал, она нет) и двинулся к остановке ленинградского автобуса.

Грустны, грустны были мои мысли. Отчетливо увидел я то, что было ясным и раньше, только подсознательно отодвигалось в тень, – что моя горячая (если не горячечная) любовь или, сказать точнее, привязанность к друзьям и родственникам до самых дальних – есть не что иное, как страх, элементарный страх перед жизнью, который я преодолеваю вот таким образом – цепляясь и держась за многих людей, отнюдь не отвечающих мне теми же чувствами. А применительно к сегодняшней ситуации – что дело вовсе не в малости места, занимаемого мной в ее сознании (пусть сегодня и раздраженном), а в малости, если не в мизерности, места, занимаемого мной в ее жизни. И вот тут, непонятно почему, мне

вспомнился Либер. «Либер – не либер, – щелкнуло во мне, – НЕЛЮБИМЫЙ».

Одиноко жившего приятеля, к которому я толкнулся переночевать (последний ленинградский автобус ушел за двадцать минут до моего прихода на остановку), дома не оказалось, и я не спеша побрел к центру, где был ночной магазин, – в рассуждении холодного пива, на которое меня всегда тянет после водки, чем неизменно обеспечивается утренняя головная боль. С уже известными читателю мыслями шел я октябрьским по календарю и названию бульвару, разгребая ногами палую, цвета ночного золота, листву, чье шуршание звучало как знакомый и потому приятный шепот.

В магазине было пустовато: кроме усталой продавщицы еще человека три. Купив бутылку и откупорив ее там же, у прилавка, я вдруг услышал явно обращенное ко мне «добрый вечер». Оглянулся – поприветствовавшая меня девушка, не останавливаясь, прошла к выходу и вышла из магазина. Я вышел вслед за ней. Она остановилась в нескольких метрах от входа и смотрела в сторону, но, похоже, не выпускала меня из поля зрения. Лет шестнадцати-семнадцати, насколько можно было определить при слабом свете, с невысокой ладной фигуркой. Наученный тель-авивским опытом, я просек ситуацию: проститутка. Судя по всему, место, которое она выбрала, было в городе известным – еще через десять минут я наблюдал процесс «снятия», сопровождавшийся четким и, по-видимому, всем, кроме меня, известным ритуалом.

Часа через три, осушив еще пару бутылок, я ехал в ленинградском автобусе и думал, что надо бы еще раз выбраться в Пушкин, но уже основательно, дня на два-три, чтобы вдоволь побродить по его улицам и паркам. Так и не осуществив свое намерение (всякий раз, когда я собирался, находились какие-то неотложные дела), я на обратном пути, в самолете, давал себе слово, что уж на следующий год обязательно... если, конечно, будут деньги.

Но это о будущем. А прошлое... прошлое тихо отходило в тень, превращаясь в воспоминание, и укладывалось в один из тайников, которыми так богата человеческая память. И если когда-нибудь мне случится заглянуть именно в этот тайник, я уверен, что обязательно увижу седые патлы принципиального старика Либера, ночное, усыпанное палой листвой Царское Село и услышу приветливое «добрый вечер» симпатичной молоденькой проститутки.

4 января 2003

ДАЛЕЕ – ВЕЗДЕ?

(из сборника «Проблема полета»)

Только за пару лет до смерти отца я узнал, что моя семья, оказывается, чуть было ни эмигрировала из России в начале двадцатых – то ли в двадцатом, то ли в двадцать первом году. Следует, конечно, поправиться: часть моей семьи – ибо в рассказе отца фигурировали только его родители (половина, стало быть, комплекта моих бабушек и дедушек), он сам в возрасте девяти-десяти лет, его младший брат Наумчик, на пять лет младше, и еще какие-то дальние родственники, так и оставшиеся мне не известными. Причем собирались они эмигрировать не в какую-нибудь там Америку или экзотическую Аргентину (прецедент в семье был), а именно в Эрец-Исраэль, что мне, как израильтянину, особенно приятно. В том смысле, что я чувствую себя как бы выполнившим наказ (можно выразиться красивее: осуществившим мечту) предков. Все было уже, так сказать, на мази. Покинув родную Умань, наши путешественники добрались до маленького молдавского городка на берегу Днестра, противоположный берег которого в те времена был румынским, и уже через несколько дней оказались ночью в хибарке-развалюхе на берегу пограничной реки, где должен был ждать местный человек – контрабандист, взявшийся переправить их на лодке (интересна вместительность этой лодки: такая большая или за несколько ходок?) на тот – иностранный – берег. Естественно, за плату. Вот как я представляю себе ситуацию. Хибара, как я уже говорил, развалюха (пункт обязательный хотя бы из соображений конспирации). В ней, естественно, без света (из тех же соображений) группа из нескольких (восьми? десяти? двенадцати?) человек в напряженном ожидании. Женщины, разумеется, боятся. Мужчины, конечно, тоже (а то нет?), но не показывают вида. Дети, которым велено вести себя тихо, возбуждены, а может быть, просто спят, не представляя себе ни опасности, ни судьбоносности этой, как казалось, вполне обычной ночи. Вокруг хибарки – мрак, хоть глаз выколи, шум не Бог весть какой широкой и быстрой реки (однажды сам смотрел на нее три недели из болгарского села Парканы, куда приехал на заработки, и уехал, ничего не заработав, кроме отвращения к розовому сухому, впрочем, ненадолго), темнота еще более густая – одновременно пугающая и манящая – на том берегу: Румыния!

И вот среди всего этого – всего того, что я вам нарисовал, – появляется долгожданный контрабандист – нет, не жулик, честный малый, плату должен был получить уже по выполнении работы, на том берегу – и сообщает, что сегодня никак нельзя, надо быстро уходить: вот-вот будет облава. Сведения точные, из самого ЧК, что ж вы думаете, там ангелы работают? Вот так. И вся моя семья (да моя ли? ведь меня еще нет и не скоро ожидаюсь) возвращается в безымянный (для меня) городок ждать следующей ночи. Но уже на другой день в городе появляется или очевидным образом проявляется – сразу несколько смертельных случаев – брюшной тиф, оспа, холера, выбирайте, что кому нравится, я точно не запомнил, – и город закрывают на карантин. Карантин длится месяц или больше, мишпаха* продает вещи, чтобы прокормиться и на лекарства, кто-то (может быть, даже не один) умирает... И – после снятия карантина – глава мишпахи, мой любимый (значительно позже) дедушка Шаврум говорит: «Возвращаемся в Умань. Все. Не судьба».

Дальше – проще, а главное, меньше экзотики. Не попав в Румынию (далее – везде...), мой отец еще года через четыре рванет из родного дома в Ленинград, там устроится на работу, сделает карьеру в комсомоле, вылетит с работы и из комсомола как скрывший свое происхождение «из бывших», устроится на новую работу, сделает карьеру хозяйственника, выпишет к себе родителей с младшим братом, сам уедет в Углич, женится на моей маме, москвичке, родит мою сестру (гордость семьи) и, наконец, меня (в семье не без урода). Еще одна подробность. К эмиграции, оказывается, дед подготовился основательно. Некоторый до лучших дней отложенный капитал (не как у Ротшильда, но и не копейки), был заранее переправлен за границу. Как раз об этом факте я знал всегда (рассказала мама, больше всех сокрушавшаяся по этому поводу, – образец женской логики в том смысле, что именно ей эти деньги не светили в любом варианте), но подробности узнал совсем недавно и неожиданно в девяносто пятом, приехав в Израиль в гости за год до репатриации. О злополучных этих деньгах, но уже с подробностями, рассказал мне родной племянник деда Шаврума, мой двоюродный дядя, пришедший в Израиль (тогда Палестину) в двадцать четвертом году в возрасте двенадцати лет пешком, через ту же, к слову сказать, Румынию. Выяснилось, что где-то в тридцатых годах дядя, молодой тогда человек, попал в тяжелое финансовое положение и ухитрился ка-

* Семья (*иврит*).

ким-то образом сообщить об этом (тридцатые годы, представляете – в Россию, ужас-то какой!) моему деду, славившемуся среди родных и знакомых добротой, что я успел оценить позже – и попользоваться! И дед Шаврум переслал ему через Париж значительную сумму. Какую, дядя не уточнял. Мой дед – в тридцатых – через Париж! – я не мог этому поверить. Однако здесь, уже переехав, я прочитал в газете «Вести» статью – и все понял. По-видимому, мой дед, как и многие небедные евреи, передал когда-то некую, надо думать, немалую сумму для приобретения недвижимости в Эрец-Исраэль в какую-то сионистскую контору, квартировавшую в Париже. В контору, от которой, как и от денег, ничего не осталось (так сообщила газета «Вести») самым таинственным (т. е., до сегодняшнего дня не проясненным) образом. В итоге получается, что мой дед Шаврум оказался менее лопоухим, чем прочие вкладчики, и хотя бы часть своего капитала успел передать в родные руки. Так что совсем не все его денежки – а может, и вообще ни франка – не пошли на девочек из «Мулен руж» и прочие сионистские штучки. Другое дело, что мой двоюродный дядя, получив эту (в который раз с удовольствием пишу – немалую) сумму, тут же вложил ее в одно очень выгодное дело. В разговоре со мной дядя утверждал, что не ошибся, дело действительно было очень выгодным, жаль только, что не для него. Просто удивительно, что из многочисленных потомков моего прадеда Хунэ ни один не унаследовал хотя бы части его предпринимательских талантов. Однако вернемся в двадцатый (или двадцать первый) год. Какой смысл во всем случившемся (вернее, не случившемся), спросите вы, глядя на опустевшую хибару у теперь уже обоими берегами иностранной реки Днестра, усматриваю я, русскоязычный израильский литератор, сын своих родителей и отец своих детей? Прежде всего, следует сказать о главном: удайся данное мероприятие, не было бы в первую очередь меня самого. То есть, разумеется, кто-то с относительно похожей генетической структурой, должно быть, был бы, но только – относительно похожий. Будучи человеком «некриминального», как выразился один знакомый поэт, честолюбия, эту тему я развивать не буду. Честно говоря, меня в этом случае волнует другое: что не было бы босоногого детства в Угличе, Ленинграда с Художественной школой и хореографическим кружком Дворца пионеров (с поступлением в Вагановское, между прочим!), Царского Села с его волшебными парками – идеальным местом для пьянок и кобеляжа. Не было бы писания стихов, вольнолюбивого диссидентства, незапланированных путешествий на третьей полке, приблизительно

двух сотен (или больше, но кто считает!) славянских женщин, нынешней жены, дочки, внука, Израиля, тихой пристани в будке шомера* (работать приходится в три раза больше, чем в России, – «тихая пристань», бляха-муха!), съемной квартиры в русско-марокканском квартале Иерусалима Катамон. Насчет Израиля и Иерусалима я, пожалуй, хватил лишнего – эти-то, похоже, как раз были бы и в первом варианте, а вот все остальное, включая упомянутую шхуну, все остальное, скажем так, под вопросом.

Вариант «что было бы» мы обсуждать не будем, ибо на деле это не вариант, а море, океан вариантов, и рассуждать на эту тему пристало разве что каким-нибудь бессовестным сочинителям так называемой фантастики, а мы – увольте, не станем и пытаться. А вот в чем я себе не откажу, так это в том, чтобы поразмыслить на тему «Почему?» Почему не получилось так, как замышлялось? Вы ведь помните: подготовка была ой-ой! Продумано все было до мелочей. И НЕ ВЫШЛО. Почему? И вот что приходит мне в голову.

Присмотримся: двадцатый или двадцать первый год. Берег Днестра. На берегу ветхая хибара-развалюха. В ней – естественно, без света – группа людей (восемь? десять? двенадцать?) – еврейская семья, ждущая обещавшего переправить их в Румынию контрабандиста. Тихо. Несмотря на это женщины, само собой, боятся. Мужчины не показывают вида. Дети спят. Вокруг хибары и на том берегу, где Румыния, темно, небо затянуто тучами. А вот уже там, над тучами, где-то высоко-высоко, за тысячи световых лет или, напротив, совсем рядом, сидит (стоит, парит – любой вариант на выбор) сам Господь Бог, или, как принято говорить поздешнему, ѓа-Шем (ИМЯ). Сидит это, значит, ѓа-Шем и неотрывно смотрит куда-то вниз.

– Ты не знаешь, что там за хибара на берегу этого... как его? – спрашивает Он кого-то рядом, по-видимому, ангела.

«Ведь Сам все знает, – с привычным раздражением думает ангел, – так нет, все время надо кого-нибудь дергать». Однако отвечает вежливо:

– На берегу Днестра. –ские. Ждут контрабандиста. Едут в Эрец-Исраэль через Румынию.

– Ма питом?** – рассеянно роняет ѓа-Шем, продолжая внимательно смотреть вниз.

---

* Шомер (*иврит*) – охранник.

** Что вдруг? (*иврит*).

«Ма питом!» – передразнивает про себя ангел, но отвечает по-прежнему спокойно, с микроскопической долей раздражения:

– А я знаю? Это ведь Ты там для них намазал... этими, ну... молоком и медом. Вот и едут.

– Ладно, – говорит Всеведущий, – сейчас глянем, разберемся.

Некоторое время до ангела доносится бормотанье: «Так... Дева – сирота в Москве... Ереван, Углич, этот, черт бы его драл, все время название меняют... Ленинград. Так... В Эреце русскоязычных пока не надо, пусть попишет там. Что еще? Одного кочегара на Уткин, два. Ага... Так...»

– Ну вот что, – это уже ангелу, – никуда они не едут. Не время. Возвращай.

– Как это – возвращай?! – едва не срывается ангел. – Люди все бросили. Все мысли только о...

– Кончен спор! – это Вседержитель. – Сказано – выполняй! Успеют еще этого... с медом. Как вернуть – забота твоя. Ты за это амброзию получаешь и Меня лицезришь. Я сказал! – и унесся.

На следующий день в семь часов утра в кабинете председателя ЧК известного нам городка раздался телефонный звонок. Трубка поднимается сразу:

– Слушаю.

– Это ЧК? – спрашивает до неправдоподобия благостный голос. – Как гражданин, лояльный рабоче-крестьянской власти, довожу до вашего сведения, что контрреволюционным элементом в город – путем заражения колодцев – занесена бацилла брюшного тифа (оспы, холеры – выбирайте, что хотите). Есть случаи заболевания со смертельным исходом.

– Ясно! – твердо сказано в трубку. – Через тридцать минут город будет закрыт на карантин. Спасибо за сообщение, мы этого не забываем. А вы, кстати, кто, товарищ?

– Да я, собственно... Да хрен меня знает, кто! – неожиданно взрывается голос, но уже спустя секунду успокоившись, продолжает прежним тоном: – Понимаю... Разумеется, порядок есть порядок. Записывайте: ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ.

Иерусалим, 22 января 1999

ЭССЕ, ВОСПОМИНАНИЯ, ПУБЛИЦИСТИКА

Вильям Баткин

Светлой памяти жены

МОЛОДОЙ БУЛАТ

Его нет с нами уже несколько лет, но в сердцах российской интеллигенции – и материковой, и в дальнем зарубежье, и у нас, на Земле Обетованной, – помнят его светлый лик, неповторимый, неподражаемый: мудрые и печальные глаза, узкая щеточка усов, седая разворошенная пролысина над огромным лбом, твидовый пиджачок, негромкий московский говорок, баритон, подхваченный и усиленный аккордами гитары, растревоженной тонкими пальцами барда. Но главное – для меня, по крайней мере, – непостижимая тайнопись слов, надиктованная Свыше, услышанная и сотканная великим лириком – он был лирик по складу души, по самой строчечной сути. Растиражированный в миллионах кассет и компакт-дисках, озвученный лазерными лучами, он входит в наши обители, привычно присаживается на краешек эстрадного стола, настраивает гитару… Как в прежние годы, когда его можно было запросто встретить и в извечной московской тусовке, и на зарубежных гастролях. Но нынче я – об иной встрече, сбереженной в тайниках моей души и выплеснутой исподволь из памяти, нежданно, не к печальной дате…

НАС ПОЗНАКОМИЛ БОРИС АБРАМОВИЧ СЛУЦКИЙ

Именно так, по имени-отчеству, к нему обращались маститые Константин Симонов и Михаил Луконин, и патриарх русской поэзии древнерусский еврей Павел Антокольский, и младшие собратья по перу. Я не ходил в его учениках, возникал нечасто, переминался вежливо в дверях, едва ли был его надеждой, он пытался из меня сделать поэта – безжалостной рукой; извечно жесткий, без намека на улыбку, без сантиментов, израненный поэт и политрук зачастую отвергал мои, сколоченные рифмами, политизированные строки. По мне, нынешнему, – либеральничал со мной. Авось бы состоялся… Он сам заваривал байховый чай, поил меня густым наваром, угощал магазинными пирожками, непременно с творогом, усаживал на

продавленный диван, по слухам – Маяковского, подаренный Слуцкому Лилей Брик. Однажды он, к слову, поведал мне притчу: спросили у Маяковского, сколько он пишет хороших стихов, а сколько плохих. «Я пишу пять хороших и пять плохих», – ответил поэт. «А Блок?» – «Блок восемь плохих и два хороших, но мне таких никогда не написать», – и он виновато улыбнулся.

Как-то, отобрав несколько моих рукописных листиков, Слуцкий поднял телефонную трубку:

– Булат? Здравствуй. У меня в гостях земляк, харьковчанин. Да, стихи. Разберешься, дурного не насоветую. Здоров будь. Перезвоню.

СЛОВНО КЛИНОК ИЗ СТАЛИ

Плутая по коридорным лабиринтам редакции «Литературной газеты», не вдруг отыскал нужную дверь – отдел поэзии, крохотный, словно келья, кабинет, по обоям обклеенный газетными вырезками. На одной из стен, на гвоздике вколоченном, одиноко, неприкаянно – старенькая семиструнная гитара. На краешек стола присел молодой человек небольшого роста, хрупкие плечи стянуты светлым свитером крупной вязки, под горло, тонкая щеточка усов, непокорный вихор – пышные и густые черные волосы пытается утихомирить левой пятерней, правую протягивает мне:

– Булат.

– Булат? – спрашиваю растерянно, ищу другого, вымышленного – ожидал увидеть гиганта широкоплечего, крепкого, несгибаемого, словно клинок из стали одноименной... А наяву – какой-то... дробненький. Пробежал глазами мои рукописные листочки, приволок из дальнего угла пишущую машинку «Ундервуд» с широкой кареткой, усадил на свое место:

– Печатай, я – к шефу!..

Прибежал, легкий, стремительный, прислонился к дверному косяку, перечитал мой текст.

Телефонный звонок:

– Да, Борис Абрамович, у меня, ты прав, буду засылать. Ждем и твои стихи новые. Не скромничай...

Выскочил я из редакции обнадеженный – не каждый день в московской «Литературной газете» печатают; по Цветному бульвару летел, словно катер на подводных крыльях. Впрочем, в те дни, в начале шестидесятых, такая конструкция лишь на ватманах вырисовывалась.

– Вильям, отобедаем? – догнал меня Булат на углу Цветного бульвара и Садового кольца.

Глянул я на часы: в Министерство угольной промышленности, куда был командирован, опоздал...

– Все равно с земли не сгонят, дальше шахты не пошлют! (Такая тогда у меня присказка была.) Почту за честь! – ответил я и за весь день улыбнулся впервые...

– Да брось ты прибедняться! – Булат крепко взял меня за локоть и повел к входу в ресторан. – Вот напечатаем раз-другой-третий в «Литературке», утвердишься, есть в строках твоих какая-то живинка. На том и порешим...

ЗНАТЬ БЫ – С КЕМ СИЖУ...

Словно на давней фотографии, память сберегла двух молодых мужчин: отраженные в глубине ресторанного вестибюльного зеркала, они даже в чем-то схожи – и дерзостью непокорной, и копнами густых черных волос – без единой сединки, и улыбками открытыми, белозубыми, им даже одинаково неуютно: Булат большим пальцем оттягивает ворот свитера, я пытаюсь распахнуть пиджачок узкий, от «Москвошвея». Долговязый я, на голову выше Булата, но стою позади него, и в зеркале – эффект оптический – он возвышается... По сей день непросто схожусь с людьми, полагаю – страшусь ошибиться, но Булат еще в редакционной келье притянул к себе интеллигентностью, духовностью, аурой, хотя ныне мне по душе иное слово – биополе... В том булатовском биополе я и пребывал тогда, точнее, блаженствовал; да и сегодня, когда его давно нет с нами, – во власти его излучений, печалью наполненных... Официант проводил нас к двухместному столику у окна, сменил ловко скатерть и сервировку, протянул мне меню, но я передал Булату:

– Банкуй!

Разные закуски, густая мясная окрошка на остром московском квасе, отбивная с косточкой, водка ледяная в хрустальном графинчике запотелом... То ли графинчик малорослый, то ли разговор сокровенный, но я еще раза три заказывал... Знать бы, с к е м сижу, лишь пригубил бы, диктофон под пиджачком приладил, весь разговор записал для будущего, а пока – хорошо сидим, беседуем... Но ныне память терзаю безжалостно: не упустить бы, не солгать, не вымыслить... Осознаю: говорок московский его, слог удивительный, словно ручеек родниковый, не передать.

Изумился я: полагал, мы ровесники, но Булат из фронтового поколения, ему с боями пробиваться к совершеннолетию пришлось, а я – из детей войны, День Победы запомнил четырнадцатилетним, слезы родных по невернувшимся, в том числе из нашего рода – баткинского. Но именно фронтовую лирику – симоновскую, гудзенковскую, уткинскую, луконинскую – впитал подростком, в госпиталях декламировал, уже позднее к великой поэзии русской приобщался. Не страшусь выявить себя человеком обскурантских взглядов, зубром, ретроградом, но и спорить ни с кем не намерен. Утверждаю: советская поэзия в самых высоких своих образцах останется навсегда – в достойных и честных именах; я имею в виду поэтов фронтового поколения, предвоенных «лобастых мальчиков невиданной революции», по образному речению Павла Когана, тех, кто погиб, и тех, кто выжил в окопах Великой Отечественной, тех, кто остался верен идеалам этой революции, и тех, кто с годами разуверился в них, – все они продолжили традиции русской лирики.

Знакомства ради читаем с Булатом стихи – не свои. Мы с ним из разных поколений, но страсть одна: читаем любимые строки – он начинает строфу, я продолжаю, словно одновременно вспрыгиваем на ходу в летящий на передовую поэтический эшелон.

«Если я не вернусь, дорогая,\нежным письмам моим не внемля,\ не подумай, что это – другая.\ Это значит... сырая земля».

«Я не помню, сутки или десять\ мы не спим, теряя счет ночам.\Вы в похожей на Мадрид Одессе\ пожелайте счастья москвичам».

«Бой был коротким. А потом\ глушили водку ледяную,\и выковыривал ножом\ из под ногтей я кровь чужую».

«В этом зареве ветровом\ выбор был небольшой,\ но лучше прийти с пустым рукавом,\ чем с пустой душой».

(Никому не в упрек, не в обиду – но отчего сегодня у нас, в Израиле, когда идет война – и Отечественная, и Священная, – нет таких строк обжигающих? Или не расслышал?)

– Ну, мужики, вы даете! – внезапно, словно из под земли, около нас вырастает Костя-официант, затянутый, как лорд английский, в темный костюм-тройку, явно импортный.

– Чего тебе, Костик? – нехотя откликается Булат.

– Я на своем ресторанном веку пьющих мужиков навидался – не хочу, но те больше о бабах и футболе гомонят, а вы их слогом неужто брезгуете, все стихами перебрасываетесь?

– Так мы ж поэты, Костик, – Булат добродушно улыбнулся.

– Ну ты, старик, поэт, это каждый знает, а они, – официант скло-

нил голову в мою сторону, – какой поэт? Профессор или технарь, ну не поэт, ясно.

Булат рассмеялся:

– Не обижайся, Вильямчик.

А я и не обижался – так устами Костика ресторанного русским народом мне было отказано в праве быть русским поэтом. И поделом: не в свои сани не садись.

Оба мы в норме, хорошо закусываем, но, слышится мне: Булат чуток захмелел, – а меня – должно быть, взволнован – не берет... Булат словно отгадывает мои мысли:

– Молодец, крепко стоишь. Или привычный?

– Я, милый мой Булат, из той горстки русской интеллигенции, которую в застолье лишним стаканом водки не свалить под стол! – то ли бравирую, то ли вспомнил где-то читанное.

– Если б знать, когда лишний, – смеется Булат. И тут же, словно давно обдуманное: – Как тебе, интеллигентному мальчику, в народной среде, шахтерской, суровой, грубой, живется-можется?

– Хорошо живется, весело, – отвечаю, – да трудно можется... Русский народ, толпа – не так проста, как мы по простоте считаем. Те, кто от сохи, от молотка отбойного, от ключа гаечного – крепкий народ, добрый, работящий, могу положиться: не подведут, выручат. Однажды меня завалило в лаве, как от бригады отстал – не помню, сутки меня откапывали, да я и сам полз – по дуновению струи воздушной. Когда откопали – обрадовались, облапили, хотя и обложили матом многоэтажным. А на этажах министерских закопать норовят – тоже ведь народ русский.

– Это ты точно подметил, – откликнулся Булат, – у меня старшины да комбаты крови попили ведрами, а солдатики, крестьяне русские, берегли, как сына, табаком и хлебом делились последними. А я их к поэзии русской приобщал. Жадно проглатывали.

Спросил я:

– Булат, не обессудь, отчего голос твой во фронтовой лирике не слышен, ни в какой «обойме» не упомянут? Только без обиды.

– Ты вспомнил притчу о Маяковском и Блоке. Разумеется, и я пишу, война, как рана сквозная, но так, как у Гудзенко и Слуцкого, не складывается. А напечататься, в «обойму» втиснуться – проще простого. Особенно сегодня, когда в «Литературке» очутился. Когда-нибудь заглянешь – покажу: стихи мешками поступают, именитые приходят на полусогнутых, все норовят напечататься. А я погожу. Пока... Да и уйду я вскоре из газеты, тебе первому поверяю.

– Отчего так?

– Понятно, заработок постоянный – не помеха, но литература, по большому счету, напрочь не терпит соперниц. Это даже не двух женщин любить одновременно. Теперь я и о тебе задумался: единственное твое дело, любимое, – инженерное, а стихи сбоку. Лучше бы мне ошибиться, но победит в тебе технарь. Если не отречешься. А готов ли? Семью-то к хлебу с маслом приохотил.

– А ты, Булат, долго будешь оставаться безвестным?

– Еще погожу. Словно у перевала: вот-вот второе дыхание откроется. Слышится уже, да не пишется. Слово свое о войне скажу.

– Не сглазить бы! – постучал я по краешку стола. – Милый мой Булат, как себя оценить? Чужие стихи чувствую, а свои – словно пелена глаза застит, особенно, когда пишу. Надо бы к сердцу прислушаться – оно не ошибается. Так ведь и Александр Сергеевич лишь единожды воскликнул: «Ай да Пушкин, ай да молодец!»

Долго молчал Булат, верно, о своем задумался.

– Рецепта готового нет, мне он неведом. Сердца безошибочное мнение умножь на дар природный и дважды на опыт, годами наработанный в поте лица.

...Добрым словом вспомнили мы и о харьковской поэзии, русской, – много интересных имен дал мой город. Не помышляя никого обидеть, назову трех Борисов – Слуцкого, Чичибабина, Сухорукова (по-разному сложились их поэтические судьбы), Михаила Кульчицкого, Арона Копштейна. Рассказал я Булату и об украинских поэтах – Игоре Муратове и Василе Мысыке. Дружил с ними, переводил. Вдруг Булат начал чичибабинскую строчку:

– «В Игоревом Путивле...»

– «...Выгорела трава, – продолжил я. –...Красные помидоры кушайте без меня».

– Борису низкий поклон от меня, пусть приезжает. Однажды мы с ним, как с тобой, хорошо за этим столиком сидели.

(Я добросовестно выполнил поручение, долгие годы мы с Чичибабиным встречались, беседовали, случалось, вместе выступали на вечерах в харьковском Центральном лектории. Особенно меня восхищали его сонеты. И плечо свое под гроб его подставил я в полдень горестный, декабрьский... Но «Беседы с Чичибабиным» – не пишу...)

– Булат, помянем Семена Гудзенко! – разлил я поровну остаток из графинчика. Сказал и пожалел: Булат мгновенно преобразился, поник, грусть непостижимая в глазах, скулы обострились... Молча помянули.

– Когда весной сорок третьего солдатиком восемнадцатилетним слушал я Семена на его первом творческом вечере в ЦДЛ, слушал

как завороженный, вытянув голову в ушанке из плотной толпы в конце зала, едва ли мог подумать, что через несколько лет станем друзьями – до его смерти в пятьдесят третьем... Хоронил я товарищей на фронте, ничего тогда не знал о судьбе репрессированных мамы и папы, но его смерть меня потрясла. Только ему я приносил на суд свои стихи. Его строки «Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели» и «Мы не от старости умрем, от старых ран умрем» – пророческие. Семен умер тридцатилетним... Как мог помогал я его семье – жене, дочери. Никому не рассказывал: в прошлом году, в том же ЦДЛ в ресторанной толпе издали увидел Ларису, его жену – хохочущая, красивая, молодая, она шла об руку с Константином Симоновым, он стал ее вторым мужем. Не вправе осуждать... Тогда я юркнул в толпу – не представлял себе, как посмотрю ей в глаза.

Принес Костик счет, Булат рассчитался, я выложил свою долю половинную, мой визави глянул вопрошающе, опустил в карман брючный, молча и равнодушно.

«МНОГО НАС, НЕРУССКИХ, У РОССИИ...»

Неспешно и в разговорах отшагав по Москве, затемно оказались мы с Булатом у памятника Пушкину, где, слева от Александра Сергеевича, в гранитном полукруге, на вытертых до мутного блеска рейках деревянной скамьи, едва отыскали для себя место. Только расположились – подбегает к нам мужчина моложавый: долговязый, распахнутый габардиновый плащ, темная шляпа велюровая, пенсне на шнурке – в общем, интеллигентного обличья. Огорчился я: верно, знакомец Булата, отвлечет от беседы.

– У, расселись, все места в Москве позахватывали, русскому человеку и присесть негде! Жиды проклятые! – выкрикнул долговязый.

Вскочил я, шляпу с него кулаком сбросил и замахнулся снова, но Булат перехватил мою руку. Обидчик как сквозь землю провалился.

Я коротко и сочно выругался ему вслед.

– Тебя-то за что, Булат?

– А тебя за что? – уныло подытожил Булат, как в старом анекдоте, и дружески обнял.

– Меня – по носу и по паспорту, но ты-то русский!

– «Много нас, нерусских, у России», – грустно улыбнулся Булат, вспомнил строчку Михаила Львова, хорошего русского поэта-фронтовика, татарина по национальности. Лет десять спустя рассказал

я Львову об этой встрече – возгордился Михаил: «Булат меня помнит».

– Сука антисемитская! Всю песню испортил. На шахтах не слышал я такого!

– Отчего – испортил? – откликнулся Булат. – Мы ведь все вокруг да около... И ты меня посчитал русским, а во мне две крови смешались: грузинская – отцовская, армянская – мамина. Интернационал! Отца, первого секретаря горкома на Урале, в тридцать седьмом расстреляли, мама недавно из лагерей вернулась, двадцать лет мытарилась.

Настал мой черед обнимать Булата.

– По папе – боль тупая, но мама – сегодня по ней душа разрывается. Помню ее молодой красавицей, в глазах черных молнии веселые полыхают; вернулась из лагерей старухой, хворой и хрупкой, но глаза не поблекли, те же огни бушуют. Вера коммунистическая – непоколебима, на партсобрания со своими подругами лагерными бегает восторженно. Как втолковать ей: подельщики ее – преступники!

– Не втолкуешь, – говорю, – вера для них священна, смысл всей жизни, согласиться – признать: зряшные их годы. Я и сам таким был, непоколебимым; если и гнулся, то вслед за генеральной линией.

– Ты?! – выкрикнул Булат, но, спасибо ему, больше к этой теме не возвращался. – Наслышался и я в армии: «армяшка!», но не озлобился, в Москве меня литературная братия за своего, русского, держит. Но ненависть к инородцам, более всего к евреям, неистребима, дика. Счастье твое – ты с ними не общаешься. Борис Абрамович любит повторять: «Стас Куняев – мой ученик!» А этот, уже не недоросль, по пьянке в своей юдофобии и Анатолия Софронова перещеголял. И еще себя покажет.

Страшно мне было все это слушать. Ведь цвет русской интеллигенции! Тянусь я к ним из своего шахтерского далека. А следует ли? Об Израиле, о своих еврейских корнях не задумывался я тогда. В Шестидневную войну, когда в боях жестоких гибли братья, пиво пил в баре на Арбате. Пелена застилала глаза мои библейские. Не оправдываюсь.

– Ты Семена Гудзенко помянул оттого, что он – Сарик, еврей? – спросил Булат...

– Нет, – не хитрил я, – непостижима для меня его поэзия: честная, исповедальная, смысл какой-то глубинный в его кровоточащих строчках...

– А мне Миша Луконин рассказывал, – вдруг вспомнил Булат, – однажды в Ленинграде, в полночь белую, после творческого вечера, набросились на них с Семеном пьяные подростки. «Нечего, – орут, – жидам к русской поэзии примазываться!» Явно науськаны. Год –

пятидесятый. Миша с Семеном спина к спине, кулаками отбиваются, а пьянь – с металлическими прутьями наваливается... Убили бы – хорошо, подоспел Михаил Дудин. Собрал бывших фронтовиков, тогда между нами братство кровное не было утрачено. Прогнали подростков. «Не дадут мне умереть спокойно», – шутил Семен. «Я б хотел быть сыном матери-еврейки» – как ты к этой строчке Бориса Чичибабина относишься? – спросил меня Булат.

– Никак! – ответил я. – Хотя многих они и восхищают. Мать себе не выбирают.

– А я в ней услышал боль великую русского интеллигента! – выкрикнул Булат уже под грохот поезда на станции «Маяковская» – метро закрывалось.

Мы обнялись, обменялись телефонами. И молодой Булат исчез, словно растворился в проблесках вагонных огней, – возродится – в огнях рамповых, но другим ли?..

«СТИХАМ, КАК ДРАГОЦЕННЫМ ВИНАМ...»

Недавно ушла жена – навсегда. Вдруг опустевший дом: пустота, заполонившая, точнее – разорившая душу... Слова, слова, на великом и могучем, ничего не говорящие, не объясняющие, даже если строки окантованы созвучьями и метафоры торопливо растолковать боль напрашиваются.

– Полегчает! – посулили участливые друзья. А хочу ли?

...И вспыхнули – ярко, ясно, отчетливо – воспоминания. И лишь светлые, хотя за долгую жизнь насмотрелись мы с женой разного.

Однажды – более года прошло после той встречи с Булатом – вернулся я домой из длительной командировки, из далей сибирских. Летел на крыльях любви и Аэрофлота.

За полночь дверь входную ключом открываю – у порога жена: сияющая, молодая, желанная, руки на плечи мне положила, прижалась.

– Больше не отпущу надолго!

Привозил я ей из Западной Сибири дурманящие запахи тайги, цветы – заранки, как огоньки; из хабаровского Севера – голубику... Перво-наперво о детях говорит:

– Здоровенькие. А тебе привет! – и хитро улыбается. – От Булата.

– Булата?! Ты что, в Москву ездила?

– Да нет, у нас в институте был его творческий вечер, он пел под гитару.

И вспомнил я гитару семиструнную в его редакционной келье, на гвоздике вколоченном...

– Словно давнего знакомого повстречала, – говорит жена, – из твоих рассказов о нем. Узкие плечи свитером стянуты, шевелюра черная, пышная, непокорная, говорок московский, интеллигент истинный... Очаровал с первых аккордов. И лоб мыслителя, это ты не приметил.

– Да не влюбилась ли ты? – на полуслове жену прерываю. – А не начать ли и мне петь под гитару?

– Тебе не поможет! – отрезала жена и убежала ужин готовить.

Не обиделся я, привык: строга жена к моим стихотворным опытам. Но отчего Булат не рассказал, что поет под гитару?

– Каждому – свое! – решительно завершила тему жена. – Главное я тебе не сказала: по мне, гитара – блажь, но стихи – я такой поэзии ни у кого не встречала.

– Какой – такой?

На миг задумалась жена, не приучена судить поверхностно – ни в своем инженерном деле, ни в жизни.

– Высокой! – выдохнула. – Вязь строк непостижимая, аура густая, неисчерпаемая, словно сердцебиение свое, кардиограмму, вдохнул в строки. Кстати, есть и глагольные рифмы, ты их напрочь отвергаешь, но у Булата они работают естественно, в конструкцию стиха вплетены.

– О чем стихи?

– Какая разница? О войне, о любви к женщине, снова о войне. Не в этом суть. Помнишь, у Марины: «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед». Черед твоему Булату пришел – и надолго. Хотя сегодня его никто не знает.

...Любовь моя, я всегда догадывался о твоем непогрешимом вкусе, об интеллекте возвышенном, увы, лишь в малых дозах востребованном в нашей повседневности будничной. Никогда я тебе об этом не говорил, только признаниями в любви пытался украсить твою жизнь. Ты была строга и к другим, но к себе в первую очередь. Как ты умела радоваться всему подлинному, прекрасному – и в наших детях и внуках, и в друзьях, и в Бетховене, и в Андрее Вознесенском, раннем... Как ты преображалась – и в Эрмитаже, и в парижском Лувре... Страшно подумать, еще тяжелее вымолвить, но ты ушла от нас, так и не растратив весь дар, щедро отпущенный тебе Свыше. Не моя ли в этом вина? И вспомнил я о твоем пророчестве – о Булате, когда еще его никто не слышал и не знал – о непостижимой тайнописи слов великого лирика. И рассказал я о м о л о д о м Булате, и посвятил свой рассказ тебе...

ТАЛИСМАН ДУШИ

Как велики деяния твои, Господь,
бесконечно глубоки замыслы твои!
Невежде не постичь,
глупцу не понять этого…
Псалом 92: 6, 7

Они еще обладали, как талисманом души,
тем, что давно утратили сегодняшние изгнанники, –
непоколебимой верой в своего Бога…
Стефан Цвейг *«Фанатик истины Зигмунд Фрейд»*

ОТПУСТИ НАРОД МОЙ…

До осознания сопричастности со своим великим народом долгий путь прошла моя душа, да и поныне движется, перемещается, трепыхается – во времени и в пространстве. В раздумьях и потрясениях. Намереваясь понять подлинные причины нынешних трагических событий в стране и в мире… Но начну издалека.

Однажды к вечеру, в начале семидесятых, в эпицентре брежневского застоя, извечный и неспокойный поток от Калининского проспекта вынес меня к темно-серому ступенчатому граниту Библиотеки имени Ленина, где у распахнутых стеклянных подъездов, среди выплескивающейся из метро толпы, я неожиданно обратил внимание на горстку людей. Словно островок в бурлящем водовороте. Протиснувшись вплотную, мигом признал в них своих однокровников – бородатые молодые мужчины в черных шляпах и женщины в шляпках или платочках. На бело-голубом транспаранте над головами моих собратьев округлым, словно школьным, почерком было выведено: «ОТПУСТИ НАРОД МОЙ!» Уже собирался выбраться из толпы зевак – не припоздниться бы на вахтанговскую премьеру, – но милицейский наряд, словно десант, опередил мои намерения. В мгновение ока демонстрантам скрутили руки, куда-то поволокли, хотя они и отбивались и что-то выкрикивали – нам, безучастным, молчащим… Милицейский майор с красным, разгоряченным гневом лицом разодрал плакат, но порывом ветра остаток голубой материи занесло на чугунную перекладину фонарного столба, откуда, подсвеченное люминесцентными лампами, долго и призывно сверкало уже одно слово: «ОТПУСТИ…»

– Что означает это выражение: «Отпусти народ мой»? – спросил я тогда – и по сей день сгораю от позора: симпатичная еврейская девушка глянула непонимающе, и лишь плотные сферические линзы ее очков спасли меня от библейского испепеляющего пламени. Не до вахтанговской премьеры...

С той поры неведомое и гордое слово «отказник» вошло в мое сознание, и, словно грозовые отголоски, молва о дерзких однокровниках моих, бушевавших на московских и ленинградских пространствах с плакатиками «Отпусти народ мой!», об очередях в голландском посольстве достигала и моих ушей, но, увы, не задевала, не взбудораживала: иная, не хмельная пелена застилала взгляд мой напрочь. До моей репатриации – к излету алии девяностых – было еще далеко...

Так счастливо совпало: большинство моих израильских друзей, приятелей, знакомцев – из т о й когорты отказников. По-разному складывался их Исход: у одних – через следственные камеры, у других – лишение работы и непонимание близких, третьи, что самое тяжкое, познали измену друзей. Впрочем, многие нынче в Израиле, перезваниваются, в гости приходят. Но одна подробность – общая, хотя и покидали они Москву в разное время. В полете до Вены весь самолет отказников – един и неделим отпущенный народ мой – пел и смеялся, плакал и притопывал, послушно пристегнувшись ремнями безопасности. А в венском аэропорту, едва пришли в себя – разрублена толпа, как будто злым мечом: в Рим, а оттуда в Штаты, поток настойчив и широк, шумливо говорлив, и тонкий ручеек – в сохнутовском строю. О чем это я?.. Увы, увы, и в Израиле народ мой не един, раздроблен, словно скала взрывом, разобщен...

Не из-за наших ли еврейских препирательств и распрей арабы противостоят нам? – спрашиваю себя. И допытываюсь у своего друга, бывшего отказника, тридцать лет живущего в стране: «Ответь мне как на духу, ничего не скрывая, – та ли это сегодня Земля, к которой мы, евреи, колена Израилевы, рвемся из тысячелетнего галута? Тот ли это народ, о котором, вслед за Моше-рабейну в Египте, в семидесятые годы в Москве вы, отважные, писали на плакатах самодельных, ветром и нарядами милицейскими разодранных: "Отпусти народ мой!", – и шли за это в тюрьмы и лагеря, – а твои еврейские стихи, словно еретические писания, сжигали на советском аутодафе, впрочем, можешь гордиться: нацисты сжигали книги и Генриха Гейне». О Гейне мы еще вспомним...

Уже в Израиле прочел, да и по сей день перечитываю Тору – Пятикнижие Моисеево, и в нем, в книге «Шмот», говорится: «А затем

пришли Моше с Аѓароном и сказали фараону: "Так сказал Бог, Всесильный Израиля: 'Отпусти народ Мой, чтобы они совершили Мне празднество в пустыне!'" Потому вспомнил я тот призыв, дерзкий и лаконичный, определивший начало Исхода, что в Священном Писании далее следует: «...чтобы они служили Мне!», – ныне многими позабытое, якобы за ненадобностью. Вышли мы все из народа или с народом, но забыли вернуться в народ. Предвидел ли такой результат московский еврей, первым предложивший текст призыва?

Два чеканных стиха из псалма царя Давида, вынесенные мной в эпиграф, точно и пророчески определили природу и истоки ненависти к иудаизму, породившие мутные селевые потоки дезинформации, захлестнувшие нашу прессу и обывателем подхваченные: идет неприкрытая, явная, просчитанная травля религиозной части населения, так называемых ортодоксов. Иначе как антисемитизмом именовать такое явление язык не поворачивается. Нелюбовь, словно по мановению длани левой, оборачивается во вражду, и указующий перст определяет единственного виновного во всех злоключениях: в тысячелетнем изгнании это были евреи, мы с вами, а в Израиле доморощенный антисемитизм адресован ортодоксам. И, словно грибы в дождевом изобилии, проклюнулись на поверхность партии новоиспеченные...

Среди них «Шинуй» – его лидер Томи Лапид, сменив микрофон рядового комментатора на рясу партийного проповедника, не случайно включил в свой список «русского» однодумца профессора Виктора Браиловского, а Роман Бронфман – к слову, тоже обладатель какой-то академической степени – к знамени своей партии приторочил лозунг шинуйный: борьба с религиозным диктатом. Цели ясны, задачи определены – за работу, товарищи! Однако ныне мы господами горделиво именуемся, это в стране Исхода были мы товарищами, там бы нашу профессуру в «воинствующие безбожники» зачислили.

С Томи Лапида что спрашивать? Он тамошние университеты не заканчивал, а у Виктора и Романа в студенческих зачетках по «Краткому курсу» «отлично» проставлено, им знать должно: в первые годы после революции «воинствующие безбожники» лютовали, и, увы, среди них наши братья по крови в передовых шеренгах – «евсекция» в большой правящей партии, где маленькое «б» в скобках проставлено. Племя молодое, незнакомое отличалось и прытью неугомонной, и внешним, рассчитанным на эффект безбожием.

Бесновались, маузерами помахивали, отцов и дедов своих религиозных за преданность вере, за соблюдение Субботы, за чтение

Торы в тюрьмы бросали, к стенке ставили, но те и в казематах тфилин налагали, молитвы губами окровавленными шептали. Спасибо, не из маузеров – сентенциями наши, нынешние, обстреливают, да так, что от каждой оторопь берет: неужто евреями накропаны?

Томи Лапид: «Нам жить рядом с палестинцами. Постепенно сформируется некий модус вивенди, который будет сильнее любого искусственного соглашения. Но "Шинуй" взял на себя особые обязательства по борьбе с религиозным диктатом...»

Роман Бронфман: «С палестинцами мы непременно договоримся, не сейчас – через год или пять лет, но главное – все силы приложу, чтобы дети и внуки жили в демократической стране, не по чуждым мне галахическим законам...»

Гремят взрывы и выстрелы, льется еврейская кровь, лютая антисемитская ненависть и в якобы демократических странах сотрясает мир, а им – кость в горле религиозные.

Моя бабушка, благословенна ее память, когда узнавала об отвратительных поступках кого-то из ведомых ей евреев, роняла сквозь зубы, словно припечатывала:

– Нит шейн фар ди гоим! – Перед гоями стыдно!

Жаль мне искренне отчего-то именно Романа Бронфмана: умом не обижен, но не дано пока постичь истину: религия – дело личное, сокровенное, возвышенное. Верно, пока не посчитали Небеса достойным приобщить, живи себе светским, никто не неволит, только народ свой ложью не будоражь. Либо запишись в йешиву, есть такие для всех возрастных групп начинающих. А там, глядишь, и о возвращении к корням своего народа задумаешься...

Следовало бы поставить точку. Но и на страницах израильской прессы русскоязычной, где изредка появляются и мои печатные раздумья, густо и настойчиво стали появляться тексты, слово в слово повторяющие сентенции наших «воинствующих безбожников». Не намерен вступать с коллегами в диспуты, тем более под рубрикой «Полемика». Полемизировать-то не о чем! Можно ли полемизировать о закономерности теплового движения и его влиянии на свойства физических тел? Или о направленном движении электрических зарядов в проводнике? Или о законах земного притяжения? У нас, евреев, осознаем мы это или отвергаем, единственное притяжение – к Земле Обетованной, но не оттого, что наши отцы-основатели, после долгих раздумий, не за Уганду проголосовали.

Гляжу я на фото атеистов-полемистов: нормальные еврейские лица, смотрят соколами, хотя не молодцы розовощекие, а седовла-

сые, морщинами посеченные, но мысли печатные скепсисом, словно смолой, пропитаны. Добро б скепсисом, а то злобой, желчью, ожесточением, да мало ли в великом и могучем синонимов! И невдомек мне, отчего злоба: от незнания, непонимания, ревности или зависти? Такие умные, начитанные, слог русский, словно толстовский, а постичь не дано. Обидно им... Но не внове нашему народу злобствующие – издревле ненавистники веры неистовствуют, но где они, ау! – запропастились, словно и не были, а еврейский народ жив и будет жить так долго, как долго будут существовать небеса над землей. Осознаю: непросто все, неоднозначно...

ПЕРЕЧИТАЙТЕ ЦВЕЙГА

Но в той же русскоязычной прессе – тем же компьютером набрано, той же типографской техникой размножено – обнаружил я великолепное эссе Стефана Цвейга «Фанатик истины Зигмунд Фрейд» из книги «Исчезнувший мир», в советских изданиях отсутствующее. Это едва ли не лучший из прочитанных мной литературных портретов великого психиатра, врача, философа – по точности и достоверности воспоминаний, по глубине осмысливания, по образности и отточенности стиля, – в блестящем русском переводе с немецкого Лилии и Виктора Зильберманов.

Но вынес я несколько строк Цвейга в эпиграф и название статьи у него позаимствовал оттого, что великий знаток души человеческой посчитал обязательным в свои воспоминания о Фрейде включить беседы с ним о проблемах еврейства, извечные н а ш и проблемы. Оба великих соплеменника не были людьми религиозными, хотя и не бежали от своего происхождения, но основную часть своего творчества посвятили философским и художественным исследованиям – сложностям или тонкостям общечеловеческим.

Многолетняя дружба, задушевная и нескрываемая, связывала Стефана Цвейга и Зигмунда Фрейда в их родной Вене. Смею предположить: фанатик истины, дерзко раздвинувший познания о человеческой душе, оказал неизгладимое влияние на творчество писателя. Но нынче речь об ином: создавая свою книгу «Исчезнувший мир», намереваясь включить в нее литературный портрет Фрейда, Цвейг как большой художник преднамеренно и не случайно, после мучительных раздумий или в порыве навалившейся боли основное внимание в своих мемуарных записках переключает на беседы с

Фрейдом в Лондоне в последние месяцы его жизни. Великого ученого, больного, восьмидесятитрехлетнего, его верная ученица Мария Бонапарте выхватила, словно из горящего здания, из оккупированной фашистами Вены, буквально из застенков гестапо. И загодя подготовила для него уютный дом в одном из лондонских пригородов, где и проходили встречи двух великих евреев, – именно на их диалоги и нацеливает увеличительное стекло своего таланта Стефан Цвейг...

Подчеркнув: «двух великих евреев» – я не оговорился: в тяжелейший период жизни еврейского народа, в тысяча девятьсот тридцать девятом году, в преддверии надвигающей Катастрофы наши великие пророки ни о чем другом говорить и не помышляли – только о трагической судьбе собратьев в те страшные дни. Всепроникающий ум Фрейда ищет ответ на происходящее и не находит его. Он лишь сожалеет, что всего год назад опубликовал свое исследование «Моисей и монотеизм» (Вена, 1938), в котором представил Моше-рабейну не евреем, а египтянином. «Теперь, когда все у них отнимают, я отнимаю у них еще и их самого великого человека», – горестно восклицает Фрейд в последние часы своей жизни, когда смерть уже наложила тень на его облик. Нет, он не отказывается от своего якобы научно обоснованного утверждения о Моше (не ко времени нам здесь оспаривать Фрейда), но у порога вечности искренне повинился перед своим народом, великим и верующим.

А что же Стефан Цвейг? Опустив в чужую английскую землю своего венского друга, бережно сохранив в душе последние откровенные беседы с ним, он включает в его литературно-философский портрет свою главную боль – горестные размышления о трагедии европейского еврейства. Подробности этой трагедии – мы ее именуем Катастрофой, а Стефан Цвейг описывает судьбы тысяч и тысяч еврейских беженцев, успевших вырваться из фашистской Германии в холодную, туманную, безучастную Англию, – приобретают исключительную достоверность, ибо приведены не остылым пером летописца и наблюдателя, а наполнены страстью и талантом еврейского литератора...

Но если прозорливые переводчики в своем предисловии к «Фанатику истины...» подчеркивают злободневность давних текстов для нынешнего времени, когда нам, евреям Израиля, предлагают положиться в борьбе за свое существование на якобы могущественные еврейские лобби в США и Англии, современность звучания этого эссе я вижу и в ином. Цвейг как достойный последователь «фанати-

ка истины» пытается отыскать истину или истоки трагедии двадцатого века, словно предупреждая нас, евреев двадцать первого века, что бедствия могут повториться – не дай Бог!

Не люблю цитировать, но, очевидно, без этого не обойтись. О своих современниках Цвейг пишет: «...не понимали они друг друга, вплавленные в другие народы, ставши больше французами, немцами, англичанами, русскими, чем евреями...» Погодите, написано шесть десятилетий тому назад, едва ли столько нет самого Цвейга, а словно о нас с вами сказано, словно по заказу тель-авивского еженедельника лондонским изгнанником подготовлено. И несколькими абзацами ранее: «Но самым трагичным в этой еврейской трагедии двадцатого века, которую переживали эти люди, было то, что они не могли отыскать в ней не только никакой своей вины, но и никакого смысла. Изгнанные в средние века евреи, их прадеды и прапрадеды, хотя бы знали, за что они страдают: за свою веру, за свои законы. Они еще обладали, как т а л и с м а н о м д у ш и, тем, что давно утратили сегодняшние изгнанники, – непоколебимой верой в своего Бога...»

Каюсь: ради этой восхитившей меня метафоры – талисман души – я и понудил читателя приобщиться к цвейговским текстам. Но отчего веру во Всевышнего уподобляет прозаик талисману души? В родном языке Цвейга – свое толкование. По точному русскому ожеговскому определению, талисман – предмет, приносящий обладателю счастье, удачу. Словарь синонимов дополняет: носимый на груди амулет или ладанка. Едва ли веру народа нашего Цвейг, чуткий к тонкостям языка, сравнил бы с ладанкой. Многократно повторяю вслух, вслушиваюсь в характерное звучание метафоры, внезапно обнаруживаю созвучие ее, пока лишь внешнее, с нашим ивритским словом *талит* – так называется молитвенная накидка прямоугольной формы с кистями – *цицит* – на углах. Закутываясь перед молитвой в *талит*, повторяет каждый еврей отрывок из псалма царя Давида: «...Господь мой, величие Твое безгранично, в сияние и великолепие облекся Ты, окутан светом, словно плащом, простираешь небеса, словно полог...» Так услышал я – и восхитился.

Только что закончив новую свою повесть – о Генрихе Гейне, – тешу себя надеждой: дотянется она к читателю. В одном из монологов, достоверных, исповедальных, поэт восклицает: «Да, я возвратился к Богу, подобно блудному сыну, после того, как долгое время пас свиней у гегельянцев...» И, опасаясь, что его поймут превратно, добавляет: «Я отказался от гегелевского Бога или, вернее, от геге-

лианского безбожья, и на его место поставил догмат о действительном личном Боге, Сущем...»

И вот о чем подумал я: если Генрих Гейне раскаялся, если Зигмунд Фрейд повинился перед еврейским народом за свои исследования о Моше-рабейну, если Стефан Цвейг в поисках истинных причин Катастрофы, ни на чем не настаивая, ничего не утверждая, вспоминает неожиданно о вере евреев в Бога, уподобляя ее талисману души, – как же нам, в советском галуте до мозга костей пропитанным безбожием, скромно именуемым атеизмом, сегодня, уже на Земле Обетованной, оставаться безучастными к опыту великих? Из своего далека они остерегают, упреждают, докрикиваются... Нам бы только услышать.

Попробуем довериться Ему, и Он спасет Свой избранный народ, пусть и жестоковыйный, но единственный, утраченную веру нам вернет, как талисман души. Попробуем довериться Ему. Нам, евреям, больше не на кого опереться...

Татьяна Азаз

ПРОГУЛКИ С МАРИНОЙ

Памяти Марины Фельдман-Меагер,
замечательного экскурсовода,
автора цикла радиопередач и книги
«Святая Земля. Путеводитель по Израилю»

Со временем уход друзей из этого мира становится неотъемлемой частью жизни. Банальная истина, но ее усвоение дается нелегко. А когда пытаешься написать о них – тех, кто живет в твоем сердце, – невольно сбиваешься на себя. Наверно, потому, что наши друзья дают то, чего нам не хватает. Какой-то особый вкус жизни, который ощущаешь лишь в их присутствии.

У Марины дома есть два автопортрета. Они написаны примерно в один период времени, но между изображенными на них женщинами – дистанция огромного размера.

На одном лежит на траве в купальнике молодая прекрасная дива. Пышным облаком нависла корона волос над задумчивыми темными глазами. Уверенно, даже с некоторым вызовом смотрит она на нас, исполненная сознанием своего обаяния и силы.

Многим довелось столкнуться с Мариной на ее экскурсиях или выступлениях. Она была не только знающим гидом, но и талантливым рассказчиком, владевшим аудиторией, как музыкант-виртуоз своим инструментом. Обращаясь к слушателям, она вела рассказ так увлеченно, с той интимной интонацией доверия к собеседнику, которую невозможно ни скопировать, ни подделать, при этом успевая кого-то пересадить, кому-то достать валидол, с кем-то перебросится шуткой. «Марина-шоу», Марина «адреналиновая».

Первый портрет как раз и был написан после одного из таких «представлений». Марина о нем говорила так: «Я здесь отдыхаю после поездки с группой в Эйлат, где я очень хорошо заработала».

Этой Мариной я восхищалась, иногда поеживаясь от ее холодка, иногда ревнуя к успеху.

Со второго портрета косит на тебя безумным подозрительным взглядом растрепанная всклокоченная старуха, закутанная в старый платок. Эта картина выписана какими-то закорючками, будто хоровод мелких бесов вырвался на волю и закружился в диком танце.

Маринин комментарий к нему: «Это если меня обманули и когда меня никто не видит».

Такую Марину я не знала.

Моя Марина, которую я безгранично любила, была не той и не другой, а третьей: мягким, терпеливым и тактичным другом, внимательнейшим слушателем, надежной душевной опорой.

БОЛЕЗНЬ

16 мая 2001 года.

Сегодня два часа была у Марины. Плакала. Все отступает перед болью ее ухода. Огромная раздутая нога, а над ней – плечико десятилетнего мальчика. Еще выше – привычная рыже-каштановая копна ее волос. Тщательно, под линеечку, как у школьницы, подстриженная челочка лишь подчеркивает заострившиеся черты, сморщенность и желтизну кожи. Глаза запавшие, усталые, но взгляд, как радар, прощупывает и ставит моментальный диагноз каждому входящему. С посетителями насторожена, переборчива. Сил мало, а видеть ее, ухаживать за ней хотят многие.

Потому что даже теперь, исхудавшая, слабая, она продолжает действовать на окружающих, как заряженный аккумулятор. Подпитывает энергией, насыщает озоном, возвращает уверенность в себе. Только сейчас ее обаяние включается избирательно: в общении с медицинским персоналом и самыми близкими. Вот заглядывает «доктор Ляля» – врач Людмила Кауфман, полгода пытавшаяся отчаянными усилиями отсрочить неумолимую развязку:

– Ну что, Лялечка, сотворишь чудо? Мы с тобой еще смотаемся на Мертвое море?

Появляется племянница Марины, готовится сделать массаж отекшей ноги. И ей Марина невзначай бросает:

– Такие руки только у нас, Животовских (девичья фамилия ее матери).

А Мирьям, сестре мужа, преданно и самозабвенно за ней ухаживавшей изо дня в день на продолжении долгих месяцев:

– Моя золотая, моя чудная, моя незаменимая, моя душа!

Для каждого она находит то особенное слово, которое мгновенно превращает его душу в Марино-приручeнную. И всякий, попавший в лучи ее ласковой обнимающей улыбки, верит всем сердцем, что он и Марина сейчас самые близкие люди на свете. «Вроде ничего нет,

только посмотрит, улыбнется – и уже засосало тебя, как в пылесос. Пять месяцев не шла, а бежала на дежурства, только о ней и думала, как будто других больных нет, а я ведь не новичок, двадцать лет здесь работаю, всего навидалась», – рассказывала на Марининых похоронах пожилая религиозная медсестра-сабра.

Это – чудо Мариниого «театра одного актера», «театра без занавеса», как метко заметил Алексей Буланов в посвященном ей стихотворении. Кажется, это взаимопроникновение благодаря ее способности моментально попасть в тон с собеседником (сама Марина говорила «попасть в ногу») происходит легко, без видимого усилия. Но это не так. Внутренний фонарь по-прежнему зажигается, но теперь он гаснет быстро, намного быстрее, чем обычно.

Меня она сначала видеть не хотела, попросила не приходить. Я приносила цветы, писала беспомощные записки: «Мариночка, будь сильной, поправляйся». Но в глубине души была обижена. И даже придумала такую фразу: «В тягость становится общение со старыми друзьями и приятелями. Они ведь тоже могут предъявить вдруг к оплате какие-то старые векселя еще не оплаченных долгов любви, а она с присущей ей стремительностью душевных метаморфоз уже их позабыла, отодвинула в дальний угол памяти, как старую ненужную мебель».

Только потом, уже не умом, сердцем почувствовала, как я ошибалась. Это были зигзаги настроений, связанные с болезнью, болью, усталостью. Иногда она набрасывалась даже на самых близких, любящих, но опять по-своему, «по-Мариниому». Вот обидится на что-то или заподозрит, что надоела, смотрит искоса, как на втором портрете, глаз желтый, хитрый, лисий – и ставит на место.

– Однажды мы, – рассказывает Марина (она и муж Менахем, ее верный и незаменимый помощник), – были в Штатах. (Путешествие по русской Америке оказалось очень успешным.) Там нас представляли так: «Это – Марина («Марина» с легким нажимом: мол, имя не нуждающееся в комментариях, не имя – явление) а этот – небрежный жест в сторону Менахема – собирает деньги за билеты, ему надо платить».

И смотрит настороженно на Менахема: мол, помни, сверчок, свой шесток, не забывай, кто я такая, хоть и лежу теперь распластанная, со слоновьей ногой. Но это только на мгновение. А потом снова сыплются слова, как из рога изобилия:

– Родной мой, золотой, что бы я без тебя делала? Ты мне всегда нужен, но сейчас иди, отдыхай, набирайся сил, устал.

И сама выдохлась, закрывает глаза.

НАЧАЛО

Мы были очень близкими подругами, такими, между которыми нет секретов. Наша дружба завязалась в самом начале восьмидесятых годов, когда русская речь была еще в диковинку на улицах Иерусалима, а в олимовских домиках в центре абсорбции в Мевасерет-Ционе русско-еврейская интеллектуальная элита вела дискуссии на тему «Нужна ли и зачем Израилю русскоязычная литература?»

Мы обе были молодыми мамами, одержимыми идеей создать для наших детей лучшую реальность, чем та, которую знали мы; мы обе были молодыми женщинами, полными любовных соков, и новоиспеченными израильтянками, потому что приехали в эту страну практически одновременно: я в январе, а она в июле семьдесят седьмого года. У нее была копна медовых волос, безумно длинные ноги и гибкие, сильные, красивые пальцы рук. Курила она с шиком, заразительно смеялась, лихо водила машину и даже стала зарабатывать на жизнь как водитель такси. Бросила работу на компьютерах и вдруг стала рисовать (подумать только, сам Тедди Колек, прославленный иерусалимский мэр, помог устроить ей персональную выставку!). К этому калейдоскопу смен занятий, мест работы, поисков себя прибавилась учеба на курсах экскурсоводов, и начались разговоры про неких астрологинь, предсказавших ей будущее необычайного гида. Я к тому времени уже поступила в докторантуру на медицинский факультет Еврейского университета в Иерусалиме и Маринкины «поиски себя» воспринимала снисходительно-любовно: как старшая сестра – детские забавы младшей. Какая разница, она – чудесный товарищ, теплая, отзывчивая, добрая. Пусть сочиняет свои байки про русские экскурсии, натура у нее богатая, куда-то вывезет.

Встречались мы нечасто, но встречи откладывались в памяти. Марина обязательно придумывала для них что-то особенное. То посреди вымершей от жары субботы приедет с дочерью Талочкой и потащит меня с дочкой в бассейн. То привезет уйму Талкиных платьев и игрушек для моей Анат, на три года младше Тали. Времена для нас обеих были нелегкие, но Марина всегда являлась на встречи такая сверкающая, полная жизни и стремления сделать что-то необычное, что ее оптимизм действовал на меня магнетически.

Но как-то незаметно встречи наши становились все реже, казалось, жизнь неумолимо растаскивает нас в разные стороны: меня –

в многочасовые лабораторные опыты, без которых невозможно закончить докторат, Марину – в учебу на курсах экскурсоводов и первые самостоятельно организованные экскурсии. Иногда Марина приглашала на них и меня, но я, постоянно усталая, не могла справиться с одолевавшей меня дремотой. Из-за этого или чего-то другого, но наш интерес к друг другу стал ослабевать, и в конце концов мы совсем потеряли друг друга.

ПРОГУЛКИ

Встретились мы вновь лишь в девяносто пятом году, когда обе уже жили в Мевасерете на соседних улицах. За это время многое в нашей жизни успело перемениться. У каждой была новая семья, дом, у Марины ее дело – собственное экскурсионное бюро (первое русскоязычное в Израиле), работа над книгой-путеводителем «Святая Земля». Помню, как я волновалась перед встречей. Ведь Марина теперь стала известной, даже знаменитой, как же все получится? Но встретились, будто расстались вчера. Та же Марина – теплая, улыбающаяся, моментально на все откликающаяся. Так же внимательно и заинтересованно слушает, так же откровенно и честно рассказывает о себе. О том, как досаждает и раздражает конторская работа в офисе, как она любит утром сидеть в саду со своими записями, как мечтает закончить еще одну книгу: об Иерусалиме.

Новый дом в Мевасерете Марина спланировала и обставила по своему вкусу. Я его сразу полюбила, он напоминал мне хозяйку: солнечный, уютный, красивый без вычурности, ничего лишнего. Особый колорит придавали ему развешанные повсюду Маринины картины того периода, когда она была безработной и жила в Неве-Яакове. Сюжеты их незатейливы и обыденны: окно с занавеской, развевающейся на ветру; горшок с лиловым растением; красные крыши домиков в старом иерусалимском районе Нахлаот; огромный кренящийся самовар; натюрморт с яблоком и грушей; стул под закрытой дверью... Только взгляд Марины – особый ракурс или изменение пропорций – подчеркивает «очеловеченность» этих неодушевленных предметов, интимную связь их молчаливого присутствия с нашей жизнью.

В эти годы наша дружба стала другой: теплее, домашнее. Сказывалось и близкое соседство, и сходство семейных обстоятельств. Мы обе второй раз вышли замуж за выходцев из Ирака, приехавших

в Израиль с алией пятидесятых годов, и вошли в большие восточные семьи с их затаенным жаром обостренного чувства достоинства и тотальной племенной преданности.

Обычно мы встречались вечером и шли гулять. Вот и сейчас у меня перед глазами привычная картина: я иду к нашему суперу и еще издалека вижу ее девчоночий легкий силуэт – темные узкие брюки, рыжая спортивная куртка и головка, увенчанная водопадом густых волос. Рядом, как антитеза ее стройности, устремленности вверх, пес Шарпи, приземистый, черный, как уголь, толстый, как сарделька, из породы китайских шарпеев. Его привезли из Москвы месячным щенком, и он превратился в «любимого ребенка». Встретимся, обнимемся и двинемся в путь. Шарпи семенит враскачку, как юнга, любопытный, как годовалый малыш: мечется из стороны в сторону, опутывая нас своим поводком, а то застынет на месте, вытянется в струну и втягивает воздух трепещущими ноздрями. Мы это называли «предчувствием подруги».

Подруга никак не находилась, темп прогулки сбивался, из-за него мы послушно останавливались чуть ли не каждые сто метров. Я на ее месте давно стала бы оставлять его дома, но Марина обожала Шарпи, и мне приходилось смиряться.

Тем не менее, у нас – не обычная прогулка, а полет, парение духа. Болтали взахлеб, наперебой, обо всем на свете, перескакивая с одного на другое, перемежая рассказы о детстве, школе, студенческих годах с сегодняшними победами, обидами, заботами о детях, о том, как погасить «минус» в банке.

Иногда спорили о политике. Она – «правая», за Шарона, я – «левая», за соглашения Осло. Но настоящим спором это назвать нельзя. Скорее, это был обмен мнениями, размышления вслух в попытках найти выход. Нас обеих возмущало тогдашнее высокомерное «отмахивание» израильской политики от разнузданной антиизраильской пропаганды палестинских средств массовой информации и культа ненависти к Израилю, насаждавшегося чуть ли не с детского сада. На школьных картах Палестинской автономии Израиль не обозначен. Мы даже стали набрасывать некое обращение к израильским и палестинским политикам с требованием объяснить, как это сочетается с мирным процессом. Конечно, это было наивно, подилетантски, но внезапно вспыхнувшая интифада подтвердила правомерность нашего беспокойства.

На вынужденных остановках мы любили, задрав голову, разглядывать небо и вслух наперебой его описывать, сравнивать по цвету,

по величине и яркости звезд с тем, которое было над нами обеими в детстве и юности, у нее – в Киеве, у меня – в Харькове и Ленинграде. Однажды мы увидели две яркие звезды, облака и тонкий серпик луны. Больше не было ничего. Марина, которая к тому времени нередко повторяла мне: «Ты знаешь, мы как сестры, мы все можем друг другу сказать, ты для меня сейчас самый близкий человек», – немедленно заметила: «Видишь, я точно говорю, это – я, а это – ты, теперь это будут наши звезды». Мы рассмеялись, обнялись и пошли дальше. Обязательно доходили до «контрапункта». Это был высокий обрыв, на который Марина впервые набрела вместе с Шарпиком, а потом привела туда и меня. Ночью мы видели лишь гряды холмов с привольно разбросанными гирляндами огней, а днем или в сумерках на севере – гору с темнеющим силуэтом Кастеля, крепости крестоносцев; на западе – комплекс зданий больницы «Ѓадаса»; на юге же, по направлению к Иерусалиму, белели, как закрытые двери, слепые кладбищенские надгробья.

Марина казалась мне дирижером, и стоило ей взмахнуть палочкой, как мир преображался. Легкие распрямлялись, заново ощущая свежесть вечернего воздуха, гирлянды огней начинали сверкать ярче и праздничней, мелкие накопившиеся за день обиды и досада уходили, а музыка мироздания начинала звучать громко и отчетливо. Не всегда гармонично, бывала и какофония. Но в присутствии Марины слух, зрение, обоняние усиливались многократно.

Помимо этой способности преображения пространства, так сказать, по горизонтальной оси, была у нее еще одна ось влияния – вертикальная, уходящая в глубь времени, качество, которого мне очень не хватает. Я застреваю и с трудом переключаюсь во временных регистрах, а Маринина психика была удивительно динамична, подвижна как ртуть, как она сама. Марина поражала меня легкостью переходов от реалий исторических к сегодняшним, легкостью их сочетания. С ней можно было с наслаждением закапываться в любые, покрытые пылью веков «иерусалимские» проблемы: как возникло иудеохристианство, миф о Виа Долороза, когда началось строительство монастырей в Эйн-Кареме... А позже незаметно и легко находить дорогу обратно – например, к обсуждению бюджета недельных покупок в супере.

А потом все чаще стала возникать и еще одна тема, связанная с ее здоровьем.

Считанные люди знали о том, что она была серьезно больна, перенесла две операции. Потом на несколько лет болезнь отступила.

Марина была необычайно мужественным человеком, не разрешала обращаться с собой как с больной, ни в чем не давала себе спуску, но какая-то тень угрозы всегда витала в воздухе. Со мной она была откровенна. Старая дружба, да и моя причастность к медицине, по-видимому, располагали к этому. То тут, то там, как тлеющий бикфордов шнур, вспыхивали в наших беседах темы болезни, смерти, нелюбви и недоверия к конвенциональной медицине (со стороны Марины).

Осенью двухтысячного года в ее состоянии наступило резкое ухудшение. И опять Марина пошла своим путем: решила лечить себя натуропатией. Я ее поддержала, считая, что в третий раз врачи ей действительно мало чем будут полезны. Она старалась ни в чем не менять привычный образ жизни: много и упорно ходила, плавала, соблюдала диету; верила, да и я вместе с ней, что можно «переходить», «переплыть» неизбежное – спрятаться от него.

Состояние ее то улучшалось, то ухудшалось. Она засыпáла меня разными вопросами, иногда я могла помочь, чаще нет, заботясь лишь о том, как скрыть от нее безвыходность ситуации. А она будто и не хотела ее замечать и тут же отступала, превращала все в игру, как бы снимая с меня тяжкую ношу сопереживания:

– Танюша, ты сегодня просто уставшая. Завтра отдохнешь и придумаешь что-нибудь, найдешь в Интернете, ты же умница. А потом закатим пир!

«Пир» мы закатывали примерно раз в неделю, постный, без соли, согласно жестким требованиям природных целителей. Я варила темный рис с сельдереем, киндзой, морковкой, луком и головками чеснока, готовила салат из помидоров шерри с базиликом и кедровыми орешками, фрукты с миндалем и корицей. Мы усаживались в саду и начинали «трындеть» под Маринкины «охи» и «ахи»:

– Какая вкуснота!

В шутку она говорила мне:

– Ты – мой любимый шеф-повар, а я – твой лучший психолог.

Цитировала популярное высказывание кого-то из российских писателей: «Психологи – друзья по найму, а я – по любви».

В том же году тяжело заболела и попала в больницу ее мама, к которой она была нежно и глубоко привязана. Марина успела ее выходить. Именно тогда она стала часто говорить об их особых отношениях.

– Ты знаешь, когда я была маленькой, мама называла меня «солнышко» и будила так: «Просыпайтесь, солнышкины глазки,

просыпайтесь, солнышкины бровки, носик солнышкин, просыпайся!» Я вообще была в детстве, как огненный шар, сгусток энергии. Но не помню, чтобы мама меня когда-нибудь за что-то ругала, что-то запрещала. Она вообще никогда никого не осуждает. Я ей всегда все рассказывала, и она всегда принимала меня такой, какая я есть. Никогда не читала нотации, только советовала. А ты знаешь, какие потрясающие воспоминания о войне написала мама?

Но постепенно я стала замечать, что сквозь привычную улыбку проглядывает другая Марина: не распахнутая навстречу всему, а настороженная, изучающая, примеривающаяся к неизвестному. Я хотела ей подарить чей-то оригинальный рисунок, она меня остановила:

– Ты что, не заметила, в моем доме висят только мои картины, это ведь моя галерея. – А потом после короткой паузы добавила: – Я хочу, чтобы так это осталось и после моей смерти.

Эта была очень Маринина реакция. Верность себе, своему таланту (в любых его проявлениях) и понимание, что осталось уже немного. С благоговейной бережностью она обращалась и с результатами своего труда, и со своим временем. Часто повторяла:

– Я люблю читать, писать, рисовать, гулять, плавать, иногда водить экскурсии. Других занятий тщательно избегаю.

Одна из наших последних прогулок была замечательным субботним апрельским утром, недалеко от дома, в Вади-Халилим. Было семь утра, поселок еще не проснулся. Мы бродили среди желтых ракитников и красных маков, договорились, что обязательно придем в следующий раз сюда с аппаратом, сфотографироваться среди этого цветущего чуда. И долго меня потом грело тепло этой прогулки. Я подумала, как много бы потеряла, если бы не пошла с ней гулять.

Марина была на шесть лет младше меня. Но эту разницу в возрасте я совсем не чувствовала. Она одновременно была для меня и старшей, и младшей подругой. Младшей, когда говорили о ее болезни, когда я ей готовила. Старшей, когда советовалась с ней о себе, о детях, о работе и об отношениях с людьми.

Я люблю симметричные отношения. Но с ней мне не мешало, что она держит определенную дистанцию между нами, тонко, тактично, но держит. «То, что можно мне, можно только мне – ведь то, что я могу, не каждому дано, не у каждого получится», – так, казалось мне, думала она про себя.

Правда, иногда я на нее все-таки злилась, но ненадолго.

Мне удалось убедить ее бросить курить. Однажды она после долгого перерыва снова закурила. Я раскричалась. В моем крике были, наверно, не только тревога за нее, но и обида: почему не слушается, не подчиняется? И вдруг она остановилась и с полуна-смешкой сказала:

– Ты чего на меня кричишь, ты же маленькая.

Я почувствовала такое бессилие, разочарование, что повернулась и молча пошла вперед, оставив ее одну на скамейке с сигаретой. Потом на ходу подумала: «Горе-беда – кто-то заливает его вином, кто-то заедает, как я, пирогами, а Марина "закуривает". Как же я могу быть такой мелочно самолюбивой и обижаться на нее за это? Надо набраться сил, терпения и попытаться снова убедить ее».

Вернулась и сказала:

– Мариша, я неправа. Я понимаю, как тебе тяжело. Как мне с моими приступами «сладких лихорадок». Будем продолжать бороться вместе.

На нее это произвело огромное впечатление. И не раз потом она мне говорила:

– Я так люблю это в тебе – ты можешь не только посмотреть с точки зрения «правил здоровья», но и понять, когда у меня кончаются силы жить по этим правилам, и помочь мне вновь их обрести.

На презентацию ее книги в Иерусалиме я пришла с огромным букетом алых роз из дорогого магазина. Марина лишь сухо бросила:

– Спасибо.

И только через неделю «разговорилась»:

– Ты знаешь, эти розы твои – особенные. Не вянут. Это потому, что они от всего сердца.

И чем дольше цветы стояли, тем щедрее и теплее были ее похвалы. Значит, поверила. Вообще, она умела сказать «спасибо» так, что хотелось для нее сделать что-то еще и еще – так это было непосредственно, искренне. Она была очень щедра душевно с людьми, легко и быстро ими увлекалась, а они так же быстро к ней привязывались, везде чувствовали себя с ней как дома. Потому что она сама везде умела быть «как дома», в любом месте, с любым человеком.

Но, конечно, прежде всего «дома» она была в Израиле. И мне кажется, что секрет феноменального успеха ее книги-путеводителя был именно в этом. Особая форма – сочетание историко-археологических сведений и скрупулезно разработанных карт с библейскими сказаниями, народными легендами, притчами еврейских мудрецов – превращает его в незаменимое пособие. Марина

мечтала, чтобы эта книга, как хороший друг, взяла за руку любого человека и повела его по нашему новому, еще не ставшему своим, дому. Показала его заветные уголки, раскрыла тайники, обнажила неведомые нам самим наши корни здесь. И сделала этот дом обжитым, близким, своим.

И, на мой взгляд, ей это удалось в полной мере. Ее книга помогает преодолеть пропасть между умозрительной решимостью переезда в Израиль и необязательностью, случайностью нашего присутствия здесь в глазах израильтян. Марине удалось помочь русскоязычному читателю, далекому от духовности Святой Земли и ее удивительной истории, испытать чудо обретения, причастности. Это чувство с годами становилось в ней все глубже и глубже, и всем, что делала, она стремилась приобщить нас к этому открытию. Не произнося никогда никаких высоких слов вслух, Марина видела свою жизнь как миссию. Так же видел Марину ее муж Менахем Меагер. Их удивительный союз – еще одно доказательство моему крепнущему с годами убеждению: общность языка отнюдь не является непременным предварительным условием общности душ.

Сначала я утешала себя мыслью, что при всем трагизме безвременного ухода Марины из жизни память о ней останется на этой земле надолго и ее имя никогда не сотрется из летописи жизни русской алии второй половины двадцатого века. Но все меньше друзей с каждым годом собираются в годовщину Мариниой смерти, все реже вспоминают о ней люди, а я все чаще, все острее ощущаю ее отсутствие. Запрокидываю вечером голову, смотрю на луну, на звезды и спрашиваю: что ты обо всем этом думаешь, Мариша?

Лея Алон (Гринберг)

В ПОИСКАХ ДРЕВНЕГО ИМЕНИ

Ранним утром мы вышли из мошава Дор к морю. Берег был еще безлюдным в этот час, море – зеленовато-голубым, притихшим после вчерашней бури. Только у самого берега волны пенились, разбиваясь о скалы. Солнце, недавно показавшееся, оставляло золотистый шлейф на воде. И лишь спасатели, крепкие, загорелые парни, присев на край лодки рядом со спасательной вышкой, задумчиво следили за морем. Они любили его, Средиземное море, с его вечным непостоянством. Оно встречало их то шумным прибоем и нервными криками чаек, то вот так, как сегодня: угомонившееся, ласковое. Состояние покоя могло оказаться недолгим, и тогда все вокруг темнело и море становилось похожим на необузданное дикое животное.

Мы направляемся к пляжу с чистым желтым песком и веселыми зонтиками. Когда-то этот песок привлек сюда барона Ротшильда, задумавшего построить на берегу Дора завод по производству стекла. Шел конец девятнадцатого века – время вспыхнувших в России погромов, которые пригнали в Палестину волны еврейских беженцев. Нищая, голодная, малярийная Палестина пробуждалась к жизни. Барону нужны были бутылки для первых винных заводов. Он мечтал заселить берег у подножья Кармеля. Но стекло неожиданно вышло темным и мутным, а найденный способ его осветления серьезно удорожил производство. Да к тому же люди приживались здесь трудно, малярия косила целые семьи, и берег по-прежнему оставался пустынным и диким. Завод пришлось закрыть, и отличный песок так и не нашел себе промышленного применения.

Все это я вспоминаю, пока мы идем по берегу к кибуцу Нахшолим, который был создан в 1948 году молодыми уроженцами страны вместе с их ровесниками, репатриантами из Польши и Турции, уцелевшими в годы Катастрофы. Прибрежная полоса песка становится все уже, пока не исчезает совсем. Вода накатывается на большие, поросшие мхом камни, бьется о выступы мощных стен – это остатки старой крепости. Сразу за ними возникают легкие тенты и округлые столики кибуцного кафетерия.

Но вот уже позади светлые домики, детские площадки, цветочные клумбы, шахматные фигуры в рост ребенка, расставленные на

расчерченных под шахматную доску квадратах асфальта. И наконец мы напрямую выходим к огромному старинному зданию в готическом стиле. Темное, устремленное вверх, без крыши, оно до странности не вяжется со всем, что его окружает. Кажется, что оно попало в сегодняшнюю кибуцную панораму по замыслу кинорежиссера, готовящегося к съемкам фильма. Впечатление несоответствия довершают и каменные якоря у древних стен, и зеленоватые медные баллисты, и остатки колонн на площадке перед входом. А внутри – сводчатые низкие потолки, рыцарь в латах с копьем замер на страже, снова баллисты, полумрак, таинственность и тишина. Сегодня в старинном здании с мощными стенами и овальными арками внутри расположился Музей подводной археологии, но совсем неожиданно для меня оно связалось с тем самым желтым песком, который обманул ожидания барона Ротшильда: в одном из залов собраны документы, рассказывающие историю завода, который около ста лет назад размещался здесь. В нише, рядом с портретом барона, хранятся две бутылки с вином. Одна – прозрачная, чистая как слезинка, другая – темная, мутноватая. Свидетельство первого несостоявшегося завода и первого несостоявшегося поселения. Завод здесь так никогда и не построят, а поселение будет создано. Только время его придет гораздо позже...

О создателе музея Курте Раве ходят легенды. И как в каждой легенде, правда и вымысел в них переплелись так, что их уже не разделить. Рассказывают, что он – голландский летчик и во время аварии дал себе слово: уцелею – обязательно побываю на библейской земле. Сегодня трудно сказать, было ли это в действительности или кто-то ищет в его судьбе мистическую связь с Эрец-Исраэль, навсегда привязавшей его к себе. Сам он лишь отшучивался. В жизни этого человека было много опасностей, и не раз лишь чудо спасало его от гибели.

Курт Раве приехал в Израиль перед Войной Судного дня; начались бои, и он решил задержаться. Война закончилась, но он не торопился возвращаться в Голландию. Пристрастился к подводному спорту, полюбил окрестные берега. Однажды нырнул, как обычно, как много раз до этого. Из глубины вод на него смотрел человек. Зеленоватый, испускавший какой-то странный свет, он словно замер на дне моря. Раве испугался и немедленно всплыл на поверхность, но придя в себя, понял, что это, должно быть, статуя, попавшая в море, видимо, в результате кораблекрушения. С этого эпизода и началось изучение им морского дна. Иногда ему казалось, что,

привыкнув к постоянному внутреннему напряжению, он продолжает искать его и здесь, занимаясь подводным плаванием и все глубже погружаясь в море. Но нет, то был иной поиск, за ним стояла незнакомая ему прежде страсть исследователя.

В зале с овальными потолками в одной из ниш горит свеча. Включается видеофильм, и на экране возрождается прошлое этих мест. Пять тысяч лет назад здесь был большой морской порт. Прибывали корабли, совершались сделки: торговали деревом, драгоценными камнями, металлом, винами, сырами. Шли войны, тонули корабли, берег менял свой облик. Город Дор, упоминаемый еще в Танахе, переходил из рук в руки, и море было свидетелем происходивших здесь сражений. Воды его пенились и кипели в минуты бурь, и из голубовато-зеленого оно становилось красным от крови. Вот оно – прямо перед тобой на экране. Только что, проходя по пляжу, ты видел его спокойным, но оно снято в момент бури: тяжелые волны обрушиваются на берег, и, кажется, исчезла грань между морем и небом. Сколько трагедий случалось в такие минуты, сколько затонувших кораблей схоронили эти воды, сколько таинственных кладов погребли в своих пучинах!..

Как-то на карте Жакотина, главного картографа Наполеона, Курт Раве обнаружил порт Тантур. Что делала здесь армия Наполеона, как попала сюда из Акко, что привело ее на этот заброшенный и угрюмый берег с крохотной гаванью и нищей арабской деревушкой? Раве искал материалы в библиотеках и музеях Франции, перечитал множество воспоминаний, писем, дневников. Пожалуй, впервые за время своей жизни в Израиле он так серьезно готовился к исследованию берега Дора. И постепенно перед ним вырисовалась картина происходивших здесь событий. То был только один эпизод из истории завоевания Святой Земли, связанный с походом Наполеона на Ближний Восток. У берегов Акко военное счастье изменило полководцу. После позорного поражения армия с большими трудностями добралась до Тантура, где солдат должны были ждать корабли, чтобы переправить в Египет. Но суда не пришли. И тогда Наполеон отдал приказ оставить больных и раненых, бросить в воду оружие и немедленно отправиться в путь.

Двенадцать лет группа Курта Раве искала оружие Наполеона. Не раз исследователей ждало разочарование, но были и минуты большой радости, когда поиск приносил результат. Три тяжелые пушки были найдены в море, много другого оружия, пушечные ядра. Море не раз проявляло свой строптивый характер. Однажды, когда

пытались поднять со дна бронзовую пушку, разразилась буря. Раве и группа аквалангистов едва не погибли. Описывая этот эпизод в своей статье, посвященной двенадцатилетнему поиску оружия Наполеона, он заключает: «С тех пор 5 января символизирует для нас двойственный характер моря: дает, но вместе с тем и забирает».

Все в музее хранит следы долгого пребывания в воде. Песок и ракушки облепили тяжелый ствол пушки, бронза отдает зеленым, а древние монеты – странного бурого цвета.

После музея дневной свет кажется слишком резким, и надо привыкнуть к нему. Обычный летний день, в котором настоящее выглядит естественным продолжением прошлого, как раскопки на сером выцветшем холме выглядят естественным продолжением Музея подводной археологии.

Холмы, холмы... Какие тайны прячут они, о чем расскажут очередные раскопки?

Ветер гуляет на холме, теребит тенты, защищающие археологов от солнца. На флаге Калифорнии белый лев ест красную траву. Четкий квадрат очертил территорию раскопок. Видны основания домов, булыжная мостовая. Землю укладывают в тачки, а глиняные черепки – в ведро. Хотя тент и спасает от прямых лучей солнца, в такой день куда приятней загорать на соседнем пляже, чем таскать тачки с землей и камнями.

Невольно задумываешься о необъяснимой тяге археологов всего мира к библейской земле. Порой они приезжают на какой-то заброшенный холм год за годом в течение десятков лет, чтобы участвовать в раскопках. Их не надо убеждать в достоверности событий, о которых рассказывает Библия. Разве не найдены были руины древней Ниневии, последней столицы Ассирийской империи, о которой сказано в пророчестве: «И простре Он руку Свою на север, и уничтожит Ашур, и обратит Нинве в развалины, в место сухое, как пустыня»? Разве не был обнаружен гигантский фундамент Вавилонской башни, которую на протяжении бурной истории множество раз разрушали, но вновь и вновь восстанавливали? А рукописи Мертвого моря – потрясшие научный мир своей древностью первоисточники, неоценимый материал для изучения религиозно-философских течений на нашей земле? А раскопки Йерихо, с которого сыны Израиля начали завоевание Ханаана, – археологи насчитали там сорок культурных слоев?

Помню, как в Англии поразили меня сохранившиеся и ухоженные замки королей. Было, конечно, завидно. Но я подумала: они насчитывают несколько столетий, а наши руины – тысячелетия и свиде-

тельствуют о неразрывности нашей связи с этой землей, – и вспомнила слова Юлия Марголина, публициста и философа: «Здесь где землю не копнешь, выходит ее еврейское прошлое. Библия в землю вросла: пластами в землю легли судьи, цари и пророки».

Над соседним тентом нет флага, и трудно определить, откуда прибыли археологи. Квадрат раскопок обнесен колючей проволокой. Глубина – четырнадцать метров. Самый нижний слой относится к железному веку, над ним – век бронзовый. Ты стоишь над руинами древнего города, и кажется, будто заглянул в глубь веков, как заглядывают в глубь старого колодца. Сдвинув тяжелый камень над ним, ты оказываешься в той эпохе, когда сыны Израиля стояли у границ земли, которую Всевышний повелел им завоевать. Были они сильны своим единством и верой в Бога Авраѓама, Ицхака и Яакова. Их вел Йеѓошуа. И первое упоминание Дора мы находим в Книге Йеѓошуа. С той поры так или иначе Дор был связан с судьбой Израиля. В Книге Судей сказано: «Когда Израиль вошел в силу, сделал он хананеев данниками, но не изгнал их». Тогда Дор только-только перешел к колену Менаше. А потом вновь мы встречаемся с Дором, но уже во времена царя Шломо, когда город познал истинный расцвет. Судьба Дора была изменчива, как судьба Израильского и Иудейского царств. Все пережил он на своем веку: расцвет и упадок, власть разных народов и государств, – но, подобно блудному сыну, обретшему покой у родного порога, снова вернулся к нам.

Древний Дор лежит, занесенный песком, и только имя его, как свеча в лабиринте памяти, освещает его прошлое и связывает с настоящим. Внизу, у подножия горы Кармель, дышит Средиземное море. Оно то ласково накатывает на берег, то с силой разбивает высокие волны о подножья гор. Изменчивое, но в любой своей ипостаси – прекрасное.

«ТОЛЬКО ДУХОМ МОИМ...»

В горах Гильбоа – туман. Он тяжело опустился на долину, и она утонула в нем. Я стою на вершине, и такое ощущение, что лечу над облаками: надо мной – чистая голубизна, а внизу – тяжелые серые облака, которые вот-вот прольются дождем.

Накануне я множество раз возвращалась к источникам, как будто это мне, а не кому-то другому, предстояло вести экскурсию. Две книги лежали передо мной – Книга Судей и Книга Шмуэля. В каждой

из них были упомянуты эти места, где произошли два сражения, оставившие след в нашей истории. И сейчас, стоя на горе Гильбоа, я поймала себя на мысли, что перенеслась в эпоху Судей и первых израильских царей, когда еще не завершилось завоевание земли и шли постоянные за нее войны.

Быть может, именно туман, опустившийся на долину, был тому причиной. И вспомнилось, как Гидон, судья и крестьянин, накануне битвы в тревоге вопрошал Бога, будет ли Он сражаться на стороне Израиля и суждено ли ему, Гидону, одержать победу.

Вот уже семь лет, как сыны Израиля не знают покоя от врагов, которые налетают, как саранча, губят посевы, уничтожают скот. Обессилел народ, стал возводить крепости, чтобы укрываться в них, рыть к ним подземные ходы. Трудно поверить, что в его прошлом были те удивительные деяния, о которых рассказывали им отцы, и сам Бог вывел их из Египта. Все кажется таким далеким после испытаний, выпавших в последние годы на их долю... Бог явно покинул их и отдал на растерзание мидьянитянам. Но если так, возражал сам себе Гидон, чьим был Голос, который он явственно слышал? Голос был обращен к нему: «Иди с этой силой своей, и ты спасешь Израиль от рук мидьянитян, ведь Я посылаю тебя».

Гидон вновь и вновь возвращается к этим словам и ведет мысленный диалог с Богом. Почему именно на него пал выбор? Ведь его семейство беднее всех в колене Менаше, и у своего отца он самый младший. Какое же преимущество есть у него перед другими, что принесет ему победу? И слышит он все тот же Голос: «Я буду с тобой, и ты разобъешь мидьянитян как одного человека».

И просит Гидон знак у Бога: он хочет убедиться в том, что не ошибся, что и впрямь тот говорил с ним. О чуде просит он: пусть вся земля покроется росой, только состриженная овечья шерсть, оставленная им на гумне, останется сухой. Если так произойдет, то поверит он, что предписал ему Творец собрать войско и выйти на бой с врагами Израиля. «И сделал Бог так в ту ночь: сухой была шерсть, а вся земля покрылась росой».

Мы стоим на вершине Гильбоа. Под нами – Изреэльская долина, над нами плывут облака, а над долиной стелется туман. Может быть, и тогда был такой, как сегодня, день и вот так же оседал над долиной туман. К ночи он не рассеялся, а стал еще ощутимей. Он опадал тяжелыми каплями, и вещи сырели, пропитываясь влагой, и только шерсть на гумне оставалась совершенно сухой, будто ее не касались обычные законы природы. И вот это придало Гидону уве-

ренность и силу. И рано утром поднял он весь народ и расположился станом у источника Харод.

«И сказал Господь Гидону: "Слишком много людей с тобой, чтобы Я предал мидьянитян в их руки"». Гидон, подчинившись Голосу, отсылает из стана тех, кто испытывает страх перед боем. Теперь только десять тысяч воинов из тридцати двух тысяч остались с ним, чтобы сразиться с врагом.

Гидон видит их всех перед собой, мужей, готовых к битве. Они напряжены перед сражением, истомились от жажды. Вот они припали к воде. Кто-то отбросил оружие в сторону, кто-то опустился на колени, кто-то пьет, как пес, лакая языком из пригоршни, но при этом не оставляя оружие. И слышит Гидон все тот же Голос. Он ведет его, наставляет, помогает отобрать воинов. «И сказал Господь Гидону: "Всякого, кто лакает воду, как пес, поставь отдельно... Тремястами лакавших спасу Я вас и отдам мидьянитян в твои руки..."»

...Тишина, только птицы ведут свою утреннюю перекличку. Облака постепенно рассеиваются, и мир вокруг обретает краски. Склоны гор радуют глаз яркой зеленью. Здесь и эвкалипты, и сосны, и рожковые деревья, посаженные уже в наше время. Изредка красным огнем полыхнет мак. Где-то на не видимом нам склоне растут ирисы Гильбоа, красавцы-ирисы, выбравшие для себя это одно-единственное место на земле. Время их цветения – конец марта – начало апреля, и тогда тысячи израильтян приезжают полюбоваться ими.

Изреэльская долина постепенно открывается глазу. Отсюда она видна вся как на ладони. И нетерпеливая фантазия, подкрепленная описанием Книги Судей и картинами Гюстава Доре, живо рисует необыкновенную эту битву. Войско Гидона было на Гильбоа, на высоте, и осталось в нем по слову Бога всего триста человек. А неприятель расположился станом внизу, в долине. Шла весна, созрел ячмень, и его запах привел на поле и мидьянитян, и амалекитян, и сынов Востока. Как всегда, приготовились они разорять и грабить. И было их великое множество, как песка на морском берегу.

Стояла ночь, когда звук сотен труб в одно мгновение ворвался в тишину и огонь сотен факелов тревожно заплясал во тьме. Это войско Гидона проникло в стан врага и привело его в замешательство. Все строилось на внезапности, потому и приказал он каждому воину спрятать факелы и шофары в глиняных кувшинах, и когда подошли они к краю стана, разбили их, затрубили в шофары и зажгли факелы. И раздался ратный клич, который поднимал дух воинов: «Меч за

Господа и за Гидона!». Враг бежал, а вслед ему с горы Гильад ударили свежие силы, они настигали отступавших с поля боя и истребляли их.

Так вот, оказывается, откуда они, ночные эскадроны Уингейта, британского офицера, выросшего на Библии и свято верившего, что пришел час исполнения пророчества о возвращении евреев на свою землю. Не эти ли факелы, не эта ли военная хитрость Гидона подсказала ему тактику внезапного ночного боя, к которой он часто прибегал, возглавляя еврейские отряды, боровшиеся с арабским террором?

Военное счастье... Далеко не всегда оно улыбалось сынам Израиля. Горы Гильбоа помнят и это. И кажется мне, что в свете факелов я вижу другой бой и другие лица. Но уже не радость победы на них, но боль поражения, страх и отчаяние. Исход сражения предрешен. Войско Шауля разбито, пали три его сына, и сам он чувствует дыхание приближающейся смерти. Враг уже настигает его. Еще минута – и он будет в их руках. Нет, он не позволит им надругаться над собой. Не от руки филистимлянина погибнет! И пал Шауль на свой меч, и умер...

Натан Альтерман так явственно описал этот бой, что и через тысячелетия испытываешь горечь, когда представляешь поле битвы в свете уходящего дня и воинов, припавших в последнем порыве к этой скалистой горькой земле.

Вот окончился день битвы и вечер,
Полный плача и воплей отступающих.
И царь бросился на свой меч.
Гильбоа оделся в траур разгрома.
И в стране, пока не встала заря,
Не смолкло цоканье копыт,
И ноздри коня окрасились кровавой пеной.
Исход битвы решен.

Эта вершина Гильбоа вознеслась выше всех других над уровнем моря. У нее свое собственное имя – Малькишуа. Так звали одного из сыновей царя Шауля.

Удивительное чувство охватывает, когда стоишь на вершине, которая вознесла тебя на такую высоту. Как будто дано тебе второе дыхание от такой неожиданной встречи со своей землей. Вот так, наверное, выглядела она, когда Моше смотрел на нее с горы Нево,

которая там, за Иорданом. Горы Моава хорошо видны отсюда, они прячутся за легкой розовой завесой тумана, но кажутся совсем близкими. Он стоял там в последние часы своей жизни, и Земля Обетованная открывалась его взору. Это было прощание, но одновременно и встреча – желанная, выношенная в мечтах. «И сказал Бог ему: "Вот страна, о которой Я поклялся Авраѓаму, Ицхаку и Яакову, сказав: 'Потомству твоему отдам Я ее'. Я дал тебе увидеть ее своими глазами, но туда ты не перейдешь"».

Стоял месяц адар, земля была напоена дождями, и холмы покрылись первой легкой травой. Моше видел всю эту землю. Ему открывались горы Гильада с их зелеными склонами и Хермон с величавой снежной вершиной, иудейские горы и долины между ними, каменистые утесы и высохшие пустыни, море и яркая зелень Изреэльской долины. Она была гористой, земля, и позже Моше скажет: «Страна гор и долин, от дождя небесного пьет она воду». Он долго вел народ, то был путь медленного восхождения. С большими трудностями и тяжелыми потерями. И все-таки они дошли. Земля еще не принадлежит им, за нее еще надо бороться, но она уже перед ними. Только теперь не он поведет народ, его путь закончен. Он взойдет на гору Нево и останется там навеки. Быть может, под влиянием мыслей о вечности гор и о краткости человеческой жизни Моше и сложил свой псалом: «...ибо в Твоих глазах тысячелетие подобно дню вчерашнему, миновавшему, как ночная стража. Текут годы жизни нашей, как сон, они подобны траве, которая утром вырастает, свежа, а к вечеру чахнет и засыхает... Годы нашей жизни – семьдесят лет, от силы – восемьдесят, но и лучшая часть ее проходит в напрасном труде и страданиях, ибо быстро обрываются годы и улетают от нас».

Гидон и Шауль – это уже другая страница, Гидон и Шауль – продолжение того же пути к Земле Обетованной. Их имена, разделенные веками, неожиданно связались для меня на вершине Гильбоа. Как будто оттуда открылся вид не только на дальние горы и лежащие в зеленом цвету долины, но и на нечто неосязаемое, скрытое за завесой времени. Каждое новое поколение оставляет свой след на этой земле, отвоевывая и теряя, теряя и отвоевывая ее. Разве не звучит и сегодня все тот же плач по погибшим, как три тысячелетия назад, когда Давид оплакивал Йонатана и Шауля, павших в битве с филистимлянами? «Израиль, краса на горах твоих пала убитой. Как пали герои!.. Горы Гильбоа! Ни росы, ни дождя не будет на вас, ни полей плодоносных, ибо там осквернен щит героев!.. Быстрее

орлов, сильнее львов они были... Как пали герои в битве! Йонатан, на горах твоих ты убит!.. Как пали герои, погибла сила ратная!»

Под нами – цепь гор, и, кажется, спешат они дотянуться друг до друга, как будто совершают восхождение. Гора Авнера, гора Факелов, гора Героев, гора Шауля, холм Йонатана... Как река, текущая вспять, память то отбрасывает тебя к ночи, когда факелы Гидона осветили тьму, то задерживается на последних минутах жизни Шауля или вновь возвращает к Гидону. И чудится мне, что слышу клич Гидона: «Тот, кто боязлив и робок, пусть возвратится рано утром с горы Гильад». Он обращался к воинам, но его вел Голос: «Слишком много людей с тобой, чтобы Я предал мидьянитян в их руки, – как бы не возгордиля предо Мной Израиль, говоря: "Моя рука спасла меня!"»

«Тремястами лакавших спасу Я вас...» Только сильных духом оставил Он. И победа Гидона была явственным проявлением превосходства духа над физической силой.

«Благоволит Он не тем, кто полагается на мощь коня, и не тот, кто надеется на быстроту человеческих ног, ему угоден». Конь – символ физической силы. Но не ее прославляет иудаизм.

Когда эта мудрость пришла к Давиду, выразившему ее в одном из своих псалмов? Быть может, тогда, когда стоял он, юный пастушок, перед вооруженным филистимским воином, насмехавшимся над ним и его народом? Всей душой почувствовал: не мечом и копьем спасает Господь. И слова, обращенные к Гольяту, передали эту убежденность: «Ты идешь на меня с мечом, копьем и дротиком, я же иду на тебя во имя Господа воинств, Бога Израиля». Позже та же мудрость и та же вера прозвучат в «Мишлей» у его сына, царя Шломо: «...не быстроногим победа в беге, не силачам победа на войне». В этом противостоянии физического и духовного – наше отличие от других народов, особенность судьбы. Мы всегда были Давидом, и Гольят превосходил нас физической силой. Наша вера была верой Давида, и она дарила нам надежду в самые тяжелые минуты жизни.

Много лет прошло с тех пор, как мой сын принимал присягу. Я хорошо помню тот вечер у Стены плача. Мягкий свет, исходивший от нее, суровость и простоту церемонии. Древность Стены лишь подчеркивала связь с прошлым, непрерывность нашей истории. Юный Давид в образе израильского солдата получал в одну руку Тору, в другую – оружие. Чтобы сила духа поддерживала силу оружия. И постоянным напоминанием еврейскому воину были вынесены на обложку Книги слова пророчества: «...не могуществом и не силой – только духом Моим...»

«...ВСЯ ЭТА ПЕЧАЛЬ, ВЕСЬ ЭТОТ СВЕТ»

Камень Иерусалима... Порой мне кажется, что он вобрал в себя частицу яркого иерусалимского света и в зависимости от времени дня возвращает ее нам. Вот он со светлой желтизной, словно луч полуденного солнца задержался в нем и подарил ему свое тепло и свет, а вот с оттенком розового в лучах заходящего солнца, но опускается вечер, солнце медленно уходит за горы, и камень становится холодновато-серым...

О камне Иерусалима сложены легенды, ему посвящены стихи и проза, о нем писали путешественники, которым чудилось, будто он преследовал их и после того, как они покидали город. Горы, окружавшие Иерусалим, были без зелени, и серый их цвет властвовал надо всем. Американский писатель Герман Мелвилл, один из многих посетивших Иерусалим, уловил суть города и несколькими штрихами передал свои впечатления: «Город смотрит на тебя, как серый и холодный глаз с лица серого и холодного человека... Камни справа от тебя, камни слева от тебя, могилы из камня, каменные горы и каменные сердца».

Почему он сравнивал живших здесь людей с камнем, какой образ человека виделся ему в эти минуты? Жестоковыйного, сотворенного из твердой породы? Только такой и мог выжить на этой земле, пустынной, обескровленной долгими войнами.

Тот, прежний Иерусалим, где властвовал серый цвет камня, нам уже трудно представить. Камень больше не господствует над городом, стушевавшись перед зеленью деревьев и ярким нарядом цветов. Но, как и раньше, камень и яркий сильный свет солнца придают неповторимость облику Иерусалима, о котором так прочувствованно сказал поэт Йеґуда Амихай: «Все эти камни – вся эта печаль, весь этот свет». Стихотворная строчка создает иной образ камня, и уже не холодом веет от него, но печалью, извечной еврейской печалью, что накопилась за годы изгнания в наших душах. Камень впитал ее и излучает, подобно тому, как он излучает свет.

Сказал царь Шломо в книге «Коґелет» (в русской традиции – «Екклесиаст»): «Время скорбеть и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни». И Раши, комментируя эти слова, пишет, что после разрушения Храма юноши Израиля были подобны священным камням, низринутым со своих мест.

А мне вспоминается Яаков. Шел он из Беэр-Шевы в Харан. Долго шел, но вот спряталось солнце, и он должен был заночевать.

Вокруг были земля, небо и горы. Да еще камни. Взял Яаков один из них и положил себе в изголовье, и именно здесь, на этом жестком ложе, привиделся ему сон о лестнице. Один конец ее опирался на землю, а другой уходил в небо. И ангелы Бога поднимались и спускались по ней. Вещий сон, который посылался не тем, кто спал на мягких подушках, а тем, кто слышал голос земли и ветра, был частью неспокойного этого мира – скал, камней и выжженной солнцем земли. Утром, когда Яаков проснулся, он взял камень, служивший ему изголовьем, поставил памятником и возлил на него оливковое масло. И, прощаясь с тем местом, сказал в сердце своем: «А камень этот, который я поставил памятником, будет домом Всесильного». И встал дом Всесильного через много веков, и в основании его была скала – краеугольный камень, камень мироздания, как говорит об этом предание. На нем был установлен Ковчег Завета – свидетельство Союза, заключенного Богом с нами.

Как не случайна в Танахе каждая встреча с камнем! От эпизода к эпизоду раскрывает она новую грань, ведет от внешнего к внутреннему, от физического – к духовному. И вновь на пути Яакова камень: глыба, прикрывшая устье колодца. Пастухи не могут сдвинуть его, пока не соберутся все вместе. «И было так: когда Яаков увидел Рахель... отвалил камень с устья колодца и напоил овец Лавана, брата матери своей. И поцеловал Яаков Рахель, и поднял голос свой, и заплакал».

Прекрасно в Яакове это сочетание силы с тонкостью души. Физическая сила – это скорее свойство Эйсава. Но именно Яаков словно меряется силой с камнем и побеждает. Камень... То он тяжелая глыба, прикрывшая устье колодца, то просто голыш, которым Давид, выпустив его из пращи, нанес смертельный удар Гольяту. Мы одухотворяем камень своей любовью или своей ненавистью, своей памятью или своим талантом.

Однажды в Иерусалиме я увидела лица, отображенные в камне. Нет, то не был памятник в привычном смысле слова. Скульптор Моше Сабати оставил память об уничтоженных еврейских местечках Польши в иерусалимском квартале Рамот Полин. Среди многих построек здесь есть один необычный дом, который возникает неожиданно, прячась в окружении гор, как будто им дано защитить его, прикрыть собою. Вытянутый, как лица на полотнах Модильяни, он кажется летящим в небо. Этот дом словно соединил в себе множество домов из штетла, тех, что давно ушли в небытие. Они прилепились друг к другу, как ульи, и теперь уже ничто не разлучит их. А

вокруг, отделяя дом от проезжей дороги, – ограда из белого, хорошо обработанного камня. Но вот глаз твой различает совсем иной камень. Один, второй, третий... Они странно выделяются среди аккуратных, плотно пригнанных друг к другу одинаковых блоков. Эти камни обработала сама природа. Так иногда она придает причудливую форму корню дерева, речной гальке, засохшей ветке. Вначале, взглянув на камень, я ничего не увидела. Но вдруг на него упал луч солнца, и образ неожиданно обрел очертания. Это было лицо старика. Морщины прочертили линии на широком лбу, впалых щеках, выдавшемся вперед подбородке. В широко открытых глазах притаился страх. Все зависело от ракурса и от луча солнца. Стоило внимательно всмотреться в камень, и из сплетения линий, углублений, выпуклостей проявлялось лицо. Рельеф камня подсказывал художнику образ, кисть легким мазком довершала творение природы, но ты не знал этого. Ты видел только камень, который сохранил чей-то образ. На лицах застыли боль, тоска, отчаяние. Ты безошибочно угадывал, что хотел сказать скульптор, объединивший камни единым замыслом с домом, похожим на скопление пчелиных сот. И перед этим памятником Катастрофе под выцветшим хамсинным небом Иерусалима повторяла я строки из стихотворения «Камень» поэтессы Доры Тейтельбаум:

Память, в которой воспоминания землей засыпаны.
Гнездо, где сожженные птицы.
Молчания спресованные пласты.
Горы лет. Немоты
окаменевший вопль.

Особенно близка мне строка «Память, в которой воспоминания землей засыпаны...» О камнях разрушенного Храма она, о камнях, пролежавших два тысячелетия под землей и сейчас извлеченных на поверхность.

По одной из версий археологов, камни сбрасывали вниз изможденные голодом, пережившие ужас осады люди. И они падали, сорванные со своих мест, и погребали под собой мостовую, которая была частью улицы перед Храмом. Еще вчера камни лежали в основании Храма, олицетворявшего для народа святость, независимость, величие и красоту, но их участь была решена. Надолго. Почти на два тысячелетия.

Я видела эти камни в момент раскопок. Так случилось, что двад-

цать лет ждали археологи своего к ним возвращения. Двадцать лет отделяли последние раскопки у Западной стены храмового двора от их продолжения. И вот теперь огромные камни лежали на поверхности земли. На их телах пролегли глубокие морщины, земля въелась в них, поверхность потемнела, но они остались целыми и по-прежнему поражали своими объемами и мощью.

Бессловесные свидетели ушедших эпох, канувших в лету народов и государств, побед и поражений, заключенных союзов и нарушенных клятв, пережившие все и всех, ждали они нашего возвращения под небом Иерусалима, под жарким солнцем Масады, в плоти Храмовой горы и в сотнях других мест. Камню, символу материального мира, дано было стать хранителем памяти. И когда умерла Рахель, поставил Яаков камень – памятник при дороге. Пройдут века, но камень останется, потому что дана ему сила притяжения к земле, на которой он стоит.

Их судьба – отражение нашей еврейской судьбы. Только камень не знает боли. Не дано ему ощутить страдание души. «Если бы взвешено было страдание мое и бедствие мое на весы положено вместе с ним, тогда было бы оно тяжелее песка морского, оттого слова мои рвутся из горла... Разве сила моя – сила камней?» – вопрошает Йов Бога. И в ответ звучит Голос из бури: «Кто это омрачает мысль неразумными словами? Где был ты, когда Я основал землю? Знаешь ли ты, кто положил ей меру или кто простер над ней черту? Во что погружены ее основания или кто заложил краеугольный камень ее?»

Нет ответа Йову, как нет ответа и нам на вопрос о страданиях и Катастрофе...

Странная связь между человеком и камнем. Мы наделили его душой и сердцем и поем о нем в песне: «Есть люди с сердцами из камня, есть камни с сердцами людей». Рассказывают, что после кровавых арабских волнений тридцать шестого года англичане ограничили доступ евреев к Стене плача. И тогда Главный раввин Израиля Ицхак Герцог встретился с представителем британских властей, чтобы добиться изменения решения. Можно представить, что испытывал раввин во время разговора, если слова его вдруг прервались слезами. «Почему вы плачете, ведь это всего лишь камни?» – искренне удивился англичанин.

Ему не дано было понять еврейское сердце, проникнуть в глубину нашей памяти и чувств. Эти камни связаны с нами своей судьбой. Их каменную плоть растопили наши слезы. Они вобрали в себя

тепло прикасавшихся к ним рук. Наша мольба и наши голоса разбудили их слух. Они несут частицу нашей души и потому остаются для нас живыми.

И невольно подумалось: они, эти камни, стали символом нашего возвращения. Его не раз предсказывали пророки. Их слова вселяли в нас надежду и поддерживали во времена самых тяжелых испытаний. Но, стоя на раскопках у Западной стены, я вновь и вновь вспоминала слова царя Шломо, которому было дано возвести Храм, предсказать его разрушение и пророческим взором увидеть собирание рассеянных. Разве не об этом его слова из «Коѓелета»: «Время скорбеть и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни»?

А мысль, словно завершая свой круг, ведет меня к Яакову. Но уже не на заре жизни видится он мне, а на закате, когда прошел весь назначенный ему путь и стоял у последней земной черты. То были минуты прощания с сыновьями, и те, окружив его, с трепетом внимали каждому его слову. Он любил их всех, но только Йосеф напоминал ему его самого, его молодость на земле Лавана. Он с нежностью думал о сыне. На его долю выпало много испытаний, но он выдержал их и остался тверд, как камень. Почему-то вдруг пришла к нему именно эта ассоциация. Не тот ли камень вспомнил он, что когда-то, на пути в Харан, положил себе в изголовье?.. Словно в твердости его было напутствие на всю жизнь. И, благословляя сына, произнес он: «*Эвен Исраэль*». Камень-твердыня. Из крепкой породы взят он, породы, которой под силу пройти через горнило страданий и не сломаться. И показалось Яакову, что, подарив Йосефу новое имя, заложил он камень в основание всего своего дома. Дома Яакова. Имя, символизирующее силу выживания, духовную мощь и вечную связь с Богом. Разве не назвали Бога мудрецы наши *Цур Исраэль* – Скала Израиля?

И, взывая к нам из дали веков, напоминает пророк Йешаяѓу в минуты, когда стоим мы на пороге испытаний: «Взгляните на скалу, от которой вы были отсечены».

Борис Камянов

Предисловие автора к рукописи книги, из которой взята подборка его статей

Этот сборник статей задуман как второй том трехтомника, подводящего итоги тому, что я написал за четыре без малого десятка лет. В первый том войдут стихи, поэмы и переводы с иврита и идиш, в третий – юмористические вещи в разных жанрах.

Что же касается публицистики, то у меня были сомнения, включать ли ее в собрание сочинений. Политическая и общественная жизнь быстротечна и изменчива, и ее реалии, вызывающие сегодня бурю страстей, завтра, возможно, будут забыты. Тем не менее, я решил эту книгу издать, и вот по каким соображениям. Во-первых, позиции еврейских фундаменталистов, к каковым я имею честь себя относить, в самых разных вопросах национального существования находят недостаточное отражение на страницах СМИ. Во-вторых, льщу себя надеждой, что и в общем хоре голосов выразителей этих взглядов мой баритон имеет достаточно характерную индивидуальную окраску, чтобы претендовать на читательское внимание. В-третьих, выясняется, что сиюминутные приметы времени, обреченные, казалось бы, на скорое забвение, постоянно возвращаются в новом обличье, под новыми именами и названиями, и действо совершается все в тех же декорациях, разве что сходящих по разным причинам со сцены премьеров сменяют мало отличимые от них дублеры, произносящие все те же монологи...

Статьи, входящие в эту книгу, собраны в пять разделов, по темам. «Естественный отбор» – сионизм; «С чужим уставом в свой монастырь» – община; «Юдофобия – это нормально» – религия; «Будни нашей психушки» – политика; раздел «Жену отдай дяде» составлен из материалов, не относящихся впрямую ни к одной из перечисленных тем, но по тем или иным причинам мною в этот том включенных. Да и само деление на разделы достаточно условно, поскольку многие из входящих в них статей касаются сразу нескольких тем.

Подавляющее большинство вещей из этого сборника были опубликованы в газете «Вести», несколько – в других израильских газетах и журналах, есть среди них и такие, которые были отклонены редакторами по разным соображениям.

БУДНИ НАШЕЙ ПСИХУШКИ

ПАРТИЯ «ПОЛРОДИНЫ»

В опубликованной в газете «Вести» статье «Палестинская проблема» второй номер в парламентской фракции оппозиционной партии Моледет раввин Бени Элон заявил: «Для того, чтобы прекратить кровопролитие, я готов, чтобы в стране на двух берегах Иордана существовали два государства – арабское и еврейское... Пусть здесь будут два государства: еврейская Палестина, которая будет называться Государство Израиль, со столицей в Иерусалиме, и арабская Палестина, которая будет называться Палестина, или Иордания, или как они сами захотят, со столицей в Аммане».

О, добрый человек из Бейт-Эля! Широкой души еврей! Взял – и отдал арабам часть Эрец-Исраэль, которую Всевышний сдал в аренду коленам Гада, Реувена и половине колена Менаше. А Хозяина спросил?

«Моледет» в переводе на русский язык означает «родина». Но, как выясняется, Элону всей родины многовато, он готов удовлетвориться половиной ее. Тогда и партию следует переименовать в Хаци-моледет – «Полродины», чтобы не морочить головы избирателям. Автор этих строк, к примеру, на последних выборах проголосовал за Моледет, чего никогда бы не сделал, опубликуй Бени Элон свои откровения не сейчас, а два года назад.

Но, может быть, молодой раввин находится в своей партии в оппозиции к ее лидеру, Рехаваму Зеэви (Ганди), представляя, так сказать, «голубиное» крыло в Моледет? Читаю интервью старого «ястреба» Ганди, напечатанное в «Вестях». «Будет логично, если палестинцы из Эрец-Исраэль переселятся в Иорданию, оставив нам Эрец-Исраэль», – пишет крайне правый представитель израильского политического спектра. Оговорился Ганди, думаю, – наверное, Саудовскую Аравию имел в виду. Не может же он не знать, что Иордания находится на территории Эрец-Исраэль! Но читаю дальше: «Уже сегодня восемьдесят процентов населения Иордании – палестинцы». Нет, не оговорился генерал.

Между прочим, в гимне Херута есть такие слова: «У Иордана – два берега, и оба – наши». Кто сегодня думает так же? Ликуд, именующий себя преемником Херута и продолжателем дела Жаботинского, автора слов этого гимна? Куда там! Его лидеры нынче препираются в торге с американцами: сколько процентов Западно-

го берега отдать Арафату – девять или тринадцать (двадцать семь процентов – зоны А и В – уже отдали, а впереди еще «окончательное урегулирование»). Так что от тридцати шести, как минимум, процентов территории по эту сторону Иордана они уже отказались. Напомню еще раз, что Эрец-Исраэль дана в аренду не только им и не только мне и моим единомышленникам, но всем поколениям евреев, и никто не вправе передавать ее кому бы то ни было, ни единого дунама!

Сторонников неделимой Эрец-Исраэль затравили, пересажали, ошельмовали в СМИ, их политические объединения запретили – и на сегодняшний день самая правая, самая еврейская, самая смелая наша партия – «Полродины».

Мой голос она больше не получит.

Май 1998

ЗАТЯНУВШИЙСЯ ВЫДОХ

История человечества представляется мне постоянной борьбой двух сил: центростремительной и центробежной. Одолевает первая – и сильные государства, поглощая соседние, более слабые, и опираясь при этом на свои «пятые колонны» в них, раздуваются до масштабов империй. Побеждает вторая – и периферийные составляющие этих империй, движимые сепаратистскими устремлениями, стремятся обрубить все свои связи с центром и вернуться к самостоятельному существованию. Империи, подобно легким в организме, на пределе кислородного голодания делают вдох – и втягивают в себя все вокруг, неспособное оказать серьезное сопротивление. Но легкие, переполненные воздухом, не могут вечно удерживать в себе его, отдавшего им свое богатство – кислород – и получившего взамен отбросы: углекислый газ, – и делают вынужденный выдох, чтобы подготовиться к новому вдоху. Так было, так есть и так будет – и глупо искать виновных среди участников этих процессов, заданных нашему миру изначально.

Не так давно распалась коммунистическая империя – и выдох этих гигантских легких, похоже, до сих пор не завершен. Центробежные силы в той же России далеко не иссякли, и мы, вполне возможно, еще будем свидетелями дальнейшего дробления бывшего монстра. Но и ему не следует отчаиваться: иссякнет в его

жилах кислород – и с неизбежностью смены дня и ночи мехи его легких вновь заработают, втягивая в себя отощавшие беларуси и молдовы.

Итак, на выдохе сегодня, прежде всего, – восточноевропейский монстр. Распад одного из его регионов – Югославии – сопровождается сейчас кровопролитием, масштабы которого расширяются с каждым днем. Отвалившись от миниимперии, зализывают раны Босния и Герцеговина, приходят в себя Македония, Словения и Хорватия; Югославией именуются сегодня только Черногория и Сербия, в составе которой – два края: Воеводина, а также Косово и Метохия. На нынешнем этапе центробежные силы подхватили косовских албанцев, живущих на святой для сербов земле уже более шести веков. Порастеряв самые лакомые куски своей империи, сербы на сей раз решили стоять до конца: не обращая внимания на мировое общественное мнение, которое (за исключением позиции России) на стороне косовских сепаратистов, мусульман-албанцев, они истребляют последних, а тех, кому повезло выжить, вынуждают в массовом порядке покидать их дома и эмигрировать.

Кто в этой ситуации прав, кто виноват? Израильский истеблишмент, как коалиция, так и оппозиция, вслед за всем западным миром считает правыми косоваров, а сербов – виновными. В русскоязычных же израильских газетах все громче звучит голос протеста наших ведущих публицистов против такой оценки ситуации. Проводя параллель между противостоянием евреев и арабов в Эрец-Исраэль, с одной стороны, и кровавым конфликтом между сербами и косовскими албанцами – с другой, они признают священное право христианского Белграда изгнать пришельцев-мусульман с земли, являющейся колыбелью сербской нации.

Позволю себе не согласиться ни с теми, ни с другими. В предыдущих своих статьях на тему арабо-израильского конфликта я уже писал: правы – обе стороны. Повторю это и по поводу происходящего в Югославии. Если я признаю право арабов, родившихся в Эрец-Исраэль за последнюю сотню лет, считать эту землю своей родиной, то тем более поддерживаю право косовских албанцев относиться к своему краю как к земле отцов, которые пришли туда шесть столетий назад. Но правы и сербы: в отличие от большинства израильтян, они понимают, что родину не раздаривают по кускам, – тем более мусульманам, готовящим джихад против остального мира, прежде всего – против иудеев и христиан.

Итак, на Балканах столкнулись две правоты (и, конечно же, две неправоты, поскольку обе стороны проявляют поистине каннибальскую жестокость). У косоваров нет шансов на то, чтобы без помощи извне остаться на своей земле. У сербов есть две возможности решить проблему: либо полностью истребить мусульман Косова (решение людоедское), либо осуществить трансфер (решение гуманное). Ни того, ни другого им не позволят силы НАТО. Пикантность состоит в том, что этот блок возглавляют США – империя, которая существует как бы без легких вообще: она уже давно не делает ни вдохов, ни выдохов – с тех пор, как, захватив североамериканский континент, уничтожила большую часть населявших его аборигенов, решив тем самым проблему кардинально. Об этом геноциде вспоминать сегодня как-то неприлично, и мир ежедневно видит на экранах телевизоров христианнейшего моралиста, лидера этой пуританской страны, предоставляющего нам возможность любоваться верхней половиной своего тела, в то время как нижняя, скрытая трибуной, находится в распоряжении жриц французской любви. Вчера этот «праведник» читал мораль Иерусалиму, сегодня читает Белграду, завтра будет читать кому-нибудь еще. В то время как все, кого он клеймит позором, как и их противники, правы, а он – единственный, кто неправ.

Чья правда победит на Балканах – благодаря помощи кривды или вопреки ей, – для Израиля не так важно. Гораздо существенней для нас извлечь урок из тамошнего конфликта, так напоминающего наш.

Сегодня Израиль – на выдохе: палестинские арабы, братья косоваров во Мухаммеде, получили свое государство на территории Эрец Исраэль. Страны Запада и в этом случае – на стороне мусульман. Но если мужественные сербы держатся до последнего, несмотря на разрушающие Белград «томагавки», то Иерусалим весел и беспечен, готовится провести у себя конкурс «Евровидения» и получает американскую помощь за хорошее поведение.

Если моя теория «вдох-выдох» верна, то легко представить себе дальнейшую судьбу палестинского государства: сначала, конечно, арабы вырежут друзов, бедуинов и черкесов в отместку за коллаборационизм, потом мусульмане уничтожат христиан, затем начнется война между кланами, исповедующими ислам... Но очередной – и, хотелось бы надеяться, последний – вдох Израиля неизбежен, и еврейское государство вберет в свои легкие воздух всей Святой Земли. А населяющих ее чужаков выплюнет наконец

в Саудовскую Аравию, несмотря на всю их несомненную правоту. Потому что отстоять собственную правоту – значит обеспечить себе жизнь, а хотя бы в мелочи поступиться ею ради правоты чужой – означает гибель.

Наш выдох самоубийственно затянулся, кислород – на пределе.

Апрель 1999

ВЗГЛЯНУТЬ В ГЛАЗА ИСТИНЕ

Существуют три расхожих варианта нравственной оценки арабо-еврейского противостояния. Один из них гласит: евреи правы, арабы неправы. У последних, мол, более двадцати государств, и они вполне могут расселить у себя своих палестинских братьев, оставив евреям и без того урезанную при разделе подмандатной Палестины за счет Ливана, Сирии, Иордании и Египта территорию Эрец-Исраэль. Второй вариант диаметрально противоположен: евреи неправы, арабы правы. Израиль – чужеродное вкрапление на давно арабизированном Ближнем Востоке, евреи запоздали со своими претензиями на две тысячи лет, и те из них, кто не покинет Палестину добровольно, рано или поздно будут сброшены в море. Третий вариант таков: неправы и те, и другие. И евреи, и арабы имеют право жить на этой земле; евреям следует отказаться от господства над целым народом и смириться с созданием еще одного арабского государства на Святой Земле, а его граждане должны отказаться от террора и наладить со своими еврейскими соседями нормальные отношения.

Все рассмотренные варианты лживы. Истина состоит в том, что правы и евреи, и арабы. Да, нашей правоте – несколько тысячелетий, а арабской – не более века. Верно, что арабы из многих стран Азии и Африки стали стекаться в Палестину только тогда, когда евреи, уроженцы страны и репатрианты, стали заново отстраивать ее и появился спрос на рабочую силу. Тем не менее, араб, родившийся здесь и похоронивший на этой земле отца, деда, а то и прадеда, имеет полное право считать ее своей родиной и стремиться к обретению собственной государственности.

Проблема состоит в том, что нашу, еврейскую правоту, основанную на Танахе, признаёт от силы четверть народа Израиля. Лишь один из четырех осознаёт, что компромисса между двумя правдами быть не может, а следовательно, в Палестине нет места для двух народов и одному из них придется силой оружия изгнать своего конкурента. Ара-

бы это прекрасно понимают и говорят об этом открыто и честно. Большинство же евреев боятся взглянуть в глаза истине и возлагают надежды на так называемый «мирный процесс». Не веря в Обетование, эти люди сомневаются в своем праве жить здесь, и аргументы противника находят в их душах живое сочувствие. Руководители государства, воспитанные, как и многие сегодняшние евреи, на идеалах социализма и либерализма, готовы удовлетворить все требования арабов, включая водружение их знамени на Храмовой горе, что стало бы кощунством, не имеющим прецедента в мировой истории. Мало того, что впервые за все существование человечества народ, победивший агрессора, добровольно отдает ему отвоеванные большой кровью территории, мало того, что этот народ готов поделить с врагом собственную столицу, – он уступает ему свою величайшую святыню!..

В запутанном и болезненном конфликте двух народов (более того: двух культур, двух религий) одолеет своего противника тот, у кого сильнее воля к победе и чувство связи с этой землей, кто глубже ощущает свою правоту и, отказываясь от сиюминутных уступок, попирающих его достоинство, видит перед собой долгосрочную перспективу. Сегодня арабы превосходят нас по всем этим показателям.

Израильские лидеры, стремясь к компромиссу, никак не могут или не хотят понять, что он недостижим в принципе. Не уважая своих партнеров по переговорам, относясь к ним как к дикарям, они не представляют себе, сколь крепка вера у подавляющего большинства арабов и сколь упорны они в отстаивании своих национальных интересов. Недаром у террористов никогда не было недостатка в смертниках. Если бы мы были так же преданы Богу, как они, и так же готовы к самопожертвованию, ближневосточный конфликт был бы давно исчерпан: сила евреев сломила бы силу арабов, и наши нынешние соседи обосновались бы где-нибудь в Саудовской Аравии.

Еврейский народ, в отличие от арабского, сегодня не достоин уважения. Этот месяц, *элуль*, – время подведения итогов прошлому году, самопроверки и самооценки. Основное, что нам необходимо сделать в эти дни, – преодолеть свою трусость, поднять голову и взглянуть истине прямо в глаза, сколь жестокой она бы нам ни казалась. И сказать арабам: извините, но у нас было временное помешательство. Теперь оно прошло. Никаких компромиссов у нас с вами быть не может, и вы сами это прекрасно знаете. Хотите воевать – посмотрим, кто кого. Наша правда сильнее вашей.

Сентябрь, 2000

САМООБМАН КАК ОРУДИЕ САМОУБИЙСТВА

"На каждого израильского бойца у нас найдется семьдесят шахидов", – заявил председатель ПА... Президент Моше Кацав... считает, что Арафат в состоянии обеспечить прекращение огня и разоружить оппозиционные группировки...
М. Штейн *«ПА: тысячи потенциальных убийц»,*
«Вести», 19.12.01

Тот факт, что нами правят безумцы, я осознал уже четверть века назад, во времена недоброй памяти Бегина, подарившего Египту Синай, и не раз писал об этом в статьях, публиковавшихся в русскоязычной прессе и в Интернете. Психопатические сдвиги происходили с тех пор в сознании всех наших руководителей и привели к тому, что евреи стали в своей стране мишенями для живущих в ней арабов. Что бы ни говорил Арафат – в полный голос! на весь мир! – политическая верхушка Израиля его не услышит: уши этих людей плотно закупорены идеологическими заглушками.

Существуют всего лишь три варианта реакции еврейского государства на восстание арабов Эрец-Исраэль, отрицающих само его право на существование:

а) безоговорочная капитуляция и самоликвидация (без комментариев);

б) сохранение статус-кво (продолжение кровопролития, бессмысленное топтание в тупике);

в) трансфер.

Еврейская кровь, проливающаяся ежедневно, – на руках тех, кто придерживается второго варианта и отрицает третий. Арабы никогда не смирятся с нашим присутствием на Ближнем Востоке, и каждый подросток-мусульманин, способный держать в руках оружие, будет постоянным источником опасности для евреев.

Готовя к печати книгу своей публицистики, я перечитывал старые статьи и сделал из них несколько выписок. Вот одна из них: «Правящие нами атеисты плохо представляют себе, насколько велика роль религии в самосознании мусульман. Рано или поздно им придется в этом убедиться. А заодно – и всем нам» (1993 г.). Убедились. И слова Арафата, вынесенные в эпиграф, – чистая правда. Но мы с маниакальным упрямством не желаем слышать правду и видеть происходящее в истинном свете, предпочитая смотреть вокруг через лорнет

либерализма, в результате чего реальность неизбежно искажается.

В том же девяносто третьем году я писал: «Очередной парадокс (чего-чего, а парадоксов в нашей жизни хватает): живя во враждебном арабском окружении, имея богатейший опыт общения с собственным арабским населением, руководящие нами гробокопатели, успешно подмяв под себя вяло трепыхающихся религиозных представителей истеблишмента, вот уже сорок пять лет стремятся к миру с арабами! К миру, который невозможен по одной простой причине: религия, которую исповедуют арабы (а мусульмане в массе своей гораздо религиознее нас с вами), требует обращения в ислам всех иноверцев, упрямцев же – "итбах!" Этот утопический "мир", уже стоивший Израилю Синая, обойдется нам – не дай Бог! – еще дороже в следующей неизбежной войне с соседями».

А вот цитата из статьи, написанной семь лет спустя: «В запутанном и болезненном конфликте двух народов (более того: двух культур, двух религий) одолеет своего противника тот, у кого сильнее воля к победе и чувство связи с этой землей, кто глубже ощущает свою правоту и, отказываясь от сиюминутных уступок, попирающих его достоинство, видит перед собой долгосрочную перспективу. Сегодня арабы превосходят нас по всем этим показателям».

Печальный опыт, накопленный человечеством за последние годы (события одиннадцатого сентября в США и нынешний бунт арабов Эрец-Исраэль существенно пополнили его) свидетельствует о том, что оно прошляпило сформирование в своей среде негуманоидной цивилизации. Через четырнадцать веков после своего возникновения ислам сбросил личину конвенциональной религии и явил миру свою подлинную суть. Человеконенавистническая идеология угрожает самому существованию жизни на земле и должна, казалось бы, стать врагом номер один для всех людей на планете. Но куда там! Эта правда – жестока и по этой причине внесла бы дискомфорт в коллективное сознание человечества. А потому оно делает вид, что все обстоит не столь драматически.

Но если на все остальные народы мне, по большому счету, наплевать, то своему собственному я не готов простить самообман. Нет сегодня в израильской политической элите никого, кто говорил бы людям чистую правду (единственное исключение – депутат кнесета Михаэль Кляйнер, но он там – явный аутсайдер). Самые честные из остальных то в одном, то в другом да приврут.

«Кто и что заставит нас сбросить с себя наваждение, задуматься над происходящим, ужаснуться и остановиться на пути к новой Катастрофе?» – этот риторический вопрос я задавал в статье, написанной в девяносто девятом году.

Нет ответа.

12 декабря 2001

ЮДОФОБИЯ – ЭТО НОРМАЛЬНО

Насколько распространен сегодня антисемитизм в России? Этот бессмысленный вопрос обсуждается ныне на страницах мировой прессы, и, прежде всего, конечно, – российской и израильской.

Бессмыслен этот вопрос по той причине, что никакого антисемитизма в наше время не существует в природе. Более того – он вообще никогда не существовал. Лидер «Памяти» Васильев, при всем его интеллектуальном убожестве, в одном из последних интервью сказал вполне разумную вещь: он, дескать, не имеет ничего против арабов, аккадцев, вавилонян, ассирийцев, финикийцев, набатеев (уж не помню, те ли племена он перечислял и в том ли порядке) и других народов семитской группы, к которой, заметим, относятся и евреи. Другое дело, что семитских народов сегодня в мире раз-два и обчелся и выяснить истинное отношение главного «памятника» к тем же аккадцам, которые давно вымерли, не представляется возможным.

Кто же, собственно, «остался в лавочке»? Евреи, арабы и еще несколько немногочисленных народностей: айсоры, ряд племен, живущих в Эфиопии и на Аравийском полуострове, – вот, пожалуй, и все.

Семиты, как известно, – потомки Шема, одного из трех сыновей Ноаха, родоначальников послепотопного человечества. Нет никаких данных, позволяющих предположить, что Ефет и Хам по тем или иным причинам возненавидели своего брата и завещали своим детям ненавидеть его потомков, – термин «антисемитизм» возник сравнительно недавно, когда авторам расистских теорий понадобилось закамуфлировать, облагородить такие элементарные бытовые понятия, как «юдофобия» или «жидоедство».

Итак, никакого антисемитизма нет. Семиты-арабы, конечно же, не самоненавистники, а попросту юдофобы. Васильевы – точно такие же жидоеды. Они, конечно, и арабов не любят, но не потому, что

те – потомки Шема, а за то, что – «черножопые». Как ненавидят они и грузин, и армян, и среднеазиатов – и т. д. и т. п.

Юдофобия же носит принципиально иной характер. Нутряной. Генетический. Откуда «есть пошло» это явление?

Когда Господь решил дать человечеству свой Закон, Он, как повествует мидраш, обратился к потомкам Эйсава. «А что от нас требуется?» – спросили те. «В частности, не убивать», – сказал Всевышний. «Энтшульдиген зи, – ответили внуки праведного Ицхака, которые, по мнению ряда мудрецов Талмуда, породнившись с потомками Ефета, стали предками европейцев, – это нам не подходит. Кровожадность – наша основная черта». Тогда Творец предложил свой Закон ишмаэлитам. «От чего нам придется отказаться?» – поинтересовались бедуины. «От разврата и от грабежей на большой дороге». – «Эсмахна, Алла, мы не можем пожертвовать своей национальной самобытностью». После этого Создатель обратился к сынам Израиля, и те ответили: «Исполним, а потом Ты объяснишь нам, зачем все это нужно».

Получили иудеи Тору, а вместе с ней – и то загадочное духовное свойство, которое во все века служило предметом зависти недальновидных сынов остальных народов, профукавших избранность, доставшуюся евреям. Именно в этом – корень юдофобии, явления, как мы видим, вполне нормального, психологически легко объяснимого и неопасного до тех пор, пока жидоеды не начинают устраивать погромы.

«Так что же, – спросят меня, – прикажешь мириться с ним?» Приказать – не имею права, но – настоятельно советую. Сами напросились, взвалив на себя избранность, изрядно, впрочем, подзабытую со времен эмансипации.

Если обижаться на юдофобов, значит надо предать анафеме Гоголя и Достоевского, Толстого и Чехова. Вы готовы? Я – нет. Представители одного из самых плодотворных направлений в сегодняшней российской прозе – так называемого «деревенского» – почти сплошь жидоеды. Ну и что? Неужели я откажу себе в удовольствии перечитывать, смакуя, «Привычное дело» Белова, «Последний срок» Распутина, «Кражу» Астафьева? На последнего обижался покойный Натан Эйдельман, переписку с ним затеял – и что доказал? Ей-Богу, позиция талантливого русского писателя-юдофоба мне гораздо понятней и симпатичней. Ну не любит он евреев (по причине, изложенной выше). Не хочет их в своей стране. Имеет на это право! А еврей берется ему объяснять, что это неинтеллигентно, негуманно, непорядочно. До чего же мне было стыдно за по-

чтенного литературоведа, моего единокровника, мир праху его! Ну не желают вас славяне больше терпеть, чужеродцы, – вспомните об элементарной гордости и убирайтесь оттуда! Слава Богу, есть куда – если не на историческую родину, то хоть в какую-нибудь Австралию, где с вашим присутствием будут мириться еще пару десятилетий. Но нет: вы будете пытаться заставить любить себя тех, кто чувствовал, чувствует и всегда будет чувствовать свою ущербность, обойденность, сирость, когда вы рядом – и не просто рядом, но еще и в самые печенки их норовите влезть со своей позорной тягой к чужой духовности и абсолютным пренебрежением к тому иррациональному, потаенному и забытому в самих себе, что как раз и является предметом зависти нееврейского окружения. Оно, это окружение, ощущает это ваше свойство гораздо острей, чем вы сами.

А если уж вы так боитесь погромов, но все же решили остаться жить среди юдофобов, – организуйте отряды самообороны и будьте готовы дорого продать свои жизни! В этом вам могут помочь книги на русском языке, изданные в Израиле, где рассказано о бойцах Хаганы и ЭЦЕЛя, ЛЕХИ и ПАЛЬМАХа. Впрочем, герои этих книг, поставившие на место кровожадных арабских жидоедов, стремились, в отличие от нынешних своих соплеменников, не только к спасению своего живота – осознанно или подспудно они выполняли свое духовное предназначение, строя еврейское государство на Святой Земле.

Израильтянину, солдату, религиозному еврею остается только радоваться, когда он слышит о юдофобии: если она существует, значит избранность еще не утрачена нами. И тому, кто, выполняя Божью волю, приближает тем самым приход Машиаха*, есть чем гордиться. И нечего бояться: Господь – с нами.

Февраль 1993

СЛАЩАВЫЙ МИФ – И ГОРЬКАЯ ИСТИНА

Существуют расхожие утверждения, которые люди веками повторяют, не задумываясь: их так учили, а они привыкли все принимать на веру. Между тем при самом поверхностном анализе выясняется, что въевшееся в сознание клише не имеет ничего общего с действительностью.

* В русской традиции – Мессии.

Так, слащавый миф гласит: иудаизм дал миру десять заповедей, которые легли в основу общечеловеческой морали.

Горькая истина состоит в следующем: этот миф придумали, вне всякого сомнения, евреи, имевшие весьма отдаленное представление о Торе и мечтавшие внедрить в сознание остальных народов – прежде всего, исповедующих христианство, – мысль о том, что у нас все же есть какие-то заслуги перед человечеством и в награду за это нас не следует так уж жестоко преследовать и истреблять. Надо сказать, что в этом они преуспели: даже Э. Ренан, ученый с критическим складом ума, возвестил: «Десять заповедей – это достояние всех народов мира, и они вовек останутся заветом Божьим».

Признаюсь, я давно хотел написать на эту тему статью, но все ждал, когда появится повод – соответствующая публикация на русском языке. И вот наконец открываю родные «Вести» – и читаю в «Декларации репатриантских организаций о сотрудничестве», подписанной пресс-службой движения «Авив», долгожданное: «...заповеди нашего народа, положенные ныне в основание всех правовых документов, принятых цивилизованным человечеством». Отмечу сразу, что не имею ничего против «Авива», как и против объединившегося с ним Сионистского форума, сожалею лишь о том, что президент последнего раввин Йосеф Менделевич, очевидно, не читал этот документ, – уж ему-то хорошо известно, что Декалог и «семь заповедей сыновей Ноаха (Ноя)» – собрания предписаний, данных Всевышним разным человеческим сообществам.

Понятно, что Ренан говорит не о шестистах тринадцати заповедях Торы, а о десяти основополагающих, из которых, согласно учению иудаизма, «выросли» все остальные.

Но вот и первая неувязка: из этого десятка начертанных самим Создателем на скрижалях заповедей пять – с первой по пятую – определяют отношение евреев к Всевышнему, ни к чему не обязывают все остальные народы, да те и не стремятся их исполнять. Перечислим эти заповеди.

1. **«Я – Бог Всесильный твой, который вывел тебя из страны египетской, из дома рабства»** («Шмот», 20:2).

Тебя – это, конечно, Израиль, а не французов, эскимосов или мордву. Это именно нам заповедано помнить, благодаря Кому мы выжили физически и духовно и сформировались как народ со своей особой задачей в истории.

2. **«Да не будет у тебя иных богов, кроме Меня»** (там же, 20:3).

Хотя мусульмане и верят в единого Бога, их представление о Нем отличается от еврейского; в глазах же христиан Он вообще троится.

3. **«Не произноси Имя Бога Всесильного твоего попусту»** (20:7).

И эта заповедь касается только евреев, заменяющих Имена Творца словами «Кадош, барух Ѓу», «ѓа-Шем» и т. п. Неевреи ее не исполняют.

4. **«Помни день субботний, чтобы освящать его»** (20:8).

Тут вообще говорить не о чем: мусульмане «помнят» пятницу, христиане – воскресенье.

5. **«Чти отца своего и мать свою...»** (20:12).

Раввин Ш.-Э. Лунчиц, автор классического комментария к Торе «Кли якар», писал: «Этой заповедью кончаются первые пять повелений, относящиеся к Всевышнему. Хотя здесь говорится об отце и матери, это также относится к Всевышнему, так как в создании человека принимают участие Всевышний, отец и мать. Таким образом, если человек уважает родителей, которые создали его плоть, он тем более будет почитать Всевышнего, даровавшего ему душу и жизнь». Так что неевреи могут, если хотят, почитать своих родителей, но суть этой заповеди, данной евреям в Декалоге, намного глубже ее простого смысла.

В остальных пяти заповедях-запретах речь идет об отношении евреев к людям.

6. **«Не убивай»** (20:13).

Убивать, конечно же, нехорошо, и неевреи вполне могут считать, что этот запрет распространяется и на них. Правда, у них нет Устной Торы, без объяснений которой Тора Письменная не может быть учебником жизни, и они не знают, что в целом ряде случаев убить – предписывающая заповедь для еврея.

7. **«Не прелюбодействуй»** (20:13).

Представители и представительницы других народов, добровольно копирующие в этом вопросе поведение благочестивых иудеев, поступают в высшей степени похвально, но для евреев этот

запрет распространяется лишь на связь с чужими женами. О запрещении разврата всему остальному человечеству – см. ниже.

8. **«Не кради»** (20:13).

Талмуд и комментатор Торы Раши объясняют, что здесь речь идет о похищении людей – преступлении, за которое полагается, кстати, смертная казнь (см. выше замечание о том, что в некоторых ситуациях убийство предписано). Что же касается похищения имущества, это, конечно же, безобразие, и неевреям соответствующая заповедь дана в Торе, но в другом месте (см. об этом ниже).

9. **«Не отзывайся о ближнем своем ложным свидетельством»** (20:13) и

10. **«Не желай дома ближнего твоего... и ничего, что у ближнего твоего»** (20:14).

Честь и хвала тем неевреям, которые исполняют и эти наши заповеди, хотя такого самопожертвования от них вовсе не требуется. А что же требуется?

Представителям всех народов мира, кроме евреев, у которых 613 заповедей, да еще 7, установленных мудрецами, достаточно исполнять «семь заповедей сыновей Ноаха», чтобы быть праведниками. Вот эти заповеди (см. Рамбам, «Законы о царях», книга «Судьи»).

1. Запрет идолопоклонства. Его соблюдают только мусульмане.
2. Запрет богохульства. Не забыл еще, читатель, русскую ненормативную лексику?
3. Запрет кровопролития. Комментарий см. выше.
4. Запрет воровства.
5. Запрет разврата и некоторых видов инцеста.

Рассмотреть эту тему достаточно подробно в рамках данной статьи невозможно. Отмечу только, что не все связи, считающиеся для евреев кровосмесительными, остальным запрещены. Так, нет запрета на половую связь отца с дочерью для неевреев.

6. Запрет употребления в пищу мяса, отрезанного от живого животного.
7. Повеление основывать жизнь на законодательных началах.

Делаем вывод: утверждение, согласно которому иудаизм дал человечеству десять заповедей и они легли в основу его морали, –

миф. А развенчивать мифы для меня – великое удовольствие. Особенно если они исполнены слащавой патетики. Предпочитаю пусть и горькие, но истины.

В данном случае истина заключается в том, что евреи плохо соблюдают свои заповеди, а неевреи – свои.

Июль 1998

ПОТЕМКИНСКОЕ МЕСТЕЧКО

Предыдущий египетский лидер Анвар Садат, заключивший с Менахемом Бегином соглашение о постепенной ликвидации еврейского государства, любил делиться с ним и с руководителями стран Запада своим сокровенным замыслом: он, по его словам, мечтал о строительстве на горе Синай культовых сооружений трех религий: мечети, церкви и синагоги. Лукавил, конечно, хитрый потомок Ишмаэля – усыплял бдительность неверных. И, усыпив, получил Синай.

Бредовому проекту погубителя несчастной бегинской души суждено было, однако, воплотиться в жизнь – но, слава Богу, не в Синае, а в далекой российской столице.

«Сегодня лидер оппозиции Эхуд Барак отправляется в Москву на церемонию открытия синагоги и мемориала на Поклонной горе» – такая информация появилась на днях в газете «Вести». С мемориалом все ясно: если до сих пор подобного рода учреждения были только в Иерусалиме («Яд ва-шем») и в Вашингтоне, куда не так давно чуть ли не силком затащили профессионального истребителя евреев Арафата, то теперь таковое появится и в Москве, и посещение его станет обязательным для власть имущих юдофобов всех мастей, причем кое-кто из них будет приходить туда добровольно и часто, получая изощренное удовольствие от экспонатов, повествующих о страданиях евреев.

Между прочим, Поклонная гора – национальный символ России и строить там синагогу – хамское пренебрежение чувствами русских националистов и еще одно свидетельство недальновидности наших сегодняшних троцких, за деяния которых, как известно, всегда отвечают бронштейны. По безумности такой акт можно сравнить разве что с празднованием хабадниками Хануки в Кремле.

Но, возможно, на этой горе религиозные иудеи, живущие поблизости, толпами собираются трижды в день, не говоря уже о субботах и

праздниках, как в единственном месте, где можно спокойно, без помех помолиться в миньяне? Ничего подобного! Еврейских ортодоксов в тамошней округе днем с огнем не сыщешь, и для того, чтобы пустить пыль в глаза зарубежным благотворителям, – мол, синагога действует, да еще как! – придется завозить туда по субботам реформистов со всего города, прельщая их бесплатным угощением и выступлением Даны Интернэшнл в качестве кантора. У входа в здание я бы повесил табличку: «Синагога имени князя Потемкина».

А теперь оценим ситуацию в ее глобальном историческом аспекте. Вот уже пятьдесят лет существует в Эрец-Исраэль еврейское государство, которое за эти годы приняло практически всех евреев, которые хотели стать его гражданами. Более того: когда потоки репатриации из стран Восточной Европы иссякли, в страну стали завозить кого угодно – славянских переселенцев, эфиопскую фалашмуру, до отказа заполнившую местные церкви, румынских рабочих, оседающих здесь после заключения парагвайских браков с жительницами северного Тель-Авива... У евреев бывшего СССР, оставшихся там, было тридцать лет на то, чтобы вернуться в страну их отцов, – и те, кто не сделал этого до сих пор, в массе своей потеряны для еврейства. Попытка реанимировать еврейскую общинную жизнь в российском галуте порочна в основе своей: филантропы, открывающие там еврейские школы и тратящие бешеные деньги на иные виды деятельности, порождают у своих подопечных иллюзию того, что полноценная национальная жизнь возможна вне Страны Израиля. Полноценная – невозможна! А колоссальные средства, выделяемые еврейскими организациями стран Запада и Израилем общинам государств Восточной Европы, следовало бы направить на помощь евреям Эрец-Исраэль, оставив их блудным братьям в галуте лишь деньги на содержание одиноких стариков. Впрочем, такого рода благотворительностью там уже и так занимаются местные гусинские и березовские.

Что же касается этической стороны вопроса, то вся эта ситуация должна вызывать у нормального израильтянина жгучий стыд за своих собратьев, продолжающих упорно навязывать свое присутствие народам мира, у которых мы, с нашим вечным стремлением «обустроить» их страны в их же, как мы полагаем, интересах, вызываем вполне заслуженную неприязнь, а то и ненависть.

Каждому человеку на планете известно о том, что у евреев вот уже полвека есть свое государство, за которое многие сыны этого народа сложили головы, и никто не сможет объяснить всему человечеству, почему вместо того, чтобы строить Третий Храм на иеру-

салимской горе Мория, дети Израиля строят синагогу на Поклонной горе в Москве. А завтра они пойдут там на избирательные участки – вновь решать судьбу народа, которому давно опротивели. Не исключено, кстати, что именно их голоса приведут к какому-нибудь историческому катаклизму, как, к примеру, голоса русских (во всех смыслах) израильтян привели к созданию палестинского государства. Помните архитектора Норвежских соглашений, большого русского (во всех смыслах) артиста Михаила Козакова, который выбрал банк «Дисконт» и Рабина и вернулся на родину, подальше от греха?..

Центростремительные процессы в духовной жизни большинства народов – сегодняшняя реальность. Чеченцы имеют полное право не желать присутствия русских в своей среде, армяне – азербайджанцев, сербы – боснийцев и все они вместе – евреев. Империализм и его ублюдочный последыш, так называемый пролетарский интернационализм исчерпали себя; насильственное объединение наций завело человечество в тупик.

Ничего не поделаешь – приходится возвращаться назад, к временам праведных праотцев, и жить по заповеданным им Всевышним законам. А для этого тем из последних галутных евреев, кто еще ощущает свою принадлежность к нашему народу, нужно интеллигентно попрощаться с людьми, среди которых они жили, поблагодарить за многовековое гостеприимство, попросить прощения за активное участие в решении их судеб, подавить в себе желание напомнить им о причиненных ими обидах – и, предложив в дальнейшем «дружить домами», обосноваться в собственном доме, на Земле Обетованной, возвращаясь к Торе и готовясь к последней мировой войне, которую мусульманский мир, тоже достойно представленный на Поклонной горе, рано или поздно начнет против остального человечества.

Сентябрь 1998

Эли Корман

В СТРОКУ УПАЛА ЗВЕЗДОЧКА

«Пушкинская ясность» стала общим местом. Бывает, ее усматривают и там, где она под вопросом, где вместо нее – проблема.

Например, берут фразу «Гости съезжались на дачу» и начинают говорить ей комплименты: краткая, ясная, выразительная, разом вводит в курс дела. Что ж, комплименты не лгут. Пока не открыт первоисточник. Подлинная фраза все комплименты ставит под сомнение. Ее затруднительно произнести вслух. Она наводит на мысль о цензуре. Она содержит проблему. Короче говоря, подлинная фраза такова:

«Гости съезжались на дачу ***».

Подобными цензурованными фразами пушкинская проза буквально пестрит.

«В одно из первых чисел апреля 181... года».

«Мы стояли в местечке ***».

«Мы проводили вечер на даче у княгини Д.»

«Я предлагал ** сделать из этого поэму, он было и начал, да бросил».

Похоже, что Пушкин первым ввел в русскую прозу цензурование.

Пушкинскую эстафету подхватили и понесли дальше.

Гоголь, «Мертвые души»: «В ворота гостиницы губернского города NN въехала...»

Тургенев, «Дворянское гнездо»: «Перед раскрытым окном красивого дома, в одной из крайних улиц губернского города О...»

Достоевский, «Идиот»: «В Петербург пожаловал из Москвы один князь, князь Щ., известный, впрочем, человек».

«Бесы»: «...все созидатели социальных систем, с древнейших времен до нашего 187... года, были мечтатели, сказочники, глупцы».

Попробуйте-ка вслед за Шигалевым произнести вслух в присутствии двадцати человек: «187... года» – да так, чтобы никому и в голову не пришло, что вы произнесли нечто несуразное. Ясно, что Шигалев назвал номер года полностью. Ясно, что Хроникер, у которого нет никаких причин брать на себя роль цензора, честно воспроизвел то, что сказал Шигалев. Но ясно и то, что после Хроникера некое сознание прошлось по готовому тексту и цензуровало последнюю цифру года.

Примеры можно приводить без конца: русская классическая литература пестрит прочерками, отточиями, звездочками, сокращениями и прочими следами цензуры – но не той привычной, исходящей от власти и рифмующейся с дурой, а какой-то иной, внутренней, в причинах появления и принципах действия которой хотелось бы разобраться.

* * *

Прежде всего отметим три обстоятельства:

1. Цензуре могут подвергаться тексты, принадлежащие
   а) герою-персонажу (Шигалев, Иволгин),
   б) герою-рассказчику (Хроникер),
   в) повествователю.

Цензурующее сознание как бы расположено над этими сознаниями. Оно их «видит», но они его «не видят». Они «не знают», что их тексты цензуруются. Цензурующее сознание – сознание высокого уровня.

2. Цензуруются три вида объектов (если не считать редких и малоинтересных исключений):

   а) имена людей (имена в широком смысле, включая сюда фамилии и т. д.),

   б) географическо-топографические наименования: губернии, уезды, города, улицы, монастыри и т. д. – словом, пространственные объекты (топонимы),

   в) номера годов.

Другие временны̀е объекты – время года, время суток, день недели, месяц, сезон – почти никогда не цензуруются.

(Объекты пунктов «а» и «б» можно назвать кратко: имена собственные. Объекты пунктов «б» и «в» можно назвать кратко: хронотопические.)

3. Указанные три вида объектов цензуруются далеко не всегда. Но они составляют три «группы риска». Никакой объект не может быть цензурован, если он не входит в одну из этих трех групп.

Почему же цензуруются именно эти три вида объектов? Чтобы это понять, рассмотрим следующую абстрактную ситуацию: некий художественный текст, созданный в стране А на языке М, нужно перевести для читателей страны Б на язык Н. В странах А и Б разные системы летосчисления, но внутреннее строение года одинаковое:

двенадцать месяцев с теми же названиями, четыре времени года, семь дней недели и т. д.

При переводе надо учитывать два обстоятельства:

1. Имена людей и географические названия (короче, имена собственные), как известно, «не переводятся».

2. О годах. Разумеется, существует формула пересчета номера года из одной системы летосчисления в другую. Но текст, мы сказали, художественный. Поэтому пользоваться формулой нельзя (разве что где-нибудь в скобках или сносках, в поясняющих примечаниях) во избежание стилистической безвкусицы (как если бы, скажем, переводчик «Тихого Дона» на арабский язык указывал даты в мусульманской традиции: такой-то год хиджры) или даже логического абсурда, как в известном анекдоте: археологи нашли монету с надписью: «230 лет до н. э.». Иными словами: номера годов не переводятся! Таким образом, оказывается, что цензурующее сознание может цензуровать только те объекты, которые «не переводятся», то есть являются сущностной характеристикой данного хронотопа, иными словами – хронотопическими объектами (обращаем внимание на то, что имена людей тоже, стало быть, являются хронотопическими объектами). Поэтому цензурующее сознание будем в дальнейшем называть хронотопическим сознанием (ХС).

Но почему же из всех временны́х объектов цензуруется только номер года? Почему именно он «не переводится»? Это связано с особой структурой художественного времени, которую мы назвали бы линейно-круговой. Представим себе ось лет с насечками годов. На ось насажены круги (годы) – каждый на свою насечку. Каждый круг разделен секторами на времена года, месяцы и т. д. – вплоть до дней. Пока движение времени совершается в пределах годового круга (циферблата), все в порядке, но при переходе к следующему кругу (то есть при сдвиге по оси лет) могут происходить самые удивительные вещи, как это будет показано ниже. Как правило, эти удивительные вещи происходят тогда, когда номер года цензурован или вообще не указан и вследствие этого непонятно, в каком месте оси находится текущий круг и какой круг является следующим.

Ось является элементом «внешнего» мира, вот почему номера годов (насечки) образуют группу риска и могут цензуроваться. А вот внутренние элементы кругов сохраняют по отношению к оси некоторую автономность, они как бы не являются элементами внешнего мира, в группу риска не входят и, стало быть, не цензуруются.

* * *

А зачем вообще нужно цензурование? Когда оно применяется? Если воображением писателя создан самодостаточный художественный мир, наподобие сверкающих городов Александра Грина или марсианских городов Брэдбери, то цензурования, скорее всего, не будет. Если, наоборот, речь идет о тексте, в котором «все правда» – например, путевой очерк или исторический роман, – то опять-таки в цензуровании нет нужды, разве что по внелитературным соображениям.

Нужда в цензуровании возникает в двух случаях:

1. Там, где художественный текст обильно использует имена объектов «реального» мира и в то же время претендует на автономность по отношению к нему.

2. Там, где герой по какой-либо причине чужд своему хронотопу – точнее, его обитателям.

Почему столь много следов цензурования именно в русской литературе девятнадцатого века? Потому что она присвоила себе особый социальный статус. С одной стороны, она не хотела замыкаться в башне из слоновой кости, она хотела «быть с народом», что в переводе означает: обильно использовать имена «реальных» хронотопических объектов. С другой стороны, будучи великой литературой, она хотела таковой оставаться, не опускаясь до очеркистики, то есть творить собственный художественный мир.

Сочетание этих разнонаправленных тенденций и вызвало столь острую потребность в цензуровании.

* * *

Полоска бумаги между названием текста и его первой фразой притягивает к себе как магнитом разные сознания, не всегда имеющие прямое отношение к тексту. Здесь можно встретить посвящение, эпиграф, благодарность лицам, без помощи которых книга не вышла бы в свет, предуведомление о случайности возможных совпадений имен героев с именами реальных лиц и т. д. и т. п. В «Братьях Карамазовых» имеем, например:

1. Авторское определение жанра (АОЖ): «Роман в четырех частях с эпилогом».

2. Посвящение.

3. Эпиграф.

4. Предисловие «От автора».

Из всех этих и подобных сознаний нас будет интересовать одно: АОЖ.

АОЖ и цензурование очень тесно связаны, поскольку отношения текста с «реальностью» регулируются его жанром и потребность в цензуровании различна в текстах различных жанров.

Рассмотрим два примера. Есть у Достоевского вещь, которая называется «Дядюшкин сон». В подзаголовке дается АОЖ: «Из Мордасовских летописей». Ну, если это летопись, то имена героев цензурованы не будут, ибо летописный жанр цензурования не допускает. Но, с другой стороны, это *Мордасовская* летопись, а один из персонажей – князь – чужд мордасовцам: во-первых, потому, что он не живет в Мордасове (он приезжий); а во-вторых, потому что он эксцентричен. Поэтому его имя – и только оно одно – в виде исключения, будет цензуровано.

А если АОЖ «Маленького героя» гласит: «Из неизвестных мемуаров», – то будут цензурованы имена всех героев (кроме клички лошади), ибо мемуарный жанр вообще, а в деликатной сфере душевных увлечений особенно, предоставляет «мемуаристу» полную свободу маневра: какие имена, места и даты сочту нужным цензуровать, те и цензурую.

Иногда АОЖ оказывается выше верхней границы вышеупомянутой полоски бумаги, а именно – в названии текста: «Трехгрошовый роман», «Сага о Форсайтах», «Легенда об Уленшпигеле», «Рассказ о семи повешенных», «Хроника времен Виктора Подгурского», «Поэма горы».

Разумеется, следует иметь в виду, что на клетке слона может быть надпись «буйвол». Гоголь назвал «Мертвые души» поэмой. У Галича неправильное, провокационное АОЖ – сознательный прием: «Баллада о прибавочной стоимости», «Командировочная пастораль» и т. п.

Если АОЖ отсутствует либо малоинформативно («роман в стольких-то частях»), то оно может свои функции влияния на текст передать первой фразе (изредка второй): «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К-ну мосту».

Фраза поразительно информативна и не случайно занимает весь первый абзац, не желая делить его со второй.

1. Устанавливается режим цензурования имен топографических объектов («в С-м переулке», «к К-ну мосту»).

2. На какую улицу вышел молодой человек? У нее нет имени. Случай умолчания (замалчивания, сокрытия) – см. ниже.

3. Указано время суток и месяц (и, тем самым, время года), но не указан год – об этой тенденции мы уже говорили. Это тоже умолчание.

Это то, что касается хронотопических характеристик. Но ими информативность не исчерпана. Можно продолжить:

4. «Каморка», «нанимал», «от жильцов», «переулок» определяют социальное положение Раскольникова – и тем самым социальное пространство романа. Раскольников бродит по кварталам бедности и порока, ибо это предписано первой фразой. Стоит ему нарушить предписание и оказаться на Островах, в зоне благополучия и довольства, как его постигает наказание – мучительный, страшный сон о забитой кляче.

5. Задан температурно-погодный режим – «в чрезвычайно жаркое время» – важнейшая характеристика хронотопа.

И т. д.

Короче говоря, первая фраза устанавливает как пространственно-временные, так и иные режимы функционирования хронотопа, его характеристики. (Вот, по-видимому, в чем разгадка того особого, благоговейного, почти мистического отношения к первой фразе, которое распространено среди писателей.)

* * *

Но цензурование – лишь одна из функций ХС, причем самая примитивная. Следующая по сложности функция – редактирование заплатами. Дана фраза, содержащая имя хронотопического объекта. Требуется это имя скрыть, не прибегая к цензурованию и с минимальным вмешательством во фразу. Просто выбросить имя недостаточно: пострадает грамматическая структура фразы, пострадает семантика. И тогда вместо имени ставится заплата, «по цвету и фактуре» не отличающаяся от окружающего текста.

Приведем примеры из «Бесов» (курсив наш):

«Отечественной гувернантке здешних мест от поэта с праздника» – маскировка под стиль Лебядкина и Липутина (вместо «здешних мест» должно было бы стоять имя уезда или губернии).

«Когда придет время, я отошлю в полицию и к местной власти» – маскировка под стиль Ставрогина.

«...Объяснения мои найдены удовлетворительными, иначе я не осчастливил бы моим присутствием здешнего города» – маскировка под стиль Петра Степановича Верховенского.

* * *

Приступаем к описанию самой интересной, самой важной функции ХС. Благодаря ХС имена хронотопических объектов и сами объекты способны влиять друг на друга. Если необходимо, для реализации влияния ХС строит сюжеты (каналы влияния).

У Г. Гессе в «Степном волке» Гермина предлагает Гарри угадать ее имя, и тот довольно легко угадывает. Имя срастается с объектом. Зная одно, можно угадать другое.

«Разве можно жить с фамилией Фердыщенко?» – спрашивает Фердыщенко князя. Жить можно, но, нося шутовскую фамилию, приходится и самому быть шутом. А сам князь: разве случайно, что он «идиот» и эпилептик? Нет, в этом виноваты его имя и фамилия, образующие недопустимый оксюморон: Лев Мышкин.

У Мармеладова жизнь горькая, потому что фамилия сладкая. «Капернаумов портной» хром, косноязычен и нищ, и это расплата за гордыню его фамилии: «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». У Пселдонимова («Скверный анекдот») длинный горбатый нос из-за «неправильной» буквы в фамилии.

Для связи имени с объектом вовсе не обязательно, чтобы объект был человеком. Если в «Бесах» улицу назвали Богоявленской, то как же ей не тонуть в грязи? Если церковь назвали «Рождества богородицы» и в обоих этих словах есть корень «род», «рождать», то икону богоматери не просто ограбят, но впустят за стекло живую мышь – символ разврата и надругательства над сферой деторождения (мышь как символ разврата – см. сны Свидригайлова. В первом сне Свидригайлов видит мышь, во втором и третьем тема разврата звучит уже отчетливо).

Имя объекта может влиять и на другой объект – обычно через его имя, но иногда непосредственно, как в «Хозяйке», где фамилия главного героя (Ордынов) определила национальность не имеющего имени персонажа (татарин).

Фамилия Настасьи Филипповны – Барашкова. Значит, ее зарежут. Кто зарежет? Ну понятно, Рогожин, с его колючей фамилией.

Между именами Рогожин – Барашкова возникает силовое поле, ведутся разговоры об убийце с бритвой, о ноже, нож материализуется – и в конце концов происходит убийство.

Можно, конечно, рассуждать и по-другому: фамилия Настасьи Филипповны – Барашкова. Значит, ее съедят. Кто съест? Естественно, князь, ибо его имя – Лев. И действительно, именно после встречи с князем Настасья Филипповна начинает метаться между ним и Рогожиным, и эти метания приводят ее к гибели.

Объединяя эти два рассуждения, приходим к выводу: фабула романа определяется треугольным взаимодействием имен Рогожин – Барашкова – Лев.

Почему толпа забивает насмерть Лизу? По двум причинам. Во-первых, с легкой руки Карамзина имя «Лиза» стало страдательным. Во-вторых, отчество Лизы – Николаевна – является именем Ставрогина, «быть может, непримиримейшего ее врага» – как же можно с такими двумя именами остаться в живых?

Умирает Лиза Трусоцкая («Вечный муж»), умирает Лизавета Смердящая, Лизавету-торговку убивают топором, Лизу в «Записках из подполья» жестоко оскорбляют, трагична судьба Лизы Долгорукой, в «Бесах» упоминается «Лизавета блаженная», которая «...в ограде у нас вделана, в стену, в клетку... и сидит она там за железною решеткой семнадцатый год». И только у Лизаветы Прокофьевны судьба относительно благополучна. Дело в том, что – в силу ее возраста и социального статуса – ее имя всегда сопровождается отчеством. А имя Прокофий (Прокопий) – устойчивое, оно дает ей поддержку.

Собственно говоря, у Лизы Долгорукой тоже есть отчество – Макаровна, но имя Макар – неустойчивое, ведь Макар Иванович – странник (а странник он потому, что некий другой Макар гонял куда-то телят: перемещался, странствовал). Тем не менее некоторую поддержку оно все же дает, и потому судьба Лизы Долгорукой предпочтительнее, например, судьбы Лизы «Записок из подполья».

Слово «раскол» в его первичном значении, содержащееся в слове «Раскольников», определило выбор орудия преступления: топор. Кого же убьет Раскольников? Конечно, Лизавету. Причем убьет ударом раскола, то есть лезвием, а не обухом. Но для убийства Лизаветы приходится выстроить целый сюжет: у Лизаветы, видите ли, есть сестра, злая и вредная старушонка «и, сверх того, процентщица». Что, этого мало для убийства? Ну, пусть тогда у Раскольникова мать и сестра будут в отчаянном положении. Мало? Ну, пусть еще будет теория, дозволяющая единичное злодейство ради последующих добрых дел.

Шутки в сторону. Мы, конечно, не можем утверждать, что замысел романа формировался именно таким образом. Но мы настаиваем на ошибочности традиционного толкования: мол, Раскольников шел убивать старуху, а Лизавета случайно подвернулась. Точнее, не на ошибочности, а на недостаточности. Да, на бытовом уровне все так и было. Но на глубинном, метафизическом уровне, где властвует ХС, все было наоборот: Раскольников шел убивать Лизавету, а старуха была приманкой, живцом. Вот почему он ее так ненавидит: «Ни за что, ни за что не прощу старушонке!»

* * *

Главный герой «Процесса» Кафки арестован в день своего рождения, казнен накануне следующего дня рождения. Стало быть, действие романа продолжается год без одного дня? Вроде бы так, хотя это как-то странно. А что случилось бы, если бы казнь состоялась днем позже? А случилось бы то, что на годовом круге день рождения был бы отмечен дважды. Либо произошел бы переход на следующий годовой круг (но на какой следующий? ведь номер года не указан!), что сопровождалось бы сдвигом по оси лет, то есть нарушением автономности. Ни того, ни другого допустить нельзя.

На самом деле действие романа продолжается ровно год, ибо

а) отмечены все дни года,

б) ни один день не отмечен дважды.

Итак, ровно год. А какой в этом смысл? А такой, что один год – это компромисс между дурной бесконечностью судебного процесса и стремлением ХС к автономности. Меньше нельзя: надо показать, что процесс бесконечен. А больше нельзя, ибо годовой круг ограничен.

* * *

Год в «Процессе» не имеет внутреннего календаря (из-за чего исследователи до сих пор спорят о порядке следования глав романа). А в «Записках сумасшедшего» есть внутренний календарь, ибо «Записки» – это дневник. Дневник состоит из записей, каждая запись состоит из двух частей: датировки и основного текста.

Сумасшествие Поприщина проявляется с первой же записи, но – лишь в основном тексте. В первых датировках сумасшествия нет. Лишь одно обращает на себя внимание: в датировках не указывается год.

Но вот датировки выходят на декабрь, приближается Новый год, а с ним – переход на следующий годовой круг, хотя с момента первой записи идет лишь третий месяц (подобной ситуации не может быть в «Процессе» из-за отсутствия внутреннего календаря). Что делать?

В этот момент сумасшествие Поприщина делает качественный скачок, причем двойной. В основном тексте Поприщин провозглашает себя королем. В датировке же впервые появляется номер года, но – в сумасшедшем оформлении: «Год 2000 апреля 43 числа».

Однажды проникнув в датировку, сумасшествие уже оттуда не уходит. Но внутри сумасшествия бьется пытливая мысль: все сумасшедшие датировки суть эксперименты со временем, наподобие тех, которые в двадцатом веке проводили писатели-фантасты. Например, «Январь того же года, случившийся после февраля» – это нечто вроде «петли времени». Но по закону дневникового жанра для датировки отводится всего несколько слов. Много ли наэкспериментируешь в нескольких словах?

Поэтому разнообразие сумасшедших датировок быстро исчерпывается: если пятая сумасшедшая датировка гласит: «Число 1», то уже восьмая повторяет ее структуру: «Число 25».

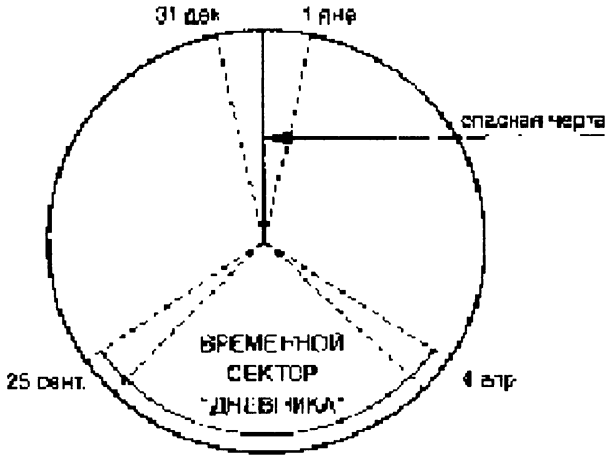
Ну, раз начались повторы, то надо кончать. И следующая – девятая – с сумасшедшей датировкой запись оказывается последней. В ней сумасшествие снова делает скачок, опять-таки двойной, но на сей раз разнонаправленный: в основном тексте скачок назад, к нормальной и даже проникновенной человеческой речи, а в датировке скачок в прежнем сумасшедшем направлении – к распаду речи.

Но и в распадающейся речи есть кое-какой смысл. Например, слово «года» приняло китаизированную (ведь Испания есть Китай) форму «гдао». Но гораздо важнее другое: в датировке опять присутствует номер года! Отсюда следует, что сумасшествие Поприщина делает скачок в тех (и только в тех) записях, в датировке которых присутствует номер года. Иными словами: развитием болезни Поприщина управляет ХС!

* * *

Интересно сопоставить хронологию «Записок сумасшедшего» с хронологией романа С. Кьеркегора «Дневник обольстителя». («Записки» и «Дневник» столь решительно во всем противоположны друг другу, что возникает даже нелепая мысль: а не был ли Кьеркегор знаком с «Записками» и не отталкивался ли от них, создавая «Дневник»? По времени это возможно.) Малокультурный Поприщин с его речевой неряшливостью и эстетической глухотой не нашел ничего лучшего, как начать «Записки» в конце года: 3 октября. Тем самым он обрек себя на приближение к опасной радиальной черте, отделяющей 31 декабря от 1 января, что его и погубило.

В отличие от него Йоханнес – человек высокой, изощренной словесной культуры, чутко и жадно воспринимающий окружающий мир, причем воспринимающий эстетически. Посмотрите, как красиво, симметрично ложится временной сектор «Дневника» на годовой круг: дневник начат 4 апреля, кончен 25 сентября. То есть от начала года (номер которого, кстати, не указан) до первой записи прошло три месяца плюс четыре дня, а от последней записи до конца года – три месяца плюс пять дней. Смысл этой симметричности очевиден: временной сектор «Дневника» должен находиться как можно дальше от опасной радиальной черты.



* * *

Принято считать, что юный Вертер покончил с собой из-за несчастной любви. Но за этой очевидной, бьющей в глаза причиной скрыта подлинная, хронотопическая причина: юный Вертер неправильно вел дневник!

Дневник Вертера построен более сложно, чем дневники Поприщина и Йоханнеса: у Вертера три записи все-таки содержат номер года. Это первая запись «Книги первой» (4 мая 1771 г.), первая запись «Книги второй» (20 октября 1771 г.) и первая запись следующего года в той же «Книге второй» (8 января 1772 г.). Заметим еще, что 1771-й год кончается записью от 24 декабря (в которой год не указан).

Итак, на протяжении 1771 года год указывается дважды, и этого достаточно, чтобы ХС беспрепятственно пропустило Вертера в следующий год. Но в новом 1772 году Вертер указал год только один раз, и обиженное ХС приняло свои меры: в ночь на 23 декабря Вертер застрелился.

Все указывает на то, что если бы Вертер почаще указывал номер года в датировках (вариант: если бы Вертер вынес номер года из датировок в заглавие), то ему не только не пришлось бы кончать самоубийством, но и его любовь не была бы несчастной.

Итак, между последней записью 1771 года и самоубийством пролегло расстояние в год без одного дня – это нам уже где-то встречалось, не правда ли?

* * *

Герой повести Белля «Поезд прибывает по расписанию» предчувствует, что будет убит партизанами. Он читает на карте названия городов предстоящего ему маршрута и по звучанию, по «вкусу» каждого определяет, будет ли еще жив в этом городе. Таким способом он определяет два соседних (на карте) города, до первого из которых он доедет, а до второго – уже нет. Значит, его убьют между этими городами.

Но почему событие убийства никак не отражено на карте? Там, между этими городами, должен быть еще один. И действительно, между ними оказывается город, которого нет на карте; город, имя которого убивает.

«Андреас медленно пробирался по темному вагону, как вдруг слово "скоро" пронзило его, подобно пуле: оно прошло сквозь его плоть, ткани, клетки, нервы».

«"Краков" – вдруг возникло у него в мозгу, и сердце на секунду остановилось, будто сосуды стянуло жгутом и кровь прекратила свой бег!.. Краков! Нет, не то. Дальше. Пшемысль. Нет, не то. Львов. Нет, не то! Тогда он пустился бешеным аллюром: Черновицы, Яссы, Кишинев, Никополь! Но при слове "Никополь" ему стало ясно, что для него это всего-навсего мыльный пузырь, такой же, как фраза "Я поступлю в университет". Никогда, никогда он не увидит Никополь! Теперь он возвратился назад: Яссы! Нет, и Яссы он уже не увидит. И Черновицы тоже не увидит. Львов! Львов он еще увидит, во Львов он прибудет живым. Я помешался, думал он, сошел с ума. Неужели я погибну где-то между Львовом и Черновицами?!»

<...> «...Что это за неведомый перегон между Львовом и Черновицами?.. Все пространство между Львовом и Черновицами для него белое пятно. Кажется, это пространство называют Галицией... И где-то в тех местах Волынь; темные, угрюмые слова, пахнущие погромами».

«Галиция – темное слово, ужасное слово и все же влекущее. В нем есть что-то напоминающее нож, медленно режущий нож... Галиция...»

«Скоро я умру, думал он, скоро, скоро, и это "скоро" уже не такое расплывчатое, к этому "скоро" я понемногу подбираюсь, уже незаметно ощупал его, обнюхал во всех сторон... Уже знаю, что умру в ночь с субботы на воскресенье между Львовом и Черновицами... В Галиции... в Восточной Галиции – в самом низу карты».

«В слове "Галиция" – кровь, потоки крови, стекающие с ножа. "Буковина" – совсем другое дело, думал он, это слово добротное и надежное. Я умру не в Буковине, а в Галиции, в Восточной Галиции».

«В воскресенье утром между Львовом и Коломыей... Вот и Черновицы уже ушли куда-то далеко-далеко, так же далеко, как Никополь и Кишинев. Понятие "скоро" еще больше сжалось, сжалось почти до предела. Всего два дня. Львов, Коломыя».

«Нет, рассвета уже не будет, будет тьма кромешная. Вот как! Совершенно точно! Это случится без четверти шесть, в воскресенье утром... между Львовом и... надо посмотреть, какой город находится в сорока километрах за Львовом».

«Какой город, – спросил он неожиданно, – какой город находится в сорока километрах за Львовом по дороге... по дороге в Черновицы?..

– Стрый, – сказала она».

«Стрый... Стрый... Ужасное название, которое звучит, как черта, как кровавая черта, которую проведут у меня на горле! В Стрые меня убьют».

«Стрый... Слово это засело во мне с самого рождения. Хранилось где-то глубоко-глубоко, неузнанное и неразбуженное...

Стрый... Эти несколько букв, это короткое, ужасное и кровавое слово поднялось из глубин моего существа на поверхность и стало расти, подобно мрачной туче, и вот уже туча закрыла все небо».

Во всем этом не то удивительно, что имя убивает (это мы уже видели у Достоевского), а то, что неизвестный объект можно открыть, вычислить по именам известных объектов. Так астроном открывает невидимую планету по возмущениям в орбитах других, видимых планет.

Имена излучают энергию, пространство между именами заполнено силовыми линиями. По перепадам энергий, по искривлениям силовых линий герой Белля открыл город-невидимку.

Важно отметить следующее обстоятельство: герой Белля – немец, славянских языков не знает, названия же городов – Львов, Коломыя, Черновицы, Буковина, Стрый и др. – славянские. Семантическую составляющую названий он воспринять не может. Но он воспринимает их, так сказать, телесную составляющую. И оказывается, что она тоже информативна и наполнена энергией.

При переводе на другой язык сохраняется семантика слова, телесная же составляющая, как правило, теряется. Но в данном случае имеет место не перевод (ведь названия городов «не переводятся»), а заимствование. Слово заимствуется целиком, «как оно есть». При этом теряется, если была, семантика, а телесная составляющая сохраняется (со своей, однако, специфической семантикой).

* * *

Итак, имя может обладать энергией, причем огромной (напомним, что именем мы называем не только имя собственное, но и номер года). Правильно обращаться с этой энергией – например, строить сюжеты, реализующие взаимодействие имен, – очень сложно, для этого нужна если не гениальность, то высокая степень таланта. Да и такому гению, как Достоевский, невозможно управиться с именами всех своих хронотопических объектов.

Чтобы облегчить себе работу с энергией имен, ХС использует следующие приемы (и их комбинации):

1. Цензурование.
2. Редактирование.
3. Выбор невыразительного, «инертного» имени. Например, имя города в «Братьях Карамазовых»: Скотопригоньевск. Обычны невыразительные имена у Гоголя: Канапатьев, Хорпакин, Акакий Башмачкин.
4. Замалчивание. «Нос»: «Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте (фамилия его утрачена...)». Часто замалчиваются номера годов.

Замалчивание может быть объявленным и необъявленным. Замалчивание номеров годов или названия улицы, на которую вышел молодой человек, – необъявленное. Замалчивание фамилии цирюльника – объявленное. Приведем еще два примера (из «Шинели») объявленного замалчивания: «В департаменте... но лучше не называть в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий... Теперь уже всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным все общество... Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идет дело, мы назовем одним департаментом».

«Где именно жил пригласивший чиновник, к сожалению, не можем сказать: память начинает нам сильно изменять, и все, что ни есть в Петербурге, все улицы и дома слились и смешались так в голове, что весьма трудно достать оттуда что-нибудь в порядочном виде».

5. Максимальное оттягивание момента появления имени в тексте. «Из Скотопригоньевска (увы, так называется наш городок, я долго скрывал его имя), к процессу Карамазова».

* * *

Ньютоновское физическое пространство однородно, его характеристики одинаковы во всех точках, ему совершенно безразлично, есть в нем материя или нет. Ньютоновское время всюду течет с одинаковой скоростью. Пространство, время и материя существуют как бы независимо друг от друга.

Эйнштейновское пространство значительно сложнее. Оно искривляется вблизи небесных тел, оно заполнено силовыми линиями

самых разных полей: тяготения, тепло- и радиоизлучения и т. д. Время может течь быстрее или медленнее. В эйнштейновской модели Вселенной пространство, время и материя образуют нераздели-мое единство.

Чем активнее ХС работает в художественном тексте, тем ближе художественное пространство к эйнштейновскому.

В русской литературе назревание перехода от ньютоновской модели к эйнштейновской первым уловил Пушкин. Он первым почувствовал энергию, излучаемую небесными телами (сиречь хронотопическими объектами), искривляющую художественное пространство, пронизывающую его силовыми линиями взаимодействий этих небесных тел, делающую его неоднородным, многослойным, многомерным.

Пушкинской светлой и гармоничной натуре эта тенденция была чужда, и он бессознательно боролся с нею, причем самым простым способом – цензурованием. Что есть цензурование? что есть звездочки, поставленные вместо имени? Это затычка, коей затыкают фонтан энергии, бьющий из имени. «Я предлагал ** сделать из этого поэму, он было и начал, да бросил». А если бы вместо этих двух звездочек стояло имя – кто знает, как бы оно повлияло на другие имена, на судьбы их носителей...

«Что в имени тебе моем?» Нет имени – нет проблемы. Тем не менее, проблема была поставлена, хотя и бессознательно. Пушкинское цензурование было замечено и подхвачено. Сила, таящаяся в именах, косвенно признавалась при их сокрытии. И, быть может, именно поэтому и именно тогда русская литература стала великой.

СВИДЕТЕЛЬ НАХОДИТ АВТОРА

1. Зачем пожаловали?

В среду, «страшным майским вечером», Воланд и его свита прибывают в Москву. Начинается трехсуточная полоса прямого, открытого, массированного вмешательства потусторонних сил в московскую жизнь.

А собственно, зачем они прибыли? Просто так – развлечься, пошалить?

Вот что сказано о цели визита в статье «Воланд» в «Энциклопедии булгаковской» (Автор и составитель Борис Соколов. «Локид» – «Миф», М., 1998): «В. (Воланд) разным персонажам, с ним контактирующим, дает разное объяснение целей своего пребывания в Москве. Берлиозу и Бездомному он говорит, что прибыл, чтобы изучить найденные рукописи Герберта Аврилакского... Сотрудникам театра Варьете и управдому Никанору Ивановичу Босому В. объясняет свой визит намерением выступить с сеансом черной... магии. Буфетчику Варьете Сокову уже после скандального сеанса сатана говорит, что просто хотел "повидать москвичей в массе, а удобнее всего это было сделать в театре"... В. многолик, как и подобает дьяволу, и в разговорах с разными людьми надевает разные маски, дает совсем несхожие ответы о целях своей миссии. Между тем, все приведенные версии служат лишь для маскировки истинного намерения – извлечения из Москвы гениального Мастера и его возлюбленной, а также рукописи романа о Понтии Пилате. Сам сеанс черной магии отчасти понадобился В. для того, чтобы Маргарита, прослышав о происшедшем в театре Варьете, уже была бы подготовлена к встрече с его посланцем Азазелло... удивление В., когда после Великого бала у Сатаны он "узнает" от Мастера тему его романа – всего лишь очередная маска. Действия В. и его свиты в Москве подчинены одной цели – встрече с извлекаемым из лечебницы творцом романа об Иешуа Га-Ноцри и Понтии Пилате и с его возлюбленной для определения их судьбы».

Ну, конечно, и пошалить – как же без этого? Но это – попутно (и чтобы создать дымовую завесу, скрывающую истинные намерения).

К этому добавим следующее. Спасение Мастера и его романа – большая, стратегическая цель Воланда. А есть еще одна – малая, тактическая – цель: недопущение публикации поэмы Ивана Бездомного. Реализация этой малой цели – убийство редактора журна-

ла и сведение с ума автора поэмы – составляет начало булгаковского романа.

Но каковы бы ни были цели прибытия дьявольской делегации, само это прибытие – лишь завершающее звено длинной череды вмешательств нечистой силы в московскую жизнь. О некоторых случаях такого вмешательства (исчезновения жильцов «нехорошей квартиры») сказано почти прямо («...Анфиса так напрямик и заявила очень расстроенной Анне Францевне, что это колдовство и что она прекрасно знает, кто утащил и жильца и милиционера, только к ночи не хочет говорить»), о многочисленных других – надо догадываться по разбросанным в тексте намекам.

Что нужно Воланду в Москве? Ответить, казалось бы, нетрудно: Воланда тянет в Москву по принципу контраста. Ведь Москва – город атеистов, столица атеистического государства.

Да, такая тяга есть. Но, будучи отвлеченно-философской, она не может быть сколько-нибудь сильной: Воланд по складу натуры – не философ.

Нет ли в поступках Воланда личного интереса? Нет ли какой-то общей цели у всех вмешательств нечистой силы в московские дела?

2. Московские хроники

Ответить на эти вопросы поможет хронология московских событий. Вообще, хронология в «Мастере и Маргарите» играет важнейшую роль. В частности, она выявляет пары одновременных (или близких по времени) событий. В своеобразной поэтике романа, поэтике намека и шифра, одновременность событий почти наверняка означает наличие связи между ними. Приведем два примера.

Низа, после визита Афрания к ней, и Иуда одновременно выходят из своих домов: «Сандалии Низы простучали по каменным плитам дворика. Служанка с ворчанием закрыла дверь на террасу. Низа покинула свой дом.

В это самое время из другого переулка в Нижнем Городе... вышел молодой, с аккуратно подстриженной бородкой человек в белом чистом кефи...»

Здесь не только связь между двумя событиями совершенно очевидна, но и читателя прямым текстом извещают об их одновременности. А вот более сложный случай. Мастер разжигает в печке огонь, чтобы сжечь рукопись. Одновременно вспыхивает пожар на

заводе, где работает муж Маргариты: «Я не хочу, чтобы у него навсегда осталось в памяти, что я убежала от него ночью... Его вызвали внезапно, у них на заводе пожар».

Благодаря пожару Маргарита получает возможность прийти к Мастеру и спасти фрагмент рукописи.

Но так же, как «кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится», и пожар ни на каком заводе ни с того ни с сего не вспыхнет. Пожар вспыхивает с легкой руки Воланда, чтобы Маргарита спасла фрагмент.

Но спасение фрагмента нужно Воланду не само по себе, а для будущей сцены в Александровском саду, то есть чтобы Маргарита приняла приглашение Азазелло – и чтоб была королевой бала – и чтоб в награду был спасен Мастер и восстановлена рукопись.

Мы увидим, что все вмешательства Воланда в московскую жизнь имеют в виду Мастера и его роман – даже в тех случаях, когда роман еще не написан.

Итак, займемся хронологией.

3. Дьявол и Первомай

Исследователи «Мастера и Маргариты» установили, что Воланд и его свита прибывают в Москву 1 мая 1929 года. Приведем одно из доказательств этого, взятое нами из статьи «Мастер и Маргарита» в «Энциклопедии булгаковской»:

«Если исходить из предположения, что московские сцены М. и М., как и ершалаимские, происходят на православной Страстной неделе... то требуется определить, когда Страстная среда в XX в. приходится на май по григорианскому календарю... Именно в среду, в этот страшный майский вечер, Воланд и его свита прибыли в Москву. Выясняется, что только в 1918-м и 1929 гг. Страстная среда падала на 1 мая. Больше в XX в. такого совмещения, по-своему – символического, не происходит... Однако 1918 г. как время действия московской части М. и М., отпадает – в романе изображена явно не эпоха военного коммунизма, когда не было даже червонцев, которыми так щедро одаривают спутники Воланда публику в театре Варьете. Очевидно, действие происходит в 1929 г., когда Пасха приходилась на 5 мая».

Стало быть, разговор Маргариты с Азазелло в Александровском саду имел место в пятницу 3 мая 1929 г.

То обстоятельство, что дьявольская делегация прибывает в Москву 1 мая, заставляет по-новому взглянуть на некоторые события. Например, становится ясным, что предполагавшееся заседание двенадцати литераторов (очевидно, руководящего состава МАССОЛИТа) под председательством Берлиоза – это первомайское праздничное заседание. Пирушка на даче у Хустова, где напивается Лиходеев, тоже устроена по случаю праздника. Только в случае с заседанием связь с Первомаем вполне официальная, а в случае с пирушкой – неофициальная («народная»). Публикация в «Литературной газете» портрета и стихов Бездомного также приурочена к празднику.

С другой стороны (очевидно, с целью закамуфлировать «политически вредную» связь Первомая с дьяволом), день прибытия дьявольской делегации сделан рабочим днем: Лиходеев прибегает к Римскому с черновиком договора о выступлениях Воланда и т. д.

* * *

Действие нескольких глав романа происходит на другой день после прибытия Воланда в Москву, то есть 2 мая 1929 г. С точки зрения хронологии особенно интересны главы 7-я и 13-я, ибо каждая из них содержит экскурс в прошлое. Глубина этих экскурсов одинакова – два года, – так что события, описанные в них, должны быть между собой связаны.

Экскурс первый (глава «Нехорошая квартира»): «И вот два года тому назад начались в квартире необъяснимые происшествия: из этой квартиры люди начали бесследно исчезать.

Однажды в выходной день явился в квартиру милиционер, вызвал в переднюю второго жильца... и сказал, что того просят на минутку зайти в отделение милиции в чем-то расписаться... Второй жилец исчез, помнится, в понедельник...»

Стало быть, день исчезновения жильца – это, с одной стороны, выходной день, а с другой – понедельник. Отсчитав назад два года от четверга 2 мая 1929 г., получаем понедельник 2 мая 1927 г., который действительно был выходным, так как день солидарности трудящихся отмечался два дня – 1 и 2 мая.

Исчезнувший жилец отчасти потому и именуется «вторым», что исчез 2 мая.

Экскурс второй (глава «Явление героя»): «...историк по образо-

ванию, он еще два года тому назад работал в одном из московских музеев, а кроме того, занимался переводами... И, представьте, однажды выиграл сто тысяч рублей».

Логично предположить, что публикация таблицы выигрышей была приурочена к 1 мая. Стало быть, «стоило Мастеру обнаружить, что на его облигацию пал крупный выигрыш, как начались исчезновения людей из квартиры № 50».

Смысл этой парадоксально звучащей формулировки весьма прост. Воланд предвидит будущее. Он знает, что Мастер воспользуется выигрышем, чтобы засесть за роман, а написание романа повлечет за собой события, которые рано или поздно потребуют его, Воланда, присутствия в Москве. Поэтому уже сейчас он начинает готовить себе резиденцию в «нехорошей квартире».

Подготовка резиденции проводится в два этапа. На первом этапе из квартиры удаляются все ее жильцы как не имеющие отношения ни к литературе, ни к театру – двум областям интереса Булгакова.

На втором этапе в квартиру помещаются лица, хотя и имеющие отношение к вышеназванным областям, но отношение мнимое и даже вредоносное: председатель МАССОЛИТа и директор Варьете. Жены же их опять-таки удаляются как лишние.

Любопытно, что супруга Лиходеева «якобы обнаружилась на Божедомке», то есть в «доме Бога» – в противоположность «дому дьявола», каковым, очевидно, является «нехорошая квартира».

Итак, людские исчезновения и перемещения, связанные с квартирой № 50, закончены. В квартире остаются Берлиоз и Лиходеев, с которыми Воланд разберется лично, когда прибудет в Москву.

* * *

А теперь перенесемся в 1928 год и рассмотрим обстоятельства одного романтического знакомства.

Дело, разумеется, происходит весной. «Она повернула с Тверской в переулок и тут обернулась... По Тверской шли тысячи людей, но я вам ручаюсь, что увидела она меня одного... я тоже свернул в переулок и пошел по ее следам... и не было, вообразите, в переулке ни души».

Значит, по Тверской шли тысячи, а в переулке, от нее отходящем, – ни души. Подобную удивительную безлюдность мы в первой же главе романа встретили, на первой же странице: «Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Малой Бронной

улице, не оказалось ни одного человека... никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея».

Воландовы штучки.

И потом, что это за игры с желтым и черным?

«– Она несла в руках отвратительные, тревожные *желтые* цветы... И эти цветы очень отчетливо выделялись на *черном* ее весеннем пальто. Она несла *желтые* цветы! Нехороший цвет ("нехорошая квартира", "нехороший цвет"... – *Э. К.*)

Повинуясь этому *желтому* знаку, я тоже свернул в переулок... показалось, что эхо ударило в переулке и отразилось от *желтой* грязной стены»; «...и долго качалась печальная *черная* шапочка с *желтой* буквой "М"».

Желтый, черный и красный цвета применяет Данте при описании дьявола в последней, тридцать четвертой песни «Ада». Красный цвет у Булгакова тоже присутствует: «красная потертая мебель» в квартире Мастера в доме застройщика, «осыпавшиеся красные лепестки на титульном листе» злосчастного романа о Пилате.

Стало быть, романтическое знакомство происходит при тайном участии Воланда – можно сказать, подстроено им. Это – во-первых.

Во-вторых, нетрудно установить точную дату знакомства. В пятницу, 3 мая 1929 года, «Маргарита щурилась на яркое солнце, вспоминала свой сегодняшний сон, вспоминала, как ровно год, день в день и час в час, на этой же самой скамье она сидела рядом с ним». Ну, если день в день, то сидела рядом с ним 3 мая 1928 года.

С другой стороны, Мастер рассказывает Иванушке: «На другой день мы договорились встретиться там же, на Москве-реке, и встретились. Майское солнце светило нам». «На Москве-реке» означает: в Александровском саду. А «на другой день» (после знакомства) означает: 3 мая. Стало быть, знакомство состоялось 2 мая 1928 года – в выходной, праздничный день массового гулянья (вот почему «по Тверской шли тысячи людей»).

И был среди гуляющих Мастер, надевший «прекрасный серый костюм». И была Маргарита, с желтыми мимозами на фоне черного пальто. И это сочетание цветов она повторит впоследствии, вышив желтым по черному букву «М».

Близость даты знакомства к 1 мая косвенно свидетельствует о том, что тут не обошлось без нечистой силы. И об этом же свидетельствуют игры с желтым и черным.

Уже тогда, в 1928 году, Маргарита, Мастер и написанный Мастером роман о Пилате находились в зоне действия сатанинских сил.

4. Октябрьская катастрофа и как с ней бороться

Август 1928 года. Роман о Пилате закончен и перепечатан. Как мы увидим дальше, это все, что нужно Воланду. Дальнейшее участие в судьбе Мастера он принимает, так сказать, по доброте душевной.

Но Мастеру – и еще больше Маргарите – нужна публикация, нужна слава. И потому разражается катастрофа. Но не сразу.

Сначала с рукописью знакомится редактор журнала. Затем – литератор Мстислав Лаврович и члены редакционной коллегии Латунский и Ариман. После чего секретарь редакции Лапшенникова сообщает Мастеру, что печатать его не будут.

Если бы Мастер на этом успокоился, ничего страшного не случилось бы. Но Маргарита «толкает его на борьбу». По ее совету он публикует отрывок из романа в газете.

Только после этого Латунский со товарищи спохватываются и открывают кампанию травли. Со страху. Они боятся, что их обвинят в потере бдительности: прочли идеологически чуждый роман и не отреагировали. В течение не более чем четырех дней в трех газетах появляются четыре статьи: трех упомянутых литераторов и «Н. Э.» (вероятно, редактора журнала).

Но интересна реакция Мастера. Казалось бы, газетная травля сама по себе не представляет для него опасности: он не занимает никакой официальной должности, которую мог бы потерять, не может лишиться работы, ибо и так не работает, его не будут прорабатывать на собраниях, ибо он не состоит ни в каком коллективе.

Крушение надежд, отчаяние, безысходность – да, это понятно. Но сумасшествие?!

Ну хорошо, пусть сумасшествие. Но вот вопрос: когда и в связи с чем оно возникло?

Над первыми статьями он смеялся. Последующим – удивлялся: «Что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось в каждой строчке этих статей, несмотря на их грозный и самоуверенный тон» (страх авторов статей за себя).

Наконец и у Мастера наступает стадия страха – но не страха перед статьями и вообще не в связи с ними. Стадия страха возникает после знакомства с Алоизием. Точнее, после того, как Мастер прочел Алоизию свой роман. Еще точнее: после написания Алоизием доноса на Мастера «с сообщением, что он хранит у себя нелегальную литературу», под которой, конечно же, понимается все тот же несчастный роман.

Где-то, в каких-то кабинетах и этажах, стали готовить арест Мастера – и вот тогда «наступила стадия психического заболевания».

Кроме боязни темноты и прочих симптомов, проявилась ли болезнь Мастера в каких–либо его поступках? Да, проявилась в двух поступках, совершенных в течение суток накануне ареста.

Первый: передача Маргарите на сохранение около десяти тысяч рублей. Поступок вполне разумный: ведь иначе деньги были бы конфискованы при аресте.

Второй: сожжение рукописи. А это – поступок прямо-таки спасительный. Та единственная улика, которую сулил компетентным органам Алоизий, уничтожена – и потому Мастер отделывается трехмесячным (с середины октября по середину января) заключением.

Болезнь Мастера – умная болезнь. Ибо она – от Воланда.

Наделив Мастера умной болезнью, Воланд одним выстрелом убивает трех зайцев.

Во-первых, уничтожив в приступе болезни роман-улику, Мастер, как мы уже говорили, сводит к минимуму вред, причиненный доносом Алоизия.

Во-вторых, с арестом Мастера кампания газетной травли, лишившись своего объекта, должна, очевидно, прекратиться.

В-третьих, выйдя из заключения и не имея крыши над головой, Мастер избавлен от необходимости бороться за существование, ибо *благодаря болезни* может поступить в клинику.

5. Клиника и трамвай

И в какую клинику!

«– Ишь ты! Как в “Метрополе”!

– О нет, – с гордостью ответила женщина, – гораздо лучше».

Мастер живет в клинике на всем готовом, не тратя ни копейки. Деньги его благополучно хранятся на сберегательной книжке Маргариты, и в его болезни наступило улучшение: «Не отрицаю, впрочем, что мне теперь гораздо лучше».

И тогда уже может он
Дожидаться иных времен.

А когда открылась эта чудо-клиника? Вот ночь с 1 на 2 мая 1929 года: «Когда в приемную знаменитой психиатрической клиники, недавно отстроенной под Москвой на берегу реки, вошел человек с острой бородкой...» Здесь «недавно» означает, очевидно, «несколько месяцев назад».

А вот Мастер рассказывает о том, что было «в половине января» 1929 года: «Я знал, что эта клиника уже открылась, и через весь город пешком пошел в нее».

Если бы клиника открылась до ареста Мастера, то знание Мастера о ее открытии было бы естественным, и об этом знании не нужно было бы сообщать собеседнику. Стало быть, клиника открылась, когда Мастер был в заключении, открылась с таким расчетом, чтобы сразу по выходе из заключения Мастер мог в нее попасть.

Иначе говоря, клинику открыл Воланд.

И все пациенты клиники – Мастер, Бездомный, Босой, Бенгальский, поющие «Славное море» служащие, Римский («После клиники и Кисловодска... финдиректор подал заявление об уходе из Варьете»), Лиходеев («Немедленно после выхода из клиники, в которой Степа провел восемь дней, его перебросили в Ростов») – получили свои болезни и расстройства либо от самого Воланда (Мастер, Бездомный), либо от его слуг. Других пациентов в клинике просто нет!

Отчасти поэтому номера палат, куда помещают поступающих больных, жертв нечистой силы, образуют *непрерывный* числовой ряд:

117 – Бездомный
118 – Мастер
119 – Босой
120 – Бенгальский

Воланд награждает болезнью – и Воланд излечивает!

* * *

Не только клиника открыта с хитрым расчетом времени, но и трамвайная линия, на которой предстоит погибнуть Берлиозу: «Тотчас и подлетел этот трамвай, поворачивающий по *новопроложенной* линии с Ермолаевского на Бронную».

Очевидно, линию открыли к 1-му мая и москвичи еще к ней не привыкли. Берлиоз, например, нуждается в подсказке Коровьева: «Турникет ищете, гражданин... сюда пожалуйте! Прямо, и выйдете куда надо». И Аннушка не привыкла, почему и разбила о вертушку бутыль.

И вообще: Коровьев не случайно оказался у рокового места. Он там дежурил, регулируя поток москвичей. Он проследил, чтобы Аннушка разбила бутыль, чтобы никто до Берлиоза на этом месте не поскользнулся, а Берлиоз чтобы поскользнулся.

* * *

У подсолнечного масла есть еще одно название: постное. Постное масло заменяет сливочное во время Великого поста на Страстной неделе.

Аннушка-православная купила постное масло, в результате чего комсомолка отрезала голову атеисту – и все это 1 мая! Здесь причудливо сплелись несколько пародийных мотивов, и в том числе антихристианский – один из многих таковых в романе.

6. Свидетельство, изменившее мир

Есть как минимум две причины, по которым Воланд не может более откладывать свой визит в Москву. Собственно, они уже были названы. Первая: в 1929 году православная Страстная среда в последний раз в двадцатом веке падает на май, причем на 1-е мая. Так что если Воланд дорожит идеологическим и театральным эффектами совмещения дьявольской, христианско-православной и пролетарско-революционной стихий, он должен поторопиться.

Вторая причина – литературная: готовящаяся публикация в журнале Берлиоза антихристианской поэмы Бездомного. Правда, Берлиоз поэму забраковал. Но Иван, написавший поэму «в очень короткий срок», может еще быстрее ее исправить. А не исправит, так другие исполнители найдутся. Тот же Рюхин.

Раньше Воланд не интересовался тем, что там публикует Берлиоз в своем толстом журнале. Но после того, как явилось в мир подлинное свидетельство о давних событиях в Ершалаиме – роман Мастера о Пилате, – никакие ложные свидетельства более не могут

быть терпимы. И потому, стоит Берлиозу заказать Бездомному поэму об Иисусе, как начинается строительство трамвайной «линии с Ермолаевского на Бронную».

И вот линия построена и открыта, и бегут по ней трамваи. И Воланд прибывает в Москву. Он появляется на Патриарших с номером «Литературной газеты» в кармане, он перекрывает доступ в аллею всем прохожим – никто не должен мешать его беседе с литераторами. Ибо речь идет о последнем шансе, предоставляемом Берлиозу.

Но Берлиоз, увы, оказался неисправимым и шансом не воспользовался.

* * *

Мастер не был свидетелем тех событий, о которых он написал. Он лишь «угадал»: «О, как я угадал! О, как я все угадал!»

А вот Воланд был настоящим, непосредственным свидетелем: «Я лично присутствовал при всем этом. И на балконе был у Понтия Пилата, и в саду, когда он с Каифой разговаривал, и на помосте...»

Вот такому всезнающему и умному свидетелю и следовало бы поведать о тех давних делах и тем самым покончить с путаницей, возникшей из-за нелепых писаний Левия Матвея, который «ничему не учился и все перепутал, что я говорил».

Но вот беда: этот всезнающий свидетель не обладал литературным даром. Написать «Евангелие от Воланда» ему было не под силу.

Девятнадцать веков он искал кого-нибудь, кто мог бы это сделать. «И, наконец, счастливая судьба» – он выбрал Мастера. Ибо Мастер

а) по образованию – историк (надо полагать, тех времен и тех мест),

б) среди языков, которыми он владеет, есть латынь и греческий (но нет арамейского и еврейского – мелочь, но показательная),

в) обладает литературным даром (в чем Воланд убедился, читая его переводы),

г) тяготится работой в музее.

Прекрасно. Но как побудить Мастера начать сочинение романа? Этой цели служит второе по счету вмешательство Воланда в московские дела: он организует передачу Мастеру (через его сослу-

живцев) облигации и в нужный момент обеспечивает ее выигрыш. Тем самым Мастер освобождается от забот о хлебе насущном и может посвятить себя делу, к которому его предназначил Воланд.

Второе по счету. А где же первое?

7. Лук времен и консервация

Московские события романа, в отличие от ершалаимских, описываются не в хронологическом порядке. Их начало следует искать не в 1-й главе и даже не в 7-й или 13-й, с их экскурсами в прошлое, а в 19-й – то есть в 1-й главе второй части.

Сопоставляя две фразы: «Бездетная тридцатилетняя Маргарита была женою очень крупного специалиста...» и «С тех пор как девятнадцатилетней она вышла замуж и попала в особняк...», – заключаем, что Маргарита вышла замуж одиннадцать лет назад (считая от 1929 года), то есть «на заре туманной юности», в 1918 году. В том самом году, когда впервые в двадцатом веке среда православной Страстной недели пришлась на 1 мая.

Зная пристрастие Воланда к театральным эффектам, логично предположить, что брак Маргариты как раз и состоялся в окрестности этой даты – первого советского Первомая. Организация этого брака и стала первым вмешательством Воланда в московские дела.

Маргарита воспринимала свое замужество как несчастливое. Но объективно из всех возможных несчастливых браков вряд ли можно было выбрать более удачный.

Поместив Маргариту в прекрасный особняк, Воланд как бы законсервировал ее до тех времен, когда Мастер начнет сочинять роман и станет достойным ее. Подобным же образом впоследствии, поместив Мастера в прекрасную клинику, Воланд законсервирует и его – опять-таки до лучших времен, каковыми станут дни пребывания Воланда в Москве.

Консервация, замораживание персонажей (и тем самым романного действия; возникают как бы временные прочерки) нужны для того, чтобы сдвинуть последующие события «вправо», в будущее, поближе к 1929 году.

Московские события хронологически образуют как бы нацеленный в небо лук, чьи концы упираются в окрестности двух Первомаев, пришедшихся на середины (ведь среда – середина недели) двух православных Страстных недель: 1918-го и 1929 годов. Причем

«правая» половина лука толще и выше – из-за упомянутого сдвига событий «вправо».

Отметим, что крем Азазелло, возвращая Маргарите тот возраст, в котором она вышла замуж («На тридцатилетнюю Маргариту из зеркала глядела от природы кудрявая черноволосая женщина лет двадцати»), как бы аннулирует годы, проведенные ею «в консервации».

Очевидно, сначала Воланд нашел (и законсервировал) Маргариту, и лишь затем – Мастера.

Выбрав Маргариту, Воланд как бы зачислил ее в свой личный резерв. В мае 1929 года, по прибытии в Москву, Воланд, согласно традиции, поручает своим слугам найти кандидатуру на роль королевы бала.

Поскольку Маргарита, выбранная Воландом, числится за ним, то слуги Воланда ее как бы не видят, и она не попадает в число Маргарит, обнаруженных ими («Сто двадцать одну Маргариту обнаружили мы в Москве»).

Разумеется, «ни одна не подходит». И тогда Воланд вводит в действие «Резерв Верховного Главнокомандования» – сто двадцать вторую Маргариту, которую правильнее было бы назвать первой. Ввод в действие этого «резерва» – это и есть «та, наконец, счастливая судьба», о которой Коровьев говорит Маргарите.

Хорошо. Но остается невыясненным один вопрос: почему Страстные недели – православные? Почему – Россия? Почему – Москва?

Тут нам придется говорить о событиях реальной российской истории, которые сами в роман не вошли, но, оставаясь «за кадром», определили его географию и хронологию.

Разумеется, главным из этих событий является Октябрьская революция. Точнее – ее атеистический характер. Последнее обстоятельство заставило Воланда

а) активизировать поиск автора будущего «Евангелия от Воланда»,

б) сузить область поиска: на волшебном Воландовом глобусе четко обозначилась Россия.

Перенос столицы в Москву (март 1918 года) еще более сузил область поиска, и это быстро привело к успеху – обнаружению Маргариты. Надо полагать, тогда же, в марте, и произошло, с подачи Воланда, знакомство Маргариты с ее будущим мужем.

Скрытым указанием на Октябрьскую революцию является месяц ареста Мастера – октябрь.

Первое время после октябрьского переворота российское общество склонно было расценивать случившееся как досадный, но кратковременный эпизод. Эти иллюзии рухнули в январе 1918 года, после разгона Учредительного собрания. Стало ясно, что нынешнее неблагополучное, неестественное состояние России консервируется надолго. И именно этот месяц, январь, стал месяцем консервации Мастера в клинике Стравинского.

* * *

В заключение отметим следующее любопытное обстоятельство. Номера глав, содержащих ключевую информацию о хронологии московских событий и их взаимосвязи – 1, 7, 13, 19 – образуют последовательность с шагом 6, причем ее крайние члены суть номера начальных глав 1-й и 2-й частей романа, а внутренние указывают на сакральные числа 7 и 12 (13 = 12 + 1). Число 13 именуется также «чертовой дюжиной».

Дина Ратнер

«НЕБОМ ЕДИНЫМ ЖИВ ЧЕЛОВЕК»

«Когда я был мальчиком, – вспоминает Марк Шагал, – в моей душе, быть может, была некая краска, которая мечтала о какой-то особой синеве. Синие тучи и звезды мешаются с запахами поля, хлева, дороги. Если Ты есть, Боже, сделай так, чтобы я вдруг стал весь голубой или прозрачный, как лунный луч...»

В основе мироощущения Марка Шагала – любовь ко всем людям бедного белорусского местечка, где он родился: теткам, дядьям, дедушкам, бабушкам; даже умершие родственники не представлялись отделенными от повседневной жизни. Родные поднимались над нищетой, болезнями, непосильной работой и летали над землей. В пятницу вечером, перед тем, как зажечь свечи, дядя-мясник играл на скрипке «Песнь раввина».

Ощущения художника переданы в его картинах: маленькие дощатые дома провинциального Витебска, кривые улочки, окошки, ворота, куры – все это имеет какую-то особую значимость. Казалось бы, люди, живя на земле, удалены от Творца, но они же и рядом. Наиболее очевидна эта близость к Богу в Йом-Кипур – День искупления, «когда свечи устремляются к небу, а небо – к земле».

Духовные традиции народа во многом определили и характер творческого воображения мальчика, ему представлялось далекое прошлое: «Я вижу шатры среди песков, обнаженных евреев под палящим солнцем, они со страстью спорят, говорят о нас, о нашей участи, – и среди них сам Моисей и Бог». Став взрослым, Шагал в стихотворении «Белые ступеньки» сказал о себе: «Я жизнь провел в предощущении чуда». Именно предощущение мессианского чуда, когда земля уподобится небу, а небо земле, составляет основную тональность полотен Шагала, от первого до последнего.

Для раскрытия художественных способностей нужны благоприятные условия, тем не менее, случается, что могучее дарование прорывается и при их отсутствии. Слово «художник» в трудовой семье Шагалов воспринималось как «шлимазл». Лучшее, что неграмотные родители могли пожелать своему сыну, – стать приказчиком, торговым агентом или бухгалтером.

Так что же это за сила, поднимающая яркий талант? Что будит в ребенке чувство сопричастности Творцу? Просьбы бабушки, обращенные к покойному мужу, – о том, чтобы он помолился там за детей, дабы они были всегда чисты перед Богом и людьми? А может быть, пример отца-хасида, его любовь к людям, тяжелая жизнь грузчика – он таскал бочки в лавке торговца селедкой – во многом сформировали трудолюбие старшего сына? Над земной реальностью он различал другую – духовную. Исходные принципы хасидизма больше переживаются, нежели осмысливаются. Внутренняя истина души главенствует над бытом; иметь ничего не значит, главное – быть, и быть – много важнее, чем казаться.

Один из первых биографов Шагала А. М. Эфрос писал: «Детство и хасидизм – это мечта, помноженная на мечту, здесь источник безмерных залежей шагаловской фантастики. А быт вокруг него, быт маленького витебского местечка, есть самая квинтэссенция быта, самая гуща жалчайшей бедности и беспросветной житейщины. Шагаловская мечта и местечковый быт должны были или разбить друг друга, или найти высшее и целостное соединение». Постоянное ожидание чего-то особенного таилось в тайне семисвечника, в Торе, которая была на небе, а теперь на земле. Представлялся будущему художнику далекий пращур, расписывавший синагогу в Могилеве: «Почему он не позвал меня на помощь сто лет назад? Пусть теперь хотя бы помолится, заступится за меня. Пролей в мое сердце, длиннобородый пращур, хоть каплю вечной истины». Будил тоску по иным мирам дядя, который влезал на крышу и играл на скрипке. Мальчику при этом виделась лестница Иакова, по которой праведник поднимается на небо. «Скрипач на крыше» станет сюжетом многих картин Шагала, напишет он и стихотворение «Лестница Иакова»:

Я по миру хожу, как в лесу, –
на руках и ногах.
С дерева лист опадает,
во мне пробуждая страх.
Я рисую все это, объятое сном,
а потом
белый снег засыпает лес – картину мою,
пейзаж того света.
Там давно я долгие годы стою.
И жду, что обнимет меня нездешнее чудо,

сердце согреет мое и прогонит страх.
Ты появись, я жду тебя отовсюду.
И об руку, ах,
мы полетим с тобой, поднимаясь по лестнице Иакова.

Именно Тора с детства определила направление мировоззрения художника. На эту основу нанизывались потом его сюжеты и персонажи. Оказалось не суть важным, что в провинциальном городке в черте оседлости, с его скособоченными домишками, не очень-то сориентируешься в выборе занятий. Зато в мечтах можно было парить над бедностью и приземленностью быта. «Чтобы взлететь, – скажет Шагал, – мало мечтательности, нужен темперамент, восторг, теснящий грудь, страсть, поднимающая в воздух». Художник разгадал тайну галутного еврея – вроде он здесь и в то же время – в другом, идеальном мире. В стихотворении «Об этой ясности» он благодарит Творца за то, что тот даровал ему проницательность, позволяющую различить суть, в бродячих нищих увидеть библейских пророков.

Боже мой, за эту ясность,
которую Ты поместил в мою душу, –
спасибо.
Боже мой, за этот покой,
который Ты поместил в мою душу, –
спасибо.

Боже мой, ночь приближается.
Веки мои опять до утра не сомкнутся,
и опять я буду писать
картины для Тебя –
о земле и о небе.

«Эта ясность» в постижении мира определила верность призванию. «Даже если Пэн (первый учитель) скажет, что у меня нет таланта, все равно буду художником, выучусь сам». А дальше – столь знакомая многим людям искусства бедность. Не было денег снять комнату в Петербурге, куда Шагал поехал учиться живописи, пришлось довольствоваться углами, даже кровати своей не было – делил постель со случайными людьми. Как еврей он вообще не имел права на жительство в столице. Далее арест за нелегальное прожи-

вание, тюрьма, общество воров, проституток и золотые сны: ангелы, шелест крыльев, голубой воздух... «Господи, Ты, затерявшийся в дальних высях за тучами или где-нибудь здесь, за этой вот будкой сапожника, Господи, помоги мне раскрыть свою душу, душу неприкаянного заики, не находящего себе места, укажи мне путь!» То же обращение к Творцу – и в стихотворении «Слово мое»:

Что оно – мое слово?
Кто на свете сумел изменить жизнь своим словом?
Ни Моисей, ни Шекспир, ни Данте.
Я не знаю, какими словами мне говорить.
Мой крик – вопль в пустыне,
и я берегу его для себя самого.
Ты один его слышишь, смотришь в мое лицо,
Ты тропинка, по которой уходят мои сомнения,
Ты – эхо моей любви...

«Никто так не сблизил живопись с поэзией, как Шагал, – говорил живописец А. Г. Ромм, – ибо никто так смело до него не пользовался метафорой, гиперболой, метонимией, не олицетворял, нарушая законы земного притяжения, порывы человеческой души. Он создал свой язык, свою систему символов-знаков, свой мир о мире, о собственной биографии, судьбе еврейства».

Центр композиции многих шагаловских картин – влюбленная пара, что явилось отражением характера, судьбы художника. Говорят, Всевышнему так же трудно соединить счастливую пару, как рассечь волны Красного моря. Шагал был тем счастливчиком, которому повезло. Первую встречу со своей невестой он описывал как озарение. И не ошибся. Белла до конца дней своих была его музой, ангелом-хранителем.

Поженились они не сразу, восемнадцатилетний Шагал уехал учиться, сначала в Петербург, потом в Париж. В Париже поселился в одном из «ульев» – в двенадцатиугольном деревянном здании разместились сто сорок келий-мастерских. В них прошла молодость многих знаменитых впоследствии художников: Фернана Леже, Амедео Модильяни, Хаима Сутина и других. Вот описание Шагалом тогдашней разноплеменной художественной богемы: «В мастерских у русских рыдала обиженная натурщица, у итальянцев пели под гитару, у евреев жарко спорили, а я сидел один перед керосиновой лампой. Кругом картины, холсты – собственно, не

холсты, а мои скатерти, простыни и ночные сорочки, разрезанные на куски и натянутые на подрамники... Не один год мне снился по ночам хлеб с колбасой».

Отец невесты, напротив, был состоятельным человеком. В доме Беллы Розенфельд, вспоминает Шагал, «три раза в неделю пекли огромные пироги с яблоками, творогом или маком, от одного вида которых я чуть не терял сознание». Нищий одержимый студент не представлялся будущему тестю достойной партией для дочери, и все-таки девушка решилась. С тех пор они вместе на картинах парят в небесах.

Союз мужчины с женщиной у евреев свят. Чувство единения со Всевышним преодолевает земное притяжение. Художник писал жене о ее значимости для его жизни и творчества: «Я ничего не понимаю ни в людях, ни в собственных картинах. А ты всегда во всем права. Так направляй же мою руку. Взмахни кистью, словно дирижерской палочкой, и унеси меня в неведомые дали». Влюбленные на полотнах Шагала летят над кривыми улочками, бедными домами, покосившимися заборами, над толпой евреев, уходящих из египетского рабства, летят на белом голубе, и тут же царь Соломон – вечная любовь – «Песнь песней».

Влюбленные – самый частый сюжет картин Шагала. «Святая эротика семейного ложа», – говорил критик Б. Аронсон о его любовной лирике. Молодожены подняты на золотое древо жизни с его райскими яблоками. Тут же коза, корова, лошадь, пастух, скрипач на крыше и семисвечник с горящими свечами. Глядя на «Древо жизни», представляешь первые дни творения: всякая живность и не ведающие греха Адам и Ева. Такое первозданное видение мира отвечало мироощущению художника. Ромм пишет в своих воспоминаниях: «Я наблюдал, какую странную реакцию вызывали у Шагала обычные явления жизни. Еда, сон... все это вызывало у него какое-то удивление, как будто он только что "воплотился", упал с луны, эманировал из высшего плана».

А вот картина «Рождение» – мы видим раскрытый полог, за которым роженица и повитуха с младенцем. Каждый человек неповторим, и каждый должен сделать то, чего кроме него никто не сделает, – выполнить свое предназначение. С появлением на свет нового еврея хасиды, живущие в ожидании Машиаха, думают: «Не он ли это?»

Мессия – мечта, но есть и повседневная жизнь, где нужно защищаться от горестей, болезней, одиночества. Человек перед лицом

бесконечности – одна из главных тем в творчестве Шагала. Картина «Часы»: тяжелый маятник огромных часов отсчитывает секунды, минуты, века... В неотвратимом течении времени сжавшаяся фигурка вглядывается в черноту ночи. В окне – непроглядный мрак. О том, что́ мы со своими мыслями перед непостижимой вечностью, и в стихотворении «Слезы мои»:

Слезы мои – это камни падают,
тают и в речку впадают,
и плывут, как цветы, по воде –
вот она, жизнь моя, Боже мой, Боже мой, для чего?
Вот она, жизнь моя. Я дышу.
Я жду Тебя.
Жду.
Ты со мной – но в какой дали от меня,
Боже мой, Боже мой, для чего?
День за днем я несу свой крест,
и пинают меня, и, за руку взявши, ведут.
И меркнет свет, и день превращается в ночь...
Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?

Художник прорывается из ощущения покинутости, замкнутости: поднимается над крышами домов старый еврей в тяжелых сапогах, с клюкой и нищенским мешком за плечами (картина «Над Витебском»). В картине «Старик и мальчик» – зажженная лампа на столе, призрачный свет, эти люди здесь, в комнате, и в то же время не здесь. И словно нет ежедневной изнуряющей работы, заботы о куске хлеба.

Самые заурядные картинки провинциального быта: старики, дети, телега, груженная мешками, изъезженная колея дороги – приобретают мистический смысл. Картина «Молящийся еврей» – вот он, вопрошающий, долготерпеливый, ведет разговор с Богом один на один; нет посредника между Творцом и евреем. Молитва – символическая лестница Иакова, вершина которой достигает неба. Или «Еврей с Торой» – глядя на полотно, невольно вспоминаешь слова Создателя, обращенные к своему народу: «...ты мой. Будешь ли переходить через воды, Я с тобой; через реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя».

Убогие домишки и хлипкие заборы на улочках Витебска – и тут же сказочный Иерусалим. «Йов», изведавший добро и зло и желающий говорить с Богом, дабы отстоять пути свои; «Моисей со скри-

жалями» – один против толпы, беснующейся вокруг золотого тельца, и один перед Творцом: «Дай мне познать пути Твои...»

Тора – душа, жизнь художника и неиссякаемый источник вдохновения. Встреча конечного с бесконечным происходит благодаря тому, что человек, будучи духовным существом, освящает свою материальную природу – ищет дорогу к Творцу.

Пишет ли Шагал влюбленных, воплотивших верования хасидов, – только возликовавшие души постигают тайны мироздания, – или внимающего гласу свыше нищего старика, во всем проявляется устремленность к идеалу. Сам живописец сказал по этому поводу: «Если еврейский народ выжил в трудной борьбе за кусок хлеба, то это произошло только благодаря нашим пламенным идеалам». В стихотворении Андрея Вознесенского «Васильки Шагала» рефреном повторяются слова: «Небом единым жив человек». Именно эти слова характеризуют мироощущение живописца, его видение действительности и основу творчества.

Шагал отразил на своих холстах примат сознания над бытием. В радости человек служит Богу – это основная посылка хасидизма. Слово *хесед* означает милосердие, любовь, а *хасид* переводится как «любящий Бога», – познать Всевышнего может только незлобивый, добродетельный человек.

Шагал рассказывает о своей встрече с одним из таких людей, Любавичским ребе Шнеерсоном. К известному мудрецу, шедшему к истине своим философским путем, съезжались со всей округи. «Но художника, – замечает Шагал, – в списке посетителей никогда не значилось. И вот, Господи Боже! – не зная, на что решиться, совсем запутавшись, я тоже рискнул пойти за советом к ребе. Возможно, мне припомнились песни, которые пела мама по субботам. Вдруг он и вправду святой... Вот, наконец, подходит моя очередь... За столом ребе. Один. Горит свеча. Ребе читает мою записку и поднимает глаза:

– Так ты хочешь ехать в Петроград, сын мой? Думаешь, там будет лучше? Что ж, благословляю тебя, сын мой. Поезжай.

– Но, ребе, мне больше хочется остаться в Витебске. Понимаете, там живут мои родители и родители жены, там...

– Ну что ж, сын мой, если тебе больше нравится в Витебске, благословляю тебя, оставайся.

Поговорить бы с ним подольше. На языке вертелось множество вопросов. Об искусстве вообще и о моем в частности. Может, он поделился бы со мной божественным вдохновением».

Свобода выбора состояла в данном случае в решении с благословения ребе остаться в родном городе. Февральская и октябрьская революции привели к гражданской войне и разрухе под аккомпанемент демагогии о всеобщем равенстве и братстве. Идеалы всеобщей любви захватили и Шагала. Праздничное панно, которым он украсил Витебск в первую годовщину октябрьского переворота, изображало стремительный полет в густой синеве небес молодого человека с раскинутыми руками-крыльями, что символизировало всемирную свободу и счастье для всех. Но новым властям картины Шагала, по его словам, «ни с какого боку не подходили»; зеленая корова и летящая по небу тетка с кошелками ничего общего с Марксом – учителем пролетариата – не имели. Символом пролетарского искусства оказался воздвигнутый в городском саду гипсовый бюст вождя. «Но одного Маркса было мало, – вспоминал Шагал, – и на другой улице установили второго. Ничуть не лучше первого. Громоздкий, тяжелый, он был еще неприглядней и пугал кучеров на ближайшей стоянке».

То было внешней данностью, а в душе художник по-прежнему нес ощущение чуда, соприкосновения с вечностью. Тогда же, в 1918 году, он пишет «Автопортрет с музой». На тот же период приходится и одна из его программных работ «Над городом», где живописец поднимается над Витебском, неся в объятьях возлюбленную. Ликующая пара на картинах «Прогулка», «Венчание», где ангел соединяет жениха и невесту. Жизнь продолжается в радости и любви. Что значат директивы Учредительного собрания или распоряжения Наркомата просвещения, если вселенная безгранична и управляется законами красоты и бессмертия! «Только не спрашивайте, – предупреждает Шагал народного комиссара просвещения Луначарского, – почему у меня все синее или зеленое, почему у коровы в животе просвечивает теленок и так далее».

Александр Бенуа писал об экспрессионизме Шагала: «В его искусстве заложены какие-то тайные чары, какое-то волшебство, которое действует не только помимо сознания, но и вопреки ему». И далее: «Когда он берется за кисти, на него что-то накатывается и он делает то, что ему велит распоряжающееся им божество». Идеальное не противоречило законам естества, напротив, было для художника органической частью повседневной жизни. «Это именно есть то мироощущение, – говорил Эфрос, – которым в новейшей истории еврейства было создано практическое чудотворство хасидизма».

На обвинение в отсутствии реализма Шагал возражал: «Неправда, что мое искусство фантастично. Наоборот, я реалист. Искусство – это прежде всего состояние души. Мне кажется, не будь я евреем (какое содержание я вкладываю в это слово!), я или вовсе не был бы художником, или был бы совсем другим». Выходец из бедного еврейского местечка, Шагал учился у французских мастеров и обрел не только их признание, но и мировую славу. Он побывал во многих европейских странах: «На юге Франции я впервые увидел такой густоты зеленый цвет, который никогда не встречал на родине. В Голландии я открыл для себя интимнейший трепещущий свет, напоминающий зыбкий воздух между поздним полуднем и вечером. В Италии я нашел тот мирный покой музеев, который порожден солнцем. В Испании я был счастлив, обнаружив мистическое по содержанию, хотя и жестокое вдохновение, певучесть испанского неба и народа Испании. А в Израиле мне открылась Тора и еще что-то, что есть часть моего существа». На открытии выставки картин Шагала в Третьяковской галерее 5 июня 1973 года он говорил: «Можно обо мне сказать все, что угодно, большой я или не большой художник, но я остался верным своим родителям из Витебска».

Истоки творчества Шагала – в абстрактном еврейском искусстве, о чем свидетельствуют и витражи, подаренные художником Израилю. Космос, творение изображены красным пламенеющим цветом, тут же огненные буквы нашего алфавита, из которых построен мир. Летящий сине-фиолетовый земной шар, звезда Давида, скрижали, треугольник, устремленный острием вверх, руки, с мольбой обращенные к Создателю... Льющийся свет как благословение, переход из мира конечного в бесконечность. И то, что предшествовало сотворению человека: вода с рыбами, птицы, животные, цветы.

Искусство иудеев в основе своей символично, иносказательно; человек в нем фигурирует главным образом не столько в качестве материального существа, сколько устремленного к совершенству духовного начала. Европейская культура всего лишь внесла оттенки в национальное своеобразие мировосприятия Шагала – представление о близости Творца творению.

ЕВРЕИ В ГРУЗИИ

Репатрианты из Грузии приживаются в Израиле быстрее и безболезненнее остальных не только из-за сходства климата и горного ландшафта, но и, главным образом, в силу преемственности духовной культуры.

Мы попытаемся доказать, казалось бы, парадоксальную мысль о том, что христианство Грузии более схоже с иудаизмом, чем с русским православием.

Национальное самосознание – внутренняя, имманентно присущая народу данность. Если фактические события в Грузии, в частности, нескончаемые войны с турками, арабами, татарами, персами не зависели от воли народа, то «история души» – проявление ее глубинной сущности. Именно эта сущность, выражающаяся в духовной напряженности, а не в численной и военной мощи, определяет особенность нации. Речь идет о проблеме соотнесенности духовного ядра с внешними обстоятельствами, с характерными признаками, сопутствующими народу в течение тысячелетий. «Ядро» – суть национального самосознания – следует искать в преемственности развития религиозных и философских воззрений.

Обратимся к истории становления национального своеобразия грузин со времени проникновения в Грузию идеи единобожия. Настоящая задача, конечно же, требует фундаментального исследования; мы всего лишь наметим возможные пути подхода к поставленной проблеме. Начнем с религиозного самосознания. Характерным признаком грузинского православия является его персоналистский характер, выражающийся, в отличие от русского православия, не только в сознании греха и раскаяния, но и в диалоге с Богом, в желании осмыслить мир и себя в нем. Начал диалог с Богом Амирани. Амирани в грузинском эпосе – символ противостояния Бога и человека, извечного желания абсолюта и невозможности его достичь. Если Прометей, будучи небожителем, сумел в конце концов освободиться, то Амирани остался прикованным к скале навечно. И по сей день человек, раздираемый своей двойственной природой – физической и духовной, – мучительно выбирает между свободой и необходимостью.

Амирани – достойный оппонент Бога; не потому ли после каждого поражения Бог прибавляет ему силы? В самом деле, не рабское смирение, а богоподобность, вызов Творцу в смысле преодо-

ления физической природы человека предполагает больше мужества и веры в торжество добра. В героических песнях Грузии Амирани был наделен «быстротой с горы скатывающегося бревна, тягой горного снежного обвала, силой двенадцати пар быков и буйволов, походкой волка». Эпос о прикованном к скале Кавказского хребта богоборце дошел до нас в виде многочисленных вариантов. В древней Колхиде, в районах, прилегающих к городу Мцхета, такое сказание существовало еще во втором тысячелетии до нашей эры. Как пишет А. С. Хаханов, сказание об Амирани отражает влияние тех фрагментов Священного Писания, где говорится о Соломоне*.

Богоборческий эпос, отражая мироощущение народа, конечно же, не мог не сказаться на особенности религиозного сознания грузин. Эту особенность во многом определила также история принятия Грузией христианства. Если в принятии христианства Россией есть элемент случайности – князья часто руководствовались дипломатическими и экономическими соображениями, в частности, интересами торговли с Болгарией и Византией, да и крещение языческой Руси нередко носило насильственный характер, – то в Грузии происходило постепенное врастание единобожия в сознание народа.

Нравственные догмы христианского культа, проникшего в Россию из Византии в 982 г., включали в себя требование сурового аскетизма. Режим аскетического смирения нашел отражение в отрицании всего мирского, в «презрении мирской прелести» и «побеждении мятежа жития сего» молитвой, постом и страданием. Не случайно отношения человека и Бога на Руси – это отношения просящего и милующего. Отсюда возможность греха, ибо есть надежда на всепрощение: Бог милостив, простит.

Не столько смирение и покаяние, сколько библейский диалог с Богом характерен для грузин. Грех же для грузина означал утрату возможности быть достойным собеседником Бога, утрату чести. Смирение имеет место и в иудаизме, однако главная черта нашего религиозного сознания – свобода воли и ответственность за свои поступки. Индивидуальная ответственность перед Всевышним является основным признаком и грузинского самосознания. Не случайно в Грузии бытует слово «шамертеба», что означает: последний взгляд человека в глаза Богу.

---

* Хаханов А. С.. Очерки по истории грузинской словесности. Вып. I. М., 1895, с. 4.

Согласно истории грузинской церкви, идея единобожия была внесена в Грузию задолго до рождения Христа потомками первосвященника Илии*. В Торе («Берешит» – «Бытие», 10:21-31) перечислены потомки Шема (Сима) и указаны районы их обитания. Об изначальной общности грузинского и еврейского народов свидетельствует тот факт, что до Авраґама у семитских народов и языческой Грузии были одни и те же боги; мы об этом читаем в рукописях Н. Я. Марра. Например, серебряному идолу по имени Га первоначально поклонялись семиты. «Можно предположить, – пишет Марр, – что обозначение "Га" попало в Грузию из Сирии. Но само слово "Га" существовало еще в грузинском тексте Библии, где оно сохранилось и в московском издании. Название бога или кумира "Га" находим в седьмой главе первой книги Самуила или "Царств" грузинского перевода дважды, в третьем и четвертом стихах. Следовательно, можно говорить о том, что библейские племена и в самом деле находили приют на территории Грузии»**.

Сведения о территориальной общности грузинского и еврейского народов содержатся в трудах античных писателей. Иосиф Флавий пишет о Геродоте Геликарнасском, который также упоминал о наличии в Грузии еврейских племен.*** Историк Г. Собинов замечает по поводу еврейских поселений: «Когда греки впервые познакомились с Западной Грузией, они встретили огромное количество евреев, и чем больше знакомились, тем больше убеждались в преобладании этого народа. Почему и дали этой части Грузии название "Иберия", от еврейского слова "Иврейон", что означало место, населенное евреями. Впоследствии это название перенесено на всю остальную Грузию»****. О большом количестве евреев в Грузии свидетельствует Александр Македонский.***** Не случайно в Грузии распространено предание о том, что тамошние евреи происходят от десяти колен Израиля.****** Настоящее предание подтверждается и работами грузинского историка П. И. Иоселиани, который пишет об изгнании ев-

---

* Собинов Г. История грузинской церкви до конца VI в. СПб., 1877.

** См. «Грузинские рукописи Института востоковедения». М.-Л., АН СССР, 1956, с. 17-21.

*** См. «О древности иудейского народа». СПб., 1895.

**** Собинов Г. История грузинской церкви до конца VI в. СПб., 1877.

***** Чичинадзе З. Грузинские евреи в Грузии. Тифлис, 1904 (груз. яз.).

****** См. журнал «Восход», декабрь 1884, статья «Кавказские евреи. Путешествие по Закавказью И. Я. Черного», стр 36.

реев из Эрец-Исраэль во время вавилонского царя Навуходоносора (V–IV вв. до н. э.) и их появлении в Иберии недалеко от города Мцхета.* Тот же Иоселиани пишет о том, что евреи селились в Грузии еще до покорения Эрец-Исраэль вавилонянами.** В сочинениях Эльгада ѓа-Дани (вторая половина XIX в.) говорится о четырех израильских коленах, живших в стране Куш (стране, означающей в средневековой еврейской письменности либо Эфиопию, либо Индию, либо Кавказ). С. Л. Рапопорт доказывает, что автор имел в виду именно Кавказ; в словах «по горам, на берегу моря, на границе (буквально на конце) Персии и Мидии» без всякой натяжки можно найти указание на кавказских евреев, тем более что уже в древнем мидраше имеется намек на поселение колена Иссахара в древней Иберии.*** Принято считать, что на Кавказе живут две различные по языку и обычаям ветви: грузинские и горские евреи. Среди них бытует предание об общности происхождения, причем грузинских евреев считают наиболее близкими по крови к евреям Эрец-Исраэль, ибо они не смешались ни с татарами, ни с хазарами.

Обращаясь к археологическим раскопкам, мы можем отметить тот факт, что при постройке шоссейной дороги между Тифлисом и Мцхетой были обнаружены древние погребения, которые, согласно исследованиям, принадлежат народу семитской расы и относятся примерно к I тысячелетию до новой эры по григорианскому календарю.**** Историк О. Габидзашвили первые сведения о евреях в Грузии относит к XV в. до н. э.*****

Если массовую миграцию евреев в Грузию принято относить ко времени вавилонского плена, то следующее большое переселение было во время разрушения императором Титом второго Храма. Новая волна беженцев рассеялась по миру; 10000 человек осели в Картлийском царстве, в основном, в Кахетии.

Ссылаясь на материалы грузинских летописей, историк З. Чичинадзе делает вывод о том, что еврейский язык был настолько распространен в древней Грузии, что им пользовалось местное население. Инте-

---

* Иоселиани П. Краткая история грузинской церкви. СПб., 1843.

** См. «Журнал Министерства внутренних дел», статья «Различные наименования грузин», 1855, № 6.

*** Гаркави А. Сказания еврейских писателей о хазарах и хазарском царстве. СПб., 1874, с. 4, 23, 26.

**** Плисецкий М. Религия и быт грузинских евреев. М., 1930.

***** См. сборник «Иудаизм и его пережитки в Грузии». Тбилиси, 1973.

ресно, что в некоторых сванских деревнях до сих пор сохранились рукописи Торы на древнееврейском языке. Местные жители берегут их как святыню и молятся над ними.* Лингвист С. Баратов говорит о сходстве грузинского алфавита с еврейским.** В его исследовании можно прочесть и о том, что грузинский язык является характерным представителем особой лингвистической ветви, которая, в свою очередь, находится в генетическом родстве с семитской ветвью языков. Имеет место фонетическая родственность, корни слов и в иврите, и в грузинском языке состоят из согласных. На основании сравнительной фонетики Марру удалось отождествить около тысячи корней! Такая поразительная общность наводит на мысль: а не принять ли всерьез предание о десяти коленах, нашедших пристанище в Иберии?

Баратов в упомянутой нами работе приводит и распространенные в Грузии слухи о том, что хевсуры – бывшие евреи. Сохранилась легенда о некоем еврее, приближенном царя, ставшем впоследствии родоначальником хевсур. В хевсурском языке (грузинский с большим количеством архаических форм) имеется много слов семитского происхождения; причем хевсуры не едят свинину и соблюдают субботу. А вот что можно прочесть по этому поводу в статье «Иудеи в древней Иберии»: «Неядение некоторыми горскими грузинами свиного мяса и празднование субботы доказывает, что грузины находились под сильным влиянием монотеистической религии. Везде, где были рассеяны иудеи, было много прозелитов правды, принимавших обрезание и весь обрядовый закон».*** Часто исповедовали иудаизм грузинские землевладельцы, которые имели по нескольку тысяч евреев-вассалов. Впоследствии грузинские цари многим еврейским подданным пожаловали княжеский титул. В IV-III вв. до н. э. евреи пользовались доверием царя Фарнаоза, который позволял им селиться в столице Грузии Мцхете и ее окрестностях, на берегах Арагви и Куры. Жители еврейских поселений мало контактировали с коренным населением Грузии, там строго исповедовали веру отцов под духовным руководством своих ученых и мудрецов – хахамов.

Характерно то обстоятельство, что рассыпавшиеся по Кавказу евреи в Армении не оседали. Чичинадзе в упоминавшейся выше рабо-

---

* Чичинадзе З. Грузинские евреи в Грузии. Тифлис, 1904.

** См. «История Грузии». СПб., 1865, тетрадь 1. См. также Марр Н. Основные таблицы к грамматике древнегрузинского языка с предварительным сообщением о родстве грузинского языка с семитским. СПб., 1908.

*** См. журнал «Пастырь», СПб., 1884-1886, № 2, с. 6.

те объясняет это тем, что иудеи, будучи торговым народом, не выдерживали конкуренции с местным армянским населением. Сказывались и политические соображения. Армения принимала участие в борьбе Рима с Иудеей, и евреи таким образом становились врагами Армении. Наоборот, когда Кир покорил Грузию, то иудеи Эрец-Исраэль и грузины сделались гражданами одного государства, вследствие чего отношения Иберии и Палестины стали особенно близкими.

Грузинское население не ущемляло свободу пришельцев, более того, грузины считали себя потомками израильских царей и потому особенно чтили носителей Моисеевой веры. Первый представитель династии Багратидов, Гурам Багратид Куропал, еврей из рода царя Давида, прибыл на Кавказ за 500 лет до н. э. От Багратидов произошли три важнейшие ветви этой династии: абхазская, картлинская и кахетинская. Историк Л. Туманишвили составил генеалогическую таблицу царей и правителей Грузии (она начата чуть ли не с Адама и доведена до внуков последнего грузинского царя Георгия XII, 1750-1800), где историк доказывает, что правители Грузии – семиты.

Династия грузинских царей окрепла и развилась в престольном городе Мцхета. В гербе грузинского царя VI в., то есть во время царствования династии Багратидов, изображалась праща, убившая Голиафа, гусли еврейского царя Давида, весы – символ мудрого правосудия Соломона, хитон Христа и Георгий Победоносец с попранным драконом. Над гербом надпись: «Божьей милостью потомок Ишая, Давида и Соломона... царь всей Грузии», а вокруг – одиннадцатый стих 132 псалма: «Клялся Господь Давиду... потомка твоего посажу на престол твой». Багратиды играли важную роль в истории Грузии. Один из них женился на дочери царя Вахтанга Горгослана (446-499). Потомок Багратидов Леон II принял титул царя абхазского, женился на дочери хазарского кагана и с помощью хазар занял всю Мингрелию и Имеретию. Кстати, отметим, что хазары исповедовали иудаизм.

Евреи Грузии разделяли судьбу местного населения, участвовали во всех политических и хозяйственных делах приютившей их страны, но при этом ориентировались на свою историческую родину. Между Палестиной и Иберией не прекращалось непосредственное

---

* См. «Грузинские рукописи Института востоковедения». М.-Л., АН СССР, 1956.

общение; еврейские священнослужители подчинялись религиозным авторитетам своей духовной метрополии. Как свидетельствует грузинская летопись, главным связующим началом между Грузией и Обетованной землей были рассеянные по разным провинциям Иберии евреи. Согласно грузинской летописи, ни один народ так стойко не сохраняет свое национальное самосознание, как евреи. Будучи замкнутыми в общинах среди другого народа, они в то же время искусно приспосабливаются к местным требованиям. Иудей всюду становится гражданином, везде находит себе место и все-таки остается иудеем. Куда бы ни отправился язычник, он мог взять с собой своих богов и вне своей родины найти аналогичные обряды. Напротив, каждый иудей чувствовал, что сделан, выражаясь словами Гейне, из такого теста, из которого делают богов, у него был только один Храм – в Иерусалиме, только один Бог – над Сионом.

Расселившиеся по Кавказу евреи поддерживали связь с палестинскими мудрецами через город Мцхету. То был их духовный центр, мост между евреями Кавказа и Иерусалима. Кроме иудеев, Иерусалим посещали и язычники. В иерусалимском Храме находился «двор язычников»; святилище Бога, которое, по словам Иосифа Флавия, «пользовалось уважением народов всей земли».

Город Мцхета, который был для грузинских евреев вторым Иерусалимом, имел свою религиозную иерархию с первосвященником во главе, своих толкователей Священного Писания. Должность первосвященника у мцхетских евреев, согласно грузинской летописи, была наследственной. Мцхетская диаспора пользовалась уважением как среди местного населения, так и при царском дворе. Причем сами евреи видели в Грузии свою вторую родину.

Замкнутая еврейская община не подверглась влиянию классической греческой культуры и оставалась верной традициям предков. Люди жили мечтой снова собраться в Иерусалиме и ожиданием Мессии. Как бы ни любили евреи свою вторую родину, три раза в день они произносили молитву: «Господи, подними знамя изгнанников наших, собери нас вместе с четырех концов земли, воссоздай Иерусалим вскоре, в наши же дни, как создание вечное...»

Язычники под влиянием еврейских преданий также прониклись ожиданием Мессии. Как свидетельствуют летопись и документы грузинской церкви, евреи первыми принесли в Грузию единобожие.

---

* Гретц Г. Христос и христианство. СПб., 1906, с. 24.

Несмотря на конкурирующее влияние Персии, древние грузины, согласно свидетельствам католикоса Арсения, Антония I, царевича Вахуштия и Таймураза, исповедовали единобожие.

В I веке мцхетские священнослужители направились в Иерусалим за разъяснением основ новой веры – христианства. В силу непосредственной близости Грузии и Палестины христианские идеи быстро распространились в Иберии, но грузинские евреи продолжали исповедовать иудаизм.

Элиоз Мцхетский, из дома первосвященника, служитель мцхетской синагоги, присутствовал при казни Христа. Он же принес в столицу Картли хитон Иисуса, который выкупил у стражника; последнему хитон достался по жребию. В памяти грузин живет предание о том, что Сидония, сестра Элиоза, прижала хитон к груди и тут же умерла. Так ее и похоронили вместе с хитоном. Согласно грузинским летописям, в 318 г. на месте ее погребения был построен Мцхетский храм. Исторические сведения об обращении грузин в христианство, составленные в IX в. Евфимием на Афонской горе, отысканы историком П. Иоселиани в библиотеке Мцхетского храма среди манускриптов.*

Принятию христианства в языческой Грузии способствовала не только повсеместно распространившаяся благодаря евреям идея единого Бога, но и миссионерская деятельность учеников Иисуса. Когда они метали жребий, кому и куда нести учение Христа, Иберия досталась Марии – матери Иисуса, но вместо нее туда отправились Андрей Первозванный с Симоном Канонитом. Первыми слушателями миссионерши Нино в IV веке были евреи, поскольку проповедовать она начала с еврейских кварталов на еврейском языке. Сначала Нино проповедовала несколько дней в городе Урбниси. (В Урбниси, как и в Мцхете, евреи жили задолго до новой эры.) Не сохранилось свидетельств о том, чем закончилась миссионерская деятельность Нино в Урбниси, зато общеизвестны итоги ее деятельности в Мцхете. В этом городе, помимо священника Абиатара, одного из потомков Элиоза, приняли христианство пятьдесят женщин. Они-то и составили первую христианскую паству в Картли. Надо отметить, что некоторые евреи приняли христианство по той причине, что оно в то время было гораздо ближе к иудаизму, чем сегодня.*

---

* См. «Журнал министерства народного просвещения». М., 1842, № 33, часть XXXVI. Статья П. Иоселиани «Мцхетский храм».

* См. журнал «Восход», СПб., 1883, №№ 11, 12.

За обращением Абиатара, который крестился в двадцатые годы IV в., последовало расслоение еврейской общины, и иудеи стали покидать Мцхету. Преданные своей вере евреи пытались разрушить здание синагоги, чтобы их храм, превращенный в церковь, не служил вероотступникам, но Абиатар, убежденный в том, что продолжает служить еврейскому Богу, воспрепятствовал этому. Священник поверил в то, что Всевышний одарил людей «новой благодатью», а Христос в первую очередь явился для спасения евреев. Дело в том, что идеи, на основе которых возникло христианство, существовали задолго до Иисуса как в Палестине, так и в Грузии. Очевидно, отшельник Давид, поселившийся в горах Грузии, был одним из последователей еврейской секты «пещерников», которая существовала задолго до новой эры; в дальнейшем он основал храм Мтацминда. Интересные сообщения караима Абу-Юсуфа аль Кирсани о еврейских сектах относятся к 937 г. Средневековый теолог говорит о том, что сектанты считали Иисуса не богом, а пророком.

Политеизм наделял своих богов самыми разными свойствами и возможностями. Монотеистическая вера ставит человека перед лицом абсолютной цельности и совершенства. Единый Бог воплощает в себе для евреев и абсолютную справедливость. Для грузин, чье восприятие Всевышнего близко к еврейскому, зло в мире появилось из-за происков злого духа – дьявола Саламана. Здесь нельзя не отметить элемент дуализма, что обусловлено влиянием зороастризма с его добрым и злым божествами – богом света и богом тьмы. Представления о двух началах – света и тьмы, дня и ночи, добра и зла – есть и у евреев. По грузинским преданиям, Саламан помог Богу в сотворении мира, научил, как отделить сушу от воды. При этом злой дух положил начало всему плохому, и страдающий человек обратился с жалобой к Богу. Всевышний позволил ему самому расправиться с Саламаном. В этом, очевидно, коренится у грузин свойственное и евреям активное персоналистское начало, сознание своей личной ответственности. Индивидуальная ответственность за добро и зло – характерная черта грузинского национального самосознания. В этом смысле грузинское православие ближе к иудаизму, где нет посредника между Богом и человеком.

Здесь, должно быть, сказалась и независимость грузинской церкви, оказавшейся вне влияния Римской империи. Грузинская церковь руководствовалась апостольскими проповедями и раннех-

ристианскими преданиями. К вопросу о тяготении грузинской церкви к иерусалимской интересна информация о датировке событий, она читается так: «В патриаршество Агафона в Иерусалиме, в католикосство Михаила в Мцхете». В этой датировке очевидна связь грузинской церкви с иерусалимской патриархией.

Сходство грузинской духовной культуры с еврейской объясняется не только наличием диаспоры на территории Грузии, но и паломничеством грузин на Святую Землю. Каждый грузин почитал за счастье хоть раз побывать там и ознаменовать свое пребывание каким-либо богоугодным делом, например, участием в постройке церкви, богадельни. Так в Палестине и на Синае оказалось около семидесяти грузинских обителей. Интересно, что Сионский храм – одна из древнейших построек Тифлиса – расположен в центре города, поблизости от царского дворца, и назван именем палестинского Сиона.

Во время раскопок 1946-1952 гг. в Эрец-Исраэль были обнаружены развалины грузинского храма – «монастыря лазов», основанного Петром Ивером, сыном грузинского князя. (Страна лазов – Западная Грузия, где в IV-V вв. была Колхидская академия.) Только в Иерусалиме грузинам принадлежали около сорока церквей и монастырей. Известно о существовании грузинского монастыря в Бир эль-Куте, недалеко от Бет-Лехема. В «Православном Палестинском сборнике»** мы можем прочесть о том, что «грузины жили в Иерусалиме во множестве. Народ красивый, храбрый и воинственный. Соседи-мусульмане их боятся». Связи Грузии с Палестиной – одна из светлых страниц в истории грузинского народа. На Святой Земле грузины появились еще при первом христианском царе Мириане (342), который основал в Иерусалиме знаменитый монастырь Святого Креста. Далее над благоустройством монастыря трудился царь Вахтанг Горгасал (532); царь Баграт (начало VI в.) пожертвовал монастырю богатые угодья.

На Святой Земле были сделаны переводы с иврита на грузинский язык богослужебных и библейских книг. Сличение грузинского варианта Библии с греческой Септуагинтой показало, что последняя не могла быть первоначальным источником грузинского перевода. Библеист Т. Цкитишвили обосновал положение, со-

---

* См. «Грузинские рукописи Института востоковедения». М.- Л., АН СССР, 1956, с. 50.

** СПб., 1988, т. IV, вып. 10.

гласно которому Гелатская Библия также не является переводом греческой Септуагинты, в ее основе лежит текст, сохранившийся в древних рукописях Иерусалима. Доказательством является наличие текстуально идентичных или незначительно видоизмененных мест, использование одинаковых фразеологических единиц и специальных выражений.* Ждут исследования рукописи Афонского монастыря, известного под именем Иверского Портаитского, манускрипты библиотеки Мцхетского храма. В ней хранится вариант грузинской Библии, поступившей из Мцхетского Католикосского собора.

Художественная и философская культура Грузии основана на религиозных традициях. Обратимся к древним апокрифам – рассказам, восполняющим вымыслом Священное Писание. Иудейские предания о сотворении мира, жизни Авраѓама, Ноаха, Шломо, Йова часто служат канвой для грузинских сказаний. Так, Каин убил Авеля по наущению дьявола, явившегося в образе ворона. Ворон – зло вне Бога. Дьявол разъединяет людей, сеет вражду, он же сжег все стада и жилища Йова, «все забрал дьявол – семь сыновей, три солнцеподобных дочери, жену». Остается дьяволу взять у праведника силы, «чтобы он возроптал на Бога. Тело Йова покрывают черви, а дьявол искушает: "В чем ты согрешил перед Богом, за что Он отнял у тебя все?"».

Образ дьявола несет двойную функциональную нагрузку. Во-первых, это враг, который должен быть побежден человеком, преисполнившимся героического духа для борьбы со злом и, таким образом, что характерно для еврейского и грузинского миропонимания, активно служащим добру. (Низвергающий дракона Георгий Победоносец – наиболее почитаемый святой грузинской церкви, в отличие от русской, где таковым является Николай Угодник.) Во-вторых, дьявол вносит в мир хаос: добродетельный далеко не всегда счастлив, а преступление часто остается безнаказанным. Надежды человека на награду за праведность переносятся, таким образом, на жизнь в мире грядущем. В ожидании торжества добра, непосредственной связи праведности и счастья, собственно, и заключается союз между Богом и Авраѓамом.

---

* Цкитишвили Т. Древнегрузинская версия пророчества Езекииля. Тбилиси, 1970; см. также сборник «Восточная филология». Тбилиси, 1969. Статья Г. Церетели «О тбилисской рукописи древнееврейского Пятикнижья».

При уяснении духовных традиций грузинского народа нельзя не отметить грузинскую легенду о равноправности всех религий перед Господом. Как тут не провести аналогию с признанием евреев права на спасение всех народов: «Бог с теми, кто взывает к Нему». «Дом мой, – читаем мы в пророчестве Исайи, – назовется домом молитвы для всех народов». Семьдесят тельцов евреи приносили в жертву за семьдесят народов земли. Милосердие следует проявлять по отношению ко всякому нуждающемуся, независимо от его вероисповедания.

Представление евреев и грузин о том, что праведники всех вероисповеданий угодны Богу, вовсе не очевидно для православия, предающего анафеме всех, не уверовавших в Христа.

Грузинское философское осмысление мира, объединяющее духовное начало с материальным и требующее конкретного деятельного отношения к людям, совпадает с еврейскими чаяниями о грядущем Мессии, когда царство земное уподобится царству Небесному. Даже в церковной литературе понятие счастья – духовной полноты, близости к Всевышнему – грузины отождествляли не с отшельничеством, а с созиданием, в основе которого – деятельная любовь. О том же мы читаем в наставлениях еврейских мудрецов: «Не в посте и воздержании... не в посыпании главы пеплом находит человек благоволение Господа, а в искреннем раскаянии, милосердии к ближнему и благотворительности. Лучше делать добро, чем проводить жизнь в посте и молитве». У Исайи сказано: «Таков ли пост, который избрал Я, – день, когда мучит человек душу свою?.. Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу? Не это ли пост, который Я избрал: оковы злости разбей, развяжи узы и отпусти угнетенных на свободу, и всякое ярмо сорвите. Не в том ли пост, чтобы разделил ты с голодным хлеб твой и бедняков скитающихся ввел в дом? Если увидишь нагого, одень его, и от родственника своего не скрывайся».

Основная идея еврейской благотворительности – «рука дающего не оскудевает». Доброта, гостеприимство являются также главной грузинской добродетелью: «Каждая зарезанная для гостей скотина, птица возвращаются хлебосольному хозяину впятеро».

Для грузин, так же, как и для евреев, утрата духовной независимости означала исчезновение национального самосознания. Не терпимость, а непокорность спасла Грузию от многочисленных мусульманских набегов. Сознание праведности борьбы не мирило с

безысходностью, и в этом смысле надежда на чудо, готовность к риску и испытание судьбы достойнее смирения. Подобные характерологические особенности народа формировались под влиянием мифологических представлений о героях, борющихся за свободу и выражающих, вопреки христианскому аскетизму, радость деятельной жизни.

Во многом заимствованные у евреев традиции мифологической культуры послужили источником философских воззрений грузин. «Первое», «первопричина» Петра Ивера были производными от «Единого» иудеев. Петр Ивер начинает с «первопричины», а затем переходит к бытию. Бытие и первопричина соединяются воедино, ибо вне бытия нет и первой причины. Нет Бога без человека. О едином источнике всего сущего говорится и в учении Иоанна Петрици: «"Единое" есть абсолютная реальность, благо и красота, его эманация по ступеням представляет разум, душу, мир». «Единое» – это первопричина и бытие, иными словами – Бог. Грузинская философия подчеркивает значимость разума в познании мира и Бога. Вера, в понимании Петрици, не предполагает превосходства над разумом. Знание не противоречит вере. Человеческий разум стремится к Творцу, и истинное познание приводит к Богу. Разум, философия не только не мешают вере, но представляют собой путь к ней. Именно стремление к знанию, желание разгадать тайну мира приводят человека к вере. Примечателен тот факт, что именно Иоанн Петрици, а не его противник, стоявший на позициях христианской догматики, А. Икалтоели, выражал духовную ориентацию грузин – одинаковую важность веры и разума, религии и философии.

Влияние еврейской культуры, иудаизма отразилось не только на грузинском православии, философии, но и на художественных традициях: истоки многих грузинских апокрифов – в иудейских преданиях. Интересно сопоставить стихи о Святом Георгии и пророке Элияґу. В тех и других – тема борьбы, героических деяний. Нам дано право на борьбу за справедливость и личное достоинство, в этом и есть наша свобода, спасение души. Священнослужитель, воин и земледелец, как правило, сочетались у грузин в одном лице. Грузины разделяли мнение еврейских талмудистов о том, что в случае необходимости защищать свою землю за оружие следовало браться всем. Если же царь собирался воевать с целью расширить границы государства, то тот, кто недавно женился, посадил виноградник или построил дом, не должен был идти на войну («Дварим» – «Второзаконие», 20:5-8).

Показателем творческого характера нации является ее отношение к идеальному, ориентация на высшие ценности. Человек может освободиться от власти материальных излишеств ради духовных потребностей. В этом выборе и заключается специфика национального самосознания народа.

Александр Свищёв

МИФЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
(правда о восстании в варшавском гетто)

Мы не знаем истории. Но зато мы знакомы с множеством мифов, которые называем историей.

Кто не слышал о восстании в варшавском гетто? О нем пишут книги, слагают песни. Но книги лживы. И правду об этом восстании большинство людей не знает. Правда известна лишь немногим. Этих немногих – десятки тысяч. Но что такое десятки тысяч по сравнению с миллионами? Миллионы не просто не знают правду – они знают ложь! Но при этом они твердо уверены, что знают правду.

«И почти все написанное до сих пор – а ведь написано множество книг и статей о восстании варшавских евреев – это или коварная подделка тех, кто ищет собственную славу в забвении других, или ошибка из-за недостаточных знаний и доверчивого отношения к оставшимся в живых свидетелям, которые принесли свои рассказы и сокращенные версии, умаляющие других и, конечно же, приукрашивающие себя» (Хаим Лазар-Литаи, «Масада в Варшаве»).

Вокруг восстания в варшавском гетто создано множество лживых мифов. Эти мифы созданы сознательно. И, что еще хуже, на их основании делаются выводы, являющиеся клеветой на весь еврейский народ.

Основные мифы:

1. Руководителем восстания был Мордехай Анилевич.
2. В этом восстании несколько сотен неподготовленных молодых людей, вооруженных семьюдесятью пистолетами, оказали серьезное сопротивление нацистам, убив и ранив около тысячи трехсот немцев.
3. Польское подполье не оказало серьезной помощи восставшим.

В этой статье мифы будут разоблачены. А разобравшись с мифами, мы, с Божьей помощью, доберемся и до выводов.

Нет, Мордехай Анилевич действительно существовал. И даже

возглавлял подпольную организацию «Жидовске организацие бойове» – ZOB («Еврейская боевая организация»). Только вот организация эта играла в восстании крайне незначительную роль. Но рядом с ZOB была еще одна организация – «Жидовски звионзек войсковы» – ZZW («Еврейская военная организация»). Именно ZZW и сыграла основную роль в восстании.

Что же такое ZZW? В ноябре 1939 года к одному из руководителей польской подпольной организации «Войсковы звионзек валки збройней» («Военная организация вооруженной борьбы») капитану Генрику Иванскому (подпольная кличка «Быстрый»), явились четыре еврея, офицеры польской армии, во главе с поручиком Давидом-Мордехаем Аппельбаумом. Они предложили Иванскому создать еврейскую боевую группу, которая будет частью польского подполья. В конце декабря группа была создана (в количестве тридцати девяти человек), принесла присягу и получила название «Жидовски звионзек войсковы». После присяги Иванский передал ZZW тридцать девять пистолетов системы «вис». 30 января 1940 года информация о ZZW была передана генералу Сикорскому, после чего тот дал указание содействовать еврейской организации. В 1940-1942 годах ячейки ZZW распространились по всей Польше. По воспоминаниям генерала Анджея Петряковского (подпольная кличка «Тренба»), наиболее сильными, кроме варшавской организации, были ячейки в Люблине, Львове, Станиславе.

Ядро ZZW составили члены трех организаций, связанных с ревизионистским движением Жаботинского: «Бейтар», «Эцель» и «Брит ѓа-хаяль». «Брит ѓа-хаяль» – международный союз еврейских солдат и офицеров различных армий – был создан в Польше в 1933 году по инициативе Жаботинского (польское отделение всегда было наиболее многочисленным). Именно членами «Брит ѓа-хаяль» были Давид Аппельбаум и первые подпольщики ZZW.

С 1938 года в Польше самостоятельно действовали и ячейки «Эцеля». «Эцель» издавал в Польше две газеты (на идиш и на польском), организовывал, с согласия польского правительства, тренировочные лагеря для своих боевиков, создавал склады оружия. Польша была главным тылом «Эцеля» в его борьбе с английскими мандатными властями Эрец-Исраэль. Между прочим, во время осады Варшавы в сентябре 1939 года «Эцель» передал польскому военному командованию со своих варшавских складов более тысячи винтовок с боеприпасами, что дает некоторое представление о масштабах его деятельности. Деятельность эта особенно ак-

тивизировалась в 1939 году в связи с подготовкой морского десанта в Эрец-Исраэль. Были уже куплены или арендованы десятки кораблей, которым предстояло одновременно выйти из различных портов, собраться в море в определенном месте, вместе продолжить путь к Эрец-Исраэль и высадить на побережье сорок тысяч вооруженных боевиков во главе с Жаботинским. Выход в море первоначально планировался на конец августа – начало сентября, но был из-за различных организационных трудностей перенесен на несколько недель, и его осуществлению помешала начавшаяся 1-го сентября война. Большинство десантников были польскими евреями, почему в литературе и появилось название «польский десант». Иногда его, впрочем, называют «итальянский десант», имея в виду очевидное участие в этих планах Муссолини и то, что большая часть портов отправления были итальянскими, а главный пункт сосредоточения десантников – город Триест. (История – наука политизированная, и эта политизация проявляется не только в мифах и умолчаниях, но и в названиях.) Только меньшая часть десантников находилась к началу войны в портах отправки. Некоторые из них вернулись в Польшу, некоторые – нет. Но большинство Польшу и не покидали. Конечно, не все они находились в Варшаве. Кроме того, главным видом деятельности ZZW в 1940 году была переправка своих членов, прежде всего, офицеров, через польско-венгерскую границу в польские дивизии во Франции и Англии. (Сегодня Польша не имеет общей границы с Венгрией, но в 1940 году имела.) Все же отправлено было, по-видимому, не так уж много людей, и кое-кто из тех десантников в 1943 году в Варшаве находился.

О третьей составляющей ZZW – «Бейтаре» – подробно писать смысла нет, так как о ней и так хорошо известно; напомню только, что речь идет об организации военизированной, все члены которой проходили, как минимум, начальную военную подготовку. Вообще, одна из бранных кличек, которыми награждали сторонников Жаботинского его политические противники, была «милитаристы». Запомним это.

Поскольку история создания в Варшаве гетто и жизни в нем евреев выходят за рамки данной статьи, перейдем сразу к лету 1942 года. Именно тогда немцы приступили к планомерному уничтожению гетто. «Большая акция» продолжалась от 22 июля до 21 сентября – точно от девятого *ава* до Йом-Кипура. Из Варшавы были вывезены в Треблинку и Майданек более трехсот тысяч варшавских евреев. Осталось чуть больше пятидесяти тысяч (по официальной немецкой статистике

– тридцать пять тысяч). И только тогда члены левосоциалистических сионистских партий спохватились и в августе 1942 года решили создать собственную боевую подпольную организацию (вместе с «Бундом» и коммунистами). До этого никакой подпольной деятельности они не вели. (А вот коммунисты действительно пытались создать свою подпольную организацию. Для этого в гетто были переброшены несколько инструкторов из СССР. Но довольно слабое коммунистическое подполье было разгромлено еще весной 1942 года.) Однако от «решили создать» до «создали» дистанция довольно большая. Не было оружия. Не было людей, умевших с ним обращаться. В ZOB на протяжении всей ее дальнейшей деятельности не было ни одного офицера польской армии (в гетто их насчитывалось несколько сотен). Лишь считанные единицы «пацифистов» из ZOB прошли хотя бы элементарное военное обучение.

Организация ZZW к тому времени существовала уже два с половиной года. Все это время подпольщики получали от Армии Крайовой оружие и учились (те, кто раньше не умел) им пользоваться. Для этого с арийской стороны регулярно приходил инструктор – капитан польской армии. По воспоминаниям Генрика Иванского, служившего в Корпусе безопасности (КБ) Армии Крайовой и остававшегося все это время ответственным за связи с еврейской организацией, летом 1942 года в ZZW было триста двадцать **вооруженных** бойцов. Во время «Большой акции» они скрывались в бункерах. Поэтому только полтора-два десятка из них погибли. Руководитель ZZW Давид Аппельбаум был предупрежден КБ о предстоящей немецкой акции. Он сообщил о ней председателю юдендрата Чернякову и предложил оказать сопротивление. В июле 1942 года состоялось собрание общественности гетто, на котором присутствовали Черняков со своим заместителем Лихтенбаумом, а с докладами выступали Аппельбаум и Иванский. Их предложения были отвергнуты. ZZW не решилась выступить против немцев в одиночестве, опасаясь, что позже именно их обвинят в развязывании кровавой резни. Впрочем, по воспоминаниям Иванского, уже в самом начале «Большой акции» организация оказалась отрезанной от своих складов оружия и в любом случае не смогла бы ничего сделать.

К первому открытому выступлению против немцев («Январское восстание» 1943 года) численность ZZW уже составляла около пятисот человек. Это подтверждается самой структурой организации. Основа организационного строения ZZW, как и всего польского подполья, была «пятерка» – четыре солдата и командир. Три пятерки

составляли отделение, четыре отделения – взвод, четыре взвода – роту (двести сорок человек). К началу января в ZZW были две полные роты, вооруженные и экипированные, а также две роты, существовавшие только на бумаге. Они не имели солдат и оружия, но предполагалось, что во время восстания массы добровольцев пополнят их. В начале восстания первые две роты выделят отделения №№3 и 4 остальным ротам, а образовавшийся во всех четырех ротах вакуум заполнят новые добровольцы. Забегая вперед, скажем, что в апреле 1943 года это и было сделано.

Основным поставщиком оружия для ZZW был Корпус безопасности Армии Крайовой. С июня 1942 года до начала апрельского восстания 1943 года КБ передал гетто три пулемета «РКМ», сто пистолетов, семь винтовок, пятнадцать автоматов и около семисот пятидесяти гранат. Уже после начала восстания КБ поставил еще четыре пулемета «РКМ», пулемет «ЛКМ», пятнадцать автоматов «ФМ», пятьдесят пистолетов, триста гранат. Кроме того, Генрик Иванский передавал ZZW оружие и в 1941 году, и в первой половине 1942 года. ZZW также получала оружие и от группы Армии Крайовой под командованием генерала Родницкого, и от другой группы АК под командованием капитана Цезария, а также от независимой организации PLAN (Польская народная организация за независимость). Покупалось оружие и у частных лиц; например, перед самым восстанием у одного бывшего капитана польской армии было куплено оружие на треть миллиона злотых (по воспоминаниям Рышарда Валевского), в том числе два пулемета за сорок тысяч злотых каждый и большое количество гранат. (В 1942 году одна граната стоила всего сто злотых. Но в 1943 году цены сильно повысились. Так что гранат было куплено не две с половиной тысячи, а меньше.) В двух подпольных мастерских ZZW в самом гетто изготовлялись самодельные гранаты. По-видимому, отряды ZZW были вооружены не намного хуже остальных частей АК. Одних только пулеметов было никак не меньше десяти, в том числе один тяжелый.

Для сравнения: у ZOB, по воспоминаниям Б. Яворского (коммунист и командир одной из групп ZOB), в январе 1943 года были только два пистолета и одна граната. (И это после пяти месяцев работы!) 19 апреля ZOB имела только семьдесят пистолетов (пятьдесят из них были получены от ZZW, а десять – от польских коммунистов). Ни одного пулемета. И, скорее всего, ни одного человека, хоть когда-нибудь в своей жизни видевшего пулемет, не говоря уже об умении с ним обращаться.

Численность ZOB составляла в момент восстания пятьсот человек (по официальным заявлениям самого ZOB), а может быть, только двести-триста (по некоторым более поздним воспоминаниям руководителей ZOB). Численность ZZW дошла к началу восстания до полутора тысяч человек (по воспоминаниям капитана Зайдлера и некоторых других офицеров АК). Это связано с тем, что ZZW принимала в свои ряды всех желающих, не глядя на их партийную принадлежность. Только руководство было ревизионистским. Среди руководителей среднего звена мы видим члена «Бунда», члена «Агудат-Исраэль», коммуниста. К ZZW присоединились на автономных началах организация брацлавских хасидов и левосоциалистическая группа Рышарда Валевского, не принятая в ZOB как «не принадлежащая к сионистскому лагерю». (Коммунисты и «Бунд» тоже не принадлежали к сионистскому лагерю, но их почему-то приняли. Многочисленный «Бунд», впрочем, трудно было не принять.) К тому же, в эти полторы тысячи, скорее всего, не входят люди, присоединившиеся уже во время самого восстания. Сколько их было – никто все равно не знает.

В отличие от ZZW, ZOB строилась на чисто партийном принципе. Входившие в организацию партии формировали свои партийные роты. Всего было двадцать две роты. «Бунд» имел четыре роты, коммунисты – столько же, остальные принадлежали партиям «сионистского лагеря». Беспартийных в организацию не принимали. Да их и невозможно было принимать ввиду отсутствия оружия. По этим причинам численность ZOB не могла вырасти и в ходе самого восстания. Ситуация усугублялась тем, что ZOB принципиально ориентировалась на Советский Союз и искала связи с польским коммунистическим подпольем, надеясь на его помощь, оказать которую польские коммунисты в любом случае не могли из-за своей слабости и малочисленности. Впрочем, была сделана попытка завязать контакты с Армией Крайовой. Однако получить реальную помощь от нее не удалось. В литературе о варшавском гетто кочует почти анекдотическая история о том, как посланный к ZOB инструктор АК явился абсолютно пьяным и сорвал проведение занятий. Но к ZZW инструкторы АК почему-то всегда являлись трезвыми! Нежелание АК оказывать помощь прокоммунистической организации вполне понятно. Отсюда и взялась легенда о том, что АК не помогала варшавским евреям. Да, **ZOB** Армия Крайова не помогала.

ZZW пыталась сотрудничать с ZOB. Велись переговоры об объединении. Но левые сионисты и в новых условиях продолжали довоенную линию бойкота «фашистов-ревизионистов».

Несмотря на то, что из объединения двух организаций ничего не вышло, было достигнуто соглашение о сотрудничестве. Территория гетто была разделена на два военных округа. Каждая организация отвечала за свой. Кроме того, ZZW передала ZOB часть оружия: пятьдесят пистолетов и несколько сотен гранат, что и составило большую часть вооружения ZOB. Просьбу о передаче оружия ZOB мотивировала тем, что у них якобы больше людей, чему ZZW поверила.

Рискну предположить, что отсутствие единства сыграло **положительную** роль. Если бы восстанием руководили болтуны из ZOB – а именно к этому неминуемо и свелось бы объединение, – это только ослабило бы сопротивление.

Апрельское восстание

Немецкое наступление на гетто началось утром 19 апреля 1943 года. Первый удар был нанесен по позициям ZOB на улицах Налевки и Заменгоф. Бойцы ZOB сопротивлялись до четырех часов дня, подожгли один танк и вывели из строя несколько десятков немцев, затем отступили. Этим фактически и исчерпывается участие ZOB в восстании. Нет, еще сопротивлялись разрозненные группы ZOB. 20 апреля еще оказывалось сопротивление при уничтожении немцами отдельных бункеров. Но то, что заслуживает наименования «восстания в варшавском гетто», в действительности продолжалось всего девять дней – с 19 по 27 апреля. И не с ZOB воевали немцы.

К 16 часам 19 апреля, прорвав оборону ZOB, немцы вышли к Мурановской площади. Здесь-то и завязался единственный за все восстание длительный **позиционный** бой. Мурановская площадь была центром округа ZZW. В доме №7 находился главный штаб ZZW. Именно на Мурановской площади (дом №17) развевались польский и еврейский флаги. (Единственный флаг ZOB, впоследствии захваченный немцами в бункере Анилевича, был красного цвета. Впрочем, он, скорее всего, висел все время внутри самого бункера.) В подвал дома №7 выходил туннель, по которому ZZW все время получала с арийской стороны оружие и боеприпасы. (Всего у ZZW были прорыты 6 туннелей в разных частях гетто; один из них, правда, был обнаружен немцами еще до восстания. У ZOB не было ни одного туннеля.) Именно по этому туннелю был доставлен связным АК Йозефом

Лейбским в ночь с 18 на 19 апреля тот тяжелый пулемет, который был установлен на чердаке дома №17 и значительно усилил позицию ZZW. В боях 19 апреля на Мурановской площади немцы потеряли еще один танк и более сотни солдат. Но взять позицию ZZW немцы не смогли. Позиция на Мурановской площади (и флаги восстания) была захвачена немцами только 22 апреля. Казалось, что восстание подавлено. Но 27 апреля в борьбу вступили польские силы Армии Крайовой. Отряд майора Генрика Иванского прошел через туннель и атаковал немцев. Одновременно немцев атаковали на Мурановской площади и бойцы ZZW. Оба отряда соединились. Частям ZZW было предложено выйти из гетто и перейти на арийскую сторону. (В этом и был смысл всей операции АК.) Однако Давид Аппельбаум отказался оставить гетто, так как отсутствовала связь со многими группами ZZW, находившимися в других местах, а выходить, бросив своих бойцов, Аппельбаум считал невозможным. Вышла лишь небольшая часть бойцов ZZW (тридцать четыре человека), вынося большое количество раненых и сопровождаемая многочисленными беженцами. Поляки несколько часов прикрывали их отход, понеся большие потери. (Майор Иванский был ранен, его сын Роман и брат Эдуард погибли.) Но большие потери понесли и немцы (больше ста человек и еще один сожженный танк). В боях 27 апреля был тяжело ранен Давид Аппельбаум. 28 апреля он скончался. 29 апреля оставшиеся бойцы ZZW, потеряв к тому времени всех своих командиров, по Мурановскому туннелю покинули гетто и были дислоцированы в Михалинских лесах. На этом восстание как таковое завершилось. Немцы начали прочесывание гетто и уничтожение отдельных бункеров.

Из рапортов бригаденфюрера СС Йоргена Стропа: «Ход большой операции 29.04.43... Всего были обнаружены 36 бункеров, предназначенных для жилья. Из этих и других убежищ были извлечены 2359 евреев, среди них 106 погибли в бою... Силы: как вчера; потери: нет... Ход операции 2.05.43... Найдены 27 бункеров... Среди раненых – 4 немецких полицейских, 4 польских полицейских... 6.05.43... Был ранен унтершарфюрер СС... Всего были уничтожены 47 бункеров. 2 человека из заградительного отряда были ранены». Как мы видим, при уничтожении бункеров (всего был уничтожен 631 бункер), немцы несли некоторые потери. Но потери эти (106 евреев «погибли в бою», а ни один немец даже не ранен), совершенно несравнимы с потерями первых дней.

Окончательно восстание было подавлено 5 июня. Именно в этот день произошла последняя стычка с немцами. Все на той же Мура-

новской площади. Но 5 июня бой с немцами вела группа евреев из преступного мира, не имевшая отношения ни к ZZW, ни к ZOB.

В разгар операций по поискам и уничтожению бункеров небольшая группа бойцов ZZW проникла в гетто с арийской стороны и 5-6 мая выводила оттуда беженцев. Прикрывая их отход, 6 мая почти вся группа погибла.

В начале мая руководители ZOB обнаружили ход через канализацию и покинули гетто. (Возможно, они ушли бы и раньше, да дороги не знали, не имея своих туннелей.) Эти люди ушли, бросив разрозненные группы своих бойцов, находившиеся в других местах. По воспоминаниям одного из членов руководства ZOB, они при этом отказались забрать с собой нескольких беспартийных евреев, просивших о помощи. Мордехай Анилевич уходить отказался. 8 мая бункер Анилевича был окружен немцами. Анилевич со своими бойцами застрелился. (По некоторым, возможно, и недостоверным, свидетельствам, Анилевич застрелился еще раньше, прежде чем бункер был блокирован немцами. Не исключено, что он сделал это от стыда за своих соратников-сопартийцев.)

Я не хотел бы, чтобы все мои выпады против «болтунов из ZOB» были распространены читателями и на Мордехая Анилевича. Он с небольшой группой своих бойцов действительно сражался с немцами. Анилевич вообще сильно отличался от остальных руководителей ZOB. В середине тридцатых годов он был членом «Бейтара» и даже некоторое время работал в его секретариате. В 1937 году Анилевич оставил «Бейтар» и с двадцатью друзьями-бейтаровцами создал новую организацию – «Прогрессивный Бейтар», просуществовавшую недолго. Затем Анилевич сильно сдвинулся влево и вступил в «ѓа-Шомер ѓа-цаир». Возможно, он и был назначен военным руководителем ZOB потому, что единственный из этих «пацифистов» мог отличить пистолет от авторучки.

Мордехай Анилевич покинул «Бейтар» из-за «религиозного засилья» в этой организации. Интересно, пожалел ли он 8 мая 1943 года о том своем старом решении.

Некоторые выводы

Из всего изложенного видно, что основную борьбу с немцами вели не «пацифисты» ZOB, а «милитаристы» ZZW. Из тысячи трехсот убитых и раненых немцев на долю ZOB вряд ли приходится больше

сотни. Соответственно и настоящим руководителем восстания был не Мордехай Анилевич, а поручик Давид Аппельбаум.

Правда, во главе штаба ZZW стоял не один Аппельбаум, а тройка: Аппельбаум, Павел Френкель и Лион Родаль. Параллельно военному штабу существовало и политическое (ревизионистское) руководство, в составе все того же Лиона Родаля, Михаэля Стриковского и Давида Вдовинского. (Вдовинский – единственный из руководителей ZZW, оставшийся в живых.)

Следует признать клеветническими и утверждения выживших руководителей ZOB (а они все, кроме Анилевича, остались в живых) и польских коммунистов о том, что АК не оказала помощь боровшемуся гетто. Конечно, полумиллионная Армия Крайова могла бы оказать и бо̀льшую помощь. Но можно ли ее за это винить? Как известно, АК «ждала с оружием у ноги». Времени на ожидание у евреев, в отличие от поляков, не оставалось. Но что же могла АК? Пойти ради евреев на самоубийство? Ведь и в 1944 году немцы подавили варшавское восстание. В 1943 году последствия выступления были бы еще более катастрофическими. АК оказала ZZW именно ту самую поддержку, которую она и обязана была оказать своей боевой части, попавшей в тяжелое положение. И не более того.

Справедливости ради следует сказать, что и эта помощь была оказана командиром Корпуса безопасности Армии Крайовой генералом Анджеем Петриковским по собственной инициативе в нарушение имеющихся инструкций. Инструкции главного штаба АК запрещали участие польских отрядов в боях в гетто, разрешая только помощь оружием. Позже генерал Петриковский получил выговор за нарушение приказа.

Хотя среди членов АК действительно были распространены антисемитские настроения, с еврейским подпольем (не связанным с коммунистами) они сотрудничали. Однако польское подполье было очень неоднородно. Кроме АК, существовала еще и НСЗ (Народове силы збройне). Эта организация, воюя против немцев, одновременно убивала и евреев. К АК члены НСЗ никакого отношения не имели, но всегда ли их можно было различить? Всегда ли евреи могли понять, члены какой именно польской подпольной организации их убивали?

Понятно желание польских коммунистов вылить бочку грязи на своих политических противников. Понятна и обида деятелей ZOB. Но если кого-то и можно обвинить в предательстве восстания в гетто, то это как раз польских коммунистов. Ведь АК оказала большую

помощь – пускай только «своим» евреям. Тогда как коммунисты «своим евреям» прислали лишь десять пистолетов. Как раз хватило Анилевичу застрелиться.

Но все же главная подлость лжи, нагроможденной вокруг восстания, заключается отнюдь не в возвеличивании «своих» и нападках на «чужих». Мародерство на войне – вещь обычная. Главный ужас в том, что эта ложь используется для клеветы на весь еврейский народ. Ведь все евреи шли «как овцы на убой», а вот герои варшавского гетто сопротивлялись. И у бойцов ZOB, как и у всех, не было ни оружия, ни военной подготовки, но это был цвет социалистической сионистской молодежи, «новые евреи». А старые галутные евреи – это «прах во прахе», по выражению президента Вейцмана.

Но ведь в действительности сопротивлялась немцам не столько ZOB, сколько ZZW. В Варшаве сложилась совершенно уникальная ситуация. Существовала организация, ядро которой было подготовлено еще до войны (то, что ее готовили для борьбы против англичан, а не немцев, значения не имеет), под командованием офицеров польской армии (пускай и офицеров запаса, а не кадровых). Довольно хорошо вооруженная организация. Фактически – регулярная воинская часть. И те гражданские добровольцы, которые к ним присоединились, могли сделать это только в Варшаве. В других местах просто не к кому было присоединяться. И ZZW была не просто воинской частью, но одновременно и частью подпольной польской армии, постоянно получавшей от нее помощь. Да, бойцы ZZW были героями. Но это героизм защитников Брестской крепости или осажденного Тобрука, Сталинграда и Аль-Аламейна. Аморально, да и просто невозможно требовать от невооруженного и необученного гражданского населения такого же мужества и такого же сопротивления, что и от регулярной воинской части!

Правда о восстании в варшавском гетто давно известна. Она была известна всегда. Хотя оставшиеся в живых руководители ZOB и написали груду мемуаров, возвеличивающих собственный героизм и либо вовсе не упоминающих ZZW, либо упоминающих ее так, что лучше бы и не упоминали. Из отчета «Бунда» от 22.06.43: «Ревизионисты основали свою маленькую организацию "Месть"». Но осталось в живых много польских участников событий. (В коммунистической Польше аковцам, конечно, веры не было.) Остались в живых и некоторые рядовые бойцы ZZW. Еще в 1946 году в Эрец-Исраэль вышла небольшая брошюра «Правда о восстании в варшавском гетто». Были опубликованы и мемуары некоторых членов ZZW. В шестидеся-

тые годы имевшиеся материалы были собраны и систематизированы в книге Хаима Лазара-Литаи «Масада в Варшаве», упоминавшейся выше. В 1991 году вышел и русский перевод этой книги, почему-то под названием «Восстание варшавского гетто». Существует и ряд книг на английском языке, большей частью написанных все тем же Лазаром-Литаи, некоторые – в соавторстве с женой Хаей Лазар.

Десятки тысяч людей знают правду. Но каждый апрель большинство газет публикуют статьи о восстании в варшавском гетто, содержащие лживую информацию. И миллионы людей их читают («народ Книги» давно превратился в «народ газеты»), верят этой лжи и распространяют ее дальше.

ПОХОРОНЫ
(фантазия)

Посвящается И. А.

7 февраля 1933 года. По улицам Берлина движется траурный кортеж. По всему пути следования процессии, от резиденции премьер-министра до кладбища, собрались толпы народа. Немецкий народ хоронит своего вождя. Долгие годы шел Адольф Гитлер к своей цели. От руководителя маленькой группы соратников в 1919 году до партии в несколько тысяч соратников в 1924-м. Неудача. Тюрьма. Приходиться все начинать сначала. От года к году растут ряды партии. От выборов к выборам – массы голосующих. И вот уже НСДРП – самая большая партия Германии. Казалось, что многолетняя борьба принесла свои плоды и цель близка: 30 января 1933 года Гинденбург поручил Адольфу Гитлеру сформировать правительство...

Из речи президента Гинденбурга, 7 февраля 1933 года:

«1 февраля вероломный убийца тремя пулями в спину (Мне для Гитлера лишней пули не жалко! – Прим. автора) *поразил канцлера Гитлера. Эти пули поразили не только Гитлера. Это три удара по германской демократии...»*

Похоронная процессия движется к кладбищу...

Из речи депутата британского парламента Уинстона Черчилля, члена британской парламентской делегации, прибывшей на похороны германского канцлера:

«Убийство законного премьер-министра вновь отбросило Германию в начало двадцатых годов, в период хаоса и политических убийств...»

Похоронная процессия достигла кладбища...

Из речи члена руководства НСДРП Грегора Штрассера над могилой Адольфа Гитлера:

«Пуля подлого еврейского убийцы оборвала твою жизнь. Но мы, твои товарищи по борьбе, клянемся тебе, Адольф, что... мы отомстим... мы отомстим... (речь Штрассера прерывается рыданиями). Мы, твои товарищи, клянемся продолжить твою борьбу, Адольф. Мы понесем, Адольф, идеи национал-социализма и наше красное знамя вперед, к новым победам!»

«В этот трагический для всей Германии день мы, немецкие евреи, должны признать и свою вину. Да, Рабинович не был уроженцем Германии. Это был чужак, «ост-юде». Но сколько бы мы ни указывали на этот факт, немецкий народ возлагает (и, надо признать, справедливо) ответственность на всех евреев. Наша пропаганда, наши нападки на Адольфа Гитлера привели к убийству. И теперь мы несем наказание за нашу подстрекательскую деятельность. За последнюю неделю в Германии разгромлены двести синагог, убиты пятьдесят евреев. И это только начало. Страшные бедствия угрожают нашему народу из-за поступка одного экстремиста...» (из речи председателя берлинской еврейской общины на специальном траурном собрании общины 7 февраля 1933 года).

* * *

Выходя с траурного собрания берлинской еврейской общины, Александр Гольдберг думал: «Наш председатель, конечно, прав. Впереди у нас невзгоды и беды. Но если бы Рабинович промахнулся, было бы еще хуже».

* * *

8 февраля 1933 года Гинденбург пригласил в президентский дворец Франца фон Папена и поручил ему сформировать новое правительство.

Александр Фейгин

ВСЕ ОПЛАЧЕНО

Великий остряк и не меньший мудрец Станислав Ежи Лец (наш человек) говорил: «Почему все уверены, что евреи богаты? Потому что только евреи за все платят».

Это я по поводу трогательной истории о том, как Авраґам покупал у Эфрона свою собственную землю.

«Сказал р. Юдан, сын р. Симона: "Это – одно из трех мест, о которых народы мира не могут сказать Израилю: они – чужое достояние, которое вы присвоили. Вот эти три места: пещера Махпела, Храмовая гора и гробница Йосефа в Шхеме. О пещере Махпела написано в Торе: "И понял Авраґам Эфрона, и отвесил Авраґам Эфрону серебро" ("Брейшит", 23:16), о Храмовой горе: "И отдал Давид Арнону тут же, на месте, золотые шекели весом шестьсот" ("Диврей-ґа-ямим I", 21:25), а о месте гробницы Йосефа: "И купил он [Яаков] участок земли, на котором раскинул шатры свои, у сыновей Хамора, главы Шхема, за сто монет" ("Брейшит", 33:19)».

Знаете, есть такая детская игра (очень полезна для интеллектуального развития малышей): называют несколько предметов и спрашивают, что между ними общего.

Итак, три места в Эрец-Исраэль: пещера Махпела в Хевроне, гробница Йосефа в Шхеме, Храмовая гора в Иерусалиме.
Что между ними общего?

1. Все три места куплены хозяевами земли – евреями – у пришельцев. Не отобраны, а куплены. Скажем, Авраґам был слаб, чтобы отнять свое силой, скажем, Яаков был боязлив. Но Давид-то захватил (освободил) Иерусалим силой оружия, почему весь город взял войском, а Храмовую гору – купил?

2. Это три самых святых места на Святой Земле.

3. Они связаны древним путем, бывшим всегда центральной осью страны (сегодня – шоссе 60).

4. Столичные города. Да-да, не удивляйтесь. В Хевроне Давид был коронован и правил почти семь лет. Шхем был столицей колена Эфраима, доминировавшего в северном царстве. Иерусалим же в особых рекомендациях не нуждается.

Можно было бы продолжать перечисление, но перейдем к делу:

5. В полном противоречии, казалось бы, со словами р. Юдана (помните – три места, «о которых народы мира не могут сказать Израилю: они – чужое достояние, которое вы присвоили») – народы (даже те, что откровенно захватывают чужие земли) делают нам «ну-ну-ну» в первую очередь именно за эти города.

Неужели р. Юдан ошибся? А может быть, мы неправильно его поняли?

Чтобы разобраться в этом, прочтем еще раз слова Авраѓама, обращенные к хеттам: «Пришелец и старожил я среди вас...»

Так кто же – пришелец или старожил? Раши толкует слова праотца так: «Если хотите продать мне землю, то я готов купить ее как пришелец, а если нет, то я предъявляю права старожила и возьму землю по праву, ибо Всевышний сказал мне: "Твоему потомству дам Я эту землю"». О том и говорит р. Юдан: не народы мира он поучает и не от их имени дает обещание. Он говорит нам: мир – дело важное. Если можно купить не землю, но мирное право на владение ею – будьте готовы платить (как в Торе, установившей порядок: откупись – молись – воюй). Но если народы посмеют оспаривать наши права, мы не вправе идти на компромиссы: «Народы мира не могут сказать Израилю: они – чужое достояние, которое вы присвоили...» Не могут сказать – не значит «не попытаются сказать». Не могут – потому что мы не станем слушать этот бред и согласовывать с ним свое поведение. Земля – наша. По праву наследования, а если этого мало, – по праву приобретения. По-еврейски, кстати, *дамим* означает не только «уплаченные деньги», но и «множество крови». И это тоже – цена земли.

МЕЖДУ ТУЧАМИ И МОРЕМ

«А он, мятежный...» – в свое время для нас, молодых еврейских подпольщиков в бровеносном СССР, эти слова, да и вся «Песня» были дороги исключительно тем куплетом, в котором «между тучами и морем Голда Меир – буревестник». В эти дни горьковская птичка вспомнилась совсем в ином контексте. В одном из множества бесполезных исследований общественного мнения, проводимых институтами ЮНЕСКО, было установлено, что в последнее десятилетие двадцатого века люди более всего ценили душевный покой. Более семидесяти четырех процентов из многих тысяч опрошенных поставили этот параметр во главу своей иерархии пожеланий.

А собственно говоря, что в этом удивительного? Живем в мире стрессов, потрясений, что ни день – новые катастрофы, разгул терроризма, да и природа – вулканы, океаны, ураганы – словно с ума сошла. Вот и просит душа, как индивидуальная, так и коллективная, покоя. И многие уже давно этот спрос распознали и свое предложение к нему пристроили: и политики, и главы новых и старых сект, и даже биржевые агенты и банкиры наперебой сулят нам покой и уверенность. А между тем, покой так близок, так возможен. Он – за кладбищенской оградой, не с нашей, а с той, другой, стороны. Люди, которые столь отчаянно желают покоя, отнюдь не стремятся пересечь эту границу; не говоря об этом вслух, а часто даже и не отдавая себе в том отчет, они ищут покоя при условии, что он будет достигнут еще при жизни.

Но жизнь и покой – почти антонимы. Это очевидно в аспекте физиологическом: ну кто пожелает полного покоя своему телу – это же, в лучшем случае, паралич! А вот о душевном покое мечтает каждый или почти каждый. А ведь именно отсутствие покоя в душе приводит ее, а значит и человека, ее несущего, в движение.

Именно динамичность, способность к развитию делает живое живым. Мудрейший из людей, царь Шломо говорил: «Ибо у живого есть надежда – ведь живому псу лучше, чем мертвому льву». Жизнь может принести с собой и беды, и тревоги, но только она может подарить счастье и только в ней – надежда.

Здесь, казалось бы, самое время и место сделать вывод, как в гимне «Бейтара» – *ки шекет ѓу рефеш*, покой-де – мерзость. Но не так все просто. Дело, как всегда, в цели. Смешно и бессмысленно строить жизнь вокруг душевной бури, вызванной завистью к соседу, купившему новую машину. Такой род душевной бури недостоин истинного буревестника. Человеку, одержимому подобными бурями, действительно нужна профессиональная помощь, иначе он рискует рухнуть замертво на пороге желанного средства передвижения. Эти бури разрушают и душу, и тело, и даже в случае удачи так мало дают человеку, что ни на каких весах ценностью показаться не могут.

А вот борьба с собой, как правило, полезна, хотя современные психологи учат любить себя таким, каким уж вышел, и ничего в себе не менять.

Но мы полагаем, что меняться должен и может каждый из живых. Это так же верно в отношении праведных, как и в отношении грешных. И те, и другие могут подняться на следующую ступень развития только через борьбу: «семь раз падет праведный и поднимется».

Не покоя должны мы желать себе, а того, чтобы борьба, в которой мы проводим жизнь, не была мелочной и напрасной.

Великий ученик раби Нахмана из Брацлава, р. Натан Штернгарц из Чигирина, пришел к учителю и принял его идеи уже немолодым человеком. Состоятельный купец, он изменил свою жизнь внезапно. Покидая дом, он объяснил этот переворот своим домашним: «Я видел страшный сон и понял, что жить, как прежде, не могу». «Что за сон?» – спросили его. «Мне снилось, что я иду покупать булочки». «Ну и что же в этом страшного?!» «Неужели я родился только для того, чтобы ходить за булочками?!» – ужаснулся р. Натан.

Недавно мне попалась на глаза очаровательная переработка Островского: «На последнем Суде приговор: за бесцельно прожитые годы сделать ему мучительно больно». Кто знает, не сочтем ли мы, оглядываясь на прожитую жизнь, самыми постыдными те дни, когда в душе был покой, а ноги несли по привычному пути в булочную.

НЕ ГЛЯДЯ В КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

«И послал их Моше высмотреть землю Кнаан, и сказал им: "Поднимайтесь здесь, на юг, и взойдите на гору. И высмотрите страну, какая она, и каков народ, обитающий в ней, – силен он или слаб, малочислен или многочислен. И какова земля, на которой он живет, – хороша она или плоха, и каковы города, в которых он обитает, – в открытых станах или в крепостях они живут. И какова земля – тучна она или тоща, есть на ней деревья или нет. Крепитесь и возьмите от плодов земли..."»

А вот и отчет членов экспедиции об увиденном: «Пришли мы в страну, куда ты нас послал, и впрямь течет она молоком и медом, и вот ее плоды. Но могуч народ, обитающий на земле, и есть там города укрепленные, очень большие, и также детей великанов мы видели там».

До сих пор – только факты. Можно подвергнуть сомнению и их достоверность, но не в этом главная вина разведчиков. Выслушаем же их до конца: «Земля, по которой прошли мы, чтобы высмотреть ее, это земля, пожирающая своих обитателей, а весь народ, который мы видали на ней, – люди высокорослые. И были мы в наших глазах как кузнечики, и такими были мы в их глазах».

Попробуйте, не читая дальше, найти в сказанном уязвимое место, лишние и странные слова.

Да, возможно, жители той земли были весьма рослыми, может быть даже гигантами. Да, возможно, разведчики, глядя на них из кустов или из-за угла, чувствовали себя маленькими и слабыми, «кузнечиками». Но откуда им было знать, как они сами выглядели в глазах великанов?!

Речь-то идет о разведгруппе, успешно выполнившей свою задачу на территории противника. Великаны их вовсе и не видели, а тем более не видели их подобными кузнечикам.

И еще, и это куда важнее: почему наших героев интересует, как они выглядят в глазах великанов?

В мидраше «Ялкут Шимони» мы читаем: «Сказал Всевышний: "Слова 'и были мы в наших глазах как кузнечики' Я бы еще простил им, но почему они говорят 'такими были мы в их глазах'?! Откуда им знать, какие мысли о них вложил я в сознание великанов?"»

И все же, несмотря на этот риторический вопрос, мудрецы утверждают: разведчики знали, о чем говорят, – они действительно показались местным великанам если и не кузнечиками, то уж точно «мелочью пузатой», прожорливыми насекомыми, муравьями в виноградниках страны, текущей молоком и медом. Вот только не был этот оптический эффект (уменьшение видимых размеров человека до размеров муравья) правильно понят.

А понят он должен быть так: есть у человека (а в нашем случае и у целого народа) два облика: один – объективный, второй – субъективный. Мы – то, что видит в нас Всевышний. Это объективная картина. Но мы и то, что видят в нас люди, а уж люди-то видят каждый по-своему. Одному я кажусь исполином, другому – козявкой. Мы идем сквозь строй народов, как сквозь комнату с кривыми зеркалами (помните, в парках культуры и отдыха?). Монстры, глядящие на нас из кривых зеркал, – не мы, а карикатура на нас.

Но если мы вглядываемся в эти зеркала, искренне надеясь разглядеть там свое подлинное Я, то сами становимся ходячими карикатурами. Итак, короткая, но ставшая для нас подлинной трагедией, история о разведчиках учит нас несложным, но неоценимо важным вещам: человеку – и народу – свойственно желание взглянуть в зеркало, посмотреть на себя со стороны. Перед ним две возможности – выяснить, что он представляет собой в глазах других людей и народов или сверить себя с Законом, с Торой (то есть посмотреться в зеркало Всевышнего) В первом случае судьба его предрешена. Тот, для кого решающим является впечатление, которое он производит на других, навеки останется кузнечиком в глазах окружающих.

Ему не разорвать порочный круг; чем больше он будет смотреться в кривое зеркало, тем больше будет похож на козявку. Тот, кто найдет в себе силы изо дня в день смотреться в зеркало Торы, не заглядывая угодливо в глаза людей, имеет шанс однажды увидеть свое настоящее лицо.

НЕ НАДО МЕНЯ ЛЮБИТЬ

Нам так хочется любви, что некоторые исследователи решаются утверждать: кроме воды, пищи и воздуха только любовь является первостепенной потребностью человека.

Народы тоже ищут любви. Вот, скажем, российские газеты и рунет («русский Интернет» – новояз) полны статей на тему: почему нас, русских, везде не любят?

Вопрос этот, кажется, сперли у нас, евреев, но он вполне прижился в России и стал совсем своим.

А вот нас любят нынче. И не только в Микронезии, которая по загадочной причине постоянно голосует за нас в ООН. Любят в Америке: 11 сентября сразу после теракта в Нью-Йорке наблюдались отдельные случаи обращения черных и белых американцев к кипоносным прохожим со словами (а более – с междометиями) типа «покажите им!» (то есть арабам). Этот феномен был недолгим, но и по сей день часто приходится встречать его рудименты – например, последние речи Буша были одним из таких всплесков странной любви к Израилю.

Автор этих строк только что вернулся из России. Так вот, хотите верьте, хотите нет, его, длиннобородого и в ермолке, останавливали на Арбате и Камергерском пьяные и редкие трезвые прохожие, чтобы пожать руку и пожелать победы над коварным исламским врагом. Причем случалось это не раз и не два, а со временем стало напоминать рассказ Хармса о Л. Н. Толстом («граф очень любил детей: поймает, бывало, дворового мальчишку и гладит его, гладит, пока обедать не позовут»).

И пока новая Москва меня назойливо гладила, думал я думу жидовскую: «А хороша ли вся эта любовь для племени нашего зловредного?»

Нет, не хороша. Нас ведь когда любят? Когда хоронят. После инквизиции, после погромов любят, после Холокоста, помнится, недолго любили. Даже страну пожаловать изволили. Правда, нашу же

землю нам и пожаловали, да еще и не всю, но и за это спасибо. Еврею привередничать не приходится.

Еврейская традиция величает царя Шломо «мудрейшим из людей». Так вот, он говорил: «Милость народов – грех».

Суть нашего народа выражена его именем. Еврей – иври – значит аутсайдер, иной, не похожий на других, идущий своим путем.

Нет в этом имени высокомерного пренебрежения народами мира, нет утверждения собственной исключительности. Мы верим, что избраны Всевышним, но понимаем избранничество как миссию, особое предназначение, не как индульгенцию или лицензию на задирание носа.

Особенных не любят. В равной мере не любят и особенно плохих, и особенно хороших. Не любят цыган, армян, евреев, рыжих, очкариков, умных, не любят тех, чьи габариты не вписываются в линеечку шеренги.

Но пусть это вас не тревожит, никто ведь не обязан вас любить. А сами-то себя вы любите? Это раньше почиталось дурным тоном – себя любить. Нас так и воспитали, по-спартански: себя не хвали, пусть другие хвалят.

Человечеству понадобился беспрецедентно жестокий двадцатый век, чтобы психологи осознали: тот, кто не умеет любить себя, не может не только любить другого и быть любимым, но и жить-то по-настоящему не может.

Сегодня психологи, оказывая помощь пациенту, прежде всего учат его любить себя, принимать себя таким, каков он есть.

Нам срочно нужен такой урок любви. Нам надо избавиться от ненависти к самим себе, от феномена автоантисемитизма. Надо научиться жить своим умом и сердцем, не считаясь со вкусами народов мира и не подстраиваясь под них.

«Милость народов – грех», более того, их милость к нам – опасный знак нашей слабости, знак нависшей над нами угрозы уничтожения.

Будем любить себя, то есть, любить друг друга. Ведь народы мира и так приписывают нам почти мифическую солидарность и семейственность. Давайте совместными усилиями оправдаем этот слух и сделаем этот миф реальностью.

А по Арбату приятнее гулять под косыми злыми взглядами. И привычнее, и рукопожатия от песен Окуджавы не отвлекают.

ДВЕСТИ ЛЕТ ВРОЗЬ

Вышел из печати первый том исследования Солженицына «Двести лет вместе». Я шел по Новому Арбату, а продавцы выкладывали стопки книг на прилавки. «Купите, вам это необходимо», – крикнул мне вслед продавец. Я остановился и полюбопытствовал: «А почему она именно мне необходима?» «Как же, вы ведь еврей», – последовал ответ. «Да, – сказал я. – Но наш срок в России кончился, двести лет истекли, стоит ли вспоминать?»

Сказал – и ужаснулся: это ведь как в Египте. Всего десять лет разницы. Десять лет недодержали нас здесь в рабстве, зато кирпичей мы им больше налепили и крови они нашей больше пролили.

Так я купил эту книгу. Разочарование было тяжелым. Я был готов к хлесткому, как Александр Исаевич умеет, ядовитому, но прочно документированному антисемитскому анализу истории российского еврейства. А книга оказалась пресной, мелкой, тривиальной и даже не антисемитской – просто никакой, как говорит нынешняя российская молодежь.

Есть, разумеется, перлы, как им не быть. Например, «погром был обоюдным». Видимо от слова «юде», то есть обоим юде досталось. Или «Евреи в России от начала имели ту личную свободу, которой предстояло еще 80 лет не иметь российским крестьянам». Умри, лучше не скажешь!

Но за эти искорки тупости я к классику не в претензии: они-то книгу и спасают от ничтожности и скукотищи. Грустно другое: вооруженный допуском к любым материалам, окруженный ратью помощников-архивариусов, классик не удосужился поискать источники более оригинальные, нежели энциклопедии и книги с полок читального зала. Ни один источник на еврейском языке (идише или иврите) не цитируется. Вся летописная еврейская литература (пинкасы, публицистика, нравоучительные сочинения) осталась за полями книги. Ну ладно, не читает Солженицын по-еврейски и ни одного переводчика не нашел (Прокофьев, видимо, был на даче). Но русские источники тоже ограничены тривиальным кругом литературы, зацитированной до дыр нашими же, еврейскими, историками от Греца до Этингера.

Поэтому так смешно было мне читать рецензию в газете «Завтра» (29/398): «...цитаты из сотен источников составляют не менее двух третей книги... одна точнее другой, источники – из самых весомых».

Но не только текст страдает бледной немочью – само название не может не вызвать смех. Какие там двести лет?! А раньше в Рос-

сии евреи не жили? А в древнем Киеве Жидовских ворот (и, кстати, погромов) не было? А Крым? А территории, которые Солженицын, разумеется, включает в пределы империи (Кавказ, скажем), где евреи жили и два тысячелетия назад?

Особенно забавляет слово «вместе», вынесенное в заглавие. Это русские-то с евреями жили «вместе»?! Да двести лет назад из тысячи евреев даже двух русскоговорящих вряд ли удалось бы найти. И сто лет назад два народа жили рядом и ничего друг о друге не знали. Правильно было бы назвать книгу о русско-еврейских отношениях «Тысячелетие рядом, семьдесят лет вместе». Именно семьдесят лет советской власти характеризовались ассимиляцией и обрусением евреев.

Вот об этом «вместе» и стоило бы поговорить. Второй том будет именно об этих годах. Интересно, поймет ли классик, что именно годы «вместе» нанесли непоправимый урон всем народам России? Не только евреи потеряли лицо и прошлое, язык и самоуважение.

Двести лет, больше ли – срок истек, народ проснулся и тронулся в путь; почти все уже поняли, что история евреев в России окончена. Сейчас надо осмыслить то, что ушло безвозвратно. Русским предстоит сделать свои выводы, нам – свои. Пословица «в гостях хорошо, а дома лучше» лжива: ничего хорошего на чужбине нет. Еще важнее помнить, что для Израиля жизнь «вместе» с народами мира чревата гибелью, если «вместе» понимать по Солженицыну.

И так же, как в дни исхода из Египта, «легче вывести человека из рабства, чем рабство из человека». Евреев из России вывели уже почти целиком. Скоро ли российское рабство выведется из наших душ?

ТАКАЯ СТАРАЯ НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

Оптимисты говорят, что у порога война. Реалисты, жители поселений и некоторых районов Иерусалима знают, что она уже давно идет. Говорят, что для танго нужны двое, для войны тоже нужны две стороны. Но в этой странной войне мы не участвуем, пассивно сносим удары, хороним близких и утираемся. Слабость наша очевидна, и она провоцирует наших врагов наносить нам новые удары.

Откуда евреи брали прежде силы для бесконечного, вопреки всему, выживания? Зачем они тащили на плечах бесконечно тяжелый и такой обременительный груз истории? В одной старой легенде гонцы, спасая огромную библиотеку, оставляли за собой в пус-

тыне сотни книг, тащить которые у них не было сил. Чтобы содержание книг не оказалось утерянным для потомков, люди выписывали краткое содержание оставленных томов. В конце концов уцелел и дошел до города-убежища только один гонец, и в его руках был листок с одной-единственной фразой, выразившей все содержание потерянных навсегда манускриптов.

Неважно, что именно, в соответствии с этой нееврейской легендой, было написано на листке. Сегодня мы хотим рассказать еврейскую историю о том, что мы потеряли в пути. А может быть, все же не потеряли?

Однажды, когда над еврейским народом нависла опасность, Бааль-Шем-Тов отправился в одному ему известное место в лесу, развел костер, погрузился в молитву – и тучи рассеялись.

Его ученик Магид спустя многие годы оказался в подобной ситуации.

– Мы не в силах молиться так, как молился учитель, но мы можем разжечь огонь, как делал он, – сказал своим ученикам Магид.

Он ушел в лес и, как когда-то, опасность отступила.

В следующем, третьем поколении, раби Моше-Лейб из Сасова говорил:

– Мы не в силах разжечь огонь, мы не умеем молиться так, как молились наши отцы, но мы знаем то самое место в лесу – и этого достаточно.

И этого в самом деле оказалось достаточно, чтобы отвести беду.

Но когда минуло еще одно поколение и раби Исраэль из Ропшица должен был защитить свой народ, он сказал:

– Мы не умеем разжечь огонь, мы не умеем молиться, мы даже не знаем, где молились наши учители. Но мы можем рассказать о том, как это было.

И история, рассказанная им, повлияла на мир, как в свое время влияла молитва Бааль-Шем-Това.

Никто не любит читать мораль в конце басни, но все же интересно: почему евреи рассказывают эту историю из поколения в поколение?

Многие из нас давным-давно считают себя отрезанным ломтем, евреями по паспорту.

Что ж, мы действительно «не умеем разжечь огонь, не умеем молиться, мы даже не знаем, где молились наши учители». Но мы можем рассказать о том, как это было. Сейчас, когда политики слишком заняты важными делами, чтобы защитить свой народ, многим еще вчера «евреям по паспорту», в армейской форме и в гражданском,

выпало защитить свой народ и свою землю. И для того, чтобы это удалось, чтобы человек сумел спасти народ, он должен непременно ощущать себя его частью, веткой древнего родового древа.

Впитать в себя рассказ о тысячелетиях борьбы и самоутверждения – значит, набраться жизненных сил и, стало быть, выжить. *Нецах Исраэль ло йишакер* – Вечный Бог Израиля не обманет – нам под силу то, что в свое время удалось нашим предкам: выжить не только физически, но и сохранить и передать наше еврейство и верность этой земле детям и внукам.

ШЕЯ ЯАКОВА, ЗУБЫ ЭСАВА

«И побежал Эсав навстречу Яакову, и обнял его, и пал ему на шею, и целовал его, и оба плакали».

Что такое «крапленые карты», знают все. А вот о крапленых словах не все слышали. В Торе есть несколько мест, в которых определенные буквы помечены сверху точкой. О таких местах говорят, что сама Тора требует: истолкуй меня! Так вот, в недельной главе есть целое крапленое слово: *ва-йишакеḟу* («и целовал его»). Недаром это слово «помечено»; Талмуд приводит слова раби Яная: не поцеловать, а укусить хотел Эсав Яакова, но камнем стала шея Яакова, и сломались зубы Эсава, и заплакали оба.

Так и плачем с тех пор: евреи от острых зубов гоев, гои – от острой зубной боли. И нет конца этому «роману», словно ненависть к евреям – закон природы, вроде гравитации.

Впрочем, почему «словно», «вроде»? Именно так и обстоит дело. Утверждает раби Шимон: «*Ḟалаха – бе-ядуа ше-Эсав сонэ ле-Яаков* – **априори** Эсав ненавидит Яакова». Говоря о заведомой ненависти неевреев к евреям, раби Шимон имеет в виду следующее.

Можно найти рациональную причину ненависти к каждому конкретному еврею и к евреям в целом в том или ином историческом контексте. Можно, но не нужно!

Еврей виноват в революции и в контрреволюции. Он нечистоплотен и чистюля, хитрец и дурак. Бодр или вял, красив или безобразен, расточителен или жаден – еврей всегда даст антисемиту причину для ненависти. Потому что гой в причинах не нуждается, он рождается с ненавистью и только подтверждает ее со временем истинными или вымышленными причинами. Да и у самого Эсава были вполне реальные причины ненавидеть Яакова, но ненависть

родилась раньше причин, уже в чреве матери. Но, как мы сказали, Ґалаха – это инструкция. Что она предписывает в данном случае? Держись подальше от того, кто ненавидит тебя **заведомо, априори.**

Стой в сторонке, не братайся, не кидайся в объятия – если не хочешь почувствовать зубы на своей каменной шее.

Это так просто, но мы с наивностью деревенского дурачка ждем любви и простираем руки: братец, дай тебя облобызать! Упрямый народ «с твердой шеей» не учит уроков истории.

О КУРИЦЕ, ЯЙЦЕ И ЛОГИКЕ

Среди бреда, которым нас кормят с удивительной настойчивостью и навязчивостью средства массовой информации Израиля, особенно раздражает следующее:

«О чем спор?! Всем известно, что в конце концов нам придется вести переговоры и заключить мир. **Ведь всякая война кончается миром.** Так не лучше ли вести переговоры уже сейчас, под огнем?»

Несколько поправок:

1. Не всякая война оканчивается заключением мира. Более того, ничтожная часть войн (история дает обильный материал для статистики) завершилась мирными переговорами. Неудобно портить СМИ настроение, но войны кончаются обычно победой одной стороны и поражением другой.

2. В продолжение сказанного: если одна сторона применяет все доступные ей средства ведения боя, а другая – только сдержанно реагирует на одну атаку из десяти и призывает к переговорам, – легко предсказать, чем такая война кончится.

3. В первой логической посылке – когнитивный прокол: между ведением переговоров и заключением мира нет прямой (а порой и никакой) связи. Мир – в наше время в Израиле это требует разъяснения – есть антитеза войне, то есть состояние «невоевания». Переговоры могут привести или не привести к подписанию какого-нибудь документа (можно его даже назвать «мирным договором» – бумага не покраснеет от стыда). Но мир наступит тогда, когда не будет с арабской стороны ни одного террориста («бойца»), не сложившего оружие. Поясню сию тривиальную, но хорошо забытую истину: если вы заключаете мир с парой миллионов человек, но при этом десять из них продолжают стрелять, – это не мир, это террор!

4. Проще говоря, вместо предлагаемой формулы «вести переговоры – подписать договор» к миру ведет иная раскладка: «воевать – победить – установить мир».

5. И здесь появляется мотив курицы и яйца. Как там нам говорят? **Ведь всякая война кончается миром.** Это было бы вполне радостным заявлением, если бы речь шла о событиях однократных. А вот войны и мир имеют особенность чередоваться (для программистов – выделенная фраза стоит в loop'е). Позвольте магическую фразу перевернуть. **Всякий мир кончается войной.** Особенно на Ближнем Востоке. Особенно с арабами. Особенно с нашими левыми миротворцами. Таким образом оптимистическую концовку пункта 4 следует переформулировать так: «воевать – победить – установить *временный* мир».

И здесь левый голос (капризный такой, как бывает у детей, которые хотят игрушку **немедленно:** *шалом ахшав* – мир немедленно!) вопрошает: «И что же, всегда будем воевать?!» (или в классической формулировке: «Вечно ли будем жить под угрозой меча?»). Ближневосточный ответ прост: да, всегда!

Еврейский ответ в данном случае куда лучше: нет, не навсегда, до прихода Машиаха – вскоре, в наши дни, амен!

ВАГНЕР В ИЕРУСАЛИМЕ

В рамках Иерусалимского фестиваля будут играть Вагнера. До сих пор в Израиле его произведения не исполнялись: тем, кто потерял близких в нацистских лагерях, тем, кто чудом выжил в земном аду, эта музыка напоминала о том, что хотелось бы забыть навсегда. И нацистские съезды на ревущих стадионах, и селекция в концлагерях: господа офицеры любили оптимистические марши, а особенно трогала их мужественные арийские сердца увертюра к опере «Лоэнгрин»...

Но люди, которым больно слушать Вагнера, не становятся моложе, многих уже нет с нами, да и считаемся мы с ними все меньше. И вот Вагнер едет к нам в Иерусалим, для полноты картины играть будут немцы, а дирижировать – еврей, оставивший Израиль и поселившийся в Германии.

Ну и что, скажет либерал, разве можно предавать забвению творчество гениального композитора только потому, что его произведения любили нацисты?!

Трудно спорить с этой позицией: действительно, композитор не отвечает за состав его слушателей и почитателей.

Да и не был Вагнер единственным антисемитом среди людей искусства: Бетховен, Лист, Шопен, Рахманинов, Вольтер, Шекспир без особенных нежностей высказывались о евреях.

Но Вагнер прославился не только музыкой и нелюбовью к евреям: он был великим теоретиком ненависти, законодателем мод в кругах нового «интеллектуального» антисемитизма.

В статье «Еврейство в музыке» он анализирует не только и не столько музыку еврейских авторов, сколько еврейский характер, как он его себе представлял.

Главное же состоит в том, что Вагнер не просто ругал евреев, – к этому-то нам не привыкать. Он первым в новейшее «просвещенное» время осмелился выступить с недвусмысленными призывами к физическому истреблению евреев.

Вот несколько примеров, не самых ярких, первое, что попалось под руки: «Знайте, – говорил он посетителям Венской оперы с неправильной формой носа, – что вас, сородичей Агасфера, Вечного Жида, спасет от вечного проклятия только смерть»; «народ ненавидит евреев инстинктивно, сам облик и суть еврея отвратительны»; «еврейство гнилостно от природы, до мозга костей поражено тлением. Антисемитизм – здоровая реакция здорового народа на гниение еврейства»; «природный еврей ужасен, но культурный еврей ужасен стократ – нет существа более бесчеловечного, чем он»; «я вижу в еврее – от рождения – врага всего благородного в человечестве»; «еврей по природе жесток, жаден, хитер»; «еврей по природе своей – паразит».

Когда в 1881 году в Европе заговорили о погромах в России, он писал: «Что же еще осталось делать с ними, врагами человечества? Это не насилие – это свидетельство здоровья и жизненных сил [русского] народа»; «рано или поздно евреи будут уничтожены»; «великое решение придет, и евреев не станет, они исчезнут».

Как же они, окаянные, исчезнут? Каким именно образом? Когда сгорело великолепное здание оперы, в котором и сам Вагнер не раз дирижировал, композитора-мясника посетило черное пророчество. Большинство погибших (как и большинство завсегдатаев оперы) составляли, разумеется, евреи. Вагнер сказал тогда, что «огонь очистит от евреев весь мир, как очистил прогнившие стены театра». Гитлер говорил: «Тот, кто хочет понять дух германского национал-социализма, должен прежде понять Вагнера». Хотелось бы, чтобы слушатели Вагнера в дни Иерусалимского фестиваля в гармонии

звуков расслышали неяркую, но важную партию редкого по звучанию музыкального инструмента. Слышите – это треск еврейских костей.

Праздник чувств для забывчивых.

ОТКУДА ПРИХОДЯТ СТРАХИ?

Две важнейшие добродетели человека верующего – любовь ко Всевышнему и страх перед Ним. Если первое чувство лишь прибавляет нам душевного комфорта, то второе вызывает некоторую неловкость.

Мы выросли на культе бесстрашия, а вот Танах неожиданно обрушивает на нас иную систему ценностей: «Счастлив тот, кто боится всегда».

Бояться-то мы все умеем, но с детства научены это скрывать и этого стесняться.

Мудрецы дают неожиданную, на первый взгляд, интерпретацию страху и бесстрашию; Рамбам, подытоживая их слова, говорит, что ничего не боится тот, у кого не развито в достаточной мере воображение или недостает фундаментальных знаний о жизни.

Раввин Адин Штейнзальц приводит такие примеры:

«Ребенок залезает на подоконник потому, что просто не понимает, чем ему это грозит. Человек взрослый, знающий, что такое высота, падение, смерть, человек с воображением легко представит себе, как он теряет равновесие, соскальзывает, тщетно цепляется пальцами за карниз, болтая ногами в воздухе...

А вот другой пример. Контрабандист на осле подъезжает к границе. Уже загодя он начинает нервничать, но осел не испытывает ни малейшей тревоги. Потому ли, что осел храбр? Нет, потому, что он осел».

Вот и вырисовывается у читателя с моей легкой руки образ пугливого еврея. Умного, а потому трусоватого.

Все в этом образе идеально склеивается: не только теория, но и всеисторические предрассудки. Как там у Шолом-Алейхема: «А мы, бедные еврейчики, качаемся на обе стороны, как бы пан не прогневался». Все так, да не совсем так. Слишком много примеров неправдоподобной жертвенности, от Авраама, ведущего к горе осла с дровами на спине и сына, жизнь которого востребована, от Ханы и семи ее сыновей – до детей-кантонистов, которые предпочли смерть крещению, и лагерников, соблюдавших субботу в ГУЛАГе.

Словно есть два страха и два бесстрашия: перед Богом и перед людьми.

Так и есть – завещал отец Бешту:

– Две вещи прошу я у тебя, сынок: бойся Бога и не бойся никого, кроме Бога.

Как же второе правило согласуется с теорией о бесстрашии осла? А вот как: знающий истину не видит в мире власти и силы, кроме Бога. Так же, как нет в мире блага, которое было бы не от Него, так нет и угрозы, которая не от Него.

И, как в сообщающихся сосудах, мы находим простую связь между направленностью страха и бесстрашия: чем больше страх перед Всевышним, тем меньше пугают тираны, мелкие пакостники, тюремщики, дикие звери.

Чем меньше в человеке страха перед Всевышним, тем более он раздираем фобиями и опасениями. Если нет одного Хозяина, всякий может обидеть.

Помните, в детстве: кто там, в темноте? Кто за шкафом? Кто раскачивает тени ночных деревьев за окном?

А у взрослых разве иначе? Если вдуматься, наши осознанные и подсознательные страхи – того же рода: кто там прячется, что ждет завтра?

А ответ – и детям, и взрослым – прост: везде (в пространстве, во времени ли) – Всевышний. Он не вписан ни в пространственные мерки, ни в шкалу «прошлое – будущее», но наполняет все и оживляет все.

Его невозможно не бояться, хотя многие находят, что это чувство скорее похоже на стыд: неудобно шалить на виду у Присутствующего везде, прятаться от Всевидящего.

Один маленький мальчик (потом он стал большим ребе) залезал на такие высокие ветки, до которых сверстники его не добирались.

«Тот, кто смотрит только вверх, – объяснял он, – не боится высоты».

ЮМОР

Марьян Беленький

РАЗГОВОР КНИГОПРОДАВЦА С ПОЭТОМ

Послушайте, вы что, действительно думаете, что это может кого-то заинтересовать? Какой-то бездельник приехал в деревню, полюбил какую-то девицу, застрелил приятеля на дуэли, а потом она вышла замуж. Да еще в стихах. Где загадка убийства? Где эротические сцены? Где скандалы? Вы же умный человек, неужели вы полагаете, что найдется издатель, который вложит в эту вашу убогую поэмку свои кровные? Не смешите людей. И вся эта пошлая и примитивная историйка у вас растянута на сотню страниц. Не надо возражать. Ко мне по десять авторов в день приходят. И все – гении с шедеврами. Молодой человек, ваше дело писать, наше – издавать. Роман в стихах – это не товар. Нет, я не спорю – можно рукопись продать. Но при одном условии: если вы найдете покупателя. А у вас читатель заснет на первой же странице. Признайтесь, вам, наверно, было очень скучно описывать всю эту тягомотину? У вас, по-видимому, много свободного времени. Но где вы найдете читателя, который добровольно согласится потратить свое время и деньги на эту вашу рифмованную скукотищу? Впрочем, о читателе вы, разумеется, не думаете. Где нам – мы же гении, мы пишем свою нетленку. А книга, между прочим, – это товар, который еще нужно продать. А ваша тоскливая, извините, поэмка... в ней же ровным счетом ничего не происходит. Вы Маринину хоть читали? М-да... Ну вот у вас... «Мелькают мимо будки, бабы, монастыри»... Ну кому это сегодня нужно, сами подумайте! Вот разве про «горячий жир котлет»... Может, заключим договор на кулинарную книгу в стихах? А что если нам эту штучку немного переделать? Ну, скажем, так. Убит старший следователь питерского угрозыска Владимир Ленский. Подозрение пало на олигарха Онегина Евгения Абрамовича. К нему подсылают под видом девицы легкого поведения капитана Татьяну Ларину. Но Татьяна, вместо того, чтобы расследовать убийство, влюбляется в Онегина и пишет ему письмо, где выбалтывает ему все планы угрозыска... Вдова Ленского, Ольга, решает вести самостоятельное расследование. Онегин, спасая свою жизнь, переводит капиталы в Швейцарию и уезжает путешествовать за границу, присылая оттуда черный пиар на руководство... Сделаем сериал... Ах, вас потомки поймут? Вот к ним и обращайтесь. Ладно, ладно, забирайте свои стишки, и не морочьте голову занятым людям. Тоже мне Пушкин нашелся!

НАШ ОРКЕСТР

А сейчас выступит наш оркестр. Вы еще его не слышали? Очень много потеряли. Недавно мы объявили конкурс на замещение вакансии первой скрипки. Пришли тридцать человек из России и один местный. Как вы думаете, кого из них мы приняли? Правильно, родственника гендиректора министерства культуры. Дело в том, что оркестр финансируется министерством. Не будет финансирования – все сто человек уволят. Кому от этого будет легче? А так – подумаешь, первая скрипка! Ее на общем фоне почти и не слышно.

Вторая скрипка у нас... как бы вам объяснить... Аренду помещения оплачивает мэрия. Так что второй скрипкой у нас подрабатывает секретарша мэра. Женщина она симпатичная. А насчет музыки... на общем фоне... вы поняли.

Теперь виолончель... как бы вам объяснить. Дело в том, что мы живем в демократической стране. В общем, пришла разнарядка: не менее двадцати процентов работников должны быть из нацменьшинств. Поэтому на виолончели у нас Ахмед. Нет, если он повернет инструмент струнами к себе, то у него как раз неплохо получится. Но вообще претензий к нему нет. Убирает он хорошо. В оркестре он уже пятнадцать лет и еще ничего не взорвал. А возьмем другого из ихних – иди знай.

Флейта... Как бы вам объяснить... Дело в том, что освещение зала обходится в немалую сумму. А работникам Электрической компании, как вы знаете, электричество отпускают бесплатно. Поэтому на флейте у нас оформлен сын начальника отдела компании. Правда, инструмент мы ему в руки не даем: сломает. А вообще претензий у нас к нему нет – свет нам ни разу не отключали. Ну а в оркестре больше ста человек; одним инструментом меньше – никто не заметит.

Итак, сейчас вы услышите наш оркестр. Как бы вам объяснить... Дело в том, что билеты на наши концерты давно никто не покупает, а абонементы мы продаем через профкомы, отстегивая председателям десять процентов. Они довольны, и мы довольны: у них отмечено культмероприятие, мы получили свои деньги. Но при таком раскладе, разумеется, нужны свои люди наверху. Поэтому ведущая партия – фортепиано – у нас отдана, соответственно, ведущей партии – Ликуду. Ударные – то есть много шуму и мало дела – понятно, Аводе, а самая громкая партия – трубы – естественно, ШАСу. Правда... как

бы вам объяснить... концерты наши проходят по субботам, а вечерние репетиции совпадают по времени с молитвой в синагоге, так что мы их ни разу не видели. То есть они нам не мешают, мы им.

Теперь насчет гобоя... Это наш ветеран. Он в оркестре тридцать лет. Правда, как бы вам объяснить... у него один недостаток – он совершенно глухой. Но ведь человек не виноват! Уволить? Законы вы знаете. При увольнении по инициативе администрации нужно выплатить уволенному компенсацию в размере месячной зарплаты за каждый проработанный год. Зарплата у него двадцать тысяч в месяц. Если мы выплатим ему положенную компенсацию, то есть шестьсот тысяч, весь оркестр останется без зарплаты. Так что пусть сидит. Кому он мешает... Ведь, кроме оркестрантов, нужно платить зарплату инспектору оркестра – я имею в виду инспектору кашрута. Еще у нас числится человек, который следит за тем, чтобы зарплата оркестрантов не превышала установленный уровень. Правда, сам он получает в два раза больше любого из них, но содержать того, кто следил бы за его зарплатой, нам просто не по карману. Еще у нас получает зарплату председатель профкома оркестра, оркестровый раввин. Как же без этого.

Итак, сейчас выступит наш оркестр. Только... как бы вам объяснить... Дело в том, что они сейчас все по домам. Ни на концерты, ни на репетиции никто из оркестрантов уже много лет не ходит. Так что давайте договоримся по-хорошему. Похлопайте оркестру, как будто он уже выступил. Вам что, жалко? Вы ведь свою зарплату получаете? Так почему они не должны свою получить? Им что, детей кормить не надо? Итак, аплодисменты нашему замечательному оркестру!

Кто кричал «браво!» – зайдите в бухгалтерию за чеком.

А АВТОБУС ИДЕТ...

Автобус остановился на остановке. Спереди написано «119», а сбоку «111». 119-й поворачивает направо, в еврейское поселение, 111-й – налево, в арабскую деревню. Нормальный человек смотрит на номер, написанный спереди, садится в автобус и едет себе, ничего не подозревая, домой, в поселение. Другой, столь же нормальный, смотрит на номер, написанный сбоку, и едет к себе в деревню. Мало-помалу до пассажиров доходит, в чем дело.

– Так давайте спросим у водителя, и все дела.

– Я еду по своему маршруту, – отвечает тот.

– По какому?

– По своему. Обычному.

– Но мы же должны знать, куда мы едем!

– Приедем – узнаете. Не мешайте мне – разговоры с водителем запрещены.

– Нет, так дело не пойдет. Половина пассажиров должна выйти.

– А какая половина?

– Мы же в демократической стране. Давайте проголосуем. Большинство останется, меньшинство выйдет и поедет на следующем.

– Следующего не будет. Двенадцать ночи. Автобус последний.

– Значит, останетесь на шоссе поджидать попутку.

– Это кто же останется?

– Ну не хотите, поезжайте вместе со всеми.

– И что я буду делать ночью в арабской деревне?

– Подождите, еще не голосовали. Может, как раз они выйдут, а мы поедем.

– Ну как же – дождались!

– Между прочим, – говорит водитель, – те, кто недоволен моим правильным курсом, могут выйти. Учтите: на шоссе дождь и ветер, а попутных машин здесь, как правило, ночью не бывает.

– Да он над нами просто издевается. Долой водителя! Импичмент! Кто умеет водить автобус?

– Прежде чем свергать водителя, надо решить, куда ехать.

– Налево! Демократия!

– Налево – это не демократия. Демократия – это направо.

– Прекратите этот дурацкий спор! Давайте лучше образуем миньян* и помолимся, чтобы Господь привел каждого к его дому.

– Но как, если мы едем в одном автобусе в разных направлениях?

– Господь знает, как. Если бы вы все соблюдали субботу и заповеди, этого бы вообще не случилось. Это испытание, которое послано нам свыше.

– Не хочу выше, хочу домой!

– Давайте же голосовать. Демократия!

– Не хочу демократию! Хочу домой!

---

* Группа из десяти и более взрослых евреев, собравшаяся для общественной молитвы.

– Мама, я хочу пить, кушать, писать, какать, спать, и у меня болит животик. Скажи дядям, чтобы не кричали.

– Кто разменяет двести долларов?

– Какой сегодня курс?

– Сегодня уже завтра – первый час ночи.

– Это у нас. А в Америке еще вчера. Значит, курс вчерашний.

– Куда едем?

– Добрый вечер! Приготовьте билеты для контроля.

– Контролер! Куда едет этот автобус?

– Это не мое дело. Главное, чтобы у всех были билеты.

– Девушка, а вы куда едете?

– Я еду в сторону, противоположную вашей.

– Водитель, вот двести шекелей, езжай в аэропорт. Я уезжаю в Америку. Не могу больше терпеть этот бардак.

– Какой умный! Может, все хотят в Америку, а кто останется в нашем автобусе?

– Это не автобус. Это сумасшедший дом на колесах!

– Ничего, привыкнете. Мы уже пятьдесят лет так едем.

– Мужчина, отодвиньтесь от меня! Как вам не стыдно! В такой тяжелый момент!

– Извините, девушка, но то, что вас так возмущает, – это всего-навсего пистолет.

– А я-то думала!..

– В принципе, вы думали правильно. Вот приедем домой, я вас приглашу к себе. Вам, конечно, направо?

– Налево, велик Аллах!

– Направо, с Божьей помощью!

– Налево! Долой сионистских оккупантов!

– Направо! Трансфер!

– Ребята, не увлекайтесь! Автобус один на всех, и выходить некуда.

– А ведь он направо не повернул!

– И налево тоже!

– Он прямо поехал!

– Там же никакого шоссе нет!

– Уважаемые пассажиры! Наш автобус летит на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря. Температура за бортом – ноль градусов. Через несколько минут вам будет подан горячий ужин. Вся еда абсолютно кашерная. Водитель желает вам приятного полета.

МАЯТНИК

(из цикла «Психологические этюды»)

Ну вот.
Ну вот и все.
Ну вот и все кончилось.
Ну вот и все кончилось навсегда.
Все кончилось навсегда, и больше никогда ничего не будет.
Больше никогда не будет ничего хорошего.
Меня никто не любит.
Я – полное ничтожество.
Я ничего не добился.
Никогда ничего не добьюсь.
Пора кончать.
Меня нет.
Конец.

* * *

Алло!
Да, это я.
Что?
Я? Меня? Мне? Обо мне? Мной?
Не может быть!
Наконец!
Конечно.
Так и должно было быть.
Ведь я не такой, как они.
Я лучше и умнее других.
У меня все будет хорошо.
У меня теперь всегда все будет хорошо.
Ведь я такой замечательный.
Такой умный и талантливый.
Такой интеллигентный и обаятельный.
Наконец-то меня заметили.
Теперь все будет по-другому.
У меня будет все, что я захочу.
Я добьюсь всего.

Я – сильный.
Меня не сломить.
Никогда.
Я – самый талантливый.
Я – просто гений.
Как же я раньше этого не замечал?
Мне еще не воздали по заслугам.
Я – великий и мудрый.
Величайший и мудрейший.
А они все сволочи.
Они еще у меня узнают.
Чтоб они все сдохли.
Они меня не ценят.
Они меня не хотят.
Убивать их надо.
Никто меня не любит.
Никому я не нужен.
Я – несчастный и одинокий.
Я ничего не добился.
И ничего не добьюсь.
Никогда.
Это конец.
Алло!

АКТУАЛЬНЫЙ ТЕЛЕРЕПОРТАЖ

Здравствуйте, уважаемые телезрители! На очереди – новости из Израиля.

Еврейская террористка Роза Фишман, семидесяти четырех лет, проезжая по шоссе в свое поселение, напала на группу ничего не подозревавших арабских граждан, мирно размахивавших на шоссе автоматами, и скрывается теперь от справедливого возмездия в отделении реанимации. Международная общественность осуждает очередную провокацию сионистов.

А теперь телевидение NNN ведет свой репортаж с места очередной акции возмездия палестинских патриотов сионистским оккупантам.

Перед вами – сионист с оторванными взрывом ногами.

– Скажите, господин оккупант, только что у вас были ноги, а теперь их нет. Как интересно! Расскажите нашим телезрителям, что

вы чувствуете в этот волнующий момент? (*Ассистент – микрофон ему в зубы! Оператор! Оторванные ноги – крупным планом, зритель это любит.)*

Упорным молчанием реагируют сионисты на очередную миролюбивую акцию палестинских борцов за мир.

Вот трехлетняя оккупантка пытается отвлечь внимание международной общественности от сионистской агрессии громким криком.

– Девочка, где твоя мама?

И на этот раз мы вразумительного ответа не получим. Ребенок просто запуган сионистской пропагандой.

Да, господа, очередная мирная инициатива палестинского руководства вновь не нашла отклика среди израильского истеблишмента. Ничего другого от него ждать не приходится.

Перед вами оккупантка, истерически выкрикивающая одну и ту же фразу: «Тали! Тали! Доченька, где ты?!» Она рвет на себе волосы, заламывает руки и прибегает к другим дешевым театральным эффектам для привлечения к себе внимания общественности.

– Скажите, миссис, что вы думаете о перспективах израильско-палестинского мирного сотрудничества?

Вы слышите проклятия, которая обрушивает сионистская оккупантка на представителя нашего телеканала. Это очередное наглядное подтверждение нежелания израильтян вступать в мирный диалог с палестинцами. А вот группа страдающих под гнетом оккупантов палестинских подростков (*оператор, чтобы бороды деток в кадр не попали!)*

Задавленные сионистской оккупацией мальчики выкрикивают миролюбивый лозунг: «Итбах эль яхуд!»* – «Да здравствует мир и дружба между народами!»

– Скажите, уважаемые господа, что вы думаете о происшедшем инциденте?

– Мы будем убивать еврейских собак повсюду, пока они не уйдут с нашей земли!

(*Режиссер! Это повторить перед началом программы. А также переписать в архив, нам еще пригодится.)*

Перед нами группа арабских деток. Мальчики, миролюбиво улыбаясь и ничего не подозревая, швыряют в агрессоров бутылочки с зажигательной смесью. Вы видите, как искажены злобой лица агрессоров – израильских солдат – при виде этой невинной шалости

* Итбах эль яхуд! (*Арабский*) – Убивай евреев!

ребят. Вот один из солдат агрессора провокационно выглянул из укрытия и нагло, в противоречии со всеми международными нормами, подставил искаженное гримасой ненависти лицо под камень, брошенный неумелой детской ручонкой арабского подростка лет сорока. Лицо сиониста провокационным образом заливается кровью... Переходим к сообщениям из Ирака.

Американские военнослужащие расстреляли очередную иракскую демонстрацию. Имеется множество убитых и раненых.

– Мы будем и дальше предпринимать акции, необходимые для наведения порядка в стране, – заявил представитель американского командования.

А теперь мы с вами на похоронах несчастных арабских деток, зверски замученных израильскими агрессорами при столкновении на шоссе двух арабских машин. Израильские оккупационные власти клеветнически утверждают, что во время столкновения на месте происшествия никаких израильтян не было, но какое значение это имеет сейчас, когда палестинский народ требует справедливого возмездия подлым убийцам детей! Знаменитый палестинский певец, лауреат премии Израиля, исполняет песню мира и дружбы «Убивайте еврейских собак повсюду!», – а многотысячная толпа замученных оккупантами палестинцев подхватывает припев. «Итбах эль яхуд!» – поют мирные демонстранты, сжимая в руках автоматы.

Но что это? Участники мирной процессии подбегают к нашему оператору и миролюбиво разбивают камеру и заодно голову нашего оператора...

Что вы делаете, ребята, мы же свои!

Уважаемые зрители! По техническим причинам мы вынуждены прервать наши передачи. О прошедшей только что акции мира и дружбы мы расскажем в следующих выпусках нашей передачи.

...И ВОЗРОПТАЛ НАРОД

Свобода, свобода... Да на хрен она нужна, эта свобода! Шляешься тут по пустыне, Заика обещаниями кормит... И манной этой девять лет подряд. Уже тошнит он нее. Никакой Земли Обетованной нету, это он все выдумал. Какие у меня шикарные нары были – строганные! Подумаешь, «рабами были мы у фараона в Египте»! Во-первых, я был не простым рабом, а заслуженным. Там, глядишь,

и до народного дослужился бы. А это уже как-никак – спецпаек. Мне за сценарий всенародного празднества по открытию пирамиды номер четыре целый чан мяса выписали. Правда, жрецы половину украли. Ну, на то они жрецы – им тоже жрать надо.

Ой, только не надо мне рассказывать за рабство! Помним мы, между прочим, и рыбу, которую в Египте ели даром. Да, костлявая, но есть можно. Ели мы, между прочим, огурцы и дыни, и зелень, и лук, и чеснок, сидели у горшка с мясом, хлеба было сколько угодно. Придумал бы что-нибудь новенькое: гречка там небесная, плов небесный. А то манна и манна.

Деятель! Привел нас в место, где ни полей, ни смоковниц. Ни тебе винограда, ни гранатов. Воды даже нет.

А эта идеалистическая религиозная пропаганда! Что это за Бог такой – Его не видно и не слышно, только через Большого Босса нам спускает указания. Нет, нам бы чего-нибудь конкретного, чтоб видно было, кому поклоняешься. А то получается не Бог, а одна видимость. Да и той нету.

Босс нашел цурес на нашу голову – вывел нас в эту пустыню, чтоб мы тут с голоду подохли.

Зачем ты вывел нас из Египта, шлемазл? Что, в Египте негде было нас похоронить, что ты нас сюда притащил, чтобы уморить нас, и детей наших, и скот наш жаждой?

Помню, товарищ фараон мне именные кандалы пожаловал. С гравировкой «В честь сорокалетия трудовой деятельности». Так жена мне дырку в голове прогрызла: уходим да уходим. Не хочу, мол, им рабов рожать. Нет, конечно, у товарища фараона были отдельные недостатки. Ну там, изволил вырезать еврейских мальчиков. Но нам же объяснили, что это делается ради их блага. И моей семьи это не коснулось – у нас с женой две девочки. Вспоминается только хорошее. Мне главжрец – заместитель товарища фараона по идеологии – однажды собственноручно изволили в морду дать.

Я порой такое устраивал! Помню, веду однажды концерт в день рождения очередного египетского владыки и говорю:

– Я фараоном недоволен.

Амфитеатр так и ахнул. Вижу, ко мне уже стражники подбираются.

Мне, чувствую, надо поторопиться:

– Да что там я, весь народ им недоволен.

Тут, вижу, уже некоторые шарахнулись к выходу, чтоб свидетелями не быть.

Другие ждут с интересом: охота им посмотреть, как меня четвертовать будут прямо на сцене. Стража окружает амфитеатр, чтоб никто из слышавших не ушел, а я уже поторапливаюсь:

– Что же это такое, – говорю, – товарищ фараон денно и нощно заботится о нашем благе, а когда он отдыхает или спит, вообще никто не знает. Нельзя так себя не щадить.

Ну, понятное дело, смех, аплодисменты, здравицы в честь товарища фараона. Стражники записывают тех, кто неактивно аплодирует.

А тут что? Я к Заике подошел, говорю: «Я песню сочинил».

Хочу такого, как Моше,
чтобы не пил.
Такого, как Моше,
чтоб евреев любил,
чтоб нас сорок лет по пустыне водил!

Он ничего не сказал, рукой махнул и ушел наверх за очередной порцией ЦУ.

Между прочим, о чем у них там наверху базар, – одному Богу известно. Нам же не докладывают. Повернулся и ушел. Ни тебе куропатки не выписал, ни дополнительной порции манны небесной.

Чтобы человек с моим стажем рабской деятельности перся в такую жару пешком через всю эту пустыню! Правильно в газетах пишут: не умеют у нас ценить интеллектуальный потенциал.

А Земля Обетованная, между прочим, занята – там люди живут, никого не трогают – и тут приходим мы и нагло заявляем, что наш Бог дал нам эту землю. Они, естественно, нас посылают подальше: ваш Бог, вы с Ним и разбирайтесь, а мы, мол, здесь при чем? А у меня, между прочим, на отравленные стрелы аллергия. С моим радикулитом города штурмовать? Увольте. И не нужна мне земля, текущая молоком и медом: от молока у меня изжога, а от меда – диабет. Еще неизвестно, где наши эту виноградную лозу сперли. Может, он им эту наглядную агитацию заранее подсунул. Фраеров нашел – посохом воду из скалы извлекает. Популист. Нас дешевыми фокусами не купишь. Вот если б он пиво извлекал! С раками! Так раков, видите ли, тоже нельзя – некашерные.

Тоже мне стратег! Ему бы чуть правее взять, так мы бы сейчас были по уши в нефти и без всяких проблем.

А заповеди эти! Вот, к примеру, «не кради». Это как же понимать? По субботам, что ли? Допустим, у людей красть нехорошо, а у

государства? Тоже нельзя? А жить как? У него не сказано. Двух слов связать не может, а лезет в национальные лидеры. Послал Бог на нашу голову. А братец его тоже хорош. Политрук хренов. Один творит, что ему вздумается, а другой это все задним числом объясняет. Сладкая парочка.

Ребята, давайте назад, пока не поздно. Покаемся: мол, лживая сионистская пропаганда нас заманила. «Мы, древнеегипетские граждане еврейской национальности, единогласно одобряем и поддерживаем мудрую политику товарища фараона и заявляем, что у нас нет и не может быть другой родины, кроме родного Египта с самым передовым рабовладельческим строем. Рабы и хозяева – едины!» По «Голосу Египта» недавно передавали обращение товарища фараона: «Возвращайтесь на доисторическую, мы вас любим! Бить будем только в случае острой необходимости – если понадобится Египет спасать».

Ну так от меня не произойдет поколения свободных людей на новой родине, я это как-нибудь переживу. Вернусь, напишу роман «Покаяние». Может, еще Фараоновскую премию дадут. Нет, с меня хватит. Я вашей свободой сыт по горло. Привет Заике передавайте.

Как хотите, а я возвращаюсь.

А вы?

Петр Драйшпиц

ПЕТРОГЛИФЫ

* * *

Если у пипетки
Имеется харизма,
Из нее нередко
Вырастает клизма.

* * *

Если на вас вдруг упала трехтонная
Балка простая, железобетонная,
И если ваш крик окончательно стих,
То вы не прочтете уже этот стих.

* * *

В твоих глазах так много страсти,
Что, позабыв про все дела,
Я б разорвал тебя на части.
А ты б меня разорвала?

* * *

С другом, как с водкой, –
На ноге короткой.
И осталась для врага
Моя длинная нога.

* * *

Размах в любви непрост. Итоги
В том убеждают нас веками.
Опять раскинула ты ноги,
А я опять развел руками.

* * *

Уже лежали рядом
И ты была не прочь.
Но так вильнула задом,
Что улетел я в ночь.

* * *

Когда любишь в темноте,
Ощущения не те.
Но с тобою на свету
Вовсе мне невмоготу.

* * *

Зря остаемся мы одни.
Свиданья наши все короче
В твои критические дни,
В мои критические ночи.

* * *

Кто сказал, что в бане все равны,
Просто беззастенчиво наврал.
Был я в бане, снял один штаны,
Сразу стало ясно – генерал.

* * *

Выпью водки, пива –
Упаду красиво.
Выпью всякую бурду –
Некрасиво упаду.

* * *

Сионисты Буратину
Заманили в Палестину.
Театр бросил он и дом.
Здесь работает бревном.

* * *

Сняла парик, ресницы
И отстегнула грудь.
Минуту спал с девицей
И год не мог уснуть.

* * *

Камасутра, чудо-позы –
Страсти сладкая игра.
Чуть поэзии, чуть прозы –
Голь на выдумку хитра.

* * *

Такой не помню пьянки:
На брудершафт с котом
Я выпил валерьянки
И завилял хвостом.

* * *

Любимой нес букет,
Но встретил хулигана.
Мой собственный портрет
Теперь, как икебана.

* * *

Какие груди!
Я балдею.
Зря гибнут люди
За идею.

* * *

Вчера мне подфартило.
Меня в ночной тиши
Муза посетила:
Сказала: «Не пиши!»

* * *

Не подниму на женщину руки
Не потому, что я запретов раб,
А потому что, воле вопреки,
Ничто не поднимается на баб.

* * *

Представить страшно даже.
Я верю еле-еле.
Вчера на местном пляже
Два негра обгорели.

* * *

Лежат твои кудри
У меня на груди.
Мозги тебе пудрю
Сквозь бигуди.

* * *

Протезист во рту поколдовал,
Мне зубной добавил красоты.
Если раньше просто я зевал,
То теперь я развожу мосты.

* * *

Неслась акула прямо к теще,
Чтобы на мать твою напасть.
Но вышло все страшней и проще –
Раскрыла теща первой пасть.

* * *

Волной любви все море страсти
У наших бушевало тел.
Я после этакой напасти
Полгода плавать не хотел.

* * *

Между нами – химия любви,
И лишь в ней я обретаю форму.
Я всегда готов, лишь позови,
Вывести с тобою пару формул.

* * *

Какие ноги, грудь! А попка!
Готов я быть в твоем плену.
Тебя рукой касаюсь робко...
Нет, это я не потяну.

* * *

Гланды, бронхи, пищевод,
Селезенки скользкий край...
Ты прикрой, дружище, рот,
А потом уже зевай.

* * *

Он был в сплошных татуировках,
Рисунков было больше ста.
И видно было, что неловко
Ему за чистые места.

* * *

Весной любовные нагрузки
Для тех, кто молод, – пустяки.
А брюки, ставшие вдруг узки,
К зиме вновь будут широки.

* * *

Я тело голое ценю,
Но на нудистском пляже
Такие ходят персонажи,
Что восклицаю: «Ну и ню!»

* * *

Не жить жене на свете
Без меня и дня.
Все годы на диете –
Ест поедом меня.

* * *

У меня на пути
Задом ты не верти,
А верти в стороне –
Так спокойнее мне.

* * *

Ты изменила мне с поэтом.
Он стих тебе читал при этом.
Один страдал я на морозе
И думал о тебе. Но в прозе.

* * *

Проезжая сотни стран,
Сквозь вокзальную толкучку
Молодчина-чемодан
Человека вел за ручку.

* * *

Коснувшись девы ненароком,
Пронзил ее любовным током.
Пришелся ей по вкусу ток.
И, я надеюсь, ненарок.

* * *

Сама любовь в том виновата,
Что Вам пишу из дальних мест.
Я Вас любил любовью брата
И отбываю за инцест.

* * *

В любви хоть и везучий,
Перед оральным сексом
Кормил, на всякий случай,
Любовницу бифштексом.

* * *

Любовь слепа. Жених немой
Ведет глухую дуру
Из раввината. Рав хромой
Оформил процедуру.

* * *

Ты – море обаяния.
Своих желаний ношу
Я без колебания
В него, как якорь, брошу.

* * *

Еврей в Москве, в Париже, в Бухаресте,
Как удобрение, все улучшает, но
Когда евреи собраны все вместе,
То это удобрение – г-но.

* * *

Утроба. Темень. Крик. Малыш!
И – жизни яркая палитра.
У гроба. Темень. Крик. И тишь.
Друзья, поминки и поллитра.

* * *

Запутавшись в своей любовной страсти
(Тому рассеянность была виной),
Он так порою рвал себя на части,
Что изменял любовницам с женой.

* * *

Ты темпераментом своим
Орнамент поз плетешь искусно.
Я так люблю с тобой интим –
Темно, тепло и очень вкусно.

* * *

Ты юная, ты свежая,
Гвоздикой пахнешь ты.
Но что с того? Все реже я
Дарю себе цветы.

* * *

Не ведая любви напитка
И что куда не зная толком,
Смущалась, глядя, как на нитку
Насаживается иголка.

* * *

Не преклонюсь ни перед кем!
Хоть преклонение сулит
Решенье множества проблем,
Не преклонюсь: радикулит...

* * *

Зайку бросила хозяйка,
Под дождем остался зайка.
У нее он был не первый.
Знай косой: все бабы – стервы.

* * *

Насекомое – не птица,
Как кефир – не ром.
Отчего ж комар садится
На меня орлом?

* * *

Он был такой худущий, тощий,
Что даже в жаркий летний день
Его полуживые мощи
С трудом отбрасывали тень.

* * *

Не одену тебя я в парчу,
Не куплю тебе бархат на смену.
И пока мне любовь по плечу,
Вообще я тебя не одену.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 5

ПОЭЗИЯ

Елена Аксельрод
«Косуля цвета камней...» 9
«Небо совсем домашнее...» 9
«Дети и птицы щебечут...» 10
«По Москве брожу в шубейке...» 10
Прощание с картинами 11
«Уходящие уходят навсегда...» 11
«Спит наследник, ему семнадцать...» 12
Тель-Авив – Алматы и обратно 13

Светлана Бломберг
«Что делать мне, заложнице зимы?..» 15
Август 15
«"Да как же так?" – шептали мне кусты...» 16
«Это воздушное кружево...» 16

Ася Векслер
«Я хотела б дожить до квартиры сухой...» 17
Корни 17
«Дорога с гор! Твой посвист – мой мотив...» 19
«Не без выхода родимый круг земной...» 20
Иерусалимская прогулка 21
Иерусалимский романс 22
Новая английская песня 22
Сон с птицами 24

Виктор Голков
«Не пишется – такая пустота...» 25
«Если что-то есть во мне...» 25
«В эпицентре цветущего лета...» 26
«Лист зеленеющий и треугольный...» 26
«От банальности не скрыться...» 27
«Там, где пыль на всех предметах...» 27

«Вспоминаем Союз, вспоминаем...» 28
«Радостный голос ребенка...» 28
«В мое лицо глядят провалами...» 29
«Быть может, есть своя гармония и в том...» 29
«Хочу я быть травой зеленой...» 29
Иванушка 30

Лиора Кнастер

Заново 31
«Неужели закончилось чудо...» 31
«Я всю душу свою отдала нежилым чудесам...» 32
«Жизнь моя была сурова...» 32
«Пусть даже я сама...» 33
Адам и Хава 33
Примирение 34

Нина Локшина

«По России тоскуют евреи...» 35
«Поздний вечер. Четверг...» 35
Дождь в Неве-Яакове 36
«Вчера – оно вчера... Не вороши. Не трогай...» 36
«Мой поэт любимый Генрих Гейне...» 37
Кемадеро (поэма) 38

Роман Любарский

«Восходит белая луна...» 47
«Смятенье ли в глазах? Азарт?..» 47
«Терпи... Нам велено терпеть...» 48
«На перекрестке двух судеб...» 48
«Прохладные крылья тумана...» 49
«Ни памятки...» 49
Сколок сна 50
«Сотрем с наших губ хоть на час...» 50

Зинаида Палванова

В конце очередного года 51
«Ах, почему с тобой, осенняя природа...» 51
«Землетрясенье в Японии...» 52
«Факт непреложный, хоть и огорчительный...» . . . 53
Во дворе 53
«Худенькая девочка глазастая...» 54

Симпозиум в Бар-Илане 55
Февраль 55
Первое апреля 56

Ирина Рувинская
«Не доросла в отечестве до отчества...» 57
«Поселенец...» 57
«Сборищ наших невинных, не гулянок, а так...» . . 58
«На машинке письмо отстучит...» 59
«То ли ребенка второго рожать...» 59
«Хочу, чтобы где-то и ты проснулся, чтобы и ты...» 60
«Точильщик не наточит нож...» 60
Февральские фрагменты 61
Три стихотворения 62
«Потому что я полутьма а ты полумрак...» 63
«Милый...» 64

Григорий Трестман
«Нам не дано предугадать...» 65
«Созываю последних любимых...» 65
Хор Мертвых младенцев 66
Зонг Голема 69
Марк Шагал в Меа Шеарим 70
«Когда бы я в угодливом поклоне...» 71
«В местах, где существует связь времен...» 71
«Лавчонки, магазинчики, ларьки...» 72
«Уж если время делят на года...» 73
«Я видел Вифлеемскую звезду...» 73
«Всмотрись в оконный каменный проем...» 74
«Когда в Иудейской пустыне вечерние псы...» . . . 74

Владимир Френкель
«Стихи о свободе и смерти...» 76
«Повсеместно обломки Эллады...» 76
«Когда-нибудь мы все узнаем...» 77
«Венеция медленно проплывает...» 78
«Всю жизнь проведя за оградой...» 78
Стихи о бессоннице 79
«По часу, кругами, кругами...» 80
«Осень. Прибалтийская погода...» 81

Самуил Шварцбанд
Скорый «Рим–Париж» 82
Песенка 82
Баллада 83
Истина 83
Пять половинок хокку 83

ПРОЗА

Хаим Венгер
Письмо без обратного адреса 87

Илья Войтовецкий
Maestro 95

Игаль Городецкий
Путешествие Иды Петровны за море и обратно . . 131
Роберта 141

Алиса Гринько
Много ли народу на улице? 150

Юрий Кацнельсон
Суд 162

Шломо Ленский
Лик ангела 188
Вещмешок 193
Дядя Сева 195

Григорий Люксембург
Ночное дежурство 199

Виктория Орти
Анапа, Танька, тетка, море 212
Портрет нищего на фоне Апокалипсиса 213
...И расскажу обо всем 216
Реквием в лиловых тонах (цикл рассказов)
Вступление 219
Еще один день 220
О, Хлоя... 221

Кукурица, или Все суета сует 223
И я придумаю радужный мир 225
Озеро вечности для старухи с улицы Скороходова 226
Мелодия, живущая во мне 228
Армагеддон длиною в жизнь 229

Софья Рон
Сторона В 233

Владимир Ханан
Тайны ремесла (три рассказа) 268
Под пеплом 276
Сквозь воды и туман 278
Lieber 281
Далее – везде? 284

ЭССЕ, ВОСПОМИНАНИЯ, ПУБЛИЦИСТИКА

Вильям Баткин
Молодой Булат 291
Талисман души 301

Татьяна Азаз
Прогулки с Мариной 309

Леа Алон (Гринберг)
В поисках древнего имени... 320
«Только духом моим...» 324
«...Вся эта печаль, весь этот свет» 330

Борис Камянов
Партия «Полродины» 336
Затянувшийся выдох 337
Взглянуть в глаза истине 340
Самообман как орудие самоубийства 342
Юдофобия – это нормально 344
Слащавый миф – и горькая истина 346
Потемкинское местечко 350

Эли Корман
В строку упала звездочка 353

Свидетель находит автора 369

Дина Ратнер
Небом единым жив человек 383
Евреи в Грузии 392

Александр Свищёв
Мифы и действительность 406
Похороны 417

Александр Фейгин
Все оплачено 419
Между тучами и морем 420
Не глядя в кривое зеркало 422
Не надо меня любить 424
Двести лет врозь 426
Такая старая новейшая история 427
Шея Яакова, зубы Эйсава 429
О курице, яйце и логике 430
Вагнер в Иерусалиме 431
Откуда приходят страхи? 433

ЮМОР

Марьян Беленький
Разговор книгопродавца с поэтом 437
Наш оркестр 438
А автобус идет... 439
Маятник 442
Актуальный телерепортаж 443
...И возроптал народ 445

Петр Драйшпиц
Петроглифы 449